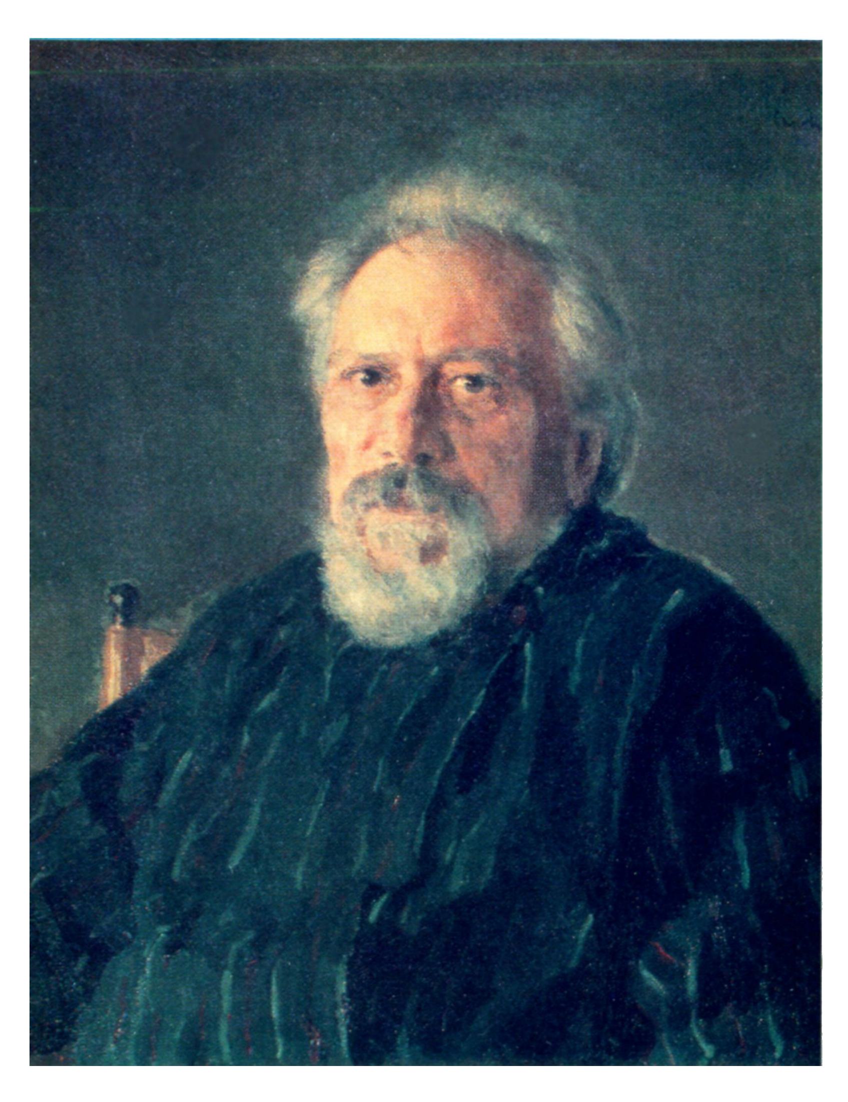
АНДРЕЙ ЛЕСКОВ

ЖИЗНЬ НИКОЛАЯ ЛЕСКОВА





Н. С. Лесков
Портрет В. Серова



СЕРИЯ ЛИТЕРАТУРНЫХ МЕМУАРОВ

МОСКВА
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
1984

АНДРЕЙ ЛЕСКОВ

ЖИЗНЬ НИКОЛАЯ ЛЕСКОВА

ПО ЕГО ЛИЧНЫМ, СЕМЕЙНЫМ И НЕСЕМЕЙНЫМ ЗАПИСЯМ И ПАМЯТЯМ

В ДВУХ ТОМАХ

ТОМ ПЕРВЫЙ

ЧАСТИ ПЕРВАЯ-ЧЕТВЕРТАЯ

МОСКВА
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
1984

8Р1
Л50

Вступительная статья, подготовка текста, комментарии
А. А. ГОРЕЛОВА

Оформление художника
В. МАКСИНА

Л $\frac{4702010100-334}{028(01)-84}$ 25-84

КНИГА СЫНА ОБ ОТЦЕ

Судьба Николая Лескова (1831—1895) — одна из самых драматических и поучительных глав в истории русской литературы XIX столетия. Пора творчества, духовные искания писателя могучего дарования пришлись на необычайно сложную пореформенную эпоху. Время вызвало в российском общественном движении «появление разночинца, как главного, массового деятеля», а это внесло решительную новизну в характер освободительной борьбы, обозначив ее «разночинский» период [1]. Подорвавшая устои крепостничества эпоха тем не менее изобиловала «следами» и «переживаниями» [2] крепостного века в экономике и политике, в общественном и индивидуальном сознании.

Лескову, который был истинным разночинцем по своим родовым корням и житейскому опыту, предстояло познать «трудный рост» (XI, 508) [3], испытать в силу «невыработанности» мировоззрения и мятежности натуры притяжения к полярным общественным группам, направлениям, пережить отталкивания от чуждого во имя утверждения своего подлинного «Я», ошибаться, озаряться прозрениями и чувствовать, что нет конца-края дороге к истине: «Я <...> лишь ищу правды в жизни, и, может быть, не найду ее» (X, 298).

Как и у его гениального современника Льва Толстого, все это было бо́льшим, нежели «противоречия только личной мысли»: «трудный рост» Лескова обусловили в высшей степени сложные, противоречивые условия, «социальные влияния, исторические традиции, которые определяли психологию различных классов и различных слоев русского общества...» [4]. В писательском и гражданском хождении Николая Лескова наблюдалось искреннее

---

[1] Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 25, с. 94, 93.

[2] Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 20, с. 38.

[3] Здесь и далее в скобках указываются том и страницы издания: Лесков Н. С. Собр. соч. в 11 томах. М., 1956—1958.

[4] Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 20, с. 22.

стремление служить социальному прогрессу, интересам народного большинства, но восхождение неумолимо осложнялось драматическим в своем существе упованием на возможность усовершенствования неправедного общества «изнутри», с помощью христианско-нравственных, реформистски-просветительских рецептов. Выступления писателя против революционных концепций преобразования мира оказывались в несогласуемом противоречии с резкой лесковской критикой российской «социабельности», но они были неотвратимы, предрешены характером его развития, его биографией.

Горький обособлял Лескова в кругу литераторов пореформенной поры от лиц более четкой и вместе с тем более узкой идеологической ориентации: «не народник, не славянофил, но и не западник, не либерал, не консерватор». Зачастую в такой позиции заключался источник независимой силы художника; он непосредственно принимал в русло своей прозы настроения широкой народной стихии. Однако нередко политическая аморфность препятствовала взлету освободительного пафоса Лескова на высоту бескомпромиссного отрицания ненавистных ему институтов косной романовской государственности и норм российского общежития. И это невзирая на то, что социальный гнев писателя (особенно в сочинениях позднего периода) перехлестывал через берега реформистских концепций совершенствования мира.

То жизненное поле, что суждено было писателю перейти, оказалось Русью «умоокраденных губернаторов», знающих «все, кроме нужд народа», Русью милитеров, голубой полицейской рати, митроносных пустосвятов, «профессоров банкового направления», бесчисленных «казенных людей», к коим «законы не прикладны», — страной, где только прозвище дурака или признание сумасшедшим давало «привилегию» «пользоваться свободою мышления» (VI, 374)... Но оно же было и Русью простолюдинов-«страдателей», исполненных гуманного самоотречения терпеливцев-«праведников», богатырей духа, способных сообщать силу душе «угнетенного человека» [1], было поприщем действия «очарованных странников», загадочных «чудаков» и «антиков», «честных нигилистов». Проницательный и наблюдательный аналитик отечественных историко-бытовых явлений, Лесков сумел отобразить многоразличные ипостаси русского национального характера, сочувственно показал жертвенный подвиг истинных революционеров, невзирая на остроту своей полемики с их идеями.

[1] Лесков Н. Вычегодская Диана. (Попадья-охотница). — Новости и биржевая газета, 1883, № 67, 9(21) июня.

В густонаселенный мир лесковской прозы вошли представители, кажется, всех современных ему сословий, состояний, профессий, званий, чинов, фракций, всех разновидностей человеческой натуры. Он умел разглядеть «в одном поколении» своих соплеменников «людей как бы разных веков» [1]. Именно это качество таланта вызвало восторженный возглас горьковского героя из «Жизни Клима Самгина»: «Но, он, Лесков, пронзил всю Русь» [2].

М. Горький отнес писателя к кругу своеобразных мыслителей (в их ряду были названы Достоевский, Писемский, Гончаров, Тургенев), «у которых более или менее прочно и стройно сложились свои взгляды на историю России, которые имели свой план работы над развитием ее культуры, и — у нас нет причин отрицать это — <...> искренно верили, что иным путем их страна не может идти» [3]. Горький же подчеркивал, что Лесков-художник вполне достоин встать рядом «с такими творцами литературы русской, каковы Л. Толстой, Гоголь, Тургенев, Гончаров» [4].

Великий знаток России, неутомимый экспериментатор в области литературных жанров и языка, неповторимый мастер по искусству сопряжения реализма с канонами фольклора, с художественным наследием Древней Руси и XVIII века, Лесков, внимательно всматривавшийся в народные религиозно-философские системы, в типы массового сознания, еще не вполне открыт нашим читателем, не вполне прочитан и осмыслен нашей наукой.

Тем не менее отечественное литературоведение обладает бесценным путеводителем по миру лесковской жизни — единственной в своем роде мемуарно-биографической книгой «Жизнь Николая Лескова по его личным, семейным и несемейным записям и памятям».

Этот труд, принадлежащий перу Лескова Андрея Николаевича, сына писателя, объединяет в себе личные воспоминания и кропотливейшее биографическое разыскание, факты творчества и житейскую историю личности. Показывая, как жил и работал человек «самоистязающей», мятущейся души, книга об одном из самых трудных характеров минувшего века волнует бесстрашным пафосом правды. Сосредотачивая внимание на том, что составило силу и обаяние Лескова, его биограф не скрывает теневых сторон богатой натуры, стремится связать причинной связью

---

[1] Горький М. Собр. соч. в 30-ти томах, т. 24. М., 1953, с. 184.

[2] Там же, т. 19, с. 288.

[3] Там же, т. 24. с. 62.

[4] Там же, с. 235.

или сопоставить огромное число сведений, показаний, данных, старательно собранных им на протяжении полувека, — в каком бы сложном и прихотливом узоре ни сочетались они между собой.

Начальные главы «Жизни Николая Лескова» — родовая сага, обильная документами и фамильными «памятями», что были сохранены в лесковской родне, но остались безвестны и сокрыты для понимания природы лесковского творчества.

Здесь всего ценнее — попытка раскрыть разночинный сословный и демократический мировоззренческий «грунт», на котором зиждилось творчество писателя.

Как бы перелистывая старинные альбомы, всматриваясь в пеструю лесковскую родню — начиная от сурового сельского священника деда Дмитрия из села Лески, что сумел внушить о себе трепетные воспоминания, — вчитываясь в незавершенные автобиографические наброски отца, Андрей Лесков свидетельствует о скудности достатков и простонародности бытового уклада семьи будущего писателя. Повествователь замечает особенную ласку отзывов Николая Семеновича из всех «иже по плоти» ему, о бабушке, имевшей воистину народную душу. Он внимателен к проявлениям дружбы отца с крестьянскими ребятишками и «бородачами», допускавшими «панычa» даже на секретные раскольничьи моления; мемуарист воскрешает поэтическую атмосферу деревенских поверий, легенд. Автор-биограф вспоминает о первой встрече отца с полуапокрифическими историями из детской книги и о созерцании немудреных церковных росписей, производившихся ремесленниками-богомазами; о разнотолках в орловских слободках и первом знакомстве с бывшим киевским студентом, подвергнутым опале за политическое вольнодумство... В тщательно инкрустированном писательскими признаниями и мемуарами биографическом труде отражается многотрудный процесс становления личности, но прежде всего в нем прорисовывается обогащение народными впечатлениями. Огромный мир раздвигал перед Лесковым широкие горизонты России. Дороги выносили его то к муравейникам ярмарок, то к губернским заставам, то к укромным «маластырькам», то к тихим речным перевозам... И всюду — от Брод до Черного Яра, от Одессы до Ладоги — главным действующим лицом житейского эпоса выступал русский мужик. Так стихийно закладывались основы демократизма писателя.

Андрей Лесков исподволь и непосредственно подводит читателя к уразумению того, что демократические сюжеты, проблемы социального бытия народа не могли не идти об руку с жизнью Н. С. Лескова. И если из глубины лет в петербургский писательский кабинет плыли картины, стучались герои, доносились имена,

речь, песни Гостомельщины, Орловщины; если в доме столичного литератора полновластно чувствовали себя простонародные вкусы и привязанности, — все это было сущностью, натурой художника с молодых лет.

Ощущение нераздельности с простым народом даст Лескову смелость и право произнести в первые же его писательские годы, что он знает «русского человека в самую глубь»: «Я вырос в народе на гостомельском выгоне с казанком в руке, я спал с ним на росистой траве ночного, под теплым овчинным тулупом, да на замашной панинской толчее за кругами пыльных замашек <...> Я с народом был свой человек, и у меня есть в нем много кумовьев и приятелей <...> Я стоял между мужиком и связанными на него розгами <...>» [1] Собственный жизненный опыт не позволил писателю «ни поднимать народ на ходули, ни класть его себе под ноги» [2].

Верный своему свободному построению биографии-хроники, Андрей Лесков щедро вводил факты, говорящие о редком богатстве достоверных наблюдений и впечатлений будущего писателя, вне которых не была бы возможна столь обильная жатва. И тема «праведничества» народной личности, и защита равенства людей разных наций и верований, и критика аморальной философии дельцов, умевших наживаться на общенародном горе («крымские воры» в Крымскую войну), — все это придет в будущую прозу Лескова из вполне конкретных его впечатлений 1840—1850-х годов: из Орловской палаты уголовного суда, из рекрутских присутствий, из вольных студенческих «лицеев» университетского Киева, с «барок» частной компании Шкотта. Самая калейдоскопичность фактов, приводимых А. Н. Лесковым, известное уравнивание им бытовых эпизодов, в которых действует отец, и моментов его духовной биографии симптоматичны: в ранней судьбе писателя отнюдь не было гарантий того, что глубокое, сердцевинное, но несколько аморфное народолюбие будущего художника приобретает твердость демократизма последовательного. Встречи с бывшим членом разгромленного властями свободолюбивого киевского Кирилло-Мефодиевского общества Афанасием Марковичем, с основоположником русской научной статистики демократом Дмитрием Журавским, позднее — недолгая дружба с Тарасом Шевченко прерванная смертью поэта, — были весьма показательными вехами в духовном развитии писателя, и можно пожалеть и посетовать, что они не были подробно рассмотрены

---

[1] Лесков-Стебницкий Н. С. Сб. мелких беллетристических произведений. СПб., 1873, с. 320.

[2] Там же.

Андреем Николаевичем Лесковым. Но крупная, самобытная, жадная к знанию мысль его отца воистину металась от одних теоретических трактатов к другим (Фейербах и Кант, Герцен и Ренан, Оуэн и Пирогов), не получая необходимой опоры в строгости социально-философских штудий, не освобождаясь от эклектики, от религиозности и политического идеализма.

Лесков в 1890-е годы выразительно говорил о пробелах в своей теоретической «школе»: «Мы не те литераторы, которые развивались в духе известных начал и строго приготовлялись к литературному служению. <...> Между нами почти нет людей, на которых бы лежал хоть слабый след благотворного влияния кружков Белинского, Станкевича, Кудрявцева или Грановского. Мы плачевные герои новомодного покроя, все посрывались «кто с борка, кто с сосенки» [1]. В этих словах отразились свойственные позднему Лескову поиски теоретической упорядоченности воззрений на мир. Но тяготение к систематизации взглядов проявилось еще в киевский период (1850—1857, 1860 гг.) и, по всей видимости, сопровождало будущего литератора и те три года (1857—1860), которые он служил разъездным агентом частной коммерческой компании «Шкотт и Вилькинс». Вне постоянства интереса и стремления к теоретическому знанию как основе понимания мира невозможно было бы обрести и ту внушительную эрудицию, что присутствует в статьях Лескова начала 1860-х гг. (см. хотя бы его отклики на труды по политической экономии, статистике, праву, лесоводству, сельскому хозяйству в «Отечественных записках»). Научные уроки Д. Журавского и передовой киевской профессуры (А. П. Вальтер, Н. И. Пилянкевич, И. М. Вигура) отразились и в тех публицистических статьях Лескова из «Современной медицины», где он жарко нападал на русские предреформенные порядки, впервые заявляя свою оппозиционность по отношению к существующему режиму и призывая российскую интеллигенцию к литературной активности «в деле разоблачения общественных язв», к «решительным законам и мерам, в особенности касательно интересов рабочего, страждущего класса», населяющего большие города России.

В книге Андрея Лескова выявлено многообразие жизненных притяжений, испытанных отцом в Киеве, разъяснено, почему писатель именовал древнюю столицу Руси своей «житейской школою».

В главах, где речь идет о ранней публицистике писателя, оттенен протестующий пафос первой серьезной работы Николая

---

[1] Фаресов А. О Лескове. — «Новое время», 1900, 26 мая (8 июня), № 8708.

Лескова — «во многом щекотливых» «Очерков винокуренной промышленности (Пензенская губерня)», где автор, писавший за год до царского Манифеста от 19 февраля 1861 г., осуждал «всю систему покровительства многоимущим, выгодно поставленным особам вроде губернаторов и предводителей дворянства», и нападал на правовое неравенство сословий.

Манифест об отмене крепостного права был воспринят Лесковым с доверчивостью человека, недостаточно искушенного в политике — как начало целой цепи благодетельных реформ сверху, а это — согласно его представлениям — требовало отмежевания от попыток революционного разрешения социальных проблем. Молодой публицист разоблачает плантаторские настроения в среде закоренелых крепостников, вступается за мужиков, от лютой нужды вынужденных воровать лес. Он клеймит тунеядство обладателей латифундий, весь век предающихся «безумному шлифованию <...> солнечной стороны Невского проспекта и Кузнецкого моста»; приветствует деятельность петербургских комитетов, созданных при Географическом и Русском вольно-экономическом обществах. По справедливой оценке биографа, «в один зимний полусезон он выдвигается в ряды заметных публицистов, общественных фигур Петербурга и Москвы».

Между тем действительность ставила перед лояльной правительству публицистикой нелегкие вопросы: от Казанской до Виленской губернии катились бунты крестьян, обманутых в своем ожидании «чистой воли». Правительство жестоко расправилось в апреле 1861 г. с восставшими мужиками села Бездна Казанской губернии.

Через месяц после бездненской трагедии Лесков писал на страницах либеральных «Отечественных записок» по поводу проектирования «законов неумолимых» о наказаниях: «воскрешать Ликурга, Нерона и прочих в мире почивших законодателей, отметивших свои деяния в истории человечества темными пятнами тирании, значит не знать самых основных выводов исторической науки, указывающей на совершенную несостоятельность строгих мер и свидетельствующей о всегдашнем стремлении человечества злоупотреблять запретительными правилами. Виселицы и эшафоты не прекращают убийств в просвещенной стране (Англии. — *А. Г.*), учреждения которой Европа ставит в образец себе, и не прекратят их, пока истинное просвещение и ясно выработанное понятие о человеческом праве не положит конца бесправию <...>» [1].

---

[1] «Отечественные записки», 1861, № 5, отд. III, с 18.

В оценке публицистики, как это наблюдается и в ряде других случаев, «сложность и противоречивость творческого облика Н. С. Лескова несколько упрощены» [1], автором биографии писателя объем рассматриваемого материала заужен. И все же Андрей Лесков вскрывает, насколько непрочно было сближение отца, человека искренних демократических симпатий, с кругом обласкавших его либералов-постепеновцев — сближение, убеждавшее как будто бы в ошибочности, даже опасности взглядов революционеров-«инакомыслящих». Свидетельства тому — острые лесковские столкновения с реакционной печатью, критика «цветословия» общественно-бесплодных столичных комитетов — «говорилен», руководимых лицами либерального лагеря. Конфликтуя в 1862 г. с «деспотствующим», как он выражался, «Современником» по коренным общественным вопросам, Лесков вместе с тем находился в отмечаемой его сыном «большей или меньшей рабочей близости» с демократическим журналом «Век» и не раз уважительно высказывался о Чернышевском и о том же «Современнике». И оттого же по адресу Лескова раздается увещевательный голос «нетерпеливца» Г. З. Елисеева, стремящийся убедить оппонента, что он пока еще не нашел «своего настоящего пути».

Андрей Лесков убежден: «Это был зов. Мало того — это оказалось и пророчеством». Однако обострение полемики нарастало с быстротой, не предугаданной ее участниками: это диктовалось кризисностью социально-политической ситуации. Путь — ни с ретроградами, ни с «нетерпеливцами», а скорее с «партией реформ», — на который вступил Лесков, был чреват для него резкими столкновениями с прогрессивным лагерем, в итоге же тяжелой духовной драмой.

«Катастрофа», «Бегство», «Отвержение от литературы» — так называет биограф-сын главы, посвященные последовательным актам драмы из жизни отца, которая простерлась достаточно далеко — почти на два десятилетия.

Катастрофа разразилась тогда, в начале 60-х годов, когда возникла первая в истории страны революционная ситуация, а Петербург озарился пламенем большеохтинских гостинодворских пожаров.

Тридцатого мая в «Северной пчеле» была опубликована передовица, в которой автор ее, Николай Лесков, потребовал от петербургского градоначальника огласить имеющиеся в полиции

---

[1] Десницкий В. Предисловие к кн.: Лесков Андрей. Жизнь Николая Лескова по его личным, семейным и несемейным записям и памятям. М., 1954, с. VII.

«основательные соображения <...> насчет происхождения ужасающих столицу пожаров». Требование открыть народу «поджигателей» было связано в статье с подозрениями, павшими на членов не названной им прямо «корпорации» (студенчества) и на «политических демагогов» — составителей некоего «мерзкого и возмутительного воззвания», то есть прокламации левых революционеров «Молодая Россия».

Автор статьи предлагал властям решительную, но альтернативную программу: «Щадить адских злодеев не должно; но и не следует рисковать ни одним волоском ни одной головы, <...> подвергающейся небезопасным нареканиям со стороны перепуганного народа». Статья породила двоякий резонанс. Александр II объявил ложью слова о «стоянии», бездействии вызываемых на пожары брандмейстерских и полицейских команд. Прогрессивные круги, и особенно революционные демократы, увидели в ней желание автора-«охранителя» призвать все силы власти к защите режима — тем более, что в статье выражалось особого рода упование, нацеленное против левых кругов. («На народ можно рассчитывать смело», последний исполнен «готовности употребить угрожающие меры против той среды, которую он подозревает в поджогах».) «Пожарная» статья и некоторые сопутствовавшие ей выступления смятенного Лескова провели глубокую борозду между писателем и либерально-демократической печатью.

Лесков-сын делает акцент на душевных терзательствах отца и несколько стушевывает сложность и противоречивость его реальной позиции: ведь «пожарно-полемический угар» оказался не вполне остывшим и через двадцать лет, в 1881 году, когда Лесков излагал в «Обнищеванцах» историю с петербургскими пожарами исключительно как бы устами тогдашней молвы. Он и тут скорее винил, нежели обелял желавших народного бунта «специалистов» (социалистов). Впрочем, при освещении событий 1862 года автор книги предложил изрядную подборку фактов, приглашая читателя к самостоятельному их доосмыслению.

Как нигде столь широко в лесковиане, освещена в «Жизни Николая Лескова» история первой заграничной поездки писателя, стремившегося за рубежом погасить в себе боль, вызванную «пожарной историей». Но драма Лескова в сущности лишь начиналась. Его полемика с революционной демократией оказалась затяжной.

В Париже Лесков напишет рассказ «Овцебык» (1862), где прояснит свое кредо. С большой человеческой симпатией нарисует Лесков портрет героя, искренне желающего народу социального

блага и пытающегося найти в народной среде революционные начала. Однако действительность разрушит надежды внутренне честного Василия Богословского. Революционер-агитатор, по убеждению писателя, не достигает цели, ибо игнорирует низкий уровень крестьянского социального сознания.

Андрей Лесков справедливо рассматривает рассказ как «прелюдию» к полемическому роману «Некуда» и цитирует слова Горького о противостоянии лесковского взгляда наиболее оптимистическим общественным ожиданиям: «В печальном рассказе «Овцебык» чувствовалось предупреждающее — «Не зная броду — не суйся в воду!» В этой позиции заключалось определенное мужество, но была и несвоевременность: «Людям необходимо было верить в свободомыслие мужика, в его жажду социальной правды, а Лесков печатает рассказ «Овцебык», рискуя встретить и действительно встречая недоумение и протест. «Что же делать, если дух горит, ни с чем не считаясь, кроме собственных велений, неукротимых и бесстрашных», — пишет биограф. Лесков брал на себя смелость выступить в «Овцебыке» против того, что отзовется теоретической бакунинской самоуверенностью, будто народ всегда готов к революции [1]. Но в таком выступлении писателя было нечто схожее с посягательством на заветную мечту передовых демократических сил. И оттого результатом публикации рассказа был «неуспех первой значительной беллетристической работы», который не только «остро уязвил автора», а и отбросил тень на судьбу глубокой и поэтической повести «Житие одной бабы», печатавшейся одновременно: критика отвернулась и от нее.

Лесков не уступал.

Уже в «Овцебыке» прозвучало приговором герою язвительно-пессимистическое словцо «н*е*куда». Теперь писатель решил демонстративно выдвинуть его в название романа об участии молодежи в русском освободительном движении и дал сценам из жизни петербургской «коммуны» заглавие «Некуда» (1864—1865).

Появившийся роман углублялся в истоки русского «нигилистического» (т. е. революционно-демократического) брожения и рисовал рожденные переходной эпохой России фигуры общественных деятелей, нередко списанные с реальных прототипов. Среди них были положительные (они же — страдательные) типы «чистых нигилистов»: Елизавета Бахарева, Вильгельм Райнер, Юстин Помада. Были и их антиподы — те, кто казались автору

---

[1] Маркс К., Энгельс Ф. и революционная Россия. М., 1967, с. 50.

накипью движения и вообще «вредителями русского развития», способными лишь «засорить путь». Попытка заглянуть в тупики прогресса — нежизнеспособные «ассоциации», руководимые беспринципными Белоярцевыми и их карикатурными приспешниками, обернулась критикой современных форм движения передовой молодежи как бесперспективных, а общий скепсис автора привел к мысли о неизбежности трагического финала судеб действительно лучших людей целого поколения. Как и в статьях «Северной пчелы» 1862 года, Лесков продолжал утверждать мысль о том, что истинное развитие общества происходит там, где формы русской жизни совершенствуются исподволь, где наследие крепостнической эпохи изживается неспешным честным трудом.

Противоречивый в своих изначальных посылках, то и дело переходивший в памфлет, роман вызвал бурю негодования. В «Современнике» писалось, что автор «либерал на словах, а на деле, что хотите». Писарев назвал в «Русском слове» Лескова «тупоумным ненавистником будущего» и призывал отлучить его от русской журналистики.

Корни пережитой писателем драмы отвержения и изоляции, разумеется, уходят не только в биографию самого Лескова, но и в биографию времени. Боевой авангард русской демократии жил тогда страстной верой в скорую народную революцию. Отсутствие этой веры, а тем более высмеивание ее, не прощалось никому, вплоть до Щедрина, которому Чернышевский указал на «несвоевременность» его «Каплунов». Напомним, что Щедрин поплатился за свой скептицизм вынужденным уходом из редакции «Современника» [1]. «Шестидесятые годы не знали снисхождения к ошибкам, — напишет Андрей Лесков, — не отличая их от самых тяжелых преступлений. Слишком острое было время». Но с течением лет острота полемики уступала место более спокойному аналитическому подходу к явлениям современной жизни. Пристально вглядевшийся в роман, спустя четыре года после его появления, Николай Шелгунов, упрекая Лескова sa неуменье «понимать разницу между идеей и делом», охарактеризует Лизу Бахареву как «истинный тип современной живой девушки» [2]. И одновременно в освободительном движении 60-х гг. взгляду современников вскоре явятся реальные двойники отрицательных персонажей книги [3]. Горький, разобравшийся в том, что роман на самом деле

---

[1] Макашин С. А. Салтыков-Щедрин на рубеже 1850—1860 годов. Биография. М., 1972, с. 460, 446—453, 487—494 и др.

[2] Шелгунов Н. В. Литературная критика. Л., 1974, с. 202.

[3] См., например, письмо Н. А. Вормса Н. П. Огареву в 1866 г. — «Литературное наследство», т. 62. Герцен и Огарев. II, М., 1955, с. 52.

оказался много сложнее, нежели это представлялось его первым критикам, найдет в Райнере человека, окруженного «сиянием благородства и почти святости» [1].

Присоединяясь к горьковской точке зрения на произведение, сын-биограф приводит подборку высказываний самого автора романа, из которых неопровержимо следует, что Лесков, многократно вспоминая «некудовскую историю», часто говоря о романе и находя известную правоту неприятелей книги, на протяжении всей жизни азартно защищал честность своих писательских побуждений. А. Н. Лесков цитирует важнейшее признание писателя 1882 г.: «<...> я тогда показывал живым типом, что социалистические мысли имеют в себе нечто доброе и могут быть приурочены и порядку, желательному для возможно большего блага возможно большего числа людей». К приведенным А. Н. Лесковым материалам следует добавить еще одно горячее самооправдательное заявление, содержащее не только признание действительных ошибок писателя, но и его указание на шаткость прежнего политического мировоззрения: «Ошибки» мои все были «искренние», мне *никогда* не было препятствия взять направление *более выгодное,* но я всегда принимал такое, которое было *невыгодно* мне. Это я делал не по упрямству, а так выходило: я, как русский раскольник, приставал «не к той вере, *которая мучает,* а к той, *которую мучают*». Идеалы мои всегда были чисты, хотя, может быть, не всегда всем ясны, — на меня имели влияние временные веяния. Это <...> происходило не от корысти и расчетов, а от моей молодости, страстности, односторонности взгляда и узости понимания. Большая ошибка была в желании остановить бурный порыв, который теперь представляется мне естественным явлением, это было отдрагивание пружины, долго и сильно отдавленной в другую сторону. Я верно понял дурные страсти и намерения одних людей, но сильно обманулся в других. Критик, трактующий широкое положение, мог оценить верность картин в «Некуда» и поставить автору на вид недорисовки некоторых планов. В «Русском вестнике» Каткова было когда-то сказано, что «к этому роману обратится за справкою историк недавней эпохи», и это, может быть, правда, но историк должен будет и осудить автора за то, что он как будто играл в руку с теми, чьи чувства и идеи не лучше чувств, одушевляющих нигилистов. Я сделал ошибку молодости, отважась писать такой роман в России, где действует цензура <...> В этом и есть моя ошибка: она сделана искренно, т. е. без дурных побуждений,

---

[1] Горький М. Собр. соч. в 30-ти томах, т. 24, с. 230.

но я ее себе не прощаю и не хочу простить. Все напраслины, какие я перенес, — как они ни пошлы и ни обидны, — я принимаю с радостью, как возмездие, следовавшее мне за неосторожность и легкомыслие, благодаря которым труд мой мог быть трактован поддержкою обскурантизма и деспотизма, которые я всегда ненавидел и презирал всеми силами моего духа, любящего свободу ума и совести» [1].

Глубина трагедии, пережитой Лесковым в связи с «Некуда», очевидна: перед писателем наглухо закрылись двери прогрессивных русских журналов. Напротив, редактор консервативно-реакционного «Русского вестника» Катков (его художник назовет позднее «убийцей родной литературы»), сделал приглашающий жест. И писатель стал попутчиком политических консерваторов, а его «антинигилизм» надолго поглотил в глазах передового общественного мнения все прочие краски богатейшей лесковской палитры. Один из критиков «Запечатленного ангела» признавался: «...г. Лесков имеет такую литературную репутацию, что хвалить его есть своего рода смелость». Лесков был обречен на десятилетнее сотрудничество с Катковым, пока тот не заявил в кругу единомышленников: «Мы ошибаемся: этот человек не наш!» И — вскоре: «он *совсем не наш*» (XI, 509).

Альянс Лескова с правым лагерем не мог быть надежным: слишком разные потоки прошумели по одному руслу. «Отомщевательный» роман «На ножах» и аналогичный по направленности памфлет «Загадочный человек», лихорадочно написанные в то время, когда писатель, по меткому выражению А. Лескова, жил в «чаду раздражительности», были тем рубежом, от которого началось неуклонное восхождение великого художника.

В книге Андрея Лескова с психологической проникновенностью и последовательностью прослежены этапы мучительно трудного посленекудовского «томления духа», отторжение от Каткова, «еретизм», создание «иконостаса святых и праведников», «аккорд» с Толстым, борьба с «понижением идеалов в литературе». Примерно с 1870 года они окрашены личными припоминаниями биографа.

В семидесятые годы Лесков доказывает свое мужество и силу своей личности: писатель в поисках свободы творческого самовыражения идет на разрыв с теми кругами, от которых зависели его материальное благополучие и репутация писателя, лояльного режиму, хотя отвержение передовой журналистикой (на потепление ее Лесков не рассчитывает) ставит его в поло-

---

[1] Из письма Н. С. Лескова П. В. Быкову от 26 июня 1890 г. (ГПБ, ф. 118, № 536).

жение литературного поденщика и заставляет то «завивать мохры у монаха», то кочевать но другим изданиям, сегодня используя страницы «Гражданина», завтра — «Руси», послезавтра — «Нового времени», «Новостей».

Между тем от середины 70-х — к началу 80-х годов в писателе растет «еретическое» — оппозиционное настроение по отношению к социально-нравственным исповеданиям и институтам романовской монархии, новый прилив внимания к тем, кто, «стоя в стороне от главного исторического движения, <...> сильнее других делают историю» (VI, 347).

Критик церковности, отрицатель ханжеского «великосветского раскола», Лесков поэтизирует морально-этические идеалы, стихийно хранимые народом, рисует его легендарных представителей вроде «несмертельного» мирского защитника Голована, патриота Левши, свободолюбивого «тупейного художника» Аркадия, добросердого солдата Постникова и им подобных. В том же ряду явятся истые философы, как «библейский социалист», простолюдин-писатель и социальный реформатор — квартальный Александр Рыжов, сочинитель трактата «Однодум», идейный родственник крупных народных мыслителей XIX столетия типа Сютаева, Бондарева. В глубочайшем существе своего творчества — в ревизии основ существующего строя российской жизни с народных религиозно-нравственных позиций — Лесков совпадает с Львом Толстым. «Хорошо прочитанное Евангелие», в связь с которым поставил художник свой последний крупный духовный поворот, однако же, поведет писателя к возвращению на круги *своя*, — к демократическим истокам его миропонимания, и Лесков скажет: «Я <...> вернулся к свободным чувствам и влечениям моего детства... Я блуждал и воротился, и стал сам собою — тем, что я есмь».

Некогда (в 1866 г.) Лесков опубликовал единственное в своей биографии поэтическое произведение — «Челобитную», где осуждал Каракозова и его выстрел в «царя-освободителя». Но спустя пятнадцать лет, писатель, увидевший не только посев, а и жатву александровского царствования, высказался против казни участников цареубийства 1 марта 1881 года, считая ответственным за случившееся все общество. В мемуарной повести о жизни замечательного писателя неожиданно сильное и пронзительное звучание вдруг получает благодаря точным комментариям сына то одна, то другая выразительная деталь. Социологу Д. А. Линеву Н. Лесков пишет: «Неужто «день жизни *Фролки*» не стоит внимания или стоит еще менее, чем анекдотические проказы арестантов?.. Меня это очень удивляет, когда я просматриваю сочинения наших тюрьмоведов». Андрей Лесков скупо добавляет, заставляя

слова врезаться в сознание читателя: «Семь лет не усыпляют памяти писателя. Он не может забыть *палача Фролова* (курсив мой. — *А. Г.*), «приводившего в исполнение» приговор, вынесенный судом, первомартовцам».

По-своему праздничен и очищающ финал трудной, нередко мучительно складывавшейся судьбы. К Лескову наконец пришло признание, которого был достоин его великий труд художника. Круг его духовных собеседников несоизмерим с тем, что было прежде. В этом кругу — Николай Ге, Владимир Стасов, молодой Чехов, Владимир Соловьев, Валентин Серов, Репин. Но как высший жизненный подарок расценивает он момент духовной встречи с Толстым.

Биограф-сын не без едкости констатирует «прелюбопытную перемену общественных позиций»: либералы, некогда сторонившиеся Лескова за крайности его полемики с революционными шестидесятниками, отказываются в 1890-е годы печатать лесковские произведения за их критицизм. «У вас все <...> до такой степени сконцентрировано, что бросается в голову. Это — отрывок из «Содома и Гоморры», и я не дерзаю выступать с таким отрывком на божий свет», — растерянно сознавался редактор «Вестника Европы» Стасюлевич, прочитав рассказ «Зимний день».

Однако, как показывает автор книги в главе «Царство мысли», Николай Лесков позднего периода как раз жаждал вывести «на свет божий» все то, что маскировали благолепный житейский обычай и социальная проформа. Он отказывается «истину царям с улыбкой говорить». На этой высокой идейной ноте завершается эволюция писателя, о которой добросовестно поведал летописец его дней.

* * *

С появлением труда Лескова-сына в литературоведении была вполне осознана исключительная важность для биографии писателя не только эпизодов его литературно-общественной полемики 1800-х годов, но и таких более поздних событий, как отрешение Лескова от службы в комитете по изданию книг для народного чтения за неугодную официальному миру литературную деятельность; борьба с одним из вождей реакции 1880-х годов «Лампадоносцевым» (Победоносцевым); цензурное запрещение VI тома собрания сочинений Лескова, нанесшее непоправимо тяжелый удар здоровью писателя; солидарность с Львом Толстым...

Соединяя обилие фактов, показывающих развитие Лескова-человека, Лескова-гражданина, Лескова-мыслителя, Андрей Лес-

ков неуклонно воплощает принцип сквозной проверки показаний источников, начиная с данных автобиографических, представленных самим писателем. Разыскания Лескова-сына внесли в Лесковиану важнейший вывод: подлинная биография отцом непрерывно беллетризуется. Литературное корректирование действительных событий проникает даже в наброски лесковских автобиографий. Вместе с тем Андрей Лесков, живший в сфере лесковского бытия, показывают густую насыщенность сочинений отца реальным автобиографическим элементом — от описания фамильной обстановки до сюжетного использования эпизодов лесковской жизни. Писатель поступал «беспощадно к самому себе», не однажды избирая «рабочей темой» то, что было «личной тяжелой драмой».

Благодаря исследовательской пристальности автором монографии вскрываются черты «эзопова языка», художественной мимикрии в общественно актуальных сюжетах неукротимого «ересиарха» — в исторической прозе, «Чертовых куклах», «Зимнем дне». Ему принадлежит возрождение внимания к несправедливо забытым либо неизвестным первоклассным произведениям писателя — «Железная воля», «Обнищеванцы», «Лорд Уоронцов». Андрей Лесков — последовательный и страстный защитник социально-критической линии лесковского реализма. Он вновь и вновь (и справедливо) настаивает на общей содержательности неоднородной лесковской публицистики... Неоценим вклад А. Н. Лескова в эвристику — датировку лесковских писем, заметок, атрибутирование анонимных статей, переводов, художественных произведений, корреспонденций, выявление целого списка псевдонимов, прототипов.

Сумма сведений, извлекаемых читателем книги «Жизнь Николая Лескова», огромна: писатель предстает в бесчисленных общественных, личных встречах и за рабочим столом; в поисках хлеба насущного и литературно-дипломатических состязаниях с редакциями, в странствиях по России, в единстве бытовой и творческой ипостасей личности.

Под пером сына-биографа писатель велик, но не идеален. Его мысль то мирообъемлюща, разяща, то не может выбиться из колеи очевидных самому художнику заблуждений, слабостей. Лесков героически стоек в защите гражданственных принципов служения обществу, но подчас неожиданно уступчив к отношениям с явно временными попутчиками. Его натура тяжела, но тот же Лесков отмечен даром видеть в человеке лучшее, ценить мгновения духовного роста...

Откровенный в своем рассказе, Лесков-младший ищет в мемуарном и документальном материале единую жизненную основу.

Иногда противоречия чересчур резки, и автор вынужден сознаваться в непостижности поступков отца. Однако его объяснения нигде не подменяются беллетризованными гаданиями.

Сын-биограф достигает при воспроизведении лесковский жизни и мысли поразительного эффекта присутствия, ибо собственное его мышление находится внутри того же самого, что был у отца, — только исторически продвинувшегося — речевого строя. Творчество сына опирается на фамильную общность словесной культуры. Подобно отцу, Андрей Лесков любит украшенность и игровое начало речи, любит патинировать современный слог путем воссоединения живых элементов языка с контрастной им архаикой, ценит непринужденность сказово-разговорных интонаций. И через стихию авторской речи становится осязаемой выразительнейшая черта лесковского духовного мира — его сопритяженность с завораживавшей писателя культурой Древней Руси и XVIII столетия, — сопритяженность, в полной мере унаследованная биографом-мемуаристом. Перед нами оригинальный писатель лесковской литературной школы.

* * *

Судьба летописца рода Лесковых складывалась, по его признанию, отнюдь не литераторски: «Полжизни — на лошади, пол — за письмом, штабным столом, всегда на трудных и сложных должностях...».

Родился Андрей Николаевич Лесков в Петербурге 12 июля 1866 года. Его матерью была киевлянка Екатерина Степановна Бубнова (урожденная Савицкая), разорвавшая отношения с первым супругом, когда она уже была матерью четверых детей. В 1865 году Бубнова вступила в гражданский союз с гостившим в Киеве у брата петербургским литератором Николаем Семеновичем Лесковым, и новая семья переехала в столицу.

Родившийся от второго брака сын был назван в честь легендарного апостола Андрея Первозванного: этим именем освящен растреллиевский собор в Киеве, особенно любимый Лесковым-отцом. Первые годы Дронушки Лескова прошли на Фурштатской улице вблизи запустелого тогда Таврического дворца в тихой части города («Форштадт» буквально и означает «предместье»). Прогулки в сопровождении бонны-француженки вблизи исторических памятников Петрополя, игры со старшими детьми в огромном, запущенном парке «полудержавпого властелина» екатерининского века были идиллической порой раннего детства.

Но мальчик подрастает, и вот крутой отец, более чем непоследовательный в воспитательных приемах, не уравновешенный в гневе и ласке, самолично принимается учить ребенка начальной грамоте. Часы над страницами первых книг обращаются в муку. Лишь с возрастом приходит отчетливое понимание того, что писатель склонен был привносить в семейный быт эмоции, порожденные далекими от обитателей Фурштатской общественными и литературными терзательствами.

Родительский союз разладился. Семья распалась. Одиннадцатилетним подростком Андрей остался наедине с отцом. Сохранившиеся письма Е. С. Бубновой доносят пронзительную боль матери от разлуки с сыном [1].

Близкие Лесковых видели семейную драму, и младший брат писателя Алексей Семенович скажет племяннику: «Особенно мне тяжело вспоминать твое исковерканное детство, издерганную юность с фальшивым отношением к родителям, с полным незнанием, как себя держать относительно одного, чтобы не понравилось это другому» [2].

Нет, в биографии отца Андрей Лесков не сводит запоздалые счеты: он повествует о жизни родного по крови и во многом ближайшего по духу человека, о жизни одного из крупнейших русских писателей с объективностью и достоинством академического ученого, вместе с тем сострадая мятущейся натуре художника, жившего поистине в свете молний, в непрестанной борьбе за признание истинности своих мысли и слова, и притом постоянно мучимого собственной мнительностью, взрывчатостью импульсивного характера, настроениями минуты. К прямоте и правдивости Андрея Лескова обязывало и понимание того, что перо биографа — перо историка.

Но в процессе труда Андрей Николаевич Лесков, хорошо помнивший не только доброе, подчас испытывал настоящие муки: «Книга моя меня изнуряет и угнетает: местами веет чем-то близким к карамазовщине. Я этого всегда страшился и не сумел этого обойти или припудрить». Работа «у меня вышла очень неакафистная...» [3].

---

[1] Письма Е. С. Бубновой к А. Н. Лескову от 8 октября 1880 г. и 14 августа 1882 г. (ИРЛИ, ф. 612, № 4).

[2] Письмо А. С. Лескова А. Н. Лескову от 12 мая 1903 г. (ИРЛИ, ф. 612, № 5).

[3] Письмо А. Н. Лескова В. Д. Бонч-Бруевичу 7 декабря 1933 г. (цит. по ст. Громова В. А. «О книге А. Н. Лескова» в изд.: Лесков А. Н. Жизнь Николая Лескова. Тула, 1981, с. 640); Письмо А. Н. Лескова Б. В. Варнеке от 19 июля 1934 г. (ОГМТ, ф. № 6494).

Из частной школы подросток поступил в третью военную гимназию. По ее окончании — Николаевский кадетский корпус, далее — Киевское пехотное училище, второе военное Константиновское училище... Он стал профессионалом-«воителем». Выйдя впервые в отставку накануне империалистической войны полковником, служил затем защите отечества в корпусе пограничной стражи и командовал бригадой однополченцев.

После Октябрьской революции Андрей Николаевич в канун 1918 года вернулся из провинции в Петроград, а с июля 1919 по конец 1931 года находился на штабной работе в советских вооруженных силах, составил «Инструкцию по охране северо-западных границ» (1923). С момента введения в Советской армии новых званий — в период Великой Отечественной войны — числился генерал-лейтенантом в отставке.

Годы службы заставили Андрея Лескова немало «действовать пером»[1]. Исподволь у него выработался тождественный научному навык работы с документами.

Андрей Лесков был замечен в своей незаурядности не только отцом, но и зоркими сторонними наблюдателями. Чехов, например, уловил в нем артистические способности. У сына явно были возможности для иного профессионального самопроявления. Недаром же в «Жизни Николая Лескова» нам открывается писатель природный — с богатейшим ощущением родного слова и острым аналитическим умом, даром психолога, с несомненным талантом сюжетного повествования.

* * *

Чувство ответственности за сохранение рукописей Лескова, в котором Андрей Николаевич видел не только отца, но русского художника в ранге классика, пришло к нему тотчас после смерти писателя. Все более рачительно относясь к собиранию лесковских биографических материалов и реликвий[2], к концу

---

[1] Одно из сравнительно ранних печатных свидетельств тому — составленная в соавторстве, ныне редчайшая книга: Лесков А., Николич Е. На границе и дома. Справочный календарь для низших чинов пограничной стражи на 1911 год. СПб., 1910.

[2] Крупной ошибкой была первоначальная продажа библиотеки Н. С. Лескова, с последующим неполным выкупом разошедшихся книг. Некоторые из них, в том числе древнерусские рукописи, и сейчас находятся у библиофилов.

20-х годов он имел право написать одному из исследователей, что «чтит память» Лескова-писателя «и серьезно работает над сбережением каждой его строки». Тем не менее на настойчивые побуждения написать воспоминания Андрей Николаевич не единожды отвечал: «Я всю жизнь прошел в тени, ревниво стараясь не пристегиваться к ни в чем лично не разделенным заслугам носимого имени. Не желаю выходить из нее и до конца дней». Поневоле, правда, Лесков-младший вынужден был реагировать на появление «воспоминательной дребедени г.г. Ясинских, Сувориных, Оболенских, Налимовых» и иных, чьи «имена ты, Господи, веси» [1]. По-видимому, этим объясняется сугубый лаконизм его первых мемуарных набросков [2]. И все же он исподволь стал готовиться к созданию обширной достоверно-документальной работы, представляя ее сначала свободной от личных мемуарных дополнений.

В двадцатые годы к Андрею Лескову обращаются за консультациями по биографии и творчеству отца маститые литературоведы А. И. Белецкий, Б. В. Варнеке, Л. П. Гроссман, П. П. Кудрявцев. Он снабжает их развернутыми библиографическими справками, комментарием к неопубликованным сочинениям, письмам Н. С. Лескова и его современников, бескорыстно делится находками. Взнос А. Лескова в хронику талантливого библиографа С. П. Шестерикова «Труды и дни Н. С. Лескова» составитель именовал «великокняжеским даром», благодаря за «каторжный труд» разыскания материалов «в газетном море». [3] Б. М. Эйхенбаум выражал признательность А. Н. Лескову за открытие бесподписного отклика отца на «Войну и мир» после шестидесятилетий забвения [4]. Б. В. Варнеке напишет: «Ваше внимание и щедрость подавляют меня. [5] Обмен найденными материалами и идеями будет интенсивно продолжен в 30-е годы [6]. 24 февраля 1931 года письмом В. Д. Бонч-Бруевичу Андрей Лесков констатировал: библиографы не объемлют «гл<авным> образом газетного

---

[1] ОГМТ, ф. 8385.

[2] Н. С. Лесков по воспоминаниям сына. — «Вестник литературы», 1920, № 4—5, 7.

[3] ОГМТ, ф. 8385.

[4] Эйхенбаум Б. М. Лев Толстой. Кн. 2. 60-е годы. Л., 1931. с. 415, 257, 258.

[5] ОГМТ, ф. 6528.

[6] Примечательно признание Лескова-младшего в его письме Б. М. Другову от 15 декабря 1940 г. о том, что он «с удовольствием пошел бы на составление... новой полной библиографии по Лескову с С. П. Шестериковым: «...он не сделал бы со мной, а я с ним многих ошибок, возможных в каждой единоличной работе» (ОГМТ, ф. 8251).

Лескова, представляющего из себя нечто сов<ершенно> неведомое, но чрезв<ычайно> интересное». И далее мечтательно говорил о выпуске когда-либо в будущем Полного академического собрания сочинений отца: «А в общем Л<есков> оставил не 36 «нивских» книжек, а добрых 70, а то и больше. А ведь неминуемо придется же идти к «академическому» его изданию во всей полноте его творчества!» [1] В. Д. Бонч-Бруевич ответил: «Я не сомневаюсь, что придет время, когда сочинения Лескова будут изданы совершенно академически» [2].

Из «Автобиографии» Андрея Лескова мы узнаем, что по окончательной отставке, вызванной «напряженной работой предыдущих лет», он 1 сентября 1932 года, когда ему «шел 67-й год <...>, сел за монографию» об отце, «располагая шестнадцатью тысячами записей в своих картотеках по Лескову». Письмо А. Н. Лескова профессору Б. В. Варнеке поясняет, до чего «копотко, и минутами мучительно скучно», заполнялись они «по возвращении поздними вечерами из библиотеки по сделанным выборкам или по домашним раскопкам», когда автор «и не мнил... еще садиться за повесть о днях и трудах «тайнодума» и «маловера». <...> Да, я, — заключал он, — без такой подготовки материала и не сел бы никогда за связную повесть о нем [3].

«Необозримая начитанность» отца побуждала Андрея Лескова всю жизнь к заочному соревнованию с ним, в результате чего сын становился подлинным книжным эрудитом. Например, его углубление в далекую от Лесковианы «отреченную», притом не только русскую, литературу, позволяло ему подчас с налету разрешать загадки, ставившие в тупик осведомленнейших библиофилов Б. М. Эйхенбаума и Ю. Н. Тынянова [4].

Глубина и разнообразие подготовительной работы для будущей книги вводит Андрея Лескова на переломе от 20-х к 30-м годам в полосу подведения итогов предварительного труда, что засвидетельствовано его письмами к М. Горькому.

Поистине младший Лесков готовился к делу с тщательностью умудренного генштабиста, обеспечивающего проведение решающей операции. Находящиеся ныне в Пушкинском Доме Академии Наук универсально-энциклопедические — в масштабах решающейся задачи — картотеки А. Н. Лескова, что создавались при ост-

---

[1] ОГМТ, ф. 34, оф. 8220/1.
[2] РО ГБЛ, ф. 369, к. 169, ед. хр. 20.
[3] ОГМТ, ф. 6529.
[4] ОГМТ, ф. 6534.

рой нехватке бумаги в стране (когда приходилось использовать для карточек в пол-осьмушку листа конторские книги, обложки тетрадей, фирменные бланки канувших в Лету учреждений типа Русско-азиатского банка), остаются и по сей день важнейшим научно-справочным пособием по Лескову-писателю. Они содержат сотни имен лиц, когда-либо упомянутых в сочинениях и статьях писателя или причастных к нему, включают сотни произведений, не отраженных дореволюционной библиографией, топографические реалии городов и местечек, где доводилось бывать Лескову, фиксируют своеобразные обороты речи — «лесковизмы», — и все с опорой на критически проверенные и перепроверенные перекрестные свидетельства архивов, журналистики, устные показания современников. На создание одной из капитальнейших в отечественном литературоведении мемуарно-синтетической монографии о русском классике XIX века (40 печатных листов — в первом отделанном варианте) Лесков-сын затратил три года.

«К осени 1935 года» книга «была почти написана, но, конечно, только «вдоль». Предстояло еще пройти ее «впоперек»... («Автобиография»). Однако уже письмо Горькому от 27 июля 1934 года содержало слова: «Мною закончена (кроме примечаний) большая монографическая работа о Лескове, оглав и вступление к которой, «оправдание» которой прилагаю» [1]. А это позволяет думать, что, помимо архива, картотеки, А. Н. Лесков располагал к 1932 году значительными сюжетными фрагментами-набросками.

В 1930 и 1933 годах Андрей Лесков — в связи с заботами о переводе накопленных им материалов лесковского архива на государственное хранение — не раз пишет Максиму Горькому, делится впечатлениями от новых изданий произведений отца, протестует против псевдонаучного уравнения Лескова-писателя «в литературном значении и политической идеологии с Крестовским» (это случилось на одной выставке Пушкинского Дома). Вскоре в альманахе «Год XVII» (1934), издававшемся под редакцией Горького, публикуется откомментированный А. Н. Лесковым рассказ отца «Административная грация», направленный против провокаций охранки. Публикация сильно бьет по однобокому представлению тех лет о Лескове-«реакционере».

Шестнадцатого сентября к М. Горькому в Тессели уходит пакет с отработанными главами монографии и общим планом ее со-

---

[1] Письма А. Н. Лескова М. Горькому цитируются по авторизованным копиям А. П. Лескова (*ОГМТ*).

держания. Из описи вложения известно, что посылались: «Оглавление и вступление», глава 15-я части 1-й — «Нянька Степанна», глава 3-я части 2-й — «Предел учености», глава 3-я части 3-й — «Несколько слов о личном характере», глава 8-я части 6-й — «Царство мысли», «Послесловие».

Прочитав фрагменты труда, М. Горький охарактеризовал их как «замечательно своеобразную работу <...> талантливейшего человека» и просил своего помощника по руководству Пушкинским Домом Академии Наук профессора В. А. Десницкого помочь скорейшему изданию монографии. Он выражал уверенность, что «мощи» Николая Лескова, «будучи вскрыты, окажут чудодейственное влияние на оздоровление русского языка, на ознакомление с его красотой и остротой, гибкостью и хитростью» [1].

В 1937 году читатели получили пять глав книги Андрея Лескова в журнале «Наш современник» (№ 3). Но после смерти Горького биографу пришлось столкнуться с препятствиями в издании труда: вступила в действие сила инерции, о коей некогда Андрей Лесков писал именно Горькому: старые оценки «Некуда», «На ножах» «не дают критикам 1930-х годов видеть Лескова последних двадцати лет его работы!»

Авторское кредо Андрея Лескова было гармонизовано по авторитетнейшим горьковским суждениям. В полную силу звучало в книге мнение Горького о том, что, собственно, вся писательская жизнь была потрачена Лесковым на создание «положительного типа русского человека», на показ «огромных людей, ищущих упрямо некоей всесветной правды». Труд Андрея Николаевича Лескова изначально опирался на «самозиждущую» концепционную основу, которой в череде лет предстояло все более внушительно упрочиваться в литературоведческой Лесковиане: это была концепция восприятия лесковского творчества в его главном содержании — то есть как выражения необратимых освободительно-демократических тенденций в русском литературном сознании второй половины XIX века.

Но на исходе 1930-х годов взгляд этот не всем представлялся понятным и убедительным. Лишь осенью 1940 года, через пять лет после прочтения глав книги М. Горьким, издательством «Советский писатель» было предпринято редактирование работы для выпуска ее в двух томах.

---

[1] Горький М. Собр. соч. в 30-ти томах, т. 30. М., 1956, с. 582.

Четвертого июня 1941 года А. Н. Лесков сообщил Б. В. Варнеке, что 1-й том книги подписан к печати: «Обещают, если не произойдет ничего «привходящего», — выпустить в октябре — ноябре» [1].

Непредвиденным «привходящим», отменившим все дискуссии по поводу издания книги, а вместе с тем похоронившим и ее самое, явилось грозное 22 июня 1941 года. Ровно через три месяца после нападения гитлеровской Германии на Советский Союз фашистская бомба, попавшая в издательство, уничтожает экземпляр рукописи, подготовленной к печати. Полный авторский экземпляр погибает в блокадные мартовские дни 1942 года.

Сохранился лишь авторский архив с подготовительными материалами и вариантами глав книги. И когда Андрея Лескова летом 1942 г. принудительно — в связи с преклонным возрастом — эвакуируют из осажденного Ленинграда, ему удается вывезти с собой драгоценные машинописи.

Должно быть, недаром этот старый седой человек прошел жизнь солдата. Горчайшая личная утрата — одна из многих миллионов утрат военной поры — не сломила его. Рушились города, но духовная культура — эта внутренняя опора человечества — должна была жить и одерживать победы над смертью и вандализмом. Не смирившись с жестокостью судьбы, восьмидесятилетний старец замышляет возродить свою погибшую работу.

В мае 1946 года собранную из вывезенных материалов и частью возобновленную рукопись читает С. Н. Дурылин. Высокообразованный исследователь и литератор, пытливо вникавший в сложности духовного мира Лескова еще в начале XX века, так оценивает труд: «превосходный реалистический многокрасочный портрет, а не черный силуэт или иконописный лик»; «уникальное знание семейной хроники Лесковых, превосходное знакомство с «трудами и днями» самого писателя, необыкновенно богатый запас личных сведений о людях, в разное время окружавших Лескова»; «как писатель сын Н. С. Лескова — достойный ученик своего отца» [2].

Вскоре Андрей Лесков снова в Ленинграде, и из его квар-

---

[1] *ОГМТ*, оф. 6549.

[2] Дурылин С. Н. Отзыв о сочинении А. Н. Лескова «Жизнь Николая Лескова по его личным, семейным и несемейным записям и памятям». 20 мая 1946 г. (копия) — ОГМТ.

тиры [1] по-прежнему видна Нева, Петропавловский — еще не освобожденный от маскировки и потому тусклый — шпиль, плавная дуга Троицкого моста. Пробираясь по знакомым улицам, где рос сам, где дышал и творил его отец, всматриваясь в руины зданий, он слышит отовсюду постукивание штукатурных мастерков и крики каменщиков. Непобежденный город начинал залечивать страшные рапы.

И старый человек «поостряет свое сердце мужеством»; недужно-усталый, он приводит мало-помалу «в рабочее состояние архив и библиотеку» [2], а там собирается с силами и для довершения заветного труда.

Чудо, в которое нелегко поверить, происходит. 23 февраля 1948 года Андрей Лесков передает издательству «Художественная литература» рукопись 1 тома монографии «Жизнь Николая Лескова». 2 том закончен в июне 1949 года. Новая редакция работы значительно превосходит в объеме первую: 54 авторских листа.

А 5 ноября 1953 года автора не стало.

Книга вышла посмертно.

Начиная свой синтетический труд, Андрей Николаевич Лесков задавался целью «дать достоверную повесть дней и трудов» «тайнодума», вручить читателю книгу как «ключ к разумению истины» о судьбе отца.

Автор не исчерпал материала, которым сполна владел: об этом говорит емкость его картотеки, включающей различные факты, не уместившиеся и в обширной монографии (впрочем, для освещения ряда наиболее сложных проблем время было еще впереди). Но он достиг главной цели, потому что имел «охранную грамоту» от соблазнов непрямоты и «обобщающей» невразумительности, кои типичны для «жуирующих и благоуспевающих» «скорохватов», умельцев складывать небылицы о чужой жизни. Этой «охранной грамотой» Лескову-сыну служил на всей длинной дороге повествования отцовский наказ писать «живую правду».

К тем, кто стремится быть верным этому наказу, — несмотря на неизбежные субъективные оценки и невольные промахи — победа — рано или поздно, но непременно — приходит.

Пришла она и к Андрею Лескову, и он, — пусть не дождавшись выхода книги, — все-таки остался победителем.

Поистине облегчением изнесся в финале труда вздох 84-летнего мемуариста: «Тяготевший на мне долг — выполнен».

---

[1] До июня 1939 г. А. Н. Лесков жил в Ленинграде на Кирочной ул., дом 5, кв. 6, а затем на Петровской набережной, д. 1/2, кв. 46.

[2] *ОГМТ,* оф. 8251.

...После прихода монографии к читателю об авторе стали писать. Журналисты, начинающие лесковеды пытливо расспрашивали о нем Анну Ивановну Лескову — жену, верную спутницу Лескова-младшего, свидетельницу и участницу трудов недюжинного человека: это она по несколько раз отпечатывала на старинном «ундервуде» его статьи, страницы огромной рукописи и копии неопубликованных произведений писателя с комментариями сына.

Расспросить об Андрее Николаевиче можно и сегодня литературоведов и библиотекарей старшего поколения. Они нарисуют портрет беспокойно-скорого в движениях статного пожилого интеллигента, со строгостью одежды и выправкой истинного генерала, с язвительной и породистой русской речью.

А на фотографии 1950-х годов седой человек, одетый в черную академическую шапочку, стоит возле полки с книгами.

Ал. Горелов

ЖИЗНЬ НИКОЛАЯ ЛЕСКОВА

ПО ЕГО ЛИЧНЫМ, СЕМЕЙНЫМ И НЕСЕМЕЙНЫМ ЗАПИСЯМ И ПАМЯТЯМ

ЧАСТИ ПЕРВАЯ—ЧЕТВЕРТАЯ

ВСТУПЛЕНИЕ

> Мертвому тимпан — не погудка.
>
> *Пословица*

> On ne doit que la verité aux morts.
>
> *Voltaire* *[1]

> Можно сделать правду столь же, даже более занимательной, чем вымысел.
>
> *Л. Толстой*
> (Письмо к Лескову
> 10 декабря 1893 г.)[2]

«На похоронах моих прошу никаких речей обо мне не говорить. Я знаю, что во мне было очень много дурного и что я никаких похвал и сожалений не заслуживаю. Кто захочет порицать меня, тот должен знать, что я и сам себя порицал»[3].

Вволю натерпевшийся от критики, Лесков, за два года до своей смерти, такими словами своей «посмертной просьбы» положил запрет на какие-либо о себе суждения над открытой его могилой.

23 февраля (7 марта) 1895 года, в ранние сумерки мягкого, полувесенного петербургского дня, погребе-

* Ничего, кроме правды, о мертвых. *Вольтер* (*фр.*).

ние совершилось в заповеданной покойным немоте и ничем, благодаря ей, не нарушенной сосредоточенности.

Дальше все потекло чредою общей: по мере того как оседала могила писателя, росли разноречивые, нередко злоречивые, критические о нем отзывы и умозаключения, а попутно множились и во многом недостоверные «воспоминания».

Помимо вольных или невольных импровизаций в области якобы непосредственно личных воспоминаний или существенных биографических неверностей в них допускалось неряшливое цитирование его статей и, порою даже преднамеренное, искажение и перекраивание текста его писем *[4].

Эти легковесные изделия всегда заставляли с горечью вспоминать нарочито злую на сей предмет сентенцию, приписываемую остромысленному Риваролю:[5]

«Самая ужасная вещь для умерших писателей — воспоминания о них так называемых друзей и поклонников».

Само становится рядом, столетием позднейшее, речение и нашего отечественного острослова — А. Ф. Писемского:

«Умереть я не боюсь: боюсь того, что какой-нибудь щелкопер немедленно напишет обо мне в газетах биографическую статейку, наврет в ней с три короба, да еще деньги за нее получит».

Из многого, писанного о Лескове в послереволюционное время, самой яркой и проникновенной является вводная статья к изданию его произведений (1923 г.), в которой Горький называет его «волшебником слова», «достойным встать рядом с такими творцами литературы русской, каковы Л. Толстой, Гоголь, Тургенев, Гончаров», немногим уступающим «таланту любого из названных творцов священного писания о русской земле»; «а широтою охвата явлений жизни, глубиною понимания бытовых загадок ее, тонким знанием великорусского языка,

---

* Этим особенно грешат публикации А. И. Фаресова, а отчасти и Л. И. Веселитской (В. Микулич).

он, нередко, превышает названных предшественников и соратников своих» *[6].

В области «воспоминаний», как водится, со дня смерти писателя нагромождено (и до недавних лет продолжало нагромождаться) немало, мягко сказать, бессодержательного, сомнительного и даже заведомо ложного (А. Алтаев, В. Русаков, Н. Козьмин; неопубликованные — Е. И. Борхсениус и многие другие) [7].

Этим повелительно ставится задача: дать *достоверное* для тщетно пока ожидаемого полноценного критико-исследовательского труда о Лескове.

Я знаю, что в некоторых отраслях полнее меня этого дать уже некому. Но я знаю и всегда знал также и то, как трудна и тяжела такая задача для близких большинства крупных, а с тем и сложных, людей.

«Сладок будешь — расклюют, горек будешь — расплюют», — говорила бабушка Лескова, Акилина Васильевна Алферьева.

Умильная иконопись не даст «ключа к разумению истины», по самой природе своей — жестокой и суровой.

Как же быть? А сделать что-то надо, давно пора. И времени впереди уже не избыточно: надо спешить, а то и не успеешь...

Кто же тогда, кто другой даст то, что, при большом насилии над собой, идя против многих канонов и держась только правды, какова бы она ни была, могу дать я — проживший с Лесковым двадцать лет нераздельно и еще восемь в постоянной близости к нему? И разве крупные люди в долготу дней принадлежат семье?

Итак, покорствую и иду на трудный искус: вместо бездоказательной «воспоминательной» трухи — дать достоверную повесть *дней и трудов* «тайнодума», «рассказ которого одухотворенная песнь» [8].

Начатые в июльской книжке «Вестника Европы» 1893 года воспоминания А. И. Фаресова об А. Н. Энгельгардте вызвали гневные указания Лескова их автору:

---

* См. также: Горький М. Несобранные литературно-критические статьи. М., 1941, с. 91.

«Статья напоминает блюдо, которое, как говорят, невкусно подано» (2 июля)[9].

«Повторяю вам: написать очерк характерного лица — дело очень трудное и мастеровитое» (7 июля)[10].

«Мастеровитые» очерки — дело писательское. Мое — дать то, что, «тлена убежав», может облегчить познание Лескова.

В своей биографической мозаике я буду, помимо своей памяти, широко пользоваться хранимыми мною семейными документами, письмами, заметками и даже некоторыми нескупо рассыпанными в произведениях Лескова данными, но исключительно только такими из них, в которых автобиографическая суть ни в чем и ни в какой мере не подчинена беллетристическим целям.

7 декабря 1890 года Лесков прочел в № 5308 «Нового времени» сравнительно умеренно хвалебный некролог скончавшемуся накануне Г. П. Данилевскому.

Не помню — в тот же или в другой ближайший день автор этого некролога, «милейший» и «обязательнейший» П. В. Быков, появился, при мне и других, в кабинете Лескова.

Дружески приветствовав гостя, хозяин исподволь перешел к суровым ему укорам за приукрашение в газетной поминке литературных заслуг и общечеловеческих достоинств умершего.

— Да ведь это же в некрологе, Николай Семенович!

— А в некрологах надо непременно говорить неправду?

— «Aut bene, aut nihil!» *

— В обоих случаях, следовательно, — лгать?

— Но другого же правила нет, Николай Семенович...

— Как нет? — мягко вмешался в угрожавший обостриться диалог «нарочито-искательный мелодии» В. Л. Величко. — Есть, и очень красивое и звучное, но почему-то никогда не вспоминаемое: «De mortuis — veritas!» **

---

* Или хорошо, или ничего (*лат.*).

** О мертвых — правду (*лат.*).

— Прекрасное правило! — воскликнул Лесков. — Вместо пошлой, приевшейся лжи — живая правда! Ведь только она, может быть, могла бы на что-нибудь пригодиться... Только страх перед нею мог бы поостеречь и поудержать ото многого кое-кого из жуирующих и благоуспевающих!

Беру этот горячий восклик себе в наказ и постараюсь его не нарушить.

Ленинград, сентябрь, 1932 г.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

ИЗ СЕМЕЙНОЙ СТАРИНЫ

Но смерть не все взяла.
Средь этих урн и плит
Неизгладимый след
Минувшего таится.

Апухтин[1]

ГЛАВА 1

АВТОБИОГРАФИЧЕСКИЕ НАБРОСКИ

«Говорить о себе — тонкое искусство, я не обладаю им» [2], — сказал Горький *.

На самом деле он в совершенстве обладал этим искусством, при завидной к тому же решимости быть искренним.

При таком счастливом сочетании таланта и мужества становятся возможными достоверные дневники, автобиографии, записи — словом, все виды личных показаний.

По натуре «тайнодум», Лесков не вел дневников, не делал келейных записей. Это ему было не по духу...

Десятки лет он не останавливался на мысли о необходимости дать личное жизнеописание, разбрасывая в своих произведениях много автобиографичного, но почти всегда с творческой вольностью.

Беллетрист до мозга костей, он предпочитал художественность летописной точности.

С годами, в заботе о предотвращении слишком грубых погрешностей в будущих своих биографиях, он стал давать скупые и малоговорящие схемки своей жизни, проходившие в печать или остававшиеся у кого-нибудь на руках. Дальше дело не шло.

Но вот, в конце 1885 года, он решает набросать «автобиографическую заметку», которой, хотя бегло, очеркнуть свою жизнь.

Увы, писание ее неизбежно заслоняется задачами текущих дней.

---

* «Заметки из дневника». Собр. соч., т. X, 1947, с. 203.

После смерти Лескова, через его душеприказчика, она среди прочего поступает в издательство А. Ф. Маркса [3]. Судьба автографа не ясна. По-видимому, он утрачен.

К счастью, около тридцати лет назад покойный А. А. Измайлов, имевший доступ к архиву этого издательства, хотя и вразнобивку и вперемежку с другими данными, не всегда четко, вводит ее в писавшуюся им работу — «Лесков и его время» [4].

Этим спасается драгоценнейший литературный документ, хотя, видимо, далеко не полностью.

Всем однородным, хотя бы и самым кратким, показаниям писателя о самом себе безраздельно предоставляется первая глава настоящего, первого, опыта возможно более полного и шире подтверждаемого описания «дней и трудов» Лескова.

Здесь говорит о Лескове только он сам.

«АВТОБИОГРАФИЧЕСКАЯ ЗАМЕТКА»

Под давлением неодолимой скуки, которую ощущаю и с которой бесплодно борюся с осени 1881 г., хочу набросать кое-что на память о моей личности, если она может кого-нибудь занимать. Заметки эти могут быть интересны в том отношении, что покажут в моем лице, какие не приготовленные к литературе люди [5] могли в мое время получать хотя скромное, но все-таки не самое ничтожное место среди литературных деятелей моей поры. А это, мне кажется, стоит внимания.

По происхождению я принадлежу к потомственному дворянству Орловской губернии, но дворянство наше, молодое и незначительное, приобретено моим отцом по чину коллежского асессора. Род наш собственно происходит из духовенства, и тут за ним есть своего рода почетная линия. Мой дед, священник Димитрий Лесков, и его отец, дед и прадед, все были священниками в селе Лесках, которое находится в Карачевском или Трубчевском уезде Орловской губернии. От этого села «Лески» * и вышла наша родовая фамилия — Лесковы.

---

* По «Историческому описанию церквей, приходов и монастырей Орловской епархии», изд. Орловского церковно-исторического общества, 1905 г., колыбель лесковского рода село Лески стоит на речке Колохве, впадающей в реку Навлю. Оно терялось и дремучих лесах Карачевского уезда, в 80 верстах от Орла и в 35 от Карачева. Ныне в 30 километрах от станции Брасово Московско-Киевской ж. д. — *А. Л.*

Я никогда не бывал в этом селе и затрудняюсь с точностью определить его положение, но знаю, что оно в лесной полосе Орловской губернии, именно в Трубчевском или Карачевском уезде, где-то неподалеку от большого села Брасова, о котором я в детстве слыхал рассказы тетки моей, вдовой попадьи Пелагеи Дмитриевны.

Полагаю, что Лески было село бедное [6], потому что во всех воспоминаниях тетки об ее детстве и детстве моего отца главным образом всегда упоминалось о бедности и честности деда моего, священника Дмитрия Лескова.

Отец мой, Семен Дмитриевич Лесков, «не пошел в попы», а пресек свою духовную карьеру тотчас же по окончании курса наук в Севской семинарии. Это, говорили, будто очень огорчило деда и едва ли не свело его в могилу. Огорчение имело тем большее место, что места сдать было некому, потому что другой брат моего отца, а мой дядя, был убит в каком-то семинарском побоище и из-за какого-то ничтожного повода. Но отец мой был непреклонен в своих намерениях и ни за что не хотел надеть рясы, к которой всегда чувствовал неодолимое отвращение, хотя был человек очень хорошо богословски образованный и истинно религиозный. Место было передано «зятю», то есть мужу матушки Пелагеи Дмитриевны, который вскоре умер, и Левитский [7] род Лесковых в селе Лесках пресекся, но зато появился Лесков в орловском приказничестве.

Выгнанный дедом из дома за отказ идти в духовное звание, отец мой бежал в Орел с сорока копейками меди, которые подала ему его покойная мать «через задние ворота».

Гнев деда был так велик, что он выгнал отца буквально безо всего, даже без куска хлеба за пазухой халата.

С сорока копейками отец пришел в Орел и «из-за хлеба» был взят в дом местного помещика Хлопова, у которого учил детей, и, должно быть, успешно, потому что от Хлопова его «переманул» к себе помещик Михаил Андреевич Страхов, служивший тогда орловским уездным предводителем дворянства. Тут отец опять учил детей в семье бежавших из Москвы от французов Алферьевых и получал уже какую-то плату — вероятно, очень ничтожную. Но замечательно, что в числе его

маленьких учениц была одна, которая потом стала его женою, а моею матерью.

На месте учителя в доме Страховых отец обратил на себя внимание своим прекрасным умом и честностью, которая составляла отменную черту всей его многострадальной жизни. Из учителей его упросили поступить на службу делопроизводителем дворянской опеки, — чем он и был, — не могу сказать, долго или коротко. Честность и ум отца обратили на него внимание кого-то из образованных орловских дворян, если не ошибаюсь, Сомова или Болотова, которые уговорили его ехать на службу в Петербург и дали ему для этого средства.

Здесь он служил недолго, где-то по министерству финансов, и был отправлен на Кавказ для ведения каких-то «винных операций». По собственным его рассказам, это было место такое «доходное», что на нем можно было «нажить сколько хочешь». Это же самое подтверждали его орловские приятели Тимонов и Богословский и другие, часто говорившие о «глупом бессребреничестве» моего отца. О том же свидетельствовали многие письма, оставшиеся после его смерти, последовавшей в 1848 году. Но отец мой при кавказских «винных операциях» не нажил ничего, кроме пяти тысяч ассигнациями, которые получил в награду при оставлении им этого места в 1830 году.

В 1830 году с этими маленькими деньгами он приехал в Орел, встретил мою мать шестнадцатилетней девушкой, влюбился в нее и женился на ней, получив за нею в «обещание» приданое тоже в пять тысяч рублей — тоже, разумеется, ассигнациями.

Таким образом у них составилось десять тысяч (около 3000 рублей серебром), из которых, впрочем, в руках была только отцовская половина, а материнская оставалась «в обещании» за Страховым, у которого дед мой, с материной стороны, служил управителем имений, а Страхов считался «благодетелем» семьи Алферьевых.

Я родился 4 февраля 1831 года Орловского уезда в селе Горохове, где жила моя бабушка, у которой на ту пору гостила моя мать. Это было прекрасное, тогда весьма благоустроенное и богатое имение, где жили по-барски. Оно принадлежало Михаилу Андреевичу Страхову и ныне еще находится в его роде. Семья была большая, и жилось на широкую ногу, даже с роскошью.

В Орле отца избрали заседателем от дворянства в орловскую уголовную палату [8], где он скоро стал заметен умом и твердостью убеждений, из-за чего наживал себе очень много врагов. Я даже помню дела каких-то Юшковых, Игиных и Желудковых, которые, говорили, «пахли сотнями тысяч» и решались сенатом «по разногласию» в духе особых мнений моего отца, несогласных с мнениями всей палаты. Притом отец был превосходный следователь и, по тогдашним обычаям, был часто командируем для важных следствий в разные города, и особенно долго жил в Ельце, где им раскрыто весьма запутанное уголовное дело, производившееся по *высочайшему* повелению.

Я помню, как мы с матерью ездили к нему в Елец и как мать мою какие-то люди старались впутать в это дело с тем, чтобы подкупить отца очень большою суммою (30 тысяч). Отец об этом узнал и выпроводил мать в Орел, а сам остался в Ельце и довел дело до открытия тайн, разоблачивших самое возмутительное преступление.

После этого он имел какое-то неприятное столкновение с губернатором Кочубеем (кажется, Аркадием Васильевичем) [9], в угоду которому при следующих выборах остался без места, как «человек крутой».

От отца требовали какой-то уступки губернатору, которую он будто бы мог оказать в виде вежливости, съездив к нему с визитом. Я помню, как несколько дворян приезжали его к этому склонить, но он додержал свою репутацию «крутого человека» и не поехал, а дворяне не нашли возможным его баллотировать.

Тогда мы оставили наш орловский домик, помещавшийся на 3-й Дворянской улице [10], продали все в городе [11] и купили 50 душ крестьян у генерала А. И. Кривцова, в Кромском уезде.

Покупка была сделана не на наличные деньги, а в значительной степени в долг [12], — именно в надежде на пять тысяч материнского приданого, все еще оставшегося «в обещании». Оно так и не было никогда отдано, а купленная отцом деревенька поступила за долг в продажу, мы и остались при одном маленьком хуторе Панино, где была водяная мельница с толчеею, сад, два двора крестьян и около 40 десятин земли.

Все это при самом усиленном хозяйстве могло давать в год около 200—300 рублей дохода, и на это надо

было жить отцу и матери и воспитывать нас, детей, которых тогда было семеро, в числе их я был самый старший.

Неудачи сломили «крутого человека», и отец хотя не сделал ни одной уступки и никому ни на что не жаловался, но захандрил и стал очевидно слабеть и опускаться.

Жили мы в крошечном домике, который состоял из одного большого крестьянского сруба, оштукатуренного внутри и покрытого соломой.

Отец сам ходил сеять на поле, сам смотрел за садом и за мельницей и при этом постоянно читал, но хозяйство у него шло плохо, потому что это совсем было не его дело. Он был человек умный, и ему нужна была живая, умственная жизнь, а не маленькое однодворческое хозяйство, в котором не к чему было приложить рук. Меня в это время отвезли в Орел и определили в первый класс Орловской гимназии.

Религиозность во мне была с детства, и притом довольно счастливая, то есть такая, какая рано начала во мне мирить веру с рассудком. Я думаю, что и тут многим обязан отцу. Матушка была тоже религиозна, но чисто церковным образом, — она читала дома акафисты и каждое первое число служила молебны и наблюдала, какие это имеет последствия в обстоятельствах жизни. Отец ей не мешал верить, как она хочет, но сам ездил в церковь редко и не исполнял никаких обрядов, кроме исповеди и святого причастия, о котором я, однако, знал, что он думал. Кажется, что он «творил сие в его (Христа) воспоминание». Ко всем прочим обрядам он относился с нетерпеливостью и, умирая, завещал «не служить по нему панихид». Вообще он не верил в адвокатуру * ни живых, ни умерших и, при желании матери ездить на поклонение чудотворным иконам и мощам, относился ко всему этому пренебрежительно. Чудес не любил и разговоры о них считал пустыми и вредными, по подолгу маливался ночью перед греческого письма иконою Спаса Нерукотворенного и, гуляя, любил петь: «Помощник и покровитель» и «Волною морскою» **.

---

* Подразумеваются «моленные предстательства» духовенства или святых перед богом. — *А. Л.*

** Духовное песнопение. — *А. Л.* [13].

Он, несомненно, был верующий и христианин, но если бы его взять поэкзаменовать по катехизису Филарета [14], то едва ли можно было его признать православным, и он, я думаю, этого бы не испугался и не стал бы оспаривать.

В деревне я жил на полной свободе, которой пользовался как хотел. Сверстниками моими были крестьянские дети, с которыми я и жил и сживался душа в душу. Простонародный быт я знал до мельчайших подробностей и до мельчайших же оттенков понимал, как к нему относятся из большого барского дома, из нашего «мелкопоместного курничка», из постоялого двора и с поповки. А потому, когда мне привелось впервые прочесть «Записки охотника» И. С. Тургенева, я весь задрожал от правды представлений и сразу понял: чт*о* называется искусством [15]. Все же прочее, кроме еще одного Островского [16], — мне казалось деланным и неверным. Самый Писемский мне не нравился [17], а публицистических рацей о том, что народ надо изучать, я вовсе не понимал и теперь не понимаю. Народ просто надо знать, как самую свою жизнь, не штудируя ее, а живучи ею. Я, слава богу, так и знал его, то есть народ, — знал с детства и без всяких натуг и стараний; а если я его не всегда умел изображать, то это так и надо относить к неумению.

За М. А. Страховым была замужем родная сестра моей матери Наталия Петровна, большая красавица, которую старик муж ревновал самым чудовищным и самым недостойным образом к кому попало. Это был человек невоспитанный, деспотический и, кажется, немножко помешанный: он был старше моей тетки лет на сорок и спал с нею, привязывая ее иногда за ногу к ножке своей двуспальной кровати.

Страдания тетки были предметом всеобщего сожаления, но ни отец, ни мать и никто другой не смели за нее заступиться.

Это были первые мои детские впечатления, и впечатления ужасные, — я думаю, что они еще начали развивать во мне ту мучительную нервность, от которой я страдал всю мою жизнь и наделал в ней много неоправдываемых глупостей и грубостей.

Плодом супружества Страхова и моей тетки было шесть человек детей — три дочери и три сына, из кото-

рых двое были немного меня старше, а третий ровесник. И так как для их воспитания в доме были русский и немецкий учители и француженка, а мои родители ничего такого держать для меня не могли, то я жил у Страховых почти до восьми лет, и это послужило мне в пользу; я был хорошо выдержан, то есть умел себя вести в обществе прилично, не дичился людей и имел пристойные манеры — вежливо отвечал, пристойно кланялся и рано болтал по-французски.

Но зато рядом с этими благоприятностями для моего воспитания в душу мою вкрались и некоторые неблагоприятности: я рано почувствовал уколы самолюбия и гордости, в которых у меня выразилось большое сходство с отцом. Я был одарен, несомненно, б*о*льшими способностями, чем мои двоюродные братья, и что тем доставалось в науках с трудностями, то мне шло нипочем. Немецкий учитель Кольберг имел неосторожность поставить это однажды на вид тетке, и я стал замечать, что мои успехи были ей неприятны.

Это во мне зародило подозрение, что я тут не на своем месте, и вскоре пустое обстоятельство это решило так, что меня должны были отсюда взять.

Страхов умер в Москве, куда тетушка повезла его лечить и не вылечила...

Он там схоронен на Ваганьковом кладбище. Тетушка возвратилась в Горохово и стала входить ближе в хозяйство и в воспитание детей. Тогда же в доме появился в качестве опекуна ее соседний помещик Н. Е. Афросимов, невероятный силач и невероятный циник, которого за это последнее терпеть не мог мой отец. Афросимов это знал и платил ему тем же. Отец мой в его глазах был «неуклюжий семинарист».

О силе Афросимова у нас ходил такой анекдот, будто в двенадцатом году на небольшой отряд, с которым он был послан на какую-то рекогносцировку, наскакали два французских офицера. Афросимов не приказал солдатам защищаться, а когда французы подскакали к нему с поднятыми саблями, он одним ловким ударом выбил у них эти сабли, а потом схватил их за шиворотки, поднял с седел, стукнул лоб о лоб и бросил на землю с разбитыми черепами [18].

Не знаю, сколько в этом рассказе правды, но ему все верили, и Н. Е. пользовался большим уважением в дво-

рянстве, предводитель которого и вверил ему страховскую опеку *.

Во мне он невзлюбил «семинарское отродье» и на первых же порах нанес мне тяжкую обиду, которая теперь мне смешна, но тогда казалась непереносимою.

Дело в том, что по докладу неосторожного, но честного Кольберга меня за благонравие и успехи хотели «поощрить». Для этого раз вечером собрали в гостиную всех детей. Это было в какой-то праздник, и в доме случилось много гостей с детьми почти равного возраста. Н. Е. держал ко всем нам речь, в которой упомянул о моих добрых свойствах и заключил тем, что мне за это дадут похвальный лист. Тут же был и этот лист, перевязанный розовой ленточкой.

Мне велели подойти к столу и получить присужденную мне семейным советом награду, что я и исполнил, сильно конфузясь, тем более что замечал какие-то неодобрительные усмешки у старших, а также и у некоторых детей, коим, очевидно, была известна затеянная против меня злая шутка.

Вместо похвального листа мне дали объявление об оподельдоке, что я заметил уже только тогда, когда развернул лист и уронил его при общем хохоте.

Эта шутка возмутила мою детскую душу, и я не спал всю ночь, поминутно вскакивая и спрашивая, «за что, за что меня обидели?».

С тех пор я ни за что не хотел оставаться у Страховых и просил бабушку написать отцу, чтобы меня взяли. Так и было сделано, и я стал жить в нашей бедной хибарке, считая себя необыкновенно счастливым, что вырвался из большого дома, где был обижен без всякой с моей стороны вины.

Но зато, однако, мне негде было более учиться, и и снова теперь возвращаюсь к тому, что меня отвезли в Орловскую гимназию.

Я был помещен на квартире у некоей Аксиньи Матвеевны, которой за весь мой пансион платили 15 р. ас-

---

* Баснословие это, вложенное в уста бабки Акилины Васильевны («Из одного дорожного дневника». — «Северная пчела», 1862, № 351), нашло себе применение в гл. 82 «Смеха и горя» и в неопубликованном еще рассказе «Пчелка» из цикла «Картины прошлого», 1883 (Центральный государственный литературный архив, Москва; в дальнейшем цитируется сокращенно: *ЦГЛА*). — *А. Л.*

сигнациями (4 р. 30 коп.) в месяц. За что я имел комнату с двумя окнами на Оку, обед, ужин, чай и прислугу. Теперь невероятно, а тогда это было можно [19].

Я скучал ужасно, но учился хорошо, хотя гимназия, подпавшая в то время управлению директора Ал. Як. Кронеберга, велась из рук вон дурно. Кто нас учил и как нас учили — об этом смешно и вспомнить. В числе наших учителей был один, Вас. Ал. Функендорф[20]. который часто приходил в пьяном бешенстве и то засыпал, склоня голову на стол, то вскакивал с линейкой в руках и бегал по классу, колотя нас кого попало и по какому попало месту. Одному ученику, кажется Яковлеву, он ребром линейки отсек ухо, как рабу некоему Малху [21], и это никого не удивляло и не возмущало.

Ездил я домой в год три раза: на летние каникулы, на святки и на страстной неделе с пасхою. При этой последней побывке мы с отцом всегда вместе говели, — что мне доставляло особенное удовольствие, так как в это время бывает распутица и мы ездили в церковь верхом».

Здесь последовательное приведение текста Лескова стало. Дальше Измайлов лишь местами дает нечеткую ссылку на, должно быть, существовавшие еще какие-то ее страницы.

В одной из дальнейших глав своей работы Измайлов приводит, например, такое многозначительное авторское показание:

«Из рассказов тетки <Пелагеи Дмитриевны. — *А. Л.*> я почерпнул первые идеи для написанного мною романа «Соборяне», где в лице протоиерея Савелия Туберозова старался изобразить моего деда <Димитрия Лескова. — *А. Л.*>, который, однако, на самом деле был гораздо проще Савелия, но напоминал его по характеру».

Эти «однако», «на самом деле», не более как «напоминал» — подтверждают призрачность большой близости этих двух фигур: «министра юстиции», старогородского протопопа Савелия, и сельского, хотя бы. и «многоумного», иерея Димитрия.

Была ли «заметка» доведена до литераторских лет вообще и до писания «Соборян» в частности?

Вернее представляется, что о «Чающих движения воды», «Божедомах» и «Старогородцах» (они же «Соборяне») помянулось в ней — в ее начале — при описании чего-то еще трубчевски-лесковского. Беллетриста по натуре томило слишком точное, а с тем и суховатое повествование. Задача вязала руки. Оставалось положить перо летописца, чтобы возвратиться в привычную область творчества.

Коротенькое пояснение к самой автобиографической заметке: открывающее ее заявление о неодолимой скуке, ощущаемой с осени 1881 года, и о бесплодности борьбы с нею вызывает две догадки, не притязающие на безусловное их принятие, но невольно напрашивающиеся.

Осенью 1881 года в жизни Лескова ничего, что могло бы быть сопоставлено с тоном этого вступления, не произошло. Тут явная ошибка памяти. В марте 1882 года из его жизненной орбиты вышла, очень скромного общественного положения, женщина, роли которой будет отведено определенное внимание в своем месте. Допустимо предположение, что заметка могла первоначально набрасываться весной 1882 же года. Ощущение потери могло обостриться после ряда домашних неустройств, особенно досадительно сказавшихся осенью 1885 года, когда и я оказался отдаленным от отца, оставшегося, по собственному его решению, совершенно одиноким. Тогда дата заметки легче всего относится к этой осени.

Вторая догадка более отвлеченная, но непраздная. Жалобы на грусть искони в натуре человеческой. Ею полны бывают дружеские письма, еще больше стихи, как и прозаические произведения. В грусти есть много красивого. Это хорошая сдобь для многих произведений и, конечно, всего больше для воспоминаний о былом и невозвратно прошедшем... Годится и в других случаях. Вот, например, как начаты Лесковым, как нельзя более острые, его «пейзаж и жанр» или «наблюдения, опыты и приключения»: «...Я был грустно настроен и очень скучал» («Полунощники»); «По одному грустному случаю я в течение довольно долгого времени...» («Заячий ремиз»). Почему возможность применения такого же приема должна быть исключена и в вопросе об автобиографической заметке?

Из упомянутых выше кратких автобиографических

справок всех шире опубликована переданная самим писателем, видимо в начале 1890 года, секретарю редакции журнала «Живописное обозрение», В. Г. Швецову, под заглавием:

«ЗАМЕТКА О СЕБЕ САМОМ»

Николай Семенович Лесков. Происходит из дворян Орловской губернии. Родился 4 февраля 1831 года в селе Горохове, Орловского уезда. Детство провел в с. Панине, Орловской губернии, Кромского уезда. Обучался в Орловской гимназии. Осиротел на 16-м году и остался совершенно беспомощным. Ничтожное имущество, какое осталось от отца, погибло в огне [22]. Это было время знаменитых орловских пожаров. Это же положило предел и правильному продолжению учености. Затем — самоучка.

Служил непродолжительное время в гражданской службе, где положение сблизило Лескова с покойным Ст. Ст. Громекой. Сближение это имело решительное значение в дальнейшей судьбе Лескова. Пример Громеки, оставившего свою казенную должность и перешедшего в Русское общество пароходства и торговли, послужил к тому, что и Лесков сделал то же самое: поступил на коммерческую службу, которая требовала беспрестанных разъездов в иногда удерживала его в самых глухих захолустьях. Он изъездил Россию в самых разнообразных направлениях, и это дало ему большое обилие впечатлений и запас бытовых сведений. Письма, писанные из разных мест к одному родственнику, жившему в Пензенской губернии (А. Я. Шкотту), заинтересовали Селиванова *, который стал их спрашивать, читать и находил их «достойными печати», а в авторе их пророчил «писателя» [23].

Писательство началось случайно. В него увлекли Лескова сначала профессор Киевского университета, доктор Вальтер [24], убедивший Лескова написать фельетон для «Современной медицины», а решительное закабаление Лескова в литературу произвели опять тот же Громека [25] и Дудышкин с А. А. Краевским. С тех пор все и пишем.

---

* О Ф. И. Селиванове см. ч. II, гл. 8.

В мае или июне 1890 г. этому писанию совершится 30 лет. Беллетристические способности усмотрел и поддерживал или поощрял Апполон Григорьев[26].

Верно: *Н. Лесков».*

Близок к этой «заметке» и, пожалуй, несколько интересней нигде еще не опубликованный, видимо черновой, к концу скомканный, собственноручный набросок Лескова, подаренный им библиографу его произведений, П. В. Быкову, должно быть в 1889—1890 годах:

«Из дворян Орловской губернии.

Отец Семен Димитриевич Лесков. Мать Марья Петровна из рода Алферьевых. Родился 4 февр. 1831 г. в селе Горохове, принадлежавшем дяде Н. С—ча Лескова — Михаилу Андреевичу Страхову, имевшему в свое время очень видное положение среди орловского дворянства. Первоначальное воспитание получил в этом богатом доме вместе со своими двоюродными братьями, для которых содержались в деревне хорошие русские и иностранные учителя; потом был отдан в Орловскую гимназию, во время пребывания в которой отец его умер[27] и семья подверглась бедственному разорению. Все сгорело, и Н. С—ча взял к себе в Киев брат его матери, профессор Киевского университета, доктор медицины Сергей Петрович Алферьев в 1849 г.[28] Здесь Н. С. продолжал свое образование под особым дружественным руководительством профессора Игнатия Федоровича Якубовского[29], который был увлечен даровитостью своего ученика и занимался им с большой любовью. Тетка Н. С—ча, Александра Петровна Алферьева, вышла замуж за англичанина Шкотта, который управлял большими имениями Нарышкиных и Перовских — переводил крестьян из густонаселенных имений в степи волжского понизовья. Шкотт увлек Н. С. к себе, где он близко увидел *народ* в самых...

В юности на него имели влияние: профессора Савва Осипович Богородский[30], Игнатий Федорович Якубовский и известный статистик-аболиционист[31] Дмитрий Петрович Журавский[32], потом позже Шкотт (англичанин радикал). По письмам к Шкотту Лескова узнал *Селиванов* и любил читать его письма. В литераторство Лескова втравили профессор Киевского университета Александр Петрович Вальтер, Николай Илларионович

Козлов[33] и Степан Степанович Громека — свели Л—ва с Краевским и Дудышкиным и настояли, чтобы он «писал». Платили скудно: за романы и повести по 50 р. («Овцебык», «Обойденные»). За «Некуда» почти ничего не заплачено. Гонорар Л—ву весь возвысил Катков, начавший платить ему по 150 р. («Соборяне» и «Запечатленный ангел»), а позже по 200 р.

В Петербург приехал в тот год ноября [?] [34].

«Очерки винокуренной промышленности» *.

Известны еще более краткие заметки, данные А. Н. Толиверовой-Пешковой **, П. И. Вейнбергу *** и т. д.

Как в большинстве личных биографических свидетельств, многое не бесспорно в них и у Лескова.

Во всех справках о себе непоздних лет Лесков неизменно начинал их с указания на происхождение свое из дворян, хотя в статьях и очерках уже давно зло вышучивал чье бы то ни было стремление к повышению своей родовитости, напряженно проявлявшееся в его родных, Лесковых и Алферьевых. Постарше сам он начинает говорить о своем дворянстве как о «молодом», «колокольном», «незначительном» и с явным удовольствием пишет одному новому своему знакомому: «У нас с вами, оказывается, одинаковое происхождение по линии плотского родства (попы и дворянская захудаль)» ****.

Это уже полное пренебрежение и отречение от того, что когда-то во что-то ценилось и на что-то годилось.

В свое время, в молодые годы, была заказана железная печатка, с вырезанными на ней крестом, якорем, саблей, латинским «N» и русским «Л» по сторонам дворянской короны *****.

Вспоминается мимолетный случай, закрепленный, однако, о днесь сохранившейся реликвией. Должно быть, в 1890 году пришел я как-то, рано утром, в воскресенье, к отцу, чтобы потолковать без сторонних. «А вот, кстати, — сказал он, протягивая мне в ходе беседы блокнотный, исписанный его рукою листок. — Прочти». На нем стояло:

---

* Пушкинский дом, Ленинград.

** Письмо от 3 марта 1883 г. — Там же.

*** Письмо от 11 мая 1880 г., ЦГЛА.

**** Письмо к М. О. Меньшикову от 10 июня 1893 г. — Пушкинский дом.

***** С 1930-х годов хранятся в ЦГЛА.

«Лесковы. (1626)

Предок сего рода, Семен Семенов Лесков, по писцовым книгам | 1734 / 1626 | года владел недвижимым имением в Белозерском уезде Новогородской губернии, называемой Христова Гора. Потомки его служили российскому престолу в военной службе и состояли в разных чинах (Герб. XII, 61).

Дворянские роды, внесенные в общий Гербовник Всероссийской Империи.

Составил граф Александр Бобринский, ч. II, стр. 129» *.

«Видишь, — продолжал он, когда я пробежал строки, — *Семен Семенов*! Совпадение? Может, и нет! Случалось, что старые роды, захудевая, теряли вотчины, беднели, шли в духовенство, а то сползали и до однодворческого крестьянства. Ну, да это так, шутки ради я тебе выписал на память. Наш род, как у худородного греческого полководца Ификрата, — с меня начнется, да, вероятно, на мне и кончится».

В отношении «Автобиографической заметки» надо признать, что, несмотря на обидную ее незаконченность и малость, ценность ее велика.

Ярко рисует она ужас семейных преданий, лютость нравов и обычаев, царивших в роду карачевских Лесковых. Страшен отец. Строптив юный сын. Жалка и трепетна не смеющая вступиться за него мать. Бесправна дочь. Все сковано неодолимостью рабских бытовых устоев.

Вот они — «свинцовые мерзости дикой русской жизни» [35], на которые через сто лет укажет Горький.

ГЛАВА 2

ОТЕЦ

В «формулярном списке» Семена Дмитриевича, охватывающем весь служебный его путь от поступления, 2 июля 1811 года, «подканцеляристом» в Орловский уездный суд до «выбытия», то есть отставки, 24 января 1839 года, с должности «по выбору дворянства» «заседа-

* Архив А. Н. Лескова.

теля Орловской уголовной палаты», сказано, что ему при оставлении службы было сорок девять лет. Более точное определение возраста, путем указания хотя бы года рождения служащего, в те времена считалось лишним. Других документов, которые устанавливали бы вполне бесспорную дату, не сохранилось. Возможно, что они не были взяты им из семинарии при ее окончании. В семье считали, что родился он в 1789 году.

Приехав по окончании Севской духовной семинарии, в 1808 или 1809 году, домой и в тот же день выгнанный из-под родного крова отцом за непреклонный отказ идти в попы по непреодолимому отвращению своему к рясе, Семен Дмитриевич уже никогда не ступает ногою в Лески. Приход пошел в приданое за Пелагеей Дмитриевной.

Дед не забывается внуком. Помимо оговорки о несходстве некоторых черт Димитрия Семеновича Лескова и Савелия Туберозова, первый рисуется в «Автобиографической заметке» не мягкосерднее старогородского раскольника Семена Дмитриевича Деева *, почему-то наделяемого писателем подлинно трубчевски-лесковскими именами.

О сколько-нибудь значительном витийстве или письменности деда свидетельств не сберeглось. Признавались — прямота, честность и, всего больше, крутость. Не более.

Учительствуя в домах местной знати, юный Семен Дмитриевич постепенно приобретает на этом поприще своего рода известность. Его ищут, стараются перенять, из-за него даже ссорятся. Какой-то «благодетель», в целях снижения собственных расходов по оплате наставника своих отроков, обещает ему устроить его, так сказать «по совместительству», на «коронную службу».

2 июля 1811 года он определяется «подканцеляристом» в Орловский уездный суд. Умный, способный, прошедший суровую семинарскую выучку, он прекрасно справляется с любой работой. Служит он последовательно в суде, дворянской опеке, провиантском комиссариате, по питейным сборам, причем в 1822 году состоит «помощником винного пристава санкт-петербургских главных

---

* См. рассказы «Котин Доилец и Платонида», «Чающие движения воды», «Божедомы», «Старогородцы».

магазейнов» *[36]. Для достижения вожделенного чина дававшего тогда права потомственного дворянства, испрашивает себе перевод (13 апреля 1825 года) «на окраину», — в сущности не далее, чем во вполне благополучный Ставрополь, — «в Кавказскую область по управлению питейных сборов с награждением чина коллежского асессора».

Для неродовитого чиновника, без связей и «покровителей», это был большой шаг: так называвшееся уже штаб-офицерство, восьмой класс четырнадцатиклассной «Табели о рангах», потомственное дворянство себе и нисходящему роду своему. По тем временам мечта и цель стремлений очень многих.

В 1827 году Семен Дмитриевич возвращается в Орел в невздорном чине и не без скромного достатка.

За годы его странствий, в самом начале двадцатых годов, скончался в родном своем селе престарелый и хворый отец. Следом, в полной безвестности проведшая жизнь, там же умерла и мать. Не зажилась в родном гнезде и рано овдовевшая Пелагея Дмитриевна. «Лески» осиротели. На Колохве Лесковых не стало. Карачевское их житие отошло.

В апреле 1830 года, на Красную горку, Семен Дмитриевич женится на бесприданнице Марье Петровне Алферьевой.

Чем он занимался почти пять лет, живя здесь, формуляр его не говорит. Наконец, 18 июня 1832 года, он вновь поступает на службу, сперва в гражданскую судебную палату «от короны»[37], а затем переходит в уголовную палату заседателем «по выбору от дворянства»[38]. Открывается неплохая дорога. На седьмом году, по словам его сына, он чем-то навлекает на себя неудовольствие губернатора <...>. Требовался досадный, но нимало не унизительный, искупительный визит. Семен Дмитриевич уперся и не поехал. Уговорить «крутого человека» не удалось. Благородное дворянство не дерзнуло баллотировать его в таких условиях на новое трехлетие. Пятидесяти лет, в полном расцвете сил, ума и способностей, с богатым служебным опытом, приходилось уходить в отставку, не выслужив даже какой-нибудь пенсии. 24 января 1839 года он «из палаты сей выбыл». В нера-

---

* Все эти сведения берутся из «формулярного списка» С. Д. Лескова. — Архив А. Н. Лескова.

душном Орле делать стало нечего. Оставаться там не позволяло и чувство горькой обиды. Лесковы продают свой орловский дом, покупают верстах в семнадцати от Кром, на «узенькой, но чистой» речке Гостомле, маленькое именьице и по санному пути перебираются туда на преждевременное доживание. Это не обещало хорошего, не могло заполнить жизнь. Называлась деревенька Панин хутор или Панино [39].

Много лет спустя после смерти отца Лесков, горячо отговаривая П. К. Щебальского [40] от намерения его бросить литературную работу и заняться виноградарством в Крыму, писал ему: «Отец мой был близок к Рылееву и Бестужеву, попал на Кавказ, потом приехал в Орел, женился и, при его невероятной наблюдательности и проницательности, прослыл таким уголовным следователем, что его какие-то сверхъестественные способности прозорливости дали ему почет, уважение и все, что вы хотите, кроме денег, которыми его позабыли. Он рассердился, забредил, подобно вам, полями и огородами, купил хутор и пошел гряды копать, но... неурожаи, дрязги мужичьи, грозы, падежи и прочие прелести, о которых мы позабываем, предаваясь буколическим мечтаниям, так его выгладили, что из него в пять лет вышла дрязга, а потом он и умер, оставив кипы бумаг, состоявших из его переводов Квинта Горация Флакка и Ювенала, деланных им в те годы, когда матери нечем было ни платить за нас в училище, ни обувать наши ножонки (буквально)» *.

Близость Семена Дмитриевича с Рылеевым и Бестужевым известными материалами и сторонними свидетельствами или семейными памятями оставляется без подтверждения [41]. Условия и побуждения перехода в Ставрополь безошибочно определяются формуляром.

Еще через два десятка лет, в основе на ту же тему, отец пишет мне из Аренсбурга на Украину, где я проводил летние вакации: «Влечение твое к деревне, и особенно к малороссийской д е р е в н е, — вполне разделяю. Это была мечта всей моей жизни, для меня, однако, не удавшаяся, но не знаю — полезна ли была бы деревня для наших характеров и натур, склонных к сосредоточенно-

* Письмо от 16 апреля 1871 г. — «Шестидесятые годы», изд. Академии наук СССР, М.—Л., 1940, с. 313.

сти и мизантропии. Дед твой, на которого похожи нравом я и ты во всех основных чертах, кроме видоизменений в духе времени и окружающих условий, — был на счету людей высокого и светлого ума, пока кипел в житейском котле беспрерывных столкновений, а уединясь в деревне — опустился и заглох» *.

Выразителем одного из приступов мизантропии и ипохондрии может служить как бы завещательное наставление, писавшееся Семеном Дмитриевичем в риторически-высоком «штиле», еще до переселения в деревню, пятилетнему первенцу при каком-то, явно незначительном, недомогании:

«Любезный мой сын и друг!
Николай Семенович!

В дополнение завещания моего, оставленного твоей матери, достойной всякого уважения по личным ее, мне более известным преимуществам, оставляя сей суетный свет, я рассудил впоследнее побеседовать с тобою как с таким существом, которое в настоящие минуты более прочих занимало мои помышления. Итак, выслушай меня и, что скажу, исполни: 1-е. Ни для чего в свете не изменяй вере отцов твоих. 2-е. Уважай от всей души твою мать до ее гроба. 3-е. Люби вообще всех твоих ближних, никем не пренебрегай, не издевайся. 4-е. Ни к чему исключительно не будь пристрастен; ибо всякое пристрастие доводит до ослепления, в особенности ж к вину и к картам; нет в мире зол заманчивей и пагубнее их. Я просил бы, чтоб ты вовсе их не касался. 5-е. Вообще советую тебе избирать знакомых и друзей, равных тебе по званию и состоянию, с хорошим только воспитанием. 6-е. По службе будь ревностен, но не до безрассудства, всегда сохраняя здоровье, чтобы к старости не быть калекою. 7-е. Более всего будь честным человеком, не превозносись в благоприятных и не упадай в противных обстоятельствах. 8-е. Между 25 и 35 годами твоего возраста советую тебе искать для себя подруги, в выборе которой наблюди осторожность, ибо от нее зависит все твое благополучие. Ни ранее, ни позднее сих лет я не желал бы тебе вступать в супружеские связи. 9-е. Уважай деньги, как средство, в нынешнем особенно

* Письмо к А. Н. Лескову от 21 июня 1888 г. — Архив А. Н. Лескова.

веке, открывающее пути к счастию; но для приобретения их не употребляй мер унизительных, бесславных. 10-е. Будь признателен ко всем твоим благотворителям. Черта сия сколько похвальна, столько ж и полезна. 11-е. Уважай девушек, дабы и сестра твоя не подверглась иногда какому ни есть нареканию. 12-е. Кстати о сестре, она тебя моложе пятью годами. Когда будешь в возрасте, замени ей отца, будь ей руководителем и заступником. Нет жалчее существа, как в сиротстве девица, заметь это и поддержи последнюю мою о ней к тебе просьбу, ты утешишь тем меня даже за могилою. 13-е. Преимущественно хотелось бы мне, чтоб ты шел путем гражданской службы, военная по тягости своей и по слабости твоего сложения скорее может тебя погубить.

Я хотел бы излить в тебя всю мою душу, но довольно, моя минута приближается. Остальное предпишет тебе твоя мать и собственное твое благоразумие. Рука моя слабеет. Прощай, прощай, мой бесценный, мой единственный сын! Бог тебе на помощь!

Отец твой *Семен Лесков.*

«*г. Орел, 1836 года*» *.

Дневная дата отсутствует. Напутствие явно писалось не перед лицом действительно угрожавшей смерти, а, так сказать, впрок. Оставить суетный свет пришлось только через двенадцать лет, и притом совершенно врасплох. Вышло проще.

По свидетельству сына-писателя, Семен Дмитриевич был «не лют» и «не лих», приходясь по сердцу крестьянам, с которыми «умел справляться» **. Но с кем следовало — бывал «крут»: «Первый русский архиерей, которого я знал, был орловский — Никодим [42]. У нас в доме стали упоминать его имя по тому случаю, что он сдал в рекруты сына бедной сестры моего отца. Отец мой, человек решительного и смелого характера, поехал к нему и в собственном его архиерейском доме разделался с ним очень сурово. Дальнейших последствий это не имело» ***.

---

* Архив А. Н. Лескова.

** «Житие одной бабы». — «Библиотека для чтения», 1863, №№ 7 и 8, гл. 7.

*** «Мелочи архиерейской жизни», гл. 1. — Собр. соч., т. VI, 1889 (сожженный).

К характеристике религиозности Семена Дмитриевича, данной сыном-писателем в «Автобиографической заметке» и в позднейших письмах его к сестре-монахине, просится одно из более ранних и любопытных свидетельств Николая Семеновича:

«На моей еще памяти отец мой, орловский помещик, купивший новую деревню в Кромском уезде, посылал крестьян в приходскую церковь *по наряду,* под надзором старосты. Так же точно поступали и другие наши соседи помещики: они *наряжали* крестьян ходить по праздникам в церковь и зачастую сами сверяли с священниками исповедные книги» *[43].

Это было вполне в «духе времени», но не в духе большой религиозной строптивости, о которой упоминается в «заметке» или в письмах. Делалось это, должно быть, для «освежения чувств в народе»...

Так или иначе, но с крестьянами, которых Семен Дмитриевич «не стегал», дело, видимо, шло, а вот со столбовыми — плохо. Не любил его не один Афросимов, а очень многие и из жениных родных. Эти видели в нем. человека несродного им духа, других влечений, мягко говоря — нескладного и неудобного в жизни. В общем, для многих из них он был чужой. Приязни и дружелюбия в этой среде он к себе не знал.

«У Ададуровых[44] «пили», а мой отец и Илья Кривцов «чудили». Оба были люди очень умные, жили анахоретами и изнывали в тоске. Илья Иванович (Кривцов. — *А. Л.*), впрочем, тоже случалось, пил, но только solo, а отец мой все читал книги и хандрил». Так писал Лесков в 1881 году **.

Портрета Семена Дмитриевича, ни масляного, ни дагерротипного, нет и не было. Последняя двоюродная сестра Николая Семеновича, Ольга Луциановна Водар, рожденная Константинова, лет двадцать назад говорила мне, что ее мать, урожденная Алферьева, находила в наружности и в манере держаться Семена Дмитриевича больше служило-приказного, чем помещичье-дворянского по требованиям того времени. При всей осторожности и мягкости этих отзывов очень уже почтенной старушки,

---

* «О сводных браках и других немощах». — «Гражданин», 1875, № 3, 19 января.

** «Дворянский бунт в Добрынском приходе». — «Исторический вестник», 1881, № 2, с. 357.

я уловил неизменность оценки своего деда во всем алферьевско-страховском родстве: да, умен, деловит, честен, но чудаковат, если не фантазироват, не располагает к себе, трудный человек...

Как прочно забытым чувствовал он сам себя в отставке — хорошо говорит единственное сохранившееся просительное за сына письмо его к Д. Н. Клушину:

«Милостивый государь
Дмитрий Николаевич!

До сведения моего дошло, что вы по выбору благородного дворянства Орловской губернии возведены на место председателя уголовной палаты, место почетное, когда-то занимаемое вашим покойным родителем. Хвала признательному дворянству, честь вам. Вы достигли своей цели, с чем вас позвольте и поздравить.

Известие об этом невыразимо меня обрадовало, как по беспредельному моему уважению к вам, так равно и потому, что под начальством вашим будет находиться старший из сыновей моих, другий уже год посвятивший себя изучению уголовного права, по собственному его желанию. Юноша с характером сильным и способностями, по отзывам других, достаточными, которого по этому поводу и позвольте рекомендовать в ваше покровительство. Умоляю вас быть ему тем, чем когда-то были ваши родители мне или чем бывают вообще аристократы для нашей мелкой братии пигмеев. Не хотелось бы мне, чтоб он когда-нибудь был секретарем, но чтоб покороче ознакомиться с ходом уголовных дел, производителем их быть ему желал бы, а далее хотелось бы сотворить из него то, чего будет сам заслуживать. Всех у меня 4 сына, вторый из них обучается в Орловской гимназии, мальчик, как кажется, с превосходным талантом, третий, ваш крестник, также заучился грамоте порядочно, а последний, по 4 году, побрыкивает еще по воле[45]. Мне хотелось бы кого-нибудь из них пустить по военной службе, но я уже обессилел, а *протеже* никого более не имею. Еще раз позвольте повторить нашу покорнейшую просьбу о внимании вашем к нашему сыну первенцу. Не о снисхождении к его слабостям, а о справедливости к нему вас прошу.

Милостивой государыне Софье Ивановне пренизко кланяюсь. Как мать, знакомую с чувством чадолюбия более, чем всякий мужчина, я покорнейше прошу и ее

об участии к моему сыну. Когда-то незабвенная Александра Ивановна умела открыть в благорасположение Николая Ивановича всякого, за кого его просили или кого она удостоивала своего предпочтения.

Почувствовать добра приятство
Такое есть души богатство,
Какого Крез не собирал.

С истинным высокопочитанием всегда честь имею быть, милостивый государь,
вашим покорнейшим слугою

Семен Лесков.

17-го марта 1848. С. Панино, Кром. уезда» *.

Почему-то «юноша с сильным характером», в заботе о котором писалось письмо, не передал его по назначению. Этим счастливо удвоилось все письмовое наследие «крутого человека». Кроме завещательного наставления 1836 года и этого письма, не сохранилось больше ни строки, писанной рукой отца писателя. Так оно и лежит почти сто лет в конверте, на котором рукою Николая Семеновича написано:

«Письмо моего покойного отца
к Дмитрию Николаевичу
Клушину.

Письмо это не было отдано тому, кому оно писано» **.

Не сохранилось ничего и из бумаг его, о которых говорено выше, но которых я лично никогда не видал у нас в Петербурге, как не слыхал о них и в Киеве. Может быть, они и были в свое время в Панине, но при переезде семьи в 1863 году в Киев, если еще не раньше, упразднились. В деревне в хозяйстве бумаге большое применение.

Письмо ясно отражает большую угнетенность, придавленность.

Писано оно за три-четыре месяца до смерти. Заканчивается оно не без искательства приведенными строками державинской «Фелицы». Ими же, через двадцать восемь лет, писатель заканчивает свой рассказ «Пигмей» ***[46];

* Архив А. Н. Лескова.

** Там же.

*** Первоначальная публикация — «Три добрые дела (Из былого)» — «Гражданин», 1876, № 14, 3 апреля; Собр. соч., т. III, 1889.

фабулу которого, может быть, слышал от своего отца. Едва ли здесь только слепая случайность.

Итак, первенец служит, второй сын преуспевает в гимназии, крестник сановника заучился грамоте, четвертый побрыкивает, а их отец, в тоске от бездеятельности, глохнет и опускается выброшенным из поглощавшей его кипучей деятельности. Приложить себя не к чему. Все в прошлом. Беспросветная тоска! Не спасает ни Флакк, ни Ювенал, ни малодушные уступки общеизвестным слабостям человеческим... Жизни нет. Она должна скоро оборваться. Холера вносит во все последнюю поправку.

Николая Семеновича при смерти отца в Панине не было. О всех ее подробностях он слышал рассказы матери, братьев, слуг... Драму последних лет отца он представлял себе яснее, а со временем и глубже многих в семье.

Проходят десятки лет. Лесков начинает, и на первых же главах бросает, роман «Незаметный след». В нем как будто намечалось повествование о судьбе юноши, в которого его отцом заронены семена опасных исканий, неудовлетворенности, «фантазироватости», словом — будущего «человека без направления», не подчиняющегося слепо чужим доктринам. В отце юноши взяты кое-какие черты Семена Дмитриевича. Бытовое в очень многом совершенно несхоже с событиями, происходившими в жизни отца Николая Семеновича, особенно в отношении его женитьбы. Но кое-что, по воле автора романа, сближается, а местами творчески и призанимается им почти из действительности. Такие, взятые из собственных воспоминаний, частности биографически ценны. Не воспользоваться ими было бы ошибкой.

В канун своей смерти, мрачно настроенный, отец героя поручает явно апокрифичному дьякону Флавиану будущих своих сирот:

«— И... отдай их куда знаешь... в портные, в кузнецы... в сапожники...

— Ну вот еще, что заговорил... Для чего это «в сапожники»? Чтобы каждому к ногам сгибаться да мерки снимать...

— Все равно... нельзя не согнуться...

— Ты покушай и ляг, и не думай о том, что было. Все пойдет по-новому.

— Знаешь, в каком случае возможно, чтобы что-нибудь пошло наново?.. Это возможно тогда, если... меня не будет более на свете.

— Вот тебе и раз!

— Поверь мне, поверь: я все испортил... такой был характер.

— И хороший характер.

— Ничего нет хорошего. С таким характером надо было жить одному».

Грибы, якобы собранные дьяконом, были изжарены и съедены. Ночью — холера и смерть.

«Все бегали и суетились, отца то терли, то поднимали на кресло, то опять клали на диван. Он говорил только одно слово:

— Пожалуста, пожалуста!

Когда его поднимали, он просил: «пожалуста»... Его клали — он опять повторял то же «пожалуста».

Лицо отца было страшно и точно все покрыто прилипшею к нему черною вуалью. Отец стонет и все повторяет: «Пожалуста, пожалуста!» — и через час эти крики затихли: его уже не было. Он умер утром на заре.

Это была холера, первою жертвой которой лег мой отец.

Он расстался с жизнью скоро и неожиданно, но... как будто сам того желал.

Отца похоронили в простом деревянном гробе, который сделали наши мужики; но большие имущественные недостатки и тут дали себя чувствовать. У нас не было даже столько досок, чтобы можно было сколотить простой гроб с голубцом, а крестьяне находили, что для помещика необходим голубец, то есть крышка не из одной, а из трех досок. В дело вмешался дьякон Флавиан, у которого, между прочим, были в запасе и доски. Гроб сделали с голубцом».

Дальше шло вперемежку: и совсем не панинское и совсем лесковское. Говорилось, что в свое время покойного искали «вытолкать из дворянской среды» как «человека без направления», что сам он «хотел быть похоронен как простой крестьянин» и что он как-то говорил, что у его старшего сына «превосходное сердце, над которым рано пролетает голубь и снизу проползает змей,

и оба они оставляют незаметный след. Если бог его сохранит, то он проживет недаром» *[47].

Это уже чистой воды сам Лесков последнего своего десятилетия. Он уже на словах и в письмах учит «зарыть дрянь», как только станет несомненной смерть: в «посмертной просьбе» заповедует нищенски хоронить его, «по последнему разряду».

В приведенных выдержках из романа вымысел охотно уступает место памяти, живым рассказам очевидцев смерти и собственным воспоминаниям об ипохондрии и мизантропии отца в период безрадостного панинского доживания незадавшейся жизни.

Описание отвечает разновременно слышанному лично мною.

Поправка одна — устраняющая дьякона Флавиана. По словам моего отца, в канун смерти дед, как всегда, хандрил и вечерком, по обыкновению, пошел побродить в одиночку, а вернувшись, передал жене своей большой карманный платок, полный набранных на прогулке грибов, прося зажарить ему их на ужин в сметанке. Остальное не вызывает изменений.

В частности, о «грибках» и холере. Беллетристу они не раз пригодились как хороший, из жизни взятый аксессуар. Трагическая мценская героиня избавляется от ненавистного свекра, угостив его за ужином грибками со страшным белым порошком; ** в Киеве «распочалась в городе холера» с того, что старик Долинский покушал, на этот раз для вариации, дынь-дубовок; *** безнаказанно покушал на ночь грибков «в сметане» и знаменитый Оноприй Опанасович Перегуд — уже в заключительном, можно сказать, творении Лескова ****. Так случай, связанный с тяжелым воспоминанием о потере отца, не раз служит писателю в его работе.

Поражало меня, как бедны были вообще воспоминания о деде как малоохотно отвечали мне почти все мои родные на казавшиеся им докучными расспросы мои, например, о его смерти.

---

* «Новь», 1884, №№ 1 и 2 от 1 и 15 ноября. Роман в Собрание сочинений не вошел и не переиздавался.

** «Леди Макбет Мценского уезда». — Собр. соч., т. XIII, 1902—1903, с. 92.

*** «Обойденные». — Там же, т. VI, с. 27,

**** «Заячий ремиз», гл. 21.

Создавалось впечатление, что он оставил действительно «незаметный след», слишком быстро заметенный в памяти вдовы и почти всех детей.

О менее близких родных и говорить нечего: смерть его упрощала отношения, устраняла средостение, сближала богатых и влиятельных с малоимущею, одного с ними духа, воспитания и влечений, многодетной вдовой. Все почувствовали облегчение. Ушел мешавший. Оставшиеся охотнее и легче шли на помощь. В итоге — не потеря, а облегчение и удобство. Грустно, но так.

Теплее и короче ли были отношения между покойным и его первенцем? Убедительных показаний в ту или другую сторону нет. Много ли они были вместе, чтобы хорошо свыкнуться, сжиться? Детство почти все старший сын в Горохове. После двух лет в Панине — гимназия в Орле. Дальше — служба там же, вплоть до самой отцовской кончины. Все порознь. Судьбою предопределенная, а позже и натурой избранная, центробежность первородного.

Остальные слишком малолетни. Несомненное одиночество, хотя и была семья. Так и шел Семен Дмитриевич в тени и незначительности в родстве, как, пожалуй, и в собственной семье, не без уколов самолюбию, в горечи сознания, что, отвергая некоторые сделки с своей натурой и взглядами, не идя на компромисс, ничего не благоустроил жене и детям.

Читая, порою очень автобиографичные, очерки или письма Лескова, в которых упоминается или подразумевается его отец, необходимо помнить, что он, несомненно, был во многом проще, чем подчас изображался сыном-писателем.

В отношении же обрисовки черт матери, напротив, подлинная быль почти всегда свободна от воздействия на нее мотивов творческого порядка и, благодаря этому, ближе к жизни.

Что делать, беллетристическое творчество неохотно мирится с серенькой действительностью и склонно обогащать создаваемые им образы, положения и картины.

Скончался Семен Дмитриевич в июле 1848 года в Панине. Погребен на Добрынском погосте.

Похоронили ли его в одном белье, подпоясанного крестьянским пояском и в простых лаптях, как якобы он «желал», или одетым по-господски, в гробу ли «с голуб-

цом» или с одной прямой верхней доской — не все ли равно?

Через полтора десятка лет Панино продали, все перебрались в Киев, ходить на могилу стало некому. Заглох к ней след, замерла и память.

ГЛАВА 3

МАТЬ

Марья Петровна, по родству, была человеком совсем иного, чем ее муж, круга, а с тем и во всем других взглядов, вкусов, привычек, влечений.

Родилась она 18 февраля 1813 года в Орле. Происходила из рода Алферьевых, орловской же породы, служивших на средних должностях в московском сенате и других учреждениях первопрестольной.

Отец и мать ее, потеряв при пожаре Москвы 1812 года все находившееся там достояние свое, к отроческим ее годам жили в селе Горохове у Страховых.

Воспитана она была в обычном дворянском стиле: музицировала, говорила по-французски, умела держать себя в обществе, вести в гостиной легкую светскую беседу, вставить к месту острое русское словцо или красивое иноземное выражение, рукодельничала, знала хозяйство. В итоге все, что требовалось тогда для выхода замуж, было налицо, кроме самого главного — приданого. А без него виды на «хорошую партию» были слабы. Не было и видного, чиновного или общественного, положения у отца, не хватало и красоты, покрывавшей в добрый час все нехватки. Оставалась одна цветущая юность с сопровождающей ее часто миловидностью. Не велико богатство.

А засиживаться у родителей, занимавших в семье богатого «полупомешанного» зятя далеко не полноценное положение, не приходилось.

Однажды Лесков писал, что его мать — «чистокровная аристократка влюбилась» в его отца — «дремучего семинариста» *.

Тургеневский герой в рассказе «Три портрета» утверждал, что в его время «таких роскошей не водилось»[48].

---

* Письмо Н. С. Лескова к П. К. Щебальскому от 10 апреля 1871 г. — «Шестидесятые годы», с. 313.

Две сестры были уже пристроены. Посватался к третьей не совсем неимущий и небесчиновный уже Лесков — ее и благословили: слава создателю, и последняя сошла с рук, пристроена! Чего спокойнее. Девице-то ведь все семнадцать! Час добрый!

Словом, все шло более чем просто: по всем преданьям старины, по воле родительской и жизненной необходимости.

Марья Петровна была женщина большой воли, трезвого ума, крепких жизненных навыков, чуждая сентиментальностей и филантропии, властного нрава. По определению сына-писателя — «характера скорого и нетерпеливого *. Несмотря на большую разницу лет между супругами, домом и всем хозяйством правила она. Резко отличалась от своего, в панинские годы, чудившего мужа, была всесторонне деловита и практична, радея о насущном и не возносясь выспрь.

После вполне благополучных условий существования в Орле в своем, пусть и нехитром, доме и при заседательском окладе, получавшемся Семеном Дмитриевичем, жизнь, с неудержимо росшей семьей, без всякого приработка со стороны мужа, была трудна. Помощи его не было и в полевом хозяйстве. Первенство во всем перешло к ней. Год от года отец, по словам старшего сына, все больше «глох».

Панинские крестьяне, считая, что их «панок не лют», о властительнице своей думали иначе. Того же мнения держались и ее сестры и вообще все во всем родстве.

Отношения с первенцем, всех больше, по убеждению многих, перенявшим некоторые черты матери, не были теплы. Что-то по отношению к родительнице у него «в печенях засело».

Это давало поражавшие неожиданностью отзвуки в его раннем писательстве.

Описав, как жена «Митрия Семеныча» ударила раз самую любимую свою дочурку Машу рукой, поставила ее в угол, загородила тяжелым креслом, пообещав потом высечь розгой, а вечером, уже в постели, и высекла, автор говорил:

«У нас от самого Бобова до Липихина матери одна перед другой хвалились, кто своих детей хладнокровнее сечет, и сечь на сон грядущий считалось высоким педа-

---

* «Юдоль». — Собр. соч., т. XXXIII, 1902—1903, гл. 1, 20 и 21,

гогическим приемом. Ребенок должен был прочесть свои вечерние молитвы, потом его раздевали, клали в кроватку и там секли... Прощение только допускалось в незначительных случаях, и то ребенок, приговоренный отцом или матерью к телесному наказанию розгами, без счета должен был валяться в ногах, просить пощады, а потом нюхать розгу и при всех ее целовать. Дети маленького возраста обыкновенно не соглашаются целовать розги, а только с летами и с образованием входят в сознание необходимости лобызать прутья, припасенные на их тело. Маша была еще мала; чувство у нее преобладало над расчетом, и ее высекли, и она долго за полночь все жалостно всхлипывала во сне и, судорожно вздрагивая, жалась к стенке своей кровати».

Там же давалась как бы и общая картина нравов: «Не злая была женщина Настина барыня <жена «Митрия Семеныча». — *А. Л.*>, даже и жалостливая и простосердечная, а тукманку дать девке или своему родному дитяти ей было нипочем. Сызмальства у нас к этой скверности приучаются и в мужичьем быту, и в дворянском. Один у другого словно перенимает. Мужик говорит: «за битого двух небитых дают», «не бить — добра не видать», — и колотит кулачьями; а в дворянских хоромах говорят: «учи, пока вполперек лавки укладывается, а как вдоль станет ложиться, — не выучишь», — и порют розгами. Ну и там бьют, и там бьют. Зато и там и там одинаково дети вдоль лавок под святыми протягиваются. Солидарность есть не малая».

И наконец вывод: «Беда у нас родиться смирным да сиротливым, — замнут, затрут тебя, и жизни не увидишь. Беда и тому, кому бог дает прямую душу да горячее сердце нетерпеливое: станут такого колотить сызмальства и доколотят до гробовой доски. Прослывешь у них грубияном да сварою, а пойдет тебе такая жизнь, что не раз, не два и не десять раз взмолишься молитвою Иова многострадального: прибери, мол, только, господи, с этого света белого! Семья семьею, а мир крещеный миром, не дойдут, так доедут; не изоймут мытьем, так возьмут катаньем» *.

Это из нутра и сердца за свои обиды вылилось! Тут уже о чьей-то жалостливости не поминается.

* «Житие одной бабы». — «Библиотека для чтения», 1863, № 7, гл. 3 и 5.

В прозрачности обрисовки, где и кто в таких обычаях был особенно скор и нетерпелив, — чувствуется неодолимое желание чем-то сквитать былое.

Приходится признать, что вообще с детьми Марья Петровна была очень неровна. Неудавшейся, некрасивой старшей дочери Наталии, даже и при отце, жилось горше горького. Любовь щедро проливалась на красивого и одаренного, рано погибшего младшего сына Василия и на многообещавшую и красивую, в отрочестве умершую, младшую дочь Машу. «Все ей за князя пророчили выйти, а она вышла за еловую домовинку». Материнскому самолюбию первое льстило, а потеря любимицы убила. С остальными шло по-всякому.

Так, в одном из позднейших рассказов, написанных уже много позже смерти матери автора, она убедительно противопоставляется самоотверженному добросердию полуапокрифичной «тети Полли», то есть как бы Пелагеи Дмитриевны, и еще менее достоверной англичанки Гильдегарды *.

Но все это беллетристическое, а есть и бесспорная дневниковая запись ее любимца, Василия, человека искреннейшей души:

«Апрель 1 <1871 г., Петербург>. Сегодня день именин моей матери, шлю ей заочно мое душевное поздравление и искреннее желание добра и покоя в жизни. Старуха много помоталась и победствовала на своем веку и имеет права на покойную старость. Разумеется, другая на ее месте и была бы довольна своим положением, но у нее дурной характер, и в этом ее несчастие. Дай ей боже смириться душой, и она отдохнет!» **

За восемнадцать лет замужества Марья Петровна много рожала. Большого присмотра за детьми держать, должно быть, было некогда, да и глаз не хватало по малости дворовых. Половина ребят вымерла. Одного даже сумели как-то обварить до смерти. Дожили до полных лет шестеро — четыре сына и две дочери.

Ни в годы замужества, ни в постигшем ее на тридцать пятом году вдовстве она не искала острых личных переживаний, целиком отдаваясь заботам о муже, детях, конечно как умела, — пожалуй, так сказать, «с ухабцами и сухой колотью». Избытка и радостей в глухой дере-

---

* «Юдоль». — Собр. соч., т. XXXIII, 1902—1903, гл. 20, 21 и др.

** Архив А. Н. Лескова.

вушке, на небольшом земельном клину, но с большой семьей, не могло быть. Была нужда, подчас крутая. А выдержала: детей, кроме одной постылой дочери, подняла и угол сберегла, не расточила.

Влиятельные и достаточные родственники поустраивали последних двух мальчиков в учебные заведения, Наталия году в 1851 ушла в монастырь. Кормиться вдвоем с дочерью Ольгой становилось легче. Старшая сестра и новый ее, благородный муж Константинов помогали. Зимы можно было проводить у них в Орле, в обширном доме, доставшемся Наталии Петровне по завещанию Страхова, у Плаутина колодца[49]. Стали рождаться новые потребности: Ольга Семеновна была «на выданье»... За нею и сама Марья Петровна стала вовлекаться в круговорот светской жизни губернского города, где жили такие именитые и богатые родственники или свойственники, как Кологривовы, один из которых командовал всею русской гвардейской кавалерией в наполеоновские войны, «столбовые» Тиньковы, Бунины и т. д. Тянуться было нелегко, а всей душой хотелось наверстать панинское безвременье.

Старший сын и брат над этим подшучивал, но жизнь естественно текла по обычному руслу.

В воздаяние за многие заслуги второй сын, Алексей Семенович, с упрочением своего положения практического врача и общественного деятеля, в 1863 году благословил старевшую мать продать Панино и вместе с Ольгой перебраться к нему в Киев.

Так все и сделалось. В свой час сын женится на тихой и кроткой чахоточной польке Елене Францевне Лонгиновой, дочь выходит замуж и переезжает в Канев, сын теряет больную жену и после нескольких лет вдовства задумывает жениться вторично. Новая избранница сердца — состоящая во втором браке с неким М. Болотовым, по первому мужу Арцимович, Клотильда Даниловна, рожденная Гзовская, мать троих детей от второго мужа. Дома буря! Мать и сестра становятся на дыбы. К улажению разрастающихся осложнений привлекается Николай Семенович. Надо сказать, что из всех его писем к матери сбереглось почему-то одно-единственное и притом как раз именно этих трудных для Марьи Петровны дней. Привожу этот документ, рисующий отношения, существовавшие между матерью и старшим ее сыном:

«31 генв. 879 г. СПб.
Среда.

Дорогая матушка!

Когда вы получите это письмо, брат Алексей будет в дороге. Он и его спутница выезжают завтра, в четверг, 1-го февраля, в 7 часов вечера, с курьерским поездом, и, следовательно, приедут в Киев в субботу вечером. Брат довел дела до известного положения, в котором их могут докончить другие, и спешит к дому, к делам службы и к практике. Это вас должно успокоить. Он также везет гостинцы вам, Ольге и ее детям. Вообще он о всех вас помнит. — По вопросу о житье вашем, как вчера писано, я сегодня имел с ним разговор, результат которого можно считать удовлетворительным, если вы будете готовы принять условия (от оценки коих я отказываюсь). Алексей пожелал прочесть ваше последнее письмо ко мне. А я, не видя в этом письме ничего неудобного, — напротив, встречая в нем выражения любви вашей к нему, — не счел нужным отказать ему в этой просьбе. Это и дало мне повод переговорить о вашем желании остаться в Киеве. Я, конечно, не скрыл, что я советую вам уехать, и советую это именно ввиду прежних неладов ваших с его нынешнею невестою. Он отвечал, что «это самое лучшее и что иначе он не может». Тогда я предложил: нельзя ли вас устроить в маленькой келейке и оставить там в покое? Он согласен на это, но *с условием,* чтобы вы ничем не возмутили спокойствие его невесты и жены, — даже ни разговорами о ней с дядею или с прислугою. Я отвечал, что такие условия *невозможны,* потому что мало ли на свете вестовщиков и сплетников, которые могут сказать, что мать сказала то или другое, и тогда сейчас с нее начнется взыск. Это не в порядке вещей, и в этом тоне я не считаю даже возможным продолжать переговор и, для спокойствия общего и для достоинства матери, желал бы, чтобы она не согласилась подвергаться всяким случайностям, а уехала бы к сестре Ольге. Он сказал, что это и для него наилучше, но что вы не уедете. За сим я, признаюсь, более уже ничего не понимаю и должен умолкнуть. «Потроха» все сразу, по его мнению, не надо брать. Конечно, можете их брать, можете и оставить до апреля. В апреле, он полагает, что вы приедете *повидаться, на время,* — и тогда заберете «потроха». Просить вас остаться он решительно не хочет, а если вы будете проситься оставить

вас, то вам будут предложены сказанные зависимые и, по-моему, совершенно невозможные условия. Однако, согласясь на них, вы еще можете остаться в Киеве, если это вам так нужно и дорого. Все это в воле вашей, но моего совета на это нет, добра я вам от этого предсказать не решусь. Я бы на вашем месте ни за что на это не согласился, но вы поступите по усмотрению своему. Может быть, я и ошибаюсь. Брат уезжает в прекрасном, веселом расположении духа, и вы хорошо сделаете, если не встретите его с лицом недовольным. Все, чего вы не желали, уже совершилось, и переделать этого нельзя. Нечего уже теперь ныть и ворковать, а надо бодро смотреть вперед и научить свою скорбь быть гордою. О любви своей к нему лишнего не говорите. Какая же мать не любит сына, да еще такого хорошего, как Алексей? Что же он, в самом деле, Сергей Петрович, что ли, который всего матери жалел и выбросил ее из дома без всякой причины. Он берег вас и сестру выдал замуж братски. Что же его не любить? Вы хорошая мать, но такого сына и дурная мать любила бы. Зачем же об этом говорить? Расстаньтесь как можно более спокойно и смирно. Это все, что может вам желать лучший друг ваш. Остальное покажет время, которое бывает изобретательнее нас.

Преданный вам *сын Николай»* *.

По общесемейному решению, Марья Петровна два года проводит у Ольги Семеновны в Каневе.

К счастью, она не знала, что уже после ее переезда в Канев к Ольге Семеновне, когда развод Клотильды Даниловны еще едва двигался, Николай Семенович писал брату Алексею:

«Твоя первая жена, милая Ленушка, вносила что-то новое, свежее, живое и деликатное, но вся ее дорога была от печи до порога, а дом опять повился скукою и себялюбием. Теперь снова человек добрый и, кажется, более здоровый и даже более опытный, чем Лена. Дай же бог чего-нибудь живого, простого, сердечного и горячего; дай бог нежную женщину в этот круг, где так велик и так мучителен недостаток этого свойства. Горе и всеобщая беда с кучерами в юбках, а их так много, так много, что и сказать страшно» **.

* Архив А. Н. Лескова.

** Письмо от 22 августа 1879 г. — Архив А. Н. Лескова.

Время целит казавшиеся незаживляемыми раны, указывает, что они не были так глубоки, как это представлялось сгоряча. Осенью 1881 года старуха, с исполненным счастия сердцем, возвращается под сень сыновнего дома, где, вполне окрепшая в своем положении, жена его встречает ее с полным радушием и окружает такой заботой, что через несколько месяцев Марья Петровна пишет в Петербург:

«Как Клетя, так и Алексей очень ко мне внимательны, а первая заботится как о ребенке; да, Николай, все высказанное тобой о Клете истинно, женщина каких мало, она вся в добре и желании угодить каждому; как она заботится о брате моем, как снисходительна к его резкостям, так себе иногда проскакивающим, зато же чтит он ее, любит, высказал мне, что так благодарен ей и Алексею, что покоят его и он всегда в родной семье, а теперь к довершению и я вместе, чего он так сердечно желал; нас, говорит, сердце мое, осталось только двое» *.

Мать примиряется с невесткой, побежденная ее добротой. Ольга Семеновна сохраняет непримиримость. Сдались, выходит, не все «кучера в юбках».

Возвращаюсь к приведенному мною письму моего отца к его матери. Много ли в нем тепла и сердечности? Судя по массе находящихся у меня писем Марьи Петровны к старшему сыну, от его писем всегда тянуло холодком. Зачастую ей выпадало читать жестковатые наставления и даже желчные указания. Детской радостью дышат ее письма к нему в ответ на сколько-нибудь приветливое и неукорительное слово «сурьезного человека».

Можно себе представить, каким праздником было для нее хоть раз в жизни почитать в столичном журнале во всяком случае лестные для себя, почти похвальные строки:

«А на ту пору прошел «холерный год» и произвел в приходском дворянстве сильное опустошение, «в господском звании весь мужской пол побывшился». Первый скончался мой покойный батюшка, а за ним переселились в вечность предводитель Иванов и «беспортошный» Илья Иванович. Имения остались без мужчин, и началось «бабье царство», при котором дошло до того, что мою матушку (благодаря бога поныне здравствующую) прихожане раз избрали «старостихою», т. е. распорядительницею и казначеею при поправке нашей добрынской

* Письмо от 17 февраля 1882 г. — Там же.

церкви. Выбирать к таким делам женщин совсем не в порядке, но так люди захотели, так и сделали. Не зная хорошо законов, сказали просто: либо нехай Лесчиха справляет, либо ничего не дадим. Пусть воробьи не то что в окна летают, а хоть на головы попам сядут» *.

Такие полномочия и доверие в сороковых годах прошлого столетия у нас, несомненно, редко оказывались женщине, разве уж очень толковой и надежной.

Сам я видел мою бабку много раз, проводя летние вакации в Киеве, Каневе, вообще на Украине. Последний год ее жизни, зиму 1885/86 года я, по неожиданному решению моего отца, которому будет оказано внимание в одной из дальних глав, прожил в Киеве. Мне было девятнадцать лет, бабушке близился семьдесят третий. Была старость без дряхлости, трезвость мысли без равнодушия, суд о казавшемся несправедливым — не без гнева. Некоторым действам своего первенца она выносила приговоры, не уступавшие в своей выразительности его былым определениям о «кучерах в юбках». Николаю Семеновичу иногда что-то не нравилось в ее поздних письмах, и он, не без раздражения, делился этим недовольством с братом: «мать кое-что сообщает <Крохиным. — *А. Л.*>, но, по обыкновению ее, растворяя содержание во множестве слов, затемняющих простой смысл сказания» **.

Все имеет свой черед, и, по общему закону естества, приходит последнее и неизбежное в жизни каждого смертного: 16 апреля 1886 года Марья Петровна умирает в своем уютном флигельке, до последнего вздоха во всем обслуженная и досмотренная сыном и всех больше его женой Клотильдой.

Ход событий, распределение ролей и высказанные умозрения определяются перепиской Петербурга с Киевом.

28 марта Алексей Семенович пишет Николаю Семеновичу. Последний отчеркивает синим карандашом слова, приводимые здесь курсивом, а наверху пишет чернилами: *«Получ. 1 апреля 86. вечером».*

«Мать получила сегодня твое письмо, любезный брат, и поручила мне поблагодарить тебя за память. Сама она

* «Дворянский бунт в Добрынском приходе». — «Исторический вестник», 1881, № 2, с. 371.

** Письмо от 26 сентября 1885 г. к А. С. Лескову. — Архив А. Н. Лескова.

не может писать, потому что лежит в постели. — Она, вообще, *более месяца как стала очень плоха,* потеряла всякий аппетит, почти ничего не ест, и желудок отказывается работать. *С неделю тому назад она немного лишне выпила* (?) <вопрос Николая Семеновича. — *А. Л.*>, и у нее образовался острый катар желудка, с поносом и рвотою, которые в один день обессилили ее до того, что она слегла в постель, и хотя эти явления, слава богу, успокоились, но потеря сил настолько велика, что она вот уже трое суток как не в состоянии оставить постели. *Сегодня утром, по ее желанию, пригласили домой священника* (она еще не говела этим постом), и она встала, оделась, посидела часа два на диване, но вслед за тем разделась и опять улеглась, говоря, что очень устала и, может быть, заснет. — *Состояние ее здоровья вообще плохо, хотя и нет никаких видимых явлений, указывавших бы на скорое банкротство жизненных сил,* но 73 года, образ жизни, потеря аппетита, упадок сил — все это плохие предзнаменования, так что нельзя ни за что поручиться» *.

На два дня позже Алексея Семеновича больная находит в себе силы написать открыточку дочери: «Дорогая моя Оличька, будь на мой счет покойна, надейся на бога и что ему угодно будет со мной, я понемногу обмогаюсь, усмотрена решительно всеми как родная, одну не оставляют скучать, так будь же покойна. Благословляю вас мать М. Лескова. 30 марта» **.

14 апреля встревоженная дочь выезжает в Киев, а 15-го Николай Семенович пишет брату:

«Ольга уехала к вам вчера и, значит, теперь у тебя. Известие о матери, вероятно, роковое. — 73 года, по-моему, возраст большой, особенно для женщины, и силы организма, конечно, должны быть слабы. Только «аще в силах» (т. е. очень здоров) можно жить 80 лет, но и то уже «не жизнь, а труждание и болезнь». Тем не менее в семье это момент острый и жгучий. Ты соблюл свою роль на земле удивительно полно и хорошо, и тебе по обетованию должен быть заслуженный «венец правды»... Поехать в Киев не могу по нездоровью и по другим некоторым причинам. Матери главнейше, конечно, видеть тебя, который о ней всех более пекся, и Ольгу, которую

* Архив А. Н. Лескова.
** Там же.

она наиболее любила и с которою имела более общего. Думаю, что мой приезд, так сказать, не имел бы никакого значения для больной, а притом я и болен. — 10 дней я положил костыли, а 2-х часов возобновленных болей в стопе вполне достаточно, чтобы я сел недвижимо. Вчера, провожая Ольгу, я постоял на мокрой каменной террасе и сегодня опять нездоров... Ольге скажи, что в П<етер>-бурге с отбытия ее больших перемен еще не случалось» *.

Опасения оправдались — мать скончалась. Николай Семенович пишет:

«17 апр. 86. Четверг.
СПб. Сергиевская, 56, 4.

Любезный брат Алексей Семенович!

Вчера, в 9 час. вечера получена у Крохина твоя депеша, посланная 16-го апр. 2 ч. 20 минут. Мать, родившая и воскормившая нас грудью, во гробе... Течение жизни ее было не кратко и, как все земное, должно было иметь свое окончание, но тем не менее на душе томно и остро... Из всех ты один сделал *все* для ее спокойствия и соблюл любовь свою до конца, и за то тебе должно быть всех легче. Прекрасные свойства твоей верной души не только не заставляют уважать и любить тебя, но они высоко умиляют, трогают и даже заставляют тебе удивляться. Ты все понес и все донес до конца превосходно. Тебе поистине принадлежит уважение всякой души, способной понимать величие простых, но величавых в своей простоте поступков. Большою бы радостию было, если бы ты был примером для всех, кто видел и знал все твои сыновние отношения к усопшей матери. Ты редкий сын и редкий человек. — Затем душа требует воздать должное твоей жене и благодарить ее. Нет никакого дела до того, что порою могло быть в ее сердце. Их счеты слишком спутаны и перемешаны. Сердцу приказывать нельзя, но все *поступки* Клотильды Даниловны были не только безукоризненны, но даже прекрасны. Она не останавливалась на том, что только *должно,* но смело переходила за черту должного и совершала дела, которые может совершать одна *любовь,* и любовь истинная и самоотверженная. Если не все это делалось из благодарности, а только по желанию облегчить страдания лица, с которым были и недоразумения и явные несогласия, то поступки эти тем многоценнее,

---

* Архив А. Н. Лескова.

тем реже и тем более должны внушать почтения к хорошим свойствам ее сердца. «Жизнь пережить — не поле перейти» — многое наговоришь, а подчас и сделаешь такого, чего бы не одобрил спокойный разум и совесть, но блажен тот, кто умеет побеждать в себе зло добром и повести себя так, как вела себя по отношению к нашей матери Клотильда Даниловна. — Как сын усопшей, я с чувством искреннейшей благодарности кланяюсь твоей жене до сырой земли и целую ее руку. Если ею управляют даже одни навыки, то мы обязаны восхвалить их силу и значение в жизни. Она этими навыками облегчила многое суровое и грубое в родстве нашем. Она <...> с поражающей выдержкою соблюла мать до последнего ее вздоха. Да помянет это ей всегда святое провидение и суд людей добрых и справедливых...» *

ГЛАВА 4

БЛИЖНИЕ

Пытливо доискиваясь, сочетание каких условий дало любезного его сердцу писателя, Горький перебирал: Дед Лескова был священник, бабушка — купчиха, отец — чиновник, мать — дворянка; таким образом, писатель объединил в себе кровь четырех сословий, но очень вероятно, что наиболее глубокое влияние оказал на него человек пятого сословия — солдатка-нянька, крепостная» и т. д. **[50].

Об отце и матери говорено уже в меру знаемого. Никогда не забывая о своем изгнании из родительского дома, Семен Дмитриевич не видел большого удовольствия распространяться о своем жестокосердом отце. Не удивительно, что о деде писателя не сберeглось и пространных воспоминаний.

Прожив жизнь в служилой среде и женившись на девушке дворянского круга и воспитания, Семен Лесков совершенно отошел ото всего, с семинарии ненавистного ему «левитского».

Новое, жизненно-лучшее заслоняло и отодвигало старое, худшее: карачевское отходило в даль времен и полуапокрифических преданий, не вызывая сожалений о себе. На смену выступали: высшая культура, лучший

* Архив А. Н. Лескова.
** Горький М. Несобранные литературно-критические статьи. М., 1941, с. 85.

бытовой уклад нового родства, более счастливые и выигрышные правовые и материальные условия последнего.

Естественно, что в орловско-киевских Лесковых, начиная с самого писателя, жило уже больше алферьевского, чем старолесковского. Дед по отцовской линии в их представлении не жил. О нем никто не говорил, его никто не вспоминал. Не позабыли, а просто не знали.

Когда я, в отроческие годы, пытался узнать о нем что-нибудь, отец мой, старший из детей Семена Дмитриевича, шутливо отвечал: «Умен был крутопоп Дмитрий, чего и тебе желаю!» И только.

Все карачевское отмирало, погружалось в забвение. Никто, например, не исключая и Николая Семеновича, не был уверен, в каком именно уезде стояло, давшее всему роду имя, село Лески.

Бабки по отцу точно и вовсе не было. Даже имя ее не сбереглось.

Из всех былых аборигенов села Лески в живых оставалась уже одна вдова Пелагея Дмитриевна, связи с которой у Семена Дмитриевича в семинарские его годы сложиться было некогда, а по возвращении его с Кавказа создаваться было поздно.

В резко «обновленном» родстве брата ей было неприютно. Жизнь ее смолоду шла от него стороною. Сказания о ней ее знаменитого племянника сильно беллетризованы; смело усложнены они и портретно. В панинские годы, мальчиком, он мог иногда ее видать и слышать любопытные рассказы ее о трубчевско-карачевских былях. Определенного положения в алферьевско-страховском свойстве брата она не заняла. Выпавшая ей на долю, сызначала не задовшаяся, жизнь содействовала тому, что ее стали называть «проказницею». Все три сестры Алферьевы были другого закала и проказниц не жаловали. К киевским временам она уже совсем сошла с горизонта, и речей о ней я в свои побывки в Киеве не слыхивал. Не вспоминал о ней в разговорах со мною и мой отец, нескупо отведший, однако, ей кое-где не слишком бесспорные роли и позиции в своих произведениях *.

---

* См.: «Благоразумный разбойник». — «Художественный журнал», 1883, № 3; «Об оригинальных попадьях». — «Новости и биржевая газета», 1883, № 70; «О безумии одного князя. — «Газета А. Гатцука», 1884, № 11, и изд. «Огонек», М., 1940; «Юдоль» и «О квакереях». — Собр. соч., т. XXXIII, 1902—1903.

* * *

Другую картину образов и воспоминаний дают отношения с дедом и бабкой с материнской стороны.

О деде, Петре Сергеевиче Алферьеве, Лесков говорит как о человеке энергичном, развитом, умном и по-своему «в духе времени» добром. Охотно упоминаются и братья его, двоюродные деды писателя — Василий Сергеевич, «ученый», и Иван Сергеевич — служивший в московском сенате.

Вовлеченность этих людей в литературные интересы косвенно подтверждается одним из писем Лескова к Суворину: «Покорно вас благодарю за экземпляры «Горе от ума». Они очень, очень изящны. Статья ваша живая и чуткая. Гарусовским списком, думается, вы, однако, напрасно пренебрегаете [51]. Некто Алферьев в Москве имел тетрадь, где «Горе от ума» было списано *его* рукою, а на н е й , — не знаю, по какому с л у ч а ю , — была грибоедовскою рукою сделана надпись: «Верно — Грибоедов», и стояло какое-то число. Тетрадь эта долго жила у нас в семье, и я *по ней* впервые выучил «Горе от ума», на котором было написано автором «верно». И то было вполне схоже с Гарусовым» *.

Сам Петр Сергеевич тоже служил, не в больших чинах, в московском Сенате, имея за женой дом с садом и угодьями где-то на Новинском бульваре. Семья жила в хорошем достатке. При развертывании успехов наполеоновских полчищ он был командирован в Казань для отвоза туда сенатского архива. Перед отъездом он зарыл в землю все серебро, ценности и документы, наказав жене не мешкая собираться и, оставив дом на верных людей, ехать с детьми в родную ему Орловщину.

В Москве, по определению Лескова, «ершился, метался, прядал во все стороны» пресловутый Ф. В. Ростопчин **.

Благодушнейшая Акилина Васильевна, как и многие другие, доверилась «ерницким», успокоительным ростопчинским «афишам» и засиделась чуть не до вступления французов в город. С чрезвычайным трудом раздобыв какой-то возок, она едва вырвалась из покидавшейся уже всеми Москвы.

---

* Письмо от 30 марта 1886 г. — Пушкинский Дом.

** «Герои отечественной войны по гр. Л. Н. Толстому». —. «Биржевые ведомости», 1869, №№ 70, 98 и др. Без подписи.

Прибежавшие в Орел Алферьевы приютились у каких-то своих прежних друзей. Будущее особенно не тревожило: если московский дом даже и сгорит — есть место, на котором можно вновь отстроиться и, выкопав хорошо схороненные ценности, снова зажить по-старому в свобожденной от двунадесяти язык первопрестольной.

Вышло не так. Возвратившийся из Казани с сенатским архивом Петр Сергеевич не сумел не только разыскать закопанное достояние свое, но даже определить межи своего участка и, за утратой всех документов, доказать свои права на него. Огонь начисто сровнял целые кварталы. Все было потеряно. Жить с большой семьей в Москве на сенатское жалованье без собственного дома и всего былого достатка нечего было и думать. Семье возвращаться стало не к чему. Приходилось всем осесть в Орле. Он подал в отставку и приехал в Орел.

Здесь, в когда-то родном городе, выпало испить горькую чашу безземельных и бездомных обнищеванцев. Жили трудно. Муж где-то скромно служил, жена, с подручными женщинами, прирабатывала шитьем и рукоделием. Дочери, подрастая в нужде, как умели помогали матери в мелких поделках.

Так шло лет шесть. Потом подвернулось предложение прежнего знакомого, по оценке Николая Семеновича, «полупомешанного», богатого и видного помещика М. А. Страхова, владельца села Горохова, управлять его имениями. Переехали и поселились в богатой усадьбе, но, конечно, в скромном управительском флигельке. А через несколько лет, когда старшей дочери, Наталии Петровне, фактически не хватало полных пятнадцати лет, этот пятидесятилетний холостяк, ровесник ее отца, возжелал на ней жениться. Отказа благодетелю быть не могло. Тут же, в 1824 году, Алферьевы, в качестве родни хозяина, перебрались из своего флигелька в просторный «господский» дом.

Гороховская деятельность деда отмечена, между прочим, любопытной борьбой его с заклинателями, наговорщиками, «пережинами», «заломами» и вообще со всеми видами мракобесия, описанными впоследствии его внуком *.

---

* «Случай из русской демономании». — «Новое время», 1880, №№ 1529, 1533, 1536, 1542, 1552, или под заголовком «Русские демономаны» в сборнике «Русская рознь» (СПб., 1881).

Петр Сергеевич бесспорно был человеком ясного ума, прекрасных способностей, большого жизненного опыта, изрядной образованности, ненавидевший невежество и суеверие в народе и еще больше в дворянско-помещичьей среде. Своему единственному сыну он позаботился дать такое образование, какого не дал своим детям никто другой во всем родстве, обладая несравненно лучшими материальными средствами и принадлежа даже к более поздним поколениям.

Умер он в Горохове около 1840 года, лет на пять позже «благодетеля» Страхова. Погребен на местном приходском кладбище села Добрыни, получившем свое место в произведениях Лескова *. Не забывал внук помянуть деда и в печати **.

* * *

Бабка Акилина родилась в 1790 году в Москве в весьма достаточной купеческой семье Колобовых.

По утверждению внука-беллетриста, она была взята «в дворянский» род «не за богатство, а за красоту», причем «лучшее ее свойство было — душевная красота и светлый разум, в котором всегда сохранялся простонародный склад. Войдя в дворянский круг, она уступила многим его требованиям и даже позволила звать себя Александрой Васильевной, тогда как ее настоящее имя было Акилина» ***[52].

На самом деле о красоте ее в родстве никто другой не говорил. Была статность, рост, беспретензионная пригожесть. «Черт» в добродушном простоватом лице не было.

С именем дело шло тоже иначе: это была пожизненная ее драма. Ко времени разрешения ее матери от бремени отца не случилось в Москве. Приходский священник, не то в отместку за что-то ее отцу, не то по неодолимому упрямству, невзирая на все мольбы роженицы, «нарек» младенца не Александрой, как было заказано, на случай рождения девочки, отцом, а «по святцам», — какая святая пришлась в день рождения ребенка.

---

* Напр., «Дворянский бунт в Добрынском приходе». — «Исторический вестник», 1881, № 2.

** Напр., в статье «Синодальные персоны». — «Исторический вестник», 1882, № 11, с. 398; «Геральдический туман». — Там же, 1886, № 6, с. 602.

*** «Несмертельный Голован», гл. 2, 8, 12. — Собр. соч., т. IV, 1902—1903.

Вернувшийся вскоре Колобов пришел в ярость. Он слышать не мог неблагозвучного имени новорожденной, видя в нем поругание своей купеческой именитости и избыточности. Бросился к архиерею — тщетно! Тогда он строго-настрого приказал всем в доме облагороженно называть девочку Александрой, раз навсегда забыв оскорблявшую его «Акилину». Тайна эта соблюдалась всеми, и особенно ревниво хранила ее сама не любившая своего крестного имени бабушка. Каково же было удивление всех предстоявших на панихидах по ней, когда священник возгласил «вечную память болярине Акилине»!

Кстати уж и о дворянстве рода, в который «была взята» усопшая. Я уже отмечал, что первые десятилетия писательства Лесков в автобиографических заметках, повестях и даже письмах не упускал упоминать о дворянстве всего своего родства и о собственном. Мы уже знаем, что Щебальскому он писал, что его мать была «чистокровная аристократка». С годами и в этой области возобладал демократизм и скепсис. Однако, пока живы были мать и старшие родичи, ему приходилось сдерживаться. Год за годом все они «побывшились», вымерли. И вот в «заметке о родовых прозвищах», характерной уже по одному своему заглавию — «Геральдический туман», предпринимается поход против обуявшего многих поветрия кичливости происхождением и стремления многих «выскочек» и «прибыльщиков» непременно «сочинять себе небывалые роды». Дошел тут черед и до «разночинцев», а с тем беспощадно развенчивалось и все алферьевское дворянство.

«Как на анекдот в этом роде, — писал автор, — укажу на довольно распространенную в России фамилию, звук которой таков, что все слышат в ней *нерусское* происхождение и даже прямо чувствуют в ней происхождение *итальянское.* Эта фамилия, о которой я говорю, есть *Алферьевы.* Их очень много везде... Канцелярия старого московского Сената считала одно время у себя «целое племя» Алферьевых... Было по Москве много еще и других Алферьевых, и все они были не старые родовитые *дворяне,* а из чиновников и отчасти из «колокольных дворян», то есть из духовенства... Между линиями же Алферьевых один московский отводок отличался образованностью и другими хорошими качествами, и тут были усвоены уже некоторые приемы родовитой знати. Эти Алферьевы (тоже не дворяне) были по мужской линии

Сергеи и Иваны... Один из них, Василий Сергеевич, печатавший стихи и посвящавший их своей «Гурлиньке», слыл даже за очень ученого, каковым, впрочем, кажется, не был... [53]

Учеными московскими изысканиями род Алферьевых был произведен от «знаменитого итальянца Альфиери».

Моя матушка происходила из этого рода Алферьевых, и мы с детства привыкли знать, что «Алферьевы итальянского происхождения». О дяде моем, недавно скончавшемся профессоре Киевского университета, С. П. Алферьеве, который был смолоду недурен собою, так и говорили, что в нем «видна тонкая итальянская порода» (он имел мелкие черты ярославского типа)... Случилось мне раз в уездном городке Городище встретить на оконной ставне надпись: «портнов*о* Алферьев», и тут я получил вразумление».

Последовавший затем диалог между Лесковым и обладателем вывески привел к тому, что фамилию этому «портново» дал поп, окрестив его отца Алфером, откуда, мол, пошли «Алферов двор», а с тем и Алферьевы.

От прославленного драматурга графа Витторио Альфиери ничего и не осталось: есть в святцах девять Еливфериев, по-мужичьи — Алфёров. Чего тут еще доискиваться!

Писатель не знал, что отец его матери даже и службой не успел приобрести потомственное дворянство и пожизненно числился происходившим «из обер-офицерских детей» *, как именовались тогда чиновники, не дослужившиеся до спасительного «асессорства», дававшего в те времена дворянство.

В чванливых разветвлениях страховской породы многие, разговаривая с Акилиной Васильевною, улыбались, а то и морщились, когда она говорила «ехтот», «лыгенда» или «мораль», понимая второе слово как «переделку в народном духе», а последнее — оскорбительным.

До «ста годочков», подаренных ей внуком, она не дожила почти тридцати лет, скончавшись около 1860 года на Орловщине у старшей своей дочери, Наталии Петровны, в ее имении Денисово.

Передались ли кому-нибудь ее прекраснодушие и кротость? Всего больше — Александре Петровне Шкотт.

---

* См.: П. К<речетов>. Орел. Материалы для описания Орловской губернии. Рига, 1905.

Меньше Наталье Страховой-Константиновой. Ни в малой мере — Марии Петровне, как и сыну, Сергею Петровичу.

Беспощадный в своих отзывах в печати о тех, «иже по плоти», Лесков о бабке не говорил и не писал иначе, как с умилением. Память о ней для него была веселою старою сказкой», которой всегда «ласково улыбалось сердце»...

Но, сколь это ни ценно, было тут и нечто еще большего значения.

Горький сказал о Лескове: «Он прекрасно чувствовал то неуловимое, что называется «душой народа» *.

Душу народа первая раскрыла, дала верно *почувствовать* Лескову Акилина Колобова.

* * *

Старшая сестра матери писателя, а его тетка, Наталья Петровна Алферьева родилась 9 августа 1809 года в Москве. Почти подростком пришлось ей познать сладость супружества с «полупомешанным», старевшим уже, «благодетелем» ее семьи Страховым.

Владелец поместья, в котором развертываются события рассказа «Зверь», конечно, не во всем схож с этим «дядей» автора, но, несомненно, кое-что тут занято и у него: «Он был очень богат, стар и жесток. В характере его преобладала злобность и неумолимость». О прекрасном духовном преображении его в горячего доброхота в семейных преданиях слышно не было. Умер таким, каким жил.

Освободительное вдовство пришло к молодой женщине только после двенадцати лет тяжелых испытаний. Остались ей семь человек детей и, по завещанию, неплохое имение в личную собственность. Через четыре года, уже по влеченью сердца, вышла она за своего ровесника, гусара Елисаветградского полка, впоследствии земского деятеля, Луциана Ильича Константинова. Это был красивый, воспитанный и благородный человек. Брак был счастлив и дал еще восемь человек потомства. Молодожены поселились в имении жены Денисово, Ливенского уезда, Орловской же губернии.

Наталья Петровна была уже, что называется, настоящая губернская grande-dame. Она не раз жестоко гне-

---

* Горький М. Несобранные литературно-критические статьи. М., 1941, с. 85.

валась на бедового племянника, который на заре своего литераторства прозрачно писал о «маленьком профессоре», то есть о Сергее Петровиче, о лунообразной сестре своей Ольге Семеновне, о жестокости Марьи Петровны. Но и много позже проскользнуло в романе «На ножах» что-то, принятое в местном обществе за намек на судьбу самой Страховой-Константиновой: «Она была богата, молода и год как овдовела после мужа-старика, которому ее продали ради выгод и который безумно ревновал ее ко всем». А еще лет через семь было рассказано в газете, как старший ее сын, студентом, был высечен за дебош киевским генерал-губернатором Д. Г. Бибиковым *.

Характера она была твердого. Ее побаивались, но чтили. Была пряма и небезучастна. Не оставляла без поддержки и сравнительно малоимущую Марью Петровну, писем которой не любила и вскрывать их обычно не торопилась. Скончалась 10 августа 1879 года в Денисове.

* * *

Мало о ком в нашем родстве отец мой говорил так тепло, как о втором ее муже [54]. По прежнему своему гусарству он знал много любопытных жизненных случаев, ознакамливавших его нового племянника со многими сторонами старого военного быта, традиций, умножая представления и образы будущего писателя. Скончался 7 января 1878 года в Петербурге. Упоминается в массе статей и очерков Лескова **, чем свидетельствуется след, оставленный им в жизни его младшего родственника.

* * *

Второю его теткой была Александра Петровна, родившаяся в 1811 году в Москве и скончавшаяся в 1880-м в Райском. О женитьбе на ней обрусевшего англичанина Александра Яковлевича (Джемсовича) Шкотта Лесков писал: «Он был человек недюжинный и в одном отноше-

---

* «Житие одной бабы». — «Библиотека для чтения», 1863, № 8, с. 66; Собр. соч., т. XXIV, 1902—1903, с. 134; «Маленькие шалости крупного человека». — «Русский мир», 1877, № 4, 5 января. Ср. позднейший вариант «Бибиковские меры». — «Неделя», 1883, № 6, 7 февраля.

** Напр.: «Мелочи архиерейской жизни», «Несмертельный Голован», «Дворянский бунт в Добрынском приходе» и т. д.

нии предупредил даже на сорок лет этику «Крейцеровой сонаты». Опасаясь, чтобы на него при выборе жены не действовали подкупающим образом «луна, джерси и нашлепка», он отважился выбирать себе невесту в будничной простоте и для того объехал соседние дворянские дома, нарядившись «молодцом» при разносчике. Таким образом он увидел всех барышень в их будничном уборе и, собрав о них сведения от прислуги, сделал брачное предложение моей тетушке, которая имела прелестный характер» *.

Одно малоизвестное и незаконченное произведение его говорит о значительно менее серьезном приеме для вызнания достоинств помещичьих дам и барышень: «Бывали даже такие случаи, что торговцы позволяли подкупать себя господам офицерам, которые от скуки одевали парики и подвязные бороды, одевались купеческими «молодцами» и разъезжали с купцами. Прибыв в дворянский дом, переодетые офицеры вносили и выносили свертки с товарами, а между тем смотрели девиц и дам, которых заставали нечесаными и вообще не в уборе и не в холе. Дамы, не ожидая подвоха, торговались, как скареды, — иногда унизительно лгали и божились, предлагая разносчикам менять новое на старое, и таким образом обнаруживали будничные стороны своего характера и своих правил. А костюмированные офицеры все это примечали и после критиковали их и браковали» **.

Сам Шкотт, соблазнивший племянника испытать себя на живом производственно-коммерческом поприще, являл ему искреннее дружелюбие и полное доверие, признавая в нем отличные способности, энергию. Говорил он Николаю Семеновичу «ты», а тот ему — в порядке чинопочитания тех времен — «вы» и «дядя».

Коммерсанта из Лескова Шкотт не сделал. Да, судя по собственным его незадачам, не был таковым и сам. Он был агроном и механик по образованию, радикал по направлению, а не купец и не добытчик. Однако сделал он нечто весьма серьезное — пусть и непредумышленно, вовлек молодого чиновника в широкое практическое и непосредственное изучение своей страны в деловых трехлетних поездках по ней «от Черного моря до Белого и от

---

* «Продукт природы». — Собр. соч., т. XXII, 1902—1903, с. 134.

** «Незаметный след». — «Новь», 1884, № 1, с. 133.

Брод до Красного Яру». Это была подготовка к писательству, равной которой не могла бы дать никакая другая работа и деятельность. В эти годы он влиял на не сложившегося еще племянника сильнее очень многих из родства или жизнью близко поставленных людей. Недаром и упоминается он в ряде произведений * и даже газетных статей Лескова **.

* * *

Был у Николая Семеновича еще и один-единственный *родной,* кровный дядя — С. П. Алферьев, сыгравший большую роль в его жизни. Родился Сергей Петрович 4 октября 1816 года в Орловщине. В 1838 году окончил с серебряною медалью Медико-хирургическую академию в Москве. Был командирован для усовершенствования в медицинских науках за границу[55]. С 1843-го — доктор медицины. С 1846-го — профессор Киевского университета[56]. О племянниках заботился, но старший из них чего-то не мог простить ему, у в е р я я, — в беседах и семейных п и с ь м а х, — будто Сергей Петрович, выписав его из Орла и приютив у себя «в чуланчике» (по «Горю от ума») [57], позабыл приглашать его обедать с собою. Алексей и Василий Семеновичи, жившие у него несравненно дольше своего старшего брата, ни на что схожее не жаловались и оставались всю жизнь к дяде дружественными. Как же шло у него дело со старшим?

Большой мягкости у Алферьева не было. Много и хорошо учившийся, он не мирволил самочинному оставлению племянником гимназии и переместил его из Орла в Киев не по личному к нему благоволению, а ради помощи сестре. Принял он недоучку, вероятно, суше, чем обходился потом с жившими у него с гимназических лет и успешно пооканчавшими университет младшими племянниками.

Поведение сына Николая в Орле в положении приказного начинало сильно тревожить Марью Петровну, и она просила брата взять его под свой надзор. Широко вкусившему плоды преждевременной свободы Лескову

---

* «Мелочи архиерейской жизни», «Железная воля», «О квакереях», «Загон», «Продукт природы».

** «О крестьянских вкусах». — «Новости и биржевая газета», 1884, № 58, 28 февраля.

очень хотелось еще шире вкушать их в много более соблазнительном Киеве. Это не могло находить себе сочувствия твердого нравом дяди. Отсюда легко могли возникать безосновательные обиды, вернее, огорчения племянника, при первой возможности не оставленные им без «отомщевания».

В первое же серьезное, целиком беллетристическое свое детище, вопреки всем законам строения и теме повести, он ввел нечто произведшее в Киеве впечатление разорвавшейся бомбы: «Мой дядя много занял у гамбургских банкиров и считал себя чем-то вроде Карла Великого. Я до такой степени его уважаю, что всегда сожалел: отчего, когда он проезжал через Ахен, его не положили там вместо Карла Великого? Этим нас освободили бы от очень маленького профессора». А в следующей главе добавлялось еще, что Киев славится сухими женщинами и «самыми невежливыми докторами в целой подсолнечной» *. Гейневский стиль был возведен в нестерпимую степень. Орловская родня встала на дыбы. Киевская растерялась. Ученый дядя олимпийски презрел.

Последние свои годы С. П. Алферьев жил в доме Алексея Семеновича, обслуженный и досмотренный во всех своих нуждах. Здесь же жила и последняя уже сестра Марья Петровна. Этим исключалось или смягчалось чувство старческого одиночества.

Возможно, что именно в годы старения и досужества впервые захотелось бегло оглянуть пройденный жизненный путь.

Скупой на все виды письма и особенно на автобиографические сведения, он ограничился коротенькой схемой своей жизни, набросанной на синем листочке в восьмушку, построенной по десятилетиям. При всей ее лаконичности, она подтверждает подлинность ряда лиц и местностей, описываемых или упоминаемых в произведениях, статьях и заметках Лескова. Заполнение места, отведенного на листке для седьмого своего десятилетия было отложено до его истечения, если таковое действительно полностью истечет. Пока была поставлена только начальная его цифра. Проставить вторую не было дано.

---

* «Овцебык» — «Отечественные записки», 1863, апрель, стр. 582, 592. В позднейших редакциях эти выпады опущены.

«I период 1816—1826.

Мое рождение в Орле. — Ранние годы детства в Горохове. — Кормилица Варвара. Позднейшие годы, о которых сохранились воспоминания: Кирасиры, Кельнер, Герцог, Жильберт, Черемисинов, Языков, Воронин. — Учителя: M-r Louis, Дюсосе; Афросим Степанович Птицын, Лаваль. — Соседи: Зиновьева и ее карлик, Осипов, Афросимовы, Шуманские, Клепаков, Ефимовы, Сабуров. —

Приходское село — Собакино: церковь — духовенство, говенье, светлые праздники; святки; Троицын день. Развлечения: бильярд, гитара, рыбная ловля. Чибрик, серенькая лошадка. — Замужество сестры — болезнь моя, когда оставались одни.

II период 1826—1836.

Москва. — Родные. — Пансион. Галушки. Содержатель и его семейство. — Учителя и надзиратели. — Классы и рекреации. Экзамены. — Вакации. — Болезнь и смерть брата. Доктор Ставровский. Холера. — Отъезд в деревню. Болезнь в деревне. Залштейн — постройка в Горохове. — Возвращение в Москву. Поступление в Академию; Ясинские. — Товарищи. Курс. Профессора. Развлечения. Смерть Страхова. — Возвращение в деревню. Гусары: Константинов — Роден — Шкотт.

III период — 1836—46.

Возвращение в Москву. Окончание курса. Поездка в Горохово. Определение на службу при Академии и при больнице. Рябчиков и проч. — Смерть отца. Побывка в Горохове. Назначение в путешествие. Поездка в Петербург — Докторский экзамен. — Путешествие за границу: Берлин — Париж — Вена — Прага. Швейцария: занятия, развлечения, встречи; впечатления. Возвращение в Петербург. Чтение пробной лекции. — Назначение в Киев.

IV. 1846—1856.

Приезд в Киев в 1847. Март. Роковая встреча. Служба. — Перелом ноги. Приезд матери. — Командировка в Одессу, Крым и Константинополь [58].

V. 1856—1866.

Возвращение. Перемена кафедры [59]. Смерть матери. Поездка в Орел. Постройка дома. — Практика. — Окончание (1864) службы [60]. — Жизнь частного человека и практикующего врача.

VI. 1866—1876.

Поездки (Петербург, Москва 1871—1872), за границу 1875 и в 1876 г.). — Смерть Надежды Николаевны, 14 дек. 76. (Грусть и скука.)

VII. 1876—» *.

Заболев, он наотрез отказался принимать какие-либо лекарства: если организм еще жизнеспособен — сам справится, а нет — не к чему отодвигать на несколько дней неизбежное.

На уговоры племянника-врача собрать консилиум ответил: «Все, что мне нужно, я сам предусмотрел и сделал. Не успел только одно — заказать гроб. Это поручаю сделать тебе» **.

С этим и умер в ночь на 31 марта 1884 года на руках искренно любившего его Алексея Семеновича и его сердобольной жены Клотильды Даниловны.

В надгробных речах отмечалась, между прочим, удивительная проникновенность его диагноза: «Печальный эпикриз всегда блестяще подтверждал его предположения» ***. Некролог говорил и о замечательном даре слова этого «ученика венской школы» ****.

Почтил его память в столичной газете и Николай Семенович *****. Не был забыт он и в статьях и очерках последнего ******.

Много в характере покойного было не располагавшего к нему и сам он не искал ничьего расположения. Но мы здесь вообще разбираем не личные добродетели тех или других лиц, а выясняем их роди и значение в жизни и судьбе Лескова. В этой области заслуга Алферьева огромна.

Припоминается товарищ Лескова по первым служебным его шагам в Орле В. Л. Иванов. Он был из недоучившихся семинаристов, но сделал поистине «блестящую» карьеру, дослужившись в Орле же до статского советника,

---

* Архив А. Н. Лескова.

** Там же.

*** «Киевлянин», 1884, № 76, 3 апреля.

**** Там же, № 81, 12 апреля.

***** «Новости и биржевая газета», 1884, № 99, 11 (23) апреля.

****** Напр.: «Официальное буффонство». — «Исторический вестник», 1882, № 8; «Бибиковские меры»; «Мелочи архиерейской жизни»; передовые в «Биржевых ведомостях», 1869, № 139 и 141 от 25 и 27 мая, без подписи.

кавалера и венка на гроб с надписью: «Дорогому сослуживцу от благодарного губернатора»! * Нечто в этом роде, но — за отсутствием дара «умеренности и аккуратности» — вероятно, значительно менее пышное, грозило и Лескову.

Изъял его из мертвенно-дремотного Орла в университетский Киев, поставил в условия, благоприятствовавшие расширению умственного кругозора, пробуждению жажды к знанию, а с тем, попозже, и к писательству, — Сергей Алферьев.

Этою неотъемлемой от него заслугой и да будет почтен он в повести о жизни его именитого племянника.

* * *

Живописному очерку киевских типов и нравов старых лет Лесков предпослал эпиграф: «Мне убо, возлюблении, желательно есть вспомянути доброе житие крепких мужей» и т. д. **[62].

Древлее речение сие всегда встает в памяти, когда думаешь о некоторых представлениях лесковско-алферьевской породы: кремень Димитрий Лесков; чудаковато-самобытен сын его Семен Дмитриевич; горделива и тверда в обычае Наталья Алферьева; властна и сурова Марья Петровна; крут ее брат Сергей; грозен и неукротим, породою этой данный, писатель. Один другого крепче.

ГЛАВА 5

НЯНЬКА

Нельзя обойти и представителя «пятого сословия» (по определению Горького; см. выше, стр. 76), влияние которого на будущего писателя в самые ранние его годы, по убеждению Горького, могло быть очень велико.

Нянька Лескова, Анна Степановна Каландина, появилась на свет божий, как говорилось, «в крепости» 2 февраля 1812 года. Перед ее рождением владельцы ее родителей продали кому-то старшую ее сестру Аннушку. В горькую память себе назвали и новую свою дочку

---

* См. некролог Иванову. — «Орловские губернские ведомости», 1900, № 96, 13 декабря[61].

** «Печерские антики». — Собр. соч., т. XXXI, 1902—1903.

опять Анной. Скорбь о проданной на возрасте первой дочери прочно жила в семье и глубоко залегла в душу подраставшего ребенка.

На шестнадцатом году и ее продали Алферьевым, от которых, с замужеством Марьи Петровны, она перешла в приданое к Лесковым.

Уже старухой, уступая просьбам молодежи, с большой неохотой и скупо рассказывала она, с каким страхом одевала и причесывала по утрам свою «молодую барыню», мать писателя. Но дальше этого не шла. Все, однако, знали, что владелица ее в свое время была с нею не мягче, если не нетерпеливее, чем с другими своими крепостными.

Жила память о том, что, придя в возраст, она как-то упала в ноги своей, младшей ее на год, суровой барыне, прося разрешения на выход замуж за избранника ее сердца. Марья Петровна ее выбора не одобрила и указала на другого жениха, в свою очередь нелюбезного Аннушке. Понуждения, по счастию, не последовало, и дело, казалось, заглохло. Но вдруг, при одной из недалеких поездок Лесковых, через силу таившаяся Аннушка с закушенным стоном соскочила с козел и тут же, в придорожной канаве, родила. Ребенок не то был мертв, не то скоро умер, а она свековала дальше уже целиком вне личной жизни, в семье своих «господ», не оставив эту семью даже и после «воли».

Да и куда было ей идти, пятидесятилетней одинокой старухе?

Так и жила, пережив на двадцать пять лет свою строгую барыню и перехоронив вообще весь взрощенный ею лесковский выводок.

В рассказе Лескова «Несмертельный Голован» приведена, якобы дневниковая, запись его бабушки Акилины Васильевны Алферьевой о том, как 26 мая 1835 года сорвавшаяся с цепи бешеная собака Рябка бросилась «на грудцы Анне», державшей на руках «Николушку», то есть будущего автора этого рассказа, и как нежданно появившийся легендарный Голован схватил эту Рябку за горло, бросил в погребное творило и спас тем дитя от неминуемой гибели.

Дальше там говорится: «Дитя это был я, и как бы точны ни были доказательства, что полуторагодовалый ребенок не может помнить, что с ним происходило, я, однако, помню это происшествие».

Толстой помнил, как его младенцем купали в корыте. Но купали не раз и позже. Позднейшее впечатление могло быть отнесено к более раннему.

В мае 1835 года Лескову было почти четыре с половиной года. Это бесспорно. Бесспорна ли дневниковая запись? Да и вел ли вообще дневник такой грамотей, как Акилина Васильевна, с немалым трудом и усталью писавшая письма своему любимому единственному сыну? Вне сомнений, во всяком случае, Анна Степановна. А солдатка Марина Борисовна в «Пугале»? Это уже совсем другая статья. Творчески, как говорил Лесков ссылаясь на Толстого, «истинно не то, что есть и было, а то, что могло быть по свойствам души человеческой» *.

Я прекрасно помню Анну Степановну сильно морщинистою, ссохнувшеюся старушкой с почтительно сомкнутыми в присутствии «господ» устами, охотно размыкавшимися для неустанных покоров и поучений по адресу всей молодой прислуги, не знавшей от нее спасения и пощады, не желавшей жить с нею в одном доме.

Помню и то, что у нее был сильно скрючен большой палец правой руки. И недаром. Однажды, держа малолетнего питомца своего на левой руке и шаря что-то свободною правою рукой в каком-то закроме или кадке, она вспугнула крысу, мертвой хваткой впившуюся зубами в этот палец. Взвыв от нестерпимой боли, она выбежала из кладовки с повисшей на пальце крысой, крепко прижимая другой рукой к своей груди «барчука». Тут — не то сбежались ей на подмогу, не то, вернее, сама крыса, сумев разжать судорожно сведенные челюсти, сбросилась и убежала. Прокушенный в сухожильях палец остался навсегда кривым, сведенным.

Не на этой ли канве, полусотню лет спустя, вышит во всем усугубленный рисунок — с заменой крысы Рябкой, с введением в качестве «deus ex machina» ** спасителя дитяти Голована, про которого «во челе» рассказа неспроста говорится: «Он сам почти миф, а история его — легенда». Невольно вспоминается при этом еще и то, что, по дальнейшему там же показанию, бабка Акилина Васильевна последнее слово произносила по-своему «лы-

---

* Письмо Лескова к К. А. Греве от 5 декабря 1888 г. — Театральный музей им. А. А. Бахрушина. Москва.

** Благая развязка; появление как нельзя более кстати (*лат.*).

генда» — и толковала его строго соответственно такому его произношению.

Ну а крыса? О, конечно, это уже не миф и не «лыгенда». И, как бесспорное действующее лицо, она и творчески не оказалась забытой. Знавший ее роль в жизни своей няни ближе и точнее всех нас, младших членов рода, писатель дал и этой крысе литературное бессмертие.

Через пять лет после «Голована» появился, в завязке тягостно-мрачный, а в развитии своем превеселый, детский рассказ «Пугало», среди персонажей которого не последнее положение занимает Аннушка «по прозванию «Шибаёнок». «Эта последняя была у нас в своем роде фельетонистом и репортером. Она по своему живому и резв*о*му характеру получила и свою бойкую кличку».

Это опять-таки не кто другой, как юная Анна Степановна, или просто «Степановна», как ее заглазно называли все уже на моей памяти. Здесь шутливо, во многих мелочах много проще, чем пять лет назад, повествуется следующий суеверно-трагикомический эпизод: «К нам в дом Селиван дерзнул появляться, скинувшись большою рыжею крысою. Сначала он <оборотень — *А. Л.*> просто шумел по ночам в кладовой, а потом один раз спустился в глубокий, долбленый липовый напол, на дне которого ставили, покрывая решетом, колбасы и другие закуски, сберегаемые для приема гостей. Тут Селиван захотел сделать нам серьезную домашнюю *неприятность*, — вероятно, в отплату за те неприятности, какие он перенес от наших мужиков. Оборотясь рыжею крысою, он вскочил на самое дно в липовый напол, сдвинул каменный гнеток, который лежал на решете, и съел все колбасы, но зато назад никак не мог выскочить из высокой кади. Здесь Селивану, по всем видимостям, никак невозможно было избежать заслуженной казни, которую вызвалась произвести над ним самая скорая Аннушка Шибаёнок. Она явилась для этого с целым чугуном кипятку и с старою вилкою. Аннушка имела такой план, чтобы сначала ошпарить оборотня кипятком, а потом приколоть его вилкою и выбросить мертвого в бурьян в расклеванье воронам. Но, при исполнении казни, произошла неловкость со стороны Аннушки-круглой, она плеснула кипятком на руку самой Аннушке Шибаёнку; та выронила от боли вилку, а в это время крыса укусила ее за палец и с удивительным проворством, по ее же рукаву, выскочила наружу и, произведя общий перепуг всех присутствующих,

сделалась невидимкой. Родители мои, смотревшие на это происшествие обыкновенными глазами, приписывали глупый исход травли неловкости обеих Аннушек, но мы, которые знали тайные пружины дела, знали и то, что тут ничего невозможно было сделать лучшего, потому что это была не простая крыса, а оборотень Селиван».

Безукоризненно выдержанная по отношению к старшим членам лесковского рода, Степановна горячо возмущалась перед подростком неточностью событий в передаче их ее былым питомцем: «Что он пишет! Да разве все это было так? Ведь вот...» — и шло беспощадное указание на те или другие фактические неточности. Она «в сердцах» негодовала, всплескивала руками, укоризненно качала всегда повязанной платком седою головой. Но творцу всех обнаруживаемых ею протокольных ошибок никогда никаких указаний делать не дерзала.

Забыл сказать, что в 1873 году, с выходом замуж сестры писателя Ольги Семеновны за Н. П. Крохина, Степановна перешла в эту семью, где и вырастила еще трех девиц, впоследствии учительниц гимназии.

Последний раз я видел ее в Киеве, в 1903 году. Открыла дверь мне горничная Крохиных, которые все три были на службе. В столовой, у окна, довольно прямо сидела и вязала Степановна. Зорко вглядевшись в меня, она степенно положила вязание, поднялась, чинно поклонилась и осталась в почтительном ожидании на месте. Мы сердечно расцеловались, с большим трудом я уговорил ее сесть, и мы стали беседовать. Ей истекал девяносто первый год. Она была в полном порядке и физически и духовно. Сколько раз потом я жалел, что не выспросил ее в этот мой приезд в Киев хорошенько об орловском и панинском житье-бытье, о Семене Дмитриевиче, Пелагее Дмитриевне, молодом моем отце, о всем прошлом Лесковых, Алферьевых, Страховых и т. д., о прошедшем у нее на глазах и крепко сбереженном ею в глубинах отлично служившей еще ей в памяти. Это был один из бесчисленных жизненных промахов, невознаградимых потерь, порожденных непростительной беспечностью к сбору семейной старины, равнодушием к ней.

В поздней, жуткой, голодной «рапсодии» Лескова «Юдоль» двадцативосьмилетняя Аннушка берет на себя приведшее к трагическим последствиям уличение птичницы Аграфены в утаении для четырехлетней ее дочери Васёнки «шматка» господского теста «в ладонь». Де-

вочка вскоре гибнет. Эта же Анна-доказчица кладет ее «на лавку под образ», а возле нее ставит ковшик с водою, чтобы «душка ее обмылась». Дальше автор говорит: «Это для меня было трогательно и занимательно, потому что до этой поры я еще не был при разлучении человеческой души с телом, и я не ожидал, чтобы это происходило так просто».

Лескову в этот орловский голод было девять лет. Простота смерти обморозившейся и изголодавшейся девочки, происшедшей у него на глазах, глубоко врезалась в его память, запала в душу. И он, великий мастер описания смертей многих своих героев, как и жизненно близких ему людей, никогда не изменял своему первому, детскому впечатлению, как бы уроку и указанию, что смерть проста и что говорить о ней надо просто.

Веку Степановне выдалось вволю — без восьми месяцев сто лет. Вторую половину их все без исключения, даже сама Марья Петровна, называли ее не иначе, как по имени-отчеству и уже конечно на «вы». Оказывавшиеся ей знаки общего почтения она принимала с достоинством, как должное и заслуженное пожизненной бескорыстной преданностью, неустанной, до последних сил, работой. Это был равноправный член семьи, даже тяжеловатый для выпестованных ею дочерей Ольги Семеновны, а попозже, случалось, и для самой вдовой сестры Лескова.

«Племянницам шлю мой привет и поклон, также Степановне. Какова-то она?» * — писал он этой сестре, всегда вспоминая старуху, а подчас даже как бы утешая сестру: «Степановна, видно, еще не готова, как непроваренная подкова, которую кузнец все опять в горн бросает, чтоб проварилась. У меня через стену есть соседки *за сто лет* и еще чулки вяжут. Потерпите друг друга! Может быть, это всем вам так надобно» **.

После кончины сестры и всего за три месяца до собственной смерти он еще раз шлет своей бывшей нянюшке добрый привет:

«Обнимаю и целую друга сердечного Анну Степановну. Бог ей в помощь переносить бремя лет» ***.

Она пронесла это бремя еще почти семнадцать годочков после смерти своего старшего воспитанника и, скон-

---

* Письмо от 19 апреля 1891 г. — Архив А. Н. Лескова.

** Письмо от 30 января 1893 г. — Там же.

*** Письмо к З. Н. Крохиной от 17 ноября 1894 г. — ЦГЛА.

чавшись в Киеве 26 июля 1911 года, легла на Байковом кладбище в одной ограде со своею «барышней» — Ольгой Семеновной Крохиной-Лесковой.

По праву занимает она не последнее место и в хронике семьи, давно ставшей для нее родной и собственной. К тому же, кто решит теперь, в какой мере дышащие правдой орловские зарисовки Лескова чужды *фельетонам,* слышанным писателем в детские годы от *репортера с живым и резвым характером — от Аннушки Шибаёнка?*

* * *

Отношения Лескова с братьями и сестрами и степень их значения в его жизни осветятся при дальнейшем развертывании настоящей хроники.

* * *

Галерея лиц, близких Лескову по крови, быту и детским впечатлениям, пройдена.

Впереди — повесть о днях и трудах его ото дня рождения до часа смерти.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО ПИСАТЕЛЬСТВА

1831—1860

Тебе все чувствовать дано,
Но жизнью ты не насладишься.
Веневитинов [1]

ГЛАВА 1
РОЖДЕНИЕ И ДЕТСТВО

Передо мною фотографический переснимок с очень нехитрого рисунка, внизу которого стоит полувыцветшая надпись моего отца:

«Господский дом в селе Горохове, Орловской губернии, в этом доме родился Николай Семенович Лесков и тут же проведено его детство» *.

Надлежащими документами удостоверяется: что «у отставного коллежского асессора Семена Дмитриева сына Лескова сын Николай родился 1831 года февраля четвертого числа», что восприемником от купели был «села Горохова коллежский асессор и кавалер Михаил Андреевич Страхов», что все это значится в метрической книге «Орловского уезда села Архангельского, что в Собакине», и что «таинство» крещения 11 февраля 1831 года «совершал священник Алексей Львов с причтом своим» **[2].

Этим исключаются какие-либо сомнения в дате рождения Лескова и отвергаются досужие попытки внести в этот вопрос какую-нибудь неясность.

Сам Лесков через полусотню лет писал: «Орловской губернии и уезда в селе С—не, к которому прихоже сельцо Горохово, где я родился и провел мое детство, был священник о. Алексей. Он долго жил и умер в этом приходе, и я его хорошо помню. Он венчал мою мать с моим отцом, крестил меня и учил заповедям» ***.

---

* Архив Л. Н. Лескова.

** Там же.

*** «Случай из русской демономании». — «Новое время», 1880, N° 1529, 1 июня; «Русская рознь». СПб., 1881.

Все это, бесспорно, календарно точно и... суховато.

«Во чреду лет» щедро автобиографичный писатель не преминет привнести в освещение четко зарегистрированного события трогательную беллетристическую символику.

Главенствующий герой знаменитых «Соборян», многомудрый протопоп Савелий Туберозов, рукополагается автором хроники «во иерея» не в иной какой-нибудь день, как именно «4 февраля 1831 года».

Крошечный, не опубликованный еще набросок, озаглавленный «Убежище. Роман. Из записок Пересветова», начинается так: [3]

«Я родился в 1831 году в семье своей первенцем. Матушка моя, принадлежавшая в юности к числу деревенских барышень, которые в то время знали наизусть очень много стихов, втайне делала по случаю моего рождения очень для меня лестное и поэтическое сближение. В этом году Лермонтов написал своего «Ангела», и старшая сестра моей матери, бывшая замужем за важным сановником в Петербурге, вместе с поздравлением по случаю моего рождения прислала списанное ею стихотворение: «Он душу младую в объятиях нес для мира печали и слез... и звуков небес заменить не могли ей грустные <скучные. — *А. Л.*> песни земли».

Матушка, читая эти стихи, целовала меня и в одно и то же время и улыбалась и плакала. Она чувствовала себя счастливой, что ангел принес мне хорошую душу, и плакала об ожидающей меня участи.

Несправедливо было бы приписывать все это одной ее нервности. Молодые женщины нашего дворянского круга тогда в самом деле были склонны к поэзии и очень легко поддавались ее влиянию. Надолго ли это было и имело ли прочное влияние на их умы и характер, — это совсем другое дело» *.

С изменением положения «старшей сестры» на замужество за видным местным дворянином и крупным помещиком Страховым — все остальное вполне биографично и для автора наброска, и для его матери, на самом деле имевшей склонность к «возвышающим» некоторые события «сближениям» с хорошо ей знакомыми образами родной поэзии.

---

* ЦГЛА.

Интересные сами по себе, строки эти приобретают особое значение по явственно улавливаемому в них горячему желанию искушенного уже неудачами жизни и литературными «терзательствами» Лескова сохранить и укрепить в себе веру в дарование ему, при «приходе его в жизнь», мягкой души, обреченной на безвинные «злострадания», успевшие уже к тому времени «истерзать» его мятущееся и мятущее сердце.

На пятьдесят пятом году жизни, прочитав одну только что появившуюся книгу *, он самоуглубленно выписывает себе на листок приведенное в ней изречение Гете: «Душа человека похожа на воду: приходит она с неба, падает на землю и снова поднимается на небо» [5].

Тут пленяли оба пути: и исходное горестное низвержение, и завершительное, победное вознесение!

Это подкупало, с чем-то мирило, обнадеживало...

И становился рядом собственной мыслью и личным чувством рожденный «очарованный странник», всю жизнь носивший в себе *«ангела сатанина»* и умевший, *«впадая в тихую сосредоточенность»,* полностью отдаваться *«наитию вещательного духа».*

И нисходили умиротворенность и теплое упование...

«Надолго ли это было и имело ли прочное влияние на ум и характер — это совсем другое дело...»

Когда кто-нибудь из позднейших посетителей Лескова, вглядываясь в его ранние фотографии, говорил: «Однако, Николай Семенович, какой же вы, должно быть... были... в молодости!..»

«Ууу!.. Аггел!.. аггел!..» — нервно переведя плечами и коротким движением руки как бы отметая от себя какой-то ярко ощущаемый и даже устрашающий образ.

Итак: от ангела до аггела! Какой простор и какая мука! Что-то фаустовское: «Ах, две души живут в больной груди моей, друг другу чуждые — и жаждут разделенья» [6].

Но... разделяются ли они вообще у кого-нибудь? В Лескове они были крепко свиты.

В гороховском доме, в котором родился будущий «волшебник слова», жила и любимая им и любившая его прекраснодушная бабушка Александра (Акилина) Ва-

---

* Гелленбах Л. Человек, его сущность и назначение с точки зрения индивидуализма. СПб., 1885, с. 283 [4].

сильевна Алферьева, бравшая его с собой в восхитительные и полные впечатлений поездки по недальним монастырям.

«Путешествия с елейной старушкой и с ее добродушнейшим старичком кучером Ильею Васильевичем составляло для меня во все годы моего детства наивысочайшее наслаждение.

Я был адъютантом старушки с самого раннего возраста. Еще шести лет я с ней отправился в первый раз в Л-скую <Ливенскую? — *А. Л.*> пустынь на рыжих ее кобылках и с тех пор сопровождал ее каждый раз, пока меня десяти лет отвезли в губернскую гимназию. Поездка по монастырям имела для меня очень много привлекательного... Едем, бывало, рысцой; кругом так хорошо: воздух ароматный; галки прячутся в зеленях, люди встречаются, кланяются нам, и мы им кланяемся. По лесу, бывало, идем пешком; бабушка мне рассказывает о двенадцатом годе, о можайских дворянах, о своем побеге из Москвы, о том, как гордо подходили французы, и о том, как потом безжалостно морозили и били французов. А тут постоялый двор, знакомые дворники, бабы с толстыми брюхами и с фартуками, подвязанными выше грудей, просторные выгоны, по которым можно бегать, — все это пленяло меня и имело для меня обязательную прелесть. Бабушка примется в горенке за свой туалет, а я отправляюсь под прохладный, тенистый навес к Илье Васильевичу, ложусь возле него на вязке сена и слушаю рассказ о том, как Илья возил в Орле императора Александра Павловича... Феакийцы не слушали так Одиссея, как слушал я кучера Илью Васильевича» *.

Шилось с бабушкой мальчику хорошо, но после рассказанной в «Автобиографической заметке» недоброй шутки с оберткой от оподельдока он, глубоко оскорбленный, покидает этот спесью напоенный, ненавистный ему «большой дом».

Последние предгимназические годы он живет с родителями, сперва в Орле, в незатейливом доме их на Третьей Дворянской, над самой речкой Орликом, а затем в купленном ими с отставкой Семена Дмитриевича именьице Панино.

---

* «Овцебык», гл. 4 и 5 — «Отечественные записки», 1863, № 4; Собр. соч., т. XIV, 1902—1903, с. 27.

В Орле ему почти ежедневно приходится видеть, как внизу, на выгоне за Орликом, по утрам муштруют солдат, а потом бьют их палками[7]. Он потрясен и плачет *.

Ни в Орле, ни в Панине нет гувернеров, гувернанток, чопорности, высокомерия богатого родства, учиняемых исподтишка наглостей заевшейся гороховской дворни. Здесь все просто, свободно, малопризорно, а с тем и весело.

Известие о предстоящем вскоре переезде из города на житье в деревню исполняет восторгом.

Надежды счастливо оправдываются. В Панине сразу же создается обширный круг знакомых из людей самых разнообразных положений и возрастов. Особенно пленителен старый мельник, дедушка Илья. Каких только тайн природы и чудесных происшествий не знает он? Тут и сказочные кикиморы, и леший, и оборотни со всеми их проделками, каверзами и проказами.

Имея уже четверть века писательства за плечами и тепло вспоминая своего негаданного друга, забавника и наставника, Лесков благодарно и убежденно восклицал:

«Лесные родники осиротели бы, если бы от них были отрешены гении, приставленные к ним народною фантазией» [8].

А писатели, хочется прибавить, оскудели бы в творчестве без той близости к земле и народу, в которой росло большинство из них в нашем, становящемся уже далеким, прошлом.

В числе оставшихся после Лескова набросков, частью не имевших не только конца, но и начала, оказалось, видимо довольно автобиографическое, описание любопытного происшествия, случившегося с ним в детские его годы. Отсутствующее начало явно говорило о том, что в Панине поджидали к себе Шкоттов. Маленькому Лескову с еще меньшим братом его не терпелось. Украдкой выбравшись из дома, они отправились с целью перехватить гостей впереди родительской усадьбы. Услышав вскоре за ближним пригорком движение и голоса и решив, что это подъезжают их замешкавшиеся родственники-англичане, мальчики, как начинается набросок, «кинулись бегом на гору, к роднику».

---

* «Несмертельный Голован», гл. 3, и «Пугало», гл. 2.

«— Ну вот, — думали мы, — теперь-то мы их как раз и встретим... Может быть, они припоздали, может быть, сбились с дороги проселком, где так много маленьких свертков... И тогда как мы распорядимся? Один из нас, конечно, поцелуется с тетею и вспрыгнет на козлы к ямщику, чтобы показать ему дорогу, а другой сию же секунду бросится назад к дому, чтобы скорее ставили самовар, потому что на дворе был ужасный мороз и англичане с голыми коленками должны были страшно прозябнуть.

И что же вы думаете? — наши ожидания были не совсем напрасны: по мере того как мы взбегали на горку, мы замечали в темной котловине родника какое-то движение.

Наши сельские женщины не ходили на родник ночью, потому что все они имели суеверный страх к этому месту, — и притом мы видели, что в котловине не одна или две бабы с водоносами, а что-то больше. Нам казалось, что мы видим лошадей и людей и даже слышим какой-то говор.

Признаться, мы и сами струсили, но опасение прослыть за трусов перед англичанами взяло верх над нашими оробевшими сердцами: мы схватились за руки и, поняв друг друга в молчаливом пожатии, сделали опасный шаг вперед. До слуха нашего долетали звуки тихо и робко говоривших человеческих голосов, но слова, которые мы слышали, были нам незнакомы. Родители наши не были настолько богаты, чтобы учить нас в детстве многим языкам, но у нас была своя врожденная русская сметка, и мы без всякой учености поняли, что это говорят по-английски и что люди эти не кто иные, как наши гости, которые, вероятно, не поостереглись раската и попали в котловину.

Тогда я и брат смело бросились вперед и остановились: вместо бодрых и сильных англичан, готовых каждого встретить боксом, мы увидели трех человек, которые были обернуты в жалкие лохмотья и тихо бродили вокруг дрянных санишек, на которых лежал какой-то хлам, прикрытый запорошенной снегом рогожей, и оттуда раздавался жалобный писк. Лошадь, похожая на сухой остов, обтянутый конской кожей, стояла невыпряженною в хомуте с мочальной шлеею и, дрожа от стужи, валяла в зубах клок брошенной перед нею соломы...

Мы знали, что в деревнях скот нередко страдает и падает от бескормицы, а люди погибают от стужи, и враз позабыли о своих кузенах, а бросились к этим нищим.

Один из них был высокий седой старик в изорванной бараньей шапке, другой помоложе и в картузе, а третья — женщина.

— Что вы тут делаете? — закричали мы.

Они нам не отвечали и продолжали по-прежнему молча ходить вокруг саней, с которых не переставал раздаваться неумолчный жалобный писк.

— Зачем вы здесь стоите? — здесь холодно.

Высокий старик остановился, поглядел на нас, двух маленьких мальчиков, и отвечал по-русски:

— Здесь очень холодно, — это правда. Мы очень озябли, мальчик.

— Чего же вы здесь ждете?

— Мы ждем!.. Мы ждем милости божией.

— Но зачем вы не спускаетесь в деревню? Она близко, — сейчас за рекой... вон, слышите, лают собаки... Вас там согреют.

— Нас!.. Нет — *нас* не согреют.

Я почувствовал особое усиление звука в слове «нас» и понял, что это какие-нибудь особенно дурные люди, которые сами знают, что они не стоят ничьего внимания. Я знал, что есть люди, осужденные на ссылку, на каторгу, знал и то, что эти люди оттуда иногда бегают и скрываются... Это такие и есть! — подумал я, но как мне было их очень жалко, то я сказал:

— Мне вас очень жалко. Затяните скорее хомут вашей лошади и ведите ее за нами... Мы вас проведем к риге, — там вчера сушили снопы, и в печке должно быть еще немножко тепло, — я вас спрячу и... завтра у нас праздник, и мне, наверно, подарят новый серебряный рубль... Я его принесу вам туда в ригу...

Старик вынул из-за пазухи руку и, положив ее мне на голову, сказал:

— Спасибо тебе, добрый мальчик, но мы с тобой не пойдем.

— Отчего? Я вас проведу так, что вас никто не заметит, а там у печи гораздо теплее.

— Да... там теплее... но ты еще молодое дитя и не понимаешь. Нас там могут найти и скажут, что мы спрятались, чтобы сделать дурное дело. Ты, верно, не знаешь, кто мы?

— Нет, я з н а ю , — вы каторжные, но я хочу, чтобы вам было тепло.

Старик покачал головою и, вздохнув, молвил:

— Ты ошибся, д и т я , — мы не каторжные, но мы хуже.

Что может быть хуже каторжных, я еще не знал и сказал:

— Н и ч е г о , — скажите мне: кто вы, мне все равно вас будет жалко.

— *Мы жиды!*

При этом и другие два человека остановились и, вздохнув тихо, повторили:

— Д а , — *мы жиды.*

Я и брат подались назад — я собственно теперь понял писк, который слышался из-под запорошенных снегом саней, и понял страшную угрожавшую мне опасность: там, конечно, должны быть дети, которых где-нибудь увезли эти люди и теперь с ними скрываются. Оттого они и предпочитают лучше застыть на морозе, чем просить ночлега. Разумеется, они точно так же схватят сейчас и меня и увезут от дома, от родных и от прекрасного завтрашнего праздника...

Ужас поднял дыбом волосы на моей голове, и я бросился бежать домой с страшным криком, а прибежав, упал и долго ничего не мог рассказать встревоженным моим страхом родителям. Но наконец, когда меня успокоили, я кое-как проговорил: «Там... у родника... жиды... везут детей... Меня хотели взять...»

— Что за вздор такой! — ответил отец и приказал подать себе шубку и палку, а также взял с собою меня и лакея Ивана.

Мы пришли к роднику, где жиды оставались в том же самом положении, а из саней слышался тот же самый писк, только он стал теперь еще слабее и жалостнее.

Отец стал говорить с евреями и узнал от...»

Но тут, чуть не на полуслове, рукопись оборвалась *[9].

Вот, хотя бы только и приблизительно, какие картины и впечатления воспринимались иногда у самого панинского родника! [10]

Здесь были уже не сказочные, страшноватые, но пленительные фантастические гении, а подлинная жизнь с ее душу леденящими ужасами...

---

* ЦГЛА.

Неизгладимо врезались они в память и представление, жгли сердце, заставляли думать...

В годы писательства они побудят: на первых же шагах выступить с защитой прав преследуемых русских раскольников [11], людей Моисеева закона [12] и т. д., с искренним сочувствием рассказать о муках «интролигатора» [13], у которого был вероломно взят в кантонисты единственный малолетний сын и который, моля о защите и помощи [14], покрывался «кровавым потом»; * а впоследствии выйти с призывом к всеобщему объединению, независимо от различия веры и племени **.

Страстно влюбленному в литературу, не знавшему равной ей по своему значению профессии, Лескову хотелось уловить в каждом малейший проблеск беллетристического дарования. Тут он, по собственному признанию, часто «спешил» и иногда огорчался этим, но не зарекался искать наново.

В этом же порядке склонял он и меня к литературным опытам. Это вело к тяжелым диалогам.

«— Почему не попробовать? Без этого нельзя судить — есть или нет дарования. Попробуй, тогда и говори! Пользуйся, пока я жив. Я тебе и проправлю и пристрою куда-нибудь первинку... А там, глядишь, подойдет и собственный навык, скажется натура, наблюдательность... А они у тебя есть. Я в твои годы не помышлял о писательстве, а вот выписался. И не жалею. Как ни терниста наша дорога, а все на ней никому не кланяешься, не унижаешься, как на всякой службе. Сам себе хозяин и говоришь не что велят, а что самому сказать хочется. Да и служишь уяснению понятий, просветлению взглядов, борьбе с омрачителями смысла. Чего достойнее? Есть за что и потерпеть и чем удовлетворяться. Ничего другого после не захочешь. Пробуй! Начни! У тебя живой пример — отец.

— Ну какой же вы пример мне? Ничего общего, ни в чем! У нас с вами как раз все навыворот: вы с детских лет жили с народом, знали массу разнообразного люда, жизненных условий, положений, набирались при бесконечных странствиях по России богатейших впечатлений... А я? Рос на Фурштатской, учился на Фурштат-

---

* «Владычный суд», 1877.

** «Сказание о Федоре-христианине и о друге его Абраме-жидовине» — «Русская мысль», 1886, № 12 [15].

ской, женился на Фурштатской... Так, кроме нее, и нет ничего, если не считать театров, вечеров, ресторанов, да еще петербургских дач и поездок за границу с ее отелями, табльдотами и паломничеством по «достопримечательностям», с путеводителями в кармане или с отошневшими «гидами»! О чем мне писать? Что я собрал любопытного, ценного? Чем делиться? Что я могу сказать значительного? Не скромнее ли тянуть свою лямку и молчать?»

Это гневило и огорчало отца, и, может быть, тем больнее, что бедность моего жизненного «багажа» была вся налицо, как у подавляющего большинства людей, взращенных застегнутыми на все пуговицы, в условиях столичной жизни, а не землей, как это шло у Лескова.

Еще в Панине он уже близок и мужикам, и парням, и ребятишкам, с которыми пасет лошадей «на кулигах», ловит с ними пескарей и гольцов в узенькой, но чистой речке Гостомле, сам загоняет в пруд ореховой хворостиной гусей... Дни и ночи в живом общении с народом, почерпая от него ценнейшие знания и горячо принимая к сердцу строгий наказ дружившего с ним умилительного мельника:

«Ты вот что, — говорил мне дедушка Илья, — ты мужика завсегда больше всех почитай и люби слушать» *.

И Лесков учился понимать и любить мужика.

Что же равное мог я услыхать в городе Санкт-Петербурге, какого «мужика» увидать, кроме выдрессированного приказчика — в «колониальном» или «галантерейном» магазине, или вымуштрованного дворника в белом переднике с большой бляхой на груди. Это был «народ», которому, по старому присловью, «Питер все бока вытер». Вытер и душу. Немного ее было и в самом городе, в котором на каждом шагу «как шиш торчал» либо «красный ворот», либо чиновничий «вицмундир».

Безбытовой и беспочвенный по началу жизни, писатель узнается по нежизненности его творчества. У него нет «родных родников». Незнание страны и живущих по необъятным ее просторам людей не проходит даром.

В мелкопоместном Панине нет изысканности манер и барственности, но есть книги, которыми не могло хвалиться пышное Горохово. Есть и духовные, и светские, и даже медицинские, вроде лечебника штаб-доктора Его-

---

* «Пугало». — Собр. соч. т. XIX, 1902—1903, с. 32.

ра Каменского, чуть ли даже и не наставление о лечении «лоснящеюся сажей», зло вышученное через шестьдесят лет Лесковым в рассказе «Загон».

Понуждения к учебе не было, и будущий ненасытимый книголюб пристращается к чтению собственной охотой. Вот как рассказал он о первых своих шагах на этом поприще:

«Из всех книг, которые я прочел в продолжение моей жизни, самое памятное и самое глубокое впечатление дали мне следующие:

А) «Сто четыре священные истории» с картинками [16]. Я выучился грамоте сам, без учителя, и прочел эту книгу, имея пять лет от роду. Все ее истории сразу врезались мне в память, но не все они меня удовлетворили: по ним я очень полюбил Иисуса Христа, но удивлялся, что он на некоторые предлагавшиеся ему вопросы отвечал как будто неясно и невпопад. Это меня мучило, И я стал подозревать, что тут что-то не так рассказано. После я читал множество книг, но это все-таки помнил и всегда хотел узнать: так ли Христос отвечал, как написано в книге «Сто четыре истории».

Б) Вторая памятная мне книга была «Чтение из четырех евангелистов». Личность Христа из нее мне более выяснилась, но ответы его совопросникам по-прежнему оставались неясными. Это было в первом классе гимназии, когда мне было десять лет» *.

Упомянув в одной любопытной, но сейчас призабытой, статье своей о «достойных замечания» книгах, виденных им в 1863 году у раскольников Пскова, Лесков писал:

«Первую из этих трех книг я видел в моем детстве у моего отца, который брал ее у своего приятеля, покойного орловского купца, Ивана Ивановича Андросова... [17]

Двадцать с лишком лет прошло с тех пор, как я моими детскими руками переворачивал широкие листы толстейшей сине-серой бумаги, на которой напечатана эта книга, но и теперь я помню малейшие обстоятельства, при которых я упивался запрещенною книгой, отыскивая в ней именно те подробности христовых истязаний, которые мне хотелось во что бы то ни стало найти и которых я не мог допытаться ни от священной истории, лежавшей в моем шкафике, ни от тяжелой Библии,

---

* ЦГЛА.

которую с благоговейным трепетом снимал со стола моего отца...

Я не помню ни одной книги, которая бы, по моим тогдашним понятиям, могла представлять интерес, маломальски равный содержанию этой книжки, заставлявшей меня плакать по Христу и вскакивать ночью от образов страшного Иуды и чудовищной картины ада, с беседующими в нем людьми Ветхого завета...

Я решился сделать из этой любопытной книги большие выписки и выписал все, что может дать понятие о разноречии этой религиозной легенды с историческою истиною известных событий» *.

В отчем дому, кроме матери, некому «парлировать» по-французски, но есть кому вести беседы с друзьями на отвлеченные темы, думать о предметах, выходящих далеко за повседневность. Наблюдательному и острому ребенку есть к чему прислушаться, чем заинтересоваться, о чем поразмыслить.

Семена, павшие на тучную почву, принесли плод обилен.

По исходе уже трех десятков лет жизни доводится Лескову побывать на родных стогнах.

Отца уже давно нет. Мать сберегала еще сыновьи книжечки. Разобрал он их и раздарил окрестным деревенским ребятам. Отдал даже, видимо показавшийся уже устарелым, «Домашний лечебник» **. А две увез с собой. Д*о*роги показались, памятны. Еще бы!

Первая была листового формата, на серо-синей же бумаге о т п е ч а т а н н а я, — «Новая российская азбука» издания 1819 года, по которой сам он вкусил первую сладость постижения грамоты, а с нею и многоценных наставлений, как, например: «От брани от ссор и протчих непотребных дел отступай», «Помышляй о том еже есть праведно», «Ленивые ни когда не наживаются а не проворные сидят часто голодные», «Зло есть господни з*а*поведи нетворити за что повелевает и во ад затворить», «Кто с плутами водится и сам таков же будет» и т. д.

---

* «С людьми древлего благочестия» — «Библиотека для чтения», 1863, № 9. Выписки, сделанные Лесковым из старопечатной запрещенной книги, составляют тридцать две страницы убористой печати.

** «Житие одной бабы» — «Библиотека для чтения», 1863, № 8, с. 62, 63.

Всего в тетради восемь листов и бездна премудрости, вплоть до таблицы умножения, рисунков и «Наставления как писать писма к разным особам», начиная с архиепископа до дьякона, старца, графа, князя, подполковника, к отцу, жене, приятелю *.

Вторая — «Сто двадцать четыре священные истории из Ветхого и Нового завета, собранные А. Н., с присовокуплением к каждой истории кратких нравоучений и размышлений. В двух частях» (Москва, 1832), с массою поистине смехотворных гравюрок на дереве [18].

С этой книги, как уже ясно из вышеприведенного свидетельства самого Лескова, началось определенное духовное его воспитание и, надо думать, его книголюбие.

Как же было расстаться с такими старыми, дорогими по воспоминаниям друзьями? Их захотелось сберечь.

Берегутся они и о сей день [19].

Ценность их сейчас, конечно, не в преподаваемой ими мудрости или достоверности повествуемого, а в том — кто жадно перелистывал и зачитывался их страницами в детские свои годы, более чем сто лет назад, в глухой деревеньке на «узенькой, но чистой» речке Гостомле.

ГЛАВА 2

ГИМНАЗИЯ

В живой беседе мне не приходилось слышать воспоминаний отца, относящихся к гимназической его поре. Он явно опасался возможных при этом, остро досадительных ему, вопросов о школьных его успехах. Спрашивать о том, о чем сам он не охоч был говорить, — семейным, тем паче младшим, не надлежало. Этого и держались. Знали только ощупью, что какая-то тут неудача была и что, пробыв в гимназии пять лет, он почему-то ее бросил, окончив, должно быть, пять классов.

Как уже известно, в автобиографических заметках этому придавался драматический характер.

По мере роста литературной известности росло и сознание, что будущие биографы, собирая по возможности самые полные данные об его жизни, могут допустить большие ошибки. Не полезно ли «в таком разе»

* Орфография и пунктуация подлинника.

(как любил говорить писатель) дать о себе самом по крайней мере то, что можно и хочется?

И начинается — не очень длительный и настойчивый — подбор кое-каких материалов. В начале девятидесятых годов одной из младших Страховых посылается в Орел просьба выслать хотя какой-нибудь рисунок гороховского дома. Делается попытка набросать сколько-нибудь развернутый очерк личной жизни.

Но в большинстве предположения остаются неосуществленными. Безупречно цельное и строго точное повествование о днях и трудах всей своей жизни не удавалось и бросалось. Задача была не по складу натуры, характера, неодолимых уже навыков. Он был превыше всего беллетрист. Его влекло художественно живописать. Методический, как бы дневниковый, историзм и исповедное, в стиле Жан-Жака Руссо или дневников Льва Толстого, обнажение всех или хотя наиболее много последственных своих движений и действ — было не в его средствах. «Могий вестити да вместит». Он не вмещал.

Автобиографические опыты очень многим не удаются. Здесь слишком остро сказываются в каждом отдельном случае те или иные «свойства души человеческой».

Однако кое-что из разбросанно и обрывочно оставленного в этой области несомненно имеет свою цену.

Один такой, к сожалению, вначале же оборвавшийся и до сегодня не опубликованный набросок дает выразительную картину его ранней жизни в Орле после поступления в гимназию. Он заслуживает приведения его здесь во всей полноте.

«КАК Я УЧИЛСЯ ПРАЗДНОВАТЬ

(Из детских воспоминаний писателя)

Я учился в Орловской губернской гимназии, — в первом классе. Это было в начале сороковых годов. Мне тогда только исполнилось десять лет. Родители мои были небогатые дворяне и имели свою деревушку в Кромском уезде. Называлась деревушка Панин Хутор. Отец с матерью и маленькие братья с сестрами там и жили, а меня привезли в августе в Орел и «сдали в гимназию», а на квартиру поставили к повивальной бабке за безводной рекой Перестанкою. У бабушки этой был сын, гимназист третьего класса, который назывался Никишенька и по

отчеству тоже он был Никитьевич, и жили они в своем доме у Никития. А саму бабушку звали Порфирьевна. Крестное имя ее было Антонида, но этого имени никто не произносил, а просто говорили «бабушка Порфирьевна». Бабушке было в то время лет под сорок, но она уже давно вдовела и вела жизнь примерную. Добрая была, рассудительная и аккуратная, а по своему повивальному делу славилась во всем орловском купечестве, и платили ей по-тогдашнему дорого — ни за что не меньше золотого и темной материи на платье. У Порфирьевны «была такая амбиция», что меньше золотого она ни за что не брала: если бедная женщина к ней обратится, то она сходит и так даром, бесплатно ей поможет, но уж платы иначе как золотом не возьмет. Ее уважали, и она, должно быть, заслуживала уважения. Три раза в год ей насылали «даров». Дары бывали «богатые, средственные и бедные», но всегда «усердные» и непременно «в трех видах» — соображая по времени. К рождеству «живность» — разная битая птица: куры, гуси, утки и индейки; к масленице — огромнейшие, длинной формы пшеничные хлебы «с уборцами» и стегно малосольной рыбы, преимущественно севрюжины. Хлебы были особенные и назывались «прощеными пирогами», или «пряниками». Вкусу в них не полагалось решительно никакого, и они во весь пост составляли для нас с Никишею сущее наказание, потому что из них насушивали сухари и выдавали их нам вместо свежих булок, которые зато на все это время отменялись. К пасхе же бабушке присылали в дар мучное и молочное: масло, яйца, творог, сметану и крупичатую муку на куличи.

Еда нам, впрочем, всегда была отличная, потому что у бабушки всего было много. Кроме тех даров, которые присылались три раза в год «по положению», ей приносили чаю, сахару и кофе и варенья в разные дни — в именины ее и в рождение, в «причащеньев день» и в несрочные дни, после каждого повоя, «на кашицу».

«На кашицу» приносилось всего, что где случалося, — и вареного, и печеного, и жареного. Сама Антонида Порфирьевна ничего этого не кушала, потому что она была «человек не домашний», — дома ей случалось бывать очень редко и ненадолго, и потому она была «у всех как своя, а у себя дома конфузилась». Есть у себя дома решительно не любила, и все изобилие съестных даров истребля-

ли мы с Никишенькой да «служанка» — старушка Игнатьевна, которая совсем заплыла жиром.

Так, с материальной стороны, нам было очень хорошо, но зато не было нам никакого нравственного воспитания, а порчи было множество.

Постройки тогда в Орле в этой части города были такие, как «свиное каре»: на все четыре стороны квартала домы окнами на улицы, а «задами вместе». Тут, «на задах», были огородцы, или «угородцы», на которых росли ягодные кусты и овощи, а также и цветы. Из цветов, впрочем, были только разноцветные розы и шиповник. «Угородцы» не были отделены один от другого ничем или изредка разделялись только низкими и реденькими плетнями, через которые соседи без малейшего затруднения ходили друг к другу покурить, посплетничать, иногда нарвать чужих огурцов и подраться, а иногда нагрешить чем-нибудь еще тягостнее.

Раз одному соседу, — старику, который «зажился за семьдесят годов» и пошел в летний день отдохнуть под куст черной смородины, — нетерпеливая невестка влила в ухо кипящий сургуч... Я помню, как его хоронили... Ухо у него отвалилось... Потом ее на Ильинке (на площади) «палач терзал». Она была молодая, и все удивлялись, какая она белая... Потом тут же раз, по самый Петров день...» *

На этом рукопись оборвалась, не успев что-либо сказать о переживаниях ее автора непосредственно в стенах самой гимназии, о чем речь будет в других местах. О роли церкви Никитин читаем и в «Мелочах архиерейской жизни»: «Когда в Орле, в дни моего отрочества, расписывали церковь Никития и я ходил туда любоваться искусством местных художников, то один из таковых, высоко разумея о своем даровании, которое будто бы позволяло ему «одним почерком написать двенадцать апостолов», говорил, что будто ему раз один церковный староста дал десять целковых на шабашку, чтобы он поставил в аду на цепь к Иуде Смарагда <орловского архиерея. — *А. Л.*>, и что он будто бы это отлично исполнил. «Сходства, говорит, лишнего не вышло,

* ЦГЛА.

а притом все, однако, понимали, что это наш Тигр-Ефратович» *.

Это опять только «городское», характеризующее наблюдательность и любознательность мальчика. А вот уже пойдет и «само знаменитое учреждение»:

«Так, в Орловской гимназии, где я учился, классные комнаты были до того тесны, что учителя затруднялись найти ученику, отвечающему урок, такое место, до которого бы не доходил подсказывающий шепот товарищей, духота всегда была страшная, и мы сидели решительно один на другом. Между тем наверху было несколько свободных комнат и прекрасная зала, в которую нас впускали раз в год, в день торжественного акта; остальные 364 дня в году двери залы были заставлены какими-то рогатками... Говоря о том, что в Орловской гимназии лет 12 тому назад было только одно отхожее место, устроенное на черном дворе, за инспекторскою кухней, и что в нем было только две лавки с четырями сиденьями, к которым во время $^1/_4$-часовой перемены толпились ученики всех семи классов, я вспоминаю множество забавно грязных и грустно смешных сцен, поводом к которым было ожидание вакантного места. Смешно сказать, а мне сильно сдается, что нужное место Орловской гимназии имело вредное влияние даже и на нравственную сторону воспитанников. По крайней мере там мы поневоле приучались пользоваться неправомерием, кулачным правом, равнодушием к нужде ближнего и даже взяткою за место. Известно, что дети всегда стараются подражать во всем старшим» **.

Учат в гимназии как попало, но бьют исправно. Навестив родные места много лет спустя и побеседовав с одним четырнадцатилетним землячком-гимназистом, Лесков удовлетворенно отмечает, что теперь он училища не боится, как мы его боялись. Рассказывает, что у них уж не бьют учеников, как бывало нас все, от Петра Андреевича Азбукина, нашего инспектора, до его наперсника сторожа Леонова, которого Петр Андреевич не отделял от себя и, приглашая ученика «в канцелярию», говорил обыкновенно: «Пойдем; мы с Леоновым *announced*

* «Мелочи архиерейской жизни». СПб., 1880, с. 67.

** «Заметка о зданиях». — «Современная медицина», 1860, № 29.

*** «Житие одной бабы». — «Библиотека для чтения», 1868, № 8, с. 66.

Еще позже, очевидно по собственным воспоминаниям, эта же формула — «вописуем тя» — применяется в описании воспитательных приемов училища, где фигурирует директор с «тевтонским клювом», прообразом которого был Александр Яковлевич Кронеберг, и гимназический сторож Кухтин, с подлинной его фамилией, воспетый воспитанниками в стихах:

Как грозный исполин,
Шагал там с розгами Кухтин *.

Вспоминая, как многолетний орловский губернатор П. И. Трубецкой засекал насмерть на Ильинской площади шпицрутенами лиц, подозреваемых в поджогах, Лесков прибавлял: «Несмотря на всю жуть Ильинской казни, некоторые маленькие ученики гимназии, не особенно секретничая, строчили такие письма <с угрозами поджогов. — *А. Л.*> «злым» учителям, между которыми, разумеется, были люди совсем и не злые. Так, например, писали директору А. Я. Кронебергу и учителю немецкого языка В. А. Функендорфу «за то, что он линейкой дрался» **.

К месту сказать, это тот самый педагог, об отсечении которым в пьяном виде линейкою уха одному из гимназистов говорится в «Автобиографической заметке» Лескова.

Будущие московский профессор-эмбриолог А. И. Бабухин, физик К. Д. Краевич, художник Г. Г. Мясоедов, возрастом на два-три года младшие, чем Лесков, догоняли и перегоняли его в третьем классе. Никакой товарищеской связи у него с этими «однокашниками» не замечалось, хотя бы и с живущими постоянно в Петербурге. Между тем он всех их помнил и не упускал случая печатно называть.

В 1888 году вышла книга Я. И. Горожанского «Памятная книжка Орловской губернии». 28 июня появляется зоркий разбор Лесковым этой орловской памятки, озаглавленной «Достопамятные орловцы» ***[20]. Он переполнен упречными указаниями составителю длинного ряда

* «Смех и горе». — Собр. соч., т. XV, 1902—1903, гл. 16 и 17. Ср. «Товарищеские воспоминания о Якушкине». — Сочинения П. И. Якушкина. СПб., 1884, с. XLVII.

** «О трусости». — «Новое время», 1880, № 1426, 16 февраля.

*** «Петербургская газета», 1888, № 175.

не внесенных в справочное издание, «заслуживающих особенного внимания своих земляков». Среди них названы: М. А. Стахович, А. Т. Болотов[21], В. П. Безобразов, Г. А. Захарьин, Марко-Вовчок (М. А. Маркович), К. Д. Краевич... Последнему он в свое время даже написал полный уважения, хотя и холодноватый, некролог, завершенный малоожиданною по отношению к Орловской гимназии теплой признательностью: «Воспитание их <Краевича, Бабухина[22], Лескова и Мясоедова. — *А. Л.*> относилось к тому «строгановскому» времени[23], когда учителя в средних заведениях имели *нравственное влияние* на своих воспитанников, а в Орловской гимназии тогда был в числе других учителей человек необыкновенной прямоты и чистоты, Валериян Варфоломеевич Бернатович[24], которого ученики его поминали и благодарили всю жизнь за то, что он умел дать их характерам известную крепость» *.

Выходило, что не все было в гимназии безнадежно и духовно убого.

Среди самых ранних памятей попадаются, пожалуй, еще предгимназические, не чуждые игривости: «В Орловской гимназии во время моего детства был инспектор из иностранцев Шопин[25], и по дворянству эта фамилия всем совершенно не нравилась до того, что даже кто-то куда-то писал об этом, а со стороны господ офицеров квартировавшего тогда в Орле Елисаветградского гусарского полка «были вольности», но добрые орловские мужики находили эту фамилию прекрасной.

— Простая, — говорили, — и сразу вспомнишь.

Слово иностранное, но пришло по вкусу и по сердцу» **.

О самом учении в этом рассаднике знаний Лескову было «смешно и говорить». Родители его, может быть не без помощи многоимущей тетки, ежегодно платят огромную по тогдашней цене денег, сумму в 600 рублей[23] ассигнациями, или около 171 рубля серебром, за «право учения», которым первенец упорно не пользуется.

---

* «Смерть старого человека». — «Петербургская газета», 1892, № 38, 8 февраля.

** «Геральдический туман». — «Исторический вестник», 1886, № 6, с. 605.

В конце концов дело кончается жестоким конфузом: после пятилетнего пребывания в гимназии, осенью 1846 года, одаренный юноша отказывается от переэкзаменовки в четвертый класс и получает поистине жалкую «путевку в жизнь».

«Предъявитель сего, ученик 3-го класса Орловской губернской гимназии, Николай Лесков, как видно из документов его, сын надворного советника Семена Лескова; отроду имеет пятнадцать лет, вероисповедания православного, поступил по экзамену в 1-й класс гимназии 29 августа 1841 г. и, находясь в ней по нижеписанное число, в продолжение всего этого времени вел себя хорошо и был переводим по испытаниям в высшие классы, из 1-го во 2-й класс в июне 1842 из 2-го в 3-й класс [27] в июне 1843 г., и в них изучил положенные предметы с следующими успехами, а именно: священную и церковную историю с отличными, языки: русский до словосочинения с хорошими, латинский с хорошими, немецкий с достаточными, французский с посредственными, арифметику с достаточными, географию до подробного описания европейских государств с хорошими, чистописание с достаточными и черчение и рисование с достаточными. Но как он, Лесков, испытанию в предметах 3-го класса не подвергался, то если бы он желал поступить в университет или лицей, то, согласно предписанию господина министра народного просвещения от 16 октября 1841 года за № 10401, не прежде может быть принят, как по прошествии пяти лет со дня удостоения к переводу его в 3-й класс, т. е. с 1 июня месяца 1843 г. Кроме того, он, Лесков, как не окончивший полного курса гимназии, не может пользоваться правами и преимуществами, предоставленными таковым ученикам; при испытании же на первый классный чин он должен быть освобожден от такого испытания книг из священной и церковной истории и арифметики. В удостоверение чего и дано ему, Лескову, сие свидетельство по определению Совета Орловской губернской гимназии, состоявшемуся 20 сего августа. Орел. Августа 20-го дня 1846 года *[28].

На горе отцу и матери, на еще большее себе, ставится крест на дальнейшее школьное образование. Пять лет стараний родителей идут прахом.

---

* «Орловские губернские ведомости», 1900, № 96, 16 марта.

Своенравный старший сын, пользуясь личной безнадзорностью и явной мягкостью отца, находясь в гимназии, как нельзя более несвоевременно и длительно «учился праздновать».

ГЛАВА 3
«ПРЕДЕЛ УЧЕНОСТИ»

Невольно возникает вопрос — какие же причины вынудили Лескова оставить гимназию?

Больше всего, кажется, их надо искать в равнодушии, если не отвращении, мальчика с пытливой мыслью и живым темпераментом к мертвенно-схоластической «учености» этой своеобразной школы.

Далее — грубость и бездушие многих насадителей этой учености с тевтонскими клювами или сопутствуемых жестоко «восписующими» сторожами, а то и отсекающих, спьяну, кому-нибудь линейкой ухо.

Затем — полная свобода и бесконтрольность жизни у щедропитательной повитухи или на другой ученической квартире, при полном безразличии хозяев этих квартир к выполнению малолетним их постояльцем своих ученических обязанностей, приготовлению уроков.

Ко всему этому — с детских дней неодолимое влечение к запойному чтению книг, как на грех обильных... и в деревенской, и в орловской библиотеках... На исходе третьего десятка писательства и шестого жизни Лесков благодарно писал:

«В Кромском уезде Орловской губернии, в селе Зиновьеве, жила помещица Настасья Сергеевна, рожденная княжна Масальская[29]. Она в юности получила блестящее образование в Париже и пользовалась общим уважением за свой ум и благородный, независимый характер. Состояние у нее было среднее (500 душ), но хорошо поставленный дом ее был открыт для званых и незваных. Ее очень почитали и ездили к ней издалека, не ради пышности и угощений, а «на поклон» — из уважения. В зиновьевском доме было хлебосольно, но просто, приютно и часто очень весело. Кроме того, зиновьевский дом был также в некотором роде источником света для округа. Большинство соседей брали здесь книги из библиотеки, унаследованной хозяйкою от Масальского, и это

поддерживало в окружном обществе изрядную начитанность.

Когда меня мальчиком возили в Зиновьево, Настасья Сергеевна была уже старушка, но я отлично ее помню и с нее намечал некоторые черты в изображениях «боярыни Плодомасовой» (в «Соборянах») и «княгини Протазановой» (в «Захудалом роде») *.

В других случаях он... указывал, что пользовался библиотекой в гимназические годы... в Орле.

Самое важное, биографически, подтверждено Лесковым в одной из самых поздних его бесед:

«— Мне кажется, я подготовлялся к нему <литературному поприщу. — *А. Л.*> постепенно с самых малых лет... Началось это с чтения самых разнообразных книг, а в особенности беллетристов, во время моего пребывания в Орловской гимназии. Я в этом городе посещал дом А. Н. Зиновьевой, племянницы писателя князя Масальского. У г-жи Зиновьевой была богатая библиотека, доставлявшая мне массу материала для чтения, — я перечел ее почти всю... Так началось мое умственное развитие, продолжавшее затем быстро прогрессировать благодаря близкому знакомству с такими личностями, как, например, А. В. Маркович, муж писательницы Марко-Вовчок, и С. С. Громека» **.

Кроме того — любопытство и восхищение мистическими опытами в наблюдении «зодий» полумифическим Голованом с его оригиналом-другом медником Антоном. Интерес к иконописным работам в ближней церкви, первое, так сказать, знакомство с изографами. Казни на Ильинской площади... Прелесть бесед в семье старого кроткого «этапного» офицера и рассказы о карах, совершаемых над мелким «духовенным» на соседней с этапом монастырской слободке лютым местным архиереем, «крокодилом Никодимом». Наблюдение, как «жарит на выскочку» полупомешанный губернатор князь Петр Иванович Трубецкой, которому надо уметь вовремя снять фуражку, чтоб не навлечь его гнева. Необходимость следить за «первым проблеском гласности в Орле, и притом гласности бесцензурной». Выражалась она в том, что

* «Пресыщение знатностью». — «Новое время», 1888, № 4272, 20 января.

** Протопопов Виктор. У Н. С. Лескова. — «Петербургская газета», 1894, № 320, 27 ноября. Ср.: *Фаресов, с. 16.*

на Полешской площади, в окне квартиры некоего отставного майора Шульца, стояли чучела: «красный петух в игрушечной каске, с золотыми игрушечными же шпорами» и «маленький, опять-таки игрушечный же, козел с бородою». Они «стояли друг против друга в боевой позиции, которая от времени до времени изменялась. То петух клевал и бил взмахами крыла козла, который, понуря голову, придерживал ногою сдвигавшийся на затылок клобук; то козел давил копытами шпоры петуха, поддевая его рогами под челюсти, отчего у того голова задиралась кверху, каска сваливалась на затылок, хвост опускался, а жалостно разинутый клюв как бы вопиял о защите» *. Что могло быть интереснее, особенно когда все знали, что это символизация междоусобной вражды «неуемного» архиерея Смарагда и «умоокраденного» губернатора Трубецкого. Дальше шли, не менее интересные, петушиные и кулачные бои и т. д. Везде столько любопытного, захватывающего, не успеть, кажется, всюду побывать, за всем уследить, все пересмотреть, переслушать...

А тем временем исподволь подкрадывается, особенно опасное в безнадзорности, отрочество... «От юности моея мнози борят мя страсти», — поется в церкви. А они уже борят и в жизни. И защитить, оберечь от искушений междоусадебных «задов» и «угородцев», на которых совершаются грехи всех видов и степеней, некому.

Кругом соблазны... И год от года больше, разновиднее и острее...

В масальской библиотеке он уже, наверное, прочел Фауста и в нем, полный пленительного яда, стих:

Теория, любезный мой, скучна,
А жизни дерево цветисто и прекрасно[30].

Цветы этого дерева были познаны, по жившим в родстве преданиям, не по годам рано и жадно. Они опьяняли мысль и ослабляли волю.

Где уж тут было одолевать школьную сушь!

Живи родители в Орле, а он в своей семье, при властной и зоркой матери, дело шло бы иначе. Но они далеко, в Панине. Отец, видимо, и вправду «не лих» и «не лют», можно его и не побаиваться. А юноша, как потом писал

---

* «Мелочи архиерейской жизни». Собр. соч., т. XXXV, 1902—1903, с. 71. Ср. «Смех и горе». — Там же, т. XVII, с. 160.

Семен Дмитриевич о своем первенце Д. Н. Клушину, «с характером сильным».

Экономические причины исключаются совершенно. О них нет повода и говорить: он прекрасно помещен, накормлен, обслужен. Знай себе учись без всякой о чем-нибудь заботы, да и без особенного труда, так как ученье «смехотворно». А подготовка к гимназии была обстоятельная: при нем в Панине «состоял» исключенный из семинарии дьяконский сын, ритор, который «учил меня латинским склонениям и вообще приготовлял к тому, чтобы я мог на следующий год поступить в первый класс Орловской гимназии не совершенным дикарем, которого способны удивить грамматика Беллюстина и французская — Ломонда» *.

Несколько удивляет тут — почему не учил сына латыни, да и всему прочему, сам отменный «классик», успешно прошедший полный курс семинарии, родной отец? Едва ли это подтверждает большую скудость семьи на пятидесяти пяти десятинах при двадцати двух «душах» [31] и деловитой и умной хозяйке. Дьяконского-то сына ведь приходилось кормить и гривны какие-нибудь ему платить. Но Гораций Флакк, видать, интереснее Беллюстина.

Так или иначе, как сам Лесков писал впоследствии, был положен *«предел правильному продолжению учености».* Об этом в тайне сердца своего он потом не раз горько пожалеет.

Для родительского самолюбия и планов это был удар. С отличием окончивший когда-то несравнимо более трудную школу, чем уваровская гимназия, отец был озадачен. Мать корила сына и леностью и безучастием к интересам семьи, как и к своим собственным. Через сорок лет, за полгода до своей смерти, на мой вопрос, в чем тут было дело, она, без тени прощения или забвения давней обиды, жестко отрезала: *«не хотел учиться!»* [32]

Отсутствие солидного образовательного диплома болезненно уязвляло Лескова всю жизнь. И чем сильнее кровоточила эта рана, тем горячее хотелось убедить не только других, но и самого себя в том, что это результат не личного своеволия, а драматически сложившихся обстоятельств: смерти отца, гибели всего состояния семьи

---

* «Пугало», гл. 8. — Там же, т. XIX, с. 47.

в знаменитом орловском пожаре, необходимости на жалкий оклад канцелярского служителя поддерживать семью, жившую, пусть и на невеликой, но на своей земле, со своими крепостными.

Мощь исключительного дара самовнушения приводит его с годами к почти искренней вере, что на самом деле все так и было.

В родстве жило другое толкование, и факты говорят иное.

Семен Дмитриевич умирает через два года после выхода старшего сына из гимназии. Оба знаменитые орловские пожара не совпадают с гимназическими годами Лескова: первый был в июле 1841 года, то есть до поступления его в гимназию, второй в мае 1848 года, когда его уже два года в гимназии не было. В оба эти срока Лесковы жили уже в Панине, и никакое имущество у них в Орле не горело. К тому же, даже и после смерти отца двое из младших братьев Лескова пооканчивали гимназию и университет, а третий — Орловский кадетский корпус. Нет, не в пожарах и не в нуждаемости или сиротстве тут было дело.

Сторицею покрывает он потом мучительный дипломный изъян огромною начитанностью, но отсутствие полноценного диплома вредит всегда, везде, во всем.

Немало щекотливости вносило оно и в его позднейшее служебное положение неученого члена «Ученого комитета Министерства народного просвещения» [33], вызывая иногда болезненные уколы самолюбию со стороны некоторых широкодипломированных, но, может быть, узкомысленных товарищей по Комитету и литературных критиков.

Ошибка, совершенная по юношескому легкомыслию, оказывалась непоправимой.

Всю жизнь, кроме разве последних лет, случайно заданный кем-нибудь в оживленной беседе вопрос: «а вы сами, Николай Семенович, ведь тоже Киевского университета?» — был нестерпим и оставался или без внятного ответа, или как бы неуслышанным, заминался сторонней репликой.

Тушевалась эта сторона кое в каких и беллетристически-биографических вещах. К какому, например, выводу клонили такие строки «Овцебыка»: «меня поучили в гимназии, потом отвезли за 600 верст в университетский город, где я выучился петь одну латинскую песню, про-

читал кое-что из Штрауса, Фейербаха, Бюхнера и Бабефа и во всеоружии моих знаний возвратился к своим Ларам и Пенатам» *. Как после этого было не спросить об университете?

Не были во многом четки и точны и автобиографические справки.

Делалось это преимущественно в более ранние годы по тем же мотивам, по которым большими неточностями полны некоторые автобиографии, писанные для печати.

Картина менялась в беседах или переписке с хорошо осведомленными людьми из литературного мира. Тоже «в науках не зашедшемуся» А. С. Суворину, хорошо знавшему многое из жизни Лескова, удобнее было писать, не чинясь: «Я ведь вполне *самоучка* и всем, что знаю и что усвоил, обязан себе и двум добрым людям, которых нельзя не вспомянуть, давая сведения обо мне как о литераторе» **.

Такими «добрыми людьми» могли быть некоторые киевские ученые — Н. И. Пилянкевич[34], И. Ф. Якубовский, И. М. Вигура[35], С. О. Богословский, «первый аболиционист» Д. П. Журавский... Но кроме них, еще в Орле, огромное влияние на молодого Лескова оказали <гимназический его учитель, а позже> старший сослуживец И. М. Сребницкий[36], и особенно А. В. Маркович, вспоминая о котором Лесков писал, что «обязан ему всем моим направлением и страстью к литературе» ***[37].

Об этих «добрых людях» он хранил благоговейную память, считал их своими наставниками, зародившими в нем духовные интересы, жажду знания, обратившими его «к солнцу», к свету. Возможно, что общение с ними обидно поздно раскрыло ему, что он потерял, отняв у себя университет. Это не могло не приходить на мысль, но никогда не вылилось в открытое признание.

Рядом с этим с годами, по мере роста начитанности и углубления знаний, он не задумывался выражать колкое пренебрежение к легковесным, по его мнению, авторитетам, представляющим из себя зачастую не более как «бубен» или «пустой надутый пузырь, в котором гремит

* Собр. соч., т. XIV, 1902—1903, гл. 5, с. 37.

** Письмо Н. С. Лескова от 26 февраля 1873 г. Пушкинский дом.

*** Письмо к С. Н. Шубинскому от 23 июля 1883 г. — Гос. Публичная б-ка им. Салтыкова-Щедрина, Ленинград.

сухой горох» *, прикрывающим свою бездарность и убожество громкими степенями и званиями.

«Удивляюсь, — говорил он уже в поздние годы, — как это среди нас можно говорить, где кто кончил курс наук. Что за департаментская точка зрения на человека! При определении его на службу спрашивают его аттестат и диплом; а в литературе нужны только честные и даровитые люди... Литератор — не ученый, а более чем ученый. Кроме ученых знаний, он понимает, куда с этим багажом следует ехать... В этом его преимущество... Я нигде не кончил курса, но не могу сказать, чтобы я не учился, так как до седых волос не расстаюсь с книгой. Можно ли сказать, что я не проходил высшего образования? В литераторе важно личное его настроение и дарование, а не то, где он кончил курс наук» **.

Даже и здесь, уже в период полного признания его широкой общественностью, звучит больная нотка всегда точащей душу досады. Она сильнее и искреннее, чем попытка уврачевать дух самоубеждением, что, и не учась смолоду, можно позже многое наверстать. Иначе почему из всех русских писателей в одном Тургеневе Лесков видел стройно и много учившегося человека.

Знания и школа никогда не вредили таланту. Они его обогащали, придавая глубину, красоту и блеск, как грань алмазу.

На самомнящих, заскорузло-ученых он никогда не уставал ополчаться в статьях с достаточно говорящими заглавиями, как например, «Ученые общества» ***, «Российские говорильни» ****, «Академический магистр» *****, «Ученое олимпийство ****** и т. д.

Наоборот, всегда с полным уважением произносил он имена таких, как С. М. Соловьев, П. Н. Кудрявцев, Т. Н. Грановский, Н. И. Костомаров, Ф. И. Буслаев и многих других.

Вопрос об образованности Лескова был через пять лет после его смерти довольно неловко вынесен на столб-

---

* Письмо Лескова А. Л. Волынскому от 23 июля 1892 г. Пушкинский дом; Волынский А. Л. Н. С. Лесков. СПб., 1898, с. 166.

** Фаресов. Против течений. СПб., 1904, с. 390, 391.

*** «Библиотека для чтения», 1863, № 5.

**** Там же, № 11.

***** «Новое время», 1881, № 1759, 20 января.

****** «Петербургская газета», 1884, № 52, 23 февраля.

цы «Нового времени» бывшим его сослуживцем по Ученому комитету Министерства народного просвещения В. Г. Авсеенкой [38].

Совершенно неожиданно, вместе с третьим его «маленьким фельетоном» на эту тему, в том же номере газеты появился беспощадно сводивший на нет все потуги Авсеенки доказать «худость» Лескова «большой» фельетон, относивший Лескова к образованнейшим людям своего времени.

«Лесков, — писал автор статьи, — это — училище, сокровище ума, образования, размышления, не говоря уже о наблюдательности; он возбуждает бездну теоретических, так сказать «университетских» вопросов, и очевидно чрезвычайно многое для себя «университетски» же, со строгостью профессора, но и еще с прибавкою таланта, разрешил. В невежестве можно признаться, когда это утилитарно, может послужить делу, доказыванию. Итак, сознаюсь, что из печатавшихся теперь о нем заметок я впервые узнал, что Лесков в университете не был, да и вообще нигде не кончил» *[39].

«Самоучка» уже не всегда и не всеми чувствовался.

ГЛАВА 4

ОРЛОВСКАЯ УГОЛОВНАЯ ПАЛАТА

Потеряв гимназическую позицию, подросток оказался в трудном положении: что делать, куда идти?

Не в Панино же, где и отцу-то себя применить не к чему! Да там еще и не умиленная происшедшим мать...

Широкие пути, открывавшиеся тогда университетом, закрылись. Горизонт обидно сужен. Приходится искать какого-то устройства в Орле или в Кромах. Благо тут еще есть не совсем заглохшие связи у отца и влиятельное богатое родство, у которого он, случалось, встречал самого «умоокраденного» губернатора Трубецкого. Но все они, по совести сказать, порядочно насолили своим аристократизмом и великолепием. Недаром самолюбивый отец поместил его с первого же класса на наемной квартире, а не нахлебником, из милости, у кого-нибудь из видных «свояков». Много пришлось хлебнуть горького на родной Орловщине, и в душе всегда мечталось со временем уйти из нее.

* «Новое время», 1900, № 8701, 8705, 8710.

Не удивительно, что в начальном писательстве ей отводятся подчас очень «неудобные» строки. Чего стоит хотя бы такое баснословие о разделе земли между Христом и дьяволом. «— Он хитер, ух как хитер, — говорил речистый рассказчик, имевший самое высокое мнение о черте. — Он возвел господа на крышу и говорит: «Видишь всю землю, я ее всю тебе и отдам, опричь оставлю себе одну Орловскую да Курскую губернии». А господь говорит: «А зачем ты мне Курской да Орловской губернии жалеешь?» А черт говорит: «Это моего тятеньки любимые мужички и моей маменьки приданая вотчина, я их отдать никому не смею...» *

Однако не так страшен черт, как его малюют. В этой же «самой воровской и разбойничьей губернии», населенной «проломленными головами», стойко жили слышанные Лесковым еще в детстве от тетки Пелагеи Дмитриевны предания о благородных разбойниках, как Кудеяр[40], а самому выпадало встречать прообразы своих будущих «праведников», чистых сердцем Котина Доильца, Ивана Флягина, Храпошку, худого дворника Селивана и т. д. «до бесконечности»... В самом «прогорелом» Орле живут такие чудесные люди, как целитель травками купец Крылушкин, низводящий с солнца огонь и наблюдающий вместе с Голованом «зодии» медник Антон, добряки и бессребреники, всех не перечтешь.

Так или иначе — надо было куда-то «поступить». Но куда? Слишком малый возраст не допускал определения на «коронную» службу. После двух-трех месяцев тяжелого межеумья, в которые Семен Дмитриевич успел списаться кое с кем из старых сослуживцев, Николая Семеновича удается пристроить в уголовную палату, помнившую еще, как успешно подвизался когда-то в ней его отец. Но в какой же роли? О, в самой жалкой — вольнонаемного служителя, одним из писцов, начинавших карьеру где-нибудь в углу, за шкафом, на табуретке, с гусиным пером за ухом и традиционной помадной банкой вместо чернильницы.

Плохо, но все же выход из тупика, выход на какую-то, пусть и ничего не обещавшую в будущем, но дорогу. Конечно, предстоит немало унизительного. Еще бы: между положением воспитанника губернской, по преимущест-

---

* «На ножах». — Собр. соч., т. XXVII, 1902—1903, с. 106.

ву дворянской гимназии и вольнонаемного писца какого-то приказа — бездна!

В гимназическом мундирчике можно равноправно чувствовать себя в любой гостиной, в любом «хорошем доме». Не только можно, но даже должно появляться в указанные дни и у боярыни Плодомасовой-Зиновьевой, и у Страховых, и у Тиньковых, и у Кологривовых, словом, у всех, ревниво державших претенциозный тон родственников и свойственников, принадлежавших к «губернскому свету». А как там показаться во образе подканцеляриста? Да и гардеробчик небось похрамывает. Не закрылись ли двери их «салонов»? Не осторожнее ли в новом своем звании спуститься в значительно более скромные слои городского населения, в среду мелкого приказничества? Неизбежно так. Какая уж тут светскость и близость с богатеями и персонами! Приходилось кругом смириться.

Первоначальный искус в палате тянется с полгода. Неофиту исполняется, наконец, полных шестнадцать лет. Становится возможным зачисление на государственную службу. Он подает установленное прошение, прилагая к нему любопытный документ:

«ПОДПИСКА

1847 г. мая 3 дня я, нижеподписавшийся, согласно примечанию к 407-й статье 3-го тома устава о службе и определению от правительства, дал сию подписку Орловской палате уголовного суда в том, что я не принадлежу ни к каким масонским ложам и другим тайным обществам, под какими бы то они названиями ни существовали, и что впредь к оным принадлежать не буду. Из дворян Николай Семенов сын Лескова руку приложил» *.

Четверть века спустя Лесков вспомнит эту подписку в одной из своих статей **.

При всей безрадостности предстоящей приказной службы на ней ему выпадает серьезная удача попасть под непосредственное начало и руководство <...> Иллариона Матвеевича Сребницкого, исполнявшего обязанности

---

* «Орловские губернские ведомости», 1900, № 96, 16 марта,

** «Дневник Меркула Праотцева». — «Русский мир», 1874, № 70, 14 марта. Подпись — М. П.

секретаря палаты. Становится не так страшно, но сиро в чужой среде и обстановке. Это мягкий, любящий литературу человек, который позже будет давать свои критические отзывы о первых произведениях начинающего писателя, а затем и подтверждать подлинность гимназических сцен, воспроизведенных в «Смехе и горе» *.

Сребницкий был одним из наиболее любезных Лескову, по воспоминаниям, коренных орловцев. С ним он изредка переписывался и посылал ему отдельные свои издания **. Несомненно, Лесков видел и помнил в нем первого своего руководителя в чтении более современных литературных произведений с критическим уже подходом к читаемому. Это была не простая задача, и ученик сохранил заслуженную благодарность учителю за ее выполнение.

Здесь сам собою напрашивается непустой вопрос. Много раз пытался я дознаться о происхождении неблагозвучного, нерусского псевдонима, придуманного в начале литераторства, — «Стебницкий». Спросить об этом самого отца я так никогда и не решился, так как хорошо знал, со сколькими огорчениями связана была его деятельность, шедшая под этим именем. Ничего не знал тут и кто-нибудь в родстве. На исходе 1920-х годов я много навещал в Детском Селе (город Пушкин) покойного библиографа произведений Лескова — Быкова. Сидя с ним как-то летом в парке, я задал ему давно мучивший меня вопрос.

«Да, да, как же! Стебницкий! — всегда готовно и дружелюбно откликнулся уже почти совсем разрушившийся Петр Васильевич. — Как же, помню! Это, видите ли, как говорили тогда, сложилось само собой, вернее переделалось... Он взял, собственно, «Степницкий», от слова степь, степной, мол, человек. Он ведь долго жил в Пензенской, степной губернии. Ну, вот и выбрал... А потом как-то глухое «п» само перешло в ясное «б», ну и вышло — «Стебницкий».

---

* «Смех и горе», гл. 12. — Собр. соч., т. XV, 1902—1903, с. 32. Письма Лескова к Сребницкому 1866 и 1884 гг., ЦГЛА.

** Скончался 6 сентября 1892 г. в г. Орле. Письмо Лескова к нему от 6 сентября 1891 г. — Пушкинский дом. Упоминается в письмах к В. Л. Иванову (скончался 1 декабря 1900 г. в г. Орде). Тургеневский музей, Орел. — «Исторический вестник», 1916, № 3, с. 805—813.

Утомлять переспросами и возражениями вельми дряхлого, начинавшего уже после длинной реплики и напряжения мысли впадать в дрему собеседника я не смел. Однако принять данного мне объяснения не мог. Нет, думаю, не в степи тут дело. Так и остался при прежнем своем домысле: буква-то одна изменена не в «Сребницком» ли? «Рцы» заменено «тако». Тут и отроческие воспоминания, и литературное просвещение, глубоко запавшая за многое благодарность. С такой догадкой мириться легче, она к чему-то ближе *.

В июне 1847 года приезжает в Орел высланный туда по известному «костомаровскому» делу А. В. Маркович. Для более удобного наблюдения за ним губернатор Трубецкой назначает его помощником правителя своей канцелярии[41]. Появление этого образованнейшего и преданнейшего литературе молодого еще совсем человека сыграло для многих в Орле, а может быть, всего больше для Лескова, исключительную роль. О том, как она была велика, неопровержимо свидетельствуют два ярких показания самого Лескова.

На шестом десятке лет, выдвинув свои соображения относительно правильности некоторых биографических данных о Марко-Вовчке, приведенных профессором Киевской духовной академии Н. И. Петровым в его «Очерках истории украинской литературы», Лесков говорил об «Опанасе»: «Афанасий Васильевич сосредоточивал в себе много превосходных душевных качеств, которые влекли к нему сердца чутких к добру людей, приобретали ему любовь и уважение всех, кто узнавал его благороднейшую душу. Литературное образование его было очень обширно, и он обладал уменьем заинтересовывать людей литературою. В общем отношении он принес в Орле пользу многим. Этот-то замечательный молодой человек

---

* Псевдонимная подпись «Стебницкий» впервые появилась 25 марта 1862 г. под первой беллетристической работой — «Погасшее дело» (позже «Засуха»). Держалась она до 14 августа 1869 г. Проскальзывают подписи «М. С.», «С», и, наконец, в 1872 г. «Л. С», «Н. Лесков-Стебницкий» и «М. Лесков-Стебницкий». Дальше все это отпадает[42]. Среди других условных подписей и псевдонимов известны: «Фрейшиц», «В. Пересветов», «Николай Понукалов», «Николай Горохов», «Кто-то», «Дм. М-ев», «Н.», «Член общества», «Псаломщик», «Свящ. П. Касторский», «Дивьянк», «М. П.», «Б. Протозанов», «Николай — ов», «Н. Л.», «Н. Л. — в», «Любитель старины», «Проезжий», «Любитель часов», «N. L.» «Автор заметки в № 82» («Петербургская газета», 1887, № 86), «Л.».

встретил Марью Александровну Вилинскую, которая, кроме своей несомненной природной даровитости, обладала также и прекрасной наружностью. Афанасий Васильевич полюбил молодую красавицу, и они сочетались браком — девица Вилинская стала г-жою Маркович, из чего потом сделан ее псевдоним Марко-Вовчок. Вскоре имени этой молодой дамы суждено было «расти», а имени Афанасия Васильевича «малитися», но в сумме влияний, благоприятных раскрытию душевных сил и таланта Марко-Вовчка, Афанасий Маркович, по мнению многих, имел немалое значение. Во всяком случае он значил, конечно, гораздо более, чем орловский институт, который привлечен сюда Н. И. Петровым совершенно напрасно» *.

На запрос задетого заметкой редактора журнала, публиковавшего «Очерки», Лесков твердо отвечает:

«Заметка о Марко-Вовчке была моя, и я думаю, что Петров ошибается: М. А. не могла быть в орловском институте, и ее развитие всецело принадлежит ее прекрасному мужу, которого я очень хорошо знал и любил, да и обязан ему всем моим направлением и страстью к литературе. Он давно умер, убитый горем и, может быть, бесславием... Пусть Петров разъяснит: была ли она в институте, и очеркнет милую личность «пана Опанаса», которого супруга всегда стремилась стушевать ниже Пассека или Карла Бенни, иже недостойни быша разрешить ремень у ног его **[44].

Теплая память и глубокая признательность выливаются в массе упоминаний о «милом Опанасе» вплоть до самых предсмертных дней ***.

Приведенные выше строки «Заметки» отведены целиком ему же, но там есть и другие, не менее ценные и характерные:

«В Орле, в этом странном «прогорелом» городе, который вспоил на своих мелких водах столько русских литераторов, сколько не поставил их на пользу родины никакой другой русский город...»

---

* Бесподписная заметка в отделе «Русская летопись» газеты «Новости и биржевая газета», 1883, № 104 первого и № 187 второго издания, 16 июля. Вызвана материалом, помещенным в июльской книжке «Исторического вестника» 1883 г.[43].

** Письмо к С. Н. Шубинскому от 23 июля 1883 г. Гос. Публичная б-ка им. Салтыкова-Щедрина.

*** См. В. П. (Виктор Протопопов). Памяти Н. С. Лескова. — «Петербургская газета», 1895, № 51, 22 февраля.

Здесь уже прямая гордость своим Орлом. Это уже не «чертова вотчина» начала литераторствования, а удовлетворенное запечатление огромных заслуг своей земли перед своею родиной.

Но это все пришло, когда за плечами были десятки лет литературной работы, известность, кое-какая удовлетворенность совершенным и вера в дальнейшую возможность «совершать».

В 1846 году Орел не сулил ничего. Приходилось идти, куда брали. А брали в жестокую школу! Обычаи и нравы в ней царили зловещие, темные... Но они же с беспощадной суровостью обогатят память, опыт и палитру будущего бытописателя, беллетриста.

Много чудесного в этой области мог слышать Лесков раньше от своего отца. Теперь он будет узнавать уже сам, лично, непосредственно из «дел», из их течения по темному руслу негласного правосудия, которое на всю жизнь возненавидит и воспоминания о котором будет всегда сопровождать жарким скандированием любимых строк Хомякова («России», 1854):

В судах черна неправдой черной
И игом рабства клеймена;
Безбожной лести, лжи тлетворной
И лени мертвой и позорной
И всякой мерзости полна!

Из этого судилища выносятся темы не одного драматического произведения, очерков, как «Погасшее дело», «Язвительный», «Леди Макбет Мценского уезда».

Одному тюрьмоведу Лесков писал: «Мир, который вы *описываете*, — мне неизвестен, хотя я его слегка касался в рассказе «Леди Макбет Мценского уезда». Я писал, что называется, «из головы», не наблюдая этой среды в натуре, но покойный Достоевский находил, что я воспроизвел действительность довольно верно» *. Иначе, надо думать, он и не поместил бы рассказа в «Эпохе» **.

Несомненно, что пребывание в орловском судилище привило Лескову незаурядный, как бы профессиональный, интерес к криминалистике. Отдавшись уже коммерческой деятельности, он почему-то в маленьком городишке

---

* Письмо к Д. А. Линеву (Далину) от 5 марта 1888 г. — «Звезда», 1931, № 2.

** «Эпоха», 1865, январь.

Пензенской губернии Городище внимательно осматривает местную тюрьму. *. Через три-четыре года в Петербурге, пожалуй, еще пристальнее — знаменитый «Литовский замок», отводя этому посещению обширные столбцы в номерах газеты **. Видна исключительная заинтересованность, своего рода вкус к исследованию духовных движений, побуждений и настроений, благоприятствующих совершению преступлений.

«Я не могу брать фактиком, а беру кое-что психиею [45], анализом характера» ***, определял однажды Лесков свои приемы творчества, почему-то забывая о впечатлениях и опыте вынесенных еще из «полного неправдой черной» губернского уголовного суда, который бросил при первой к тому возможности.

В «Некуда» в одной главе между собеседниками ведется спор — бывают ли у простонародья драмы даже и тогда, когда налицо есть чья-либо гибель или убийство? Напоминается при этом и «Гроза» Островского [46], и «Горькая судьбина» Писемского ****.

В качестве журналиста Лесков давал рецензию и вообще останавливал внимание на книге «Сборник русских уголовных процессов» *****[47].

И сам он всегда заинтересовывался каждым оповещенным в газетах преступлением и следовавшим затем процессом.

Обнаружение на льду трупа двухлетней девочки вызывает его острую заметку. Следователь просит его дать свое заключение о найденном на ребенке образке. Лесков охотно едет и дает «весьма полезные указания для обнаружения виновных» ******[48].

В разгар громкого в свое время процесса об убийст-

---

* «Заметка о зданиях». — «Современная медицина», 1860, № 29.

** «Страстная суббота в тюрьме». — «Северная пчела», 1862, № 99, 101, 104, и «За воротами тюрьмы» — там же, № 110.

*** Письмо к Н. А. Лейкину от 24 сентября 1883 г. ЦГЛА.

**** Гл. 26. «Что на русской земле бывает». — Собр. соч., т. IX, 1902—1903, с. 17 и сл.

***** [Библиографическая заметка]. — «Литературная библиотека», 1868, февраль, с. 20—22; «Наша провинциальная жизнь». — «Биржевые ведомости», 1869, № 238.

****** «Об образке загубленного ребенка». — «Петербургская газета», 1885, № 57; «Образок обличитель» — там же, № 255.

ве юной Сарры Беккер, в котором поочередно подозревались некий Миронович и «психопатка» Семенова, Лесков пишет в связи с этим «делом» ряд статей и заметок, колко полемизируя в них с «Новым временем», а отчасти и с «Новостями и биржевой газетой». Некоторым из них он дает оригинальнейшие заглавия, в некоторых прибегает к мистико-библейскому устрашению убийцы. Не упустил осудить и кое-какие приемы следствия *.

Почти негодующе и властно делались им указания в статье с зловещим заглавием «Женская тень, преследовавшая Семенову». В ней были такие строки:

«Встарь подозреваемых в убийстве лиц так не охраняли, и встарь их нарочно приводили в сближение с трупом жертвы и наблюдали за ними при этом, а равно наблюдали и за их чувствами и ощущениями, вызываемыми воспоминаниями.

...Мы не поклонники старого судопроизводства. Мы хорошо помним все его недостатки и злоупотребления, далеко оставляющие за собою промахи и несовершенства нынешнего суда, — во всяком случае гораздо лучшего. Но что смущает общество, то смущает и нас: мы не понимаем целесообразности в тех смешных деликатностях с лицами, на вине которых лежит подозрение в преступлении и душу которых потому надо *обнажить до дна,* а не разводить с ними финти-фанты, осведомляясь: не угодно ли им не смотреть туда, куда они *обязаны посмотреть».* Дальше говорится, что за подозреваемой Семеновой во время содержания ее на экспертизе в сумасшедшем доме неотступно следовала женская тень, и наконец, почти в стиле уголовного романа, применяется острый завершительный эффект: *«тень знает того, за кем ходит...»* <курсив подлинника. — *А. Л.*>.

В авторе слитно и ясно сказываются — памятливый работник уголовного суда, библейский начетчик, мистик, опытный журналист.

30 июня 1847 года Лесков «вступил в Орловскую

---

* «Петербургская газета», 1884: «Об опасном человеке» — № 341; «Где ты?» — № 343; «Уймитесь волнения страсти» — № 349; «Он или она?» — № 356; 1885: «О пропаже психопатки Семеновой» — № 250; «Еще о психопатке» — № 251; «История с Семеновой» — № 255; «Женская тень, преследовавшая Семенову» — № 272; 1887: «Портится милый характер» — № 325.

палату суда и причислен Орловским губернским правлением ко 2-му разряду канцелярских служителей» *.

За истекшие полгода он, видимо, успел ознакомиться с различными законоположениями, в том числе и с тем, по которому дворяне определялись тогда в военную службу капралами, то есть унтер-офицерами, а в гражданскую — канцелярскими служителями первого разряда.

Но тут-то совершенно некстати и выяснилось, что, поглощенный переводами Ювенала и Флакка, Семен Дмитриевич, получив право на потомственное дворянство еще в 1825 году, двадцать два года не собрался оформить последнее. Это характеризует его равнодушие к некоторым вопросам и беззаботность о правах давно начавших появляться детей. В первую голову это сказалось на Николае Семеновиче, который по образованию прав на канцелярского служителя первого разряда не имел, а документально подтвердить свое дворянство оказалось нечем. Сословное преимущество могло здесь сослужить хорошую службу, но... отец сплоховал! Не услышал ли он тут от первенца упрека, может быть, более горького, чем делал ему сам за нежелание учиться? Явно под давлением сына Семен Дмитриевич 10 февраля 1847 года подает, наконец, более чем запоздалое прошение. В результате 11 марта 1848 года состоялось, тоже неторопливое, определение Орловского дворянского депутатского собрания: его с детьми внести в третью часть дворянской родословной книги, а соответствующие акты «вручить согласно прошению г. Лескова сыну его Николаю Лесскову». Сладилось дело едва не в канун смерти нечестолюбивого просителя. Что же касается до утверждения дворянства Департаментом геральдии Правительствующего сената, то таковое последовало уже полгода после смерти Семена Дмитриевича — 28 декабря 1849 года **.

Получив на руки «определение» Орловского депутатского собрания, Николай Семенович представляет его по месту своей службы и без помехи причисляется «к первому разряду канцелярских служителей 1848 г. июля 28» [49].

В этом же месяце он теряет отца. Смерть последнего ничем не сказывается на судьбе старшего сына, да и

---

* Все послужные данные приводятся из аттестата Н. С. Лескова. — Архив А. Н. Лескова.

** Архив А. Н. Лескова.

семьи. Николай Семенович продолжает служить в Орле. Мать привычно хозяйствует в Панине. Мелкота при ней. Одиннадцатилетний Алексей Семенович — по определению отца, «юноша с большим талантом» — прекрасно успевает в Орловской гимназии, а летние вакации проводит в Панине же. Все идет как шло, по-прежнему, не возлагая никаких забот и обязательств на старшего из сыновей.

Младочиновные годы Николая Семеновича текут по «высочайше утвержденному», так сказать, для приказных тех времен образцу: «забрасываются первые щенята» — читай: оставляется в ближайшем трактирчике первое жалование «во оставление сухомордия и в мочемордство вечное» *.

Обычные картины провинциально-приказной жизни «глухой поры».

С трепетом вспоминает о них писатель на закате жизни. Наблюдая, как гибнет искренно ценимый им поэт К. М. Фофанов, с горечью и ужасом проводит он жуткую параллель:

«Это поэт с головы до ног, непосредственный, без выдумок и деланности. Он творит даже против воли. Но и пьет, может быть, против воли. Страшно пьет, как теперь в редкость, но как пивали мы когда-то: целой компанией до бесчувствия; просыпаясь, находили себя в комнате на кровати, на диване, на голом полу, без подушек, без одеял — одетыми, полуодетыми и совершенно раздетыми, с головой на чужих ногах. Страшное было время!.. Да...» **.

В письме к очевидному былому сподвижнику в подобных молодечествах остаревший писатель элегически перебирает орловских товарищей юных своих лет:

«Помню не только последнюю нашу встречу в Орле, но помню гораздо более раннюю пору — жизнь нашу близ Василия Великого у Хлебникова; чернокудрого «Евгена» с его «штанинами», корявого Лаврова, глистовидного Георгиевского в коричневом «франтове» с Ильинки, Жданова с шишкой на скуле и вас, отменно чисто выбритого, в «пальто-греке» летом и «хорьках» зимою. Помню

---

* Лесков Н. Торговая кабала. — «Указатель экономический». 1861, № 221, с. 145—148.

** Фидлер Ф. Ф. Литературные силуэты. — «Новое слово», 1914, август, № 8, с. 32—36.

Журавлева и Марковича и... вот всех их уже нет в том явлении, в котором мы их знали, а остались вы да я... Немного. Мы с вами, я думаю, ровесники, или вы немножко меня постарше. (Я родился 4 февраля 1831 года). Оба, значит, старики и прожили жизнь совсем на различный манер, но друг друга помним и, надеюсь, рады бы встретиться» *.

В следующий раз идут дополнительные вопросы: «Эти где? Живы ли и во. что произошли? Все это ведь «могикане» приказничества!.. Теперь ведь и «род сей изъялся», и чем он заменился? Кажется, все-таки стало лучше того, что было во время оно. По крайней мере так мне кажется» **.

Впрочем, и в одном из уже «изъявшихся», в чернокудром «Евгене» признается «широта и размах, которыми тот отличался от людей скаредной «приказной породы».

Твердой рукой художника, накоротке, дан сочный «пэозаж» и «жанр» первых дней уже вполне самостоятельной жизни Лескова.

На всходе ее было чего насмотреться, что практически усвоить, на что, частию «с содроганием», частию с улыбкой и признательностью, оглядываться...

Семнадцати с половиной лет, 27 сентября 1848 года Лесков «определен помощником столоначальника Орловской уголовной палаты».

По-своему немалая удача. Она грозила вовлечением молодого чиновника в круговорот узких служебных интересов, местных успехов, а с тем и легко возможным прирастанием к «своему месту», свычкой с провинциальной «дрязгой», помянутой уже карьерой статского советника В. Л. Иванова с венком на гроб от губернатора.

Судьба смилостивилась: киевский дядя выражает готовность помочь неудавшемуся племяннику. А о прелестях столицы Украины юноша уже вволю наслушался столько манящего от во всем достоверного Марковича.

7 сентября 1849 года Лесков берет двухмесячный отпуск и едет в Киев на разведку. На месте колебания быстро отпадают, но идут поиски. 28 сентября он подает

* Письмо к В. Л. Иванову от 28 июня 1891 г. — «Исторический вестник», 1916, № 3, с. 805—806.

** Дата не дана, видимо, август 1891 г. — «Исторический вестник», 1916, № 3, с. 806.

прошение в Киевскую казенную палату о «перемещении» его «в оную» на службу. 31 декабря он зачисляется «в штат» этой палаты, а 24 февраля 1850 года «определен помощником столоначальника по рекрутскому столу ревизского отделения».

С Орлом покончено «навечно».

ГЛАВА 5
КИЕВ

«Перемещение» из глубоко захолустного Орла в университетскую столицу Украины сыграло неоценимую, решающую роль во всей дальнейшей судьбе Лескова.

Положительным «откровением» явился для него уклад общественной жизни, умственный пульс, культура этого, в те годы еще во многом украино-польского, города. Он был ошеломлен и очарован сравнительной мягкостью новых для него «лыцарских» нравов, традиций, характера отношений, живучести исторических преданий, заповедей.

Париж после Петербурга, как и Петербург после Киева, не поражали его так, как поразил Киев после Орла, Кром, Собакина...

За десяток лет жизни здесь он жадно прислушивался к украинскому и польскому языкам, хорошо их усваивал и знакомился с их литературами. Однако, с огромным любопытством изучив их и с благодарностью кое-что переняв от них в приемах письма, он сохранял неколебимую убежденность, что родная русская литература была богаче, сильнее и жизненнее польской и тем более «малорусской».

На протяжении всего литературного своего пути он неизменно черпает материалы для безотрадно-жутких картин — из своих орловских, пензенских, поволжских, вообще великорусских впечатлений и памятей («Засуха», «Житие одной бабы», «Леди Макбет нашего уезда», «Коровья смерть» в «На ножах», «Пугало», «Продукт природы», «Тупейный художник», «Юдоль», «Загон», «Пустоплясы»), а для «пэозажей» и «жанров», полных юмора или хотя бы и злой, но веселой, искрящейся сатиры, — из украинских («Некрещеный поп», «Путимец», «След ноги богоматери в Почаеве», «Старинные психопаты», «Печерские антики», «Заячий ремиз»).

Приступая к развертыванию одной из полуапокрифических своих повестей, с детства остро наблюдательный и хорошо памятливый, старый писатель поучительно завещает и исповедует:

«И мне стал припоминаться целый рой более или менее замечательных историй и историек, которые издавна живут в той или другой из русских местностей и постоянно передаются из уст в уста от одного человека другому. Большинство из них пользуется репутацией самых достоверных событий... Между тем все подобные история должны быть дороги литературе и достойны сохранения их в ее записях. Эти истории, как бы кто о них ни думал, есть современное продолжение народного творчества, к которому, конечно, непростительно не прислушиваться и считать его за ничто. В устных преданиях или даже в сочинениях этого рода (допустим, что есть чистейшие сочинения) всегда сильно и ярко обозначается настроение умов, вкусов и фантазии людей данного времени и данной местности. А что это действительно так, в том меня достаточно убеждают записи, сделанные мною во время моих скитаний по разным местам моего отечества. Так, например, в преданиях (или, пожалуй, в вымыслах) малороссийских всегда преобладает характер *героический,* напоминающий сродство здешней фантазии с вымыслами польских сочинителей апокрифов о «пане Коханку» [50], а в историях великорусских и особенно столичных, петербургских — больше сказывается *находчивость,* бойкость и тонкость плутовского пошиба. Очевидно, фантазия людей данной местности выражает их настроение» *.

В начале другого рассказа, на двадцать третьем году писательства, Лесков дает твердое автобиографическое заявление:

«Меня в литературе считают «орловцем», но в Орле я только родился и провел мои детские годы, а затем в 1849 году переехал в Киев» **.

В Орле, значит, «только» родился да прожил слишком ранние и менее значительные годы, а лета наиболее ценных, сильных и воздействующих на духовное формирование впечатлений как бы полностью отдаются Украине.

---

* «Старинные психопаты». — Собр. соч., т. XIX, 1902—1903, с. 140, 141.

** «Печерские антики». — Там же, I. XXXI, с. 4.

Отсюда неизмеримо большая теплота воспоминаний киевских перед орловскими, особая их мягкость, прозрачность.

Переходя дальше в том же очерке к рассказу, каким он «зазнал этот милый город в его дореформенном виде», Лесков особенно оттеняет: «Но всего более жаль тихих куртин верхнего сада, где у нас был свой лицей. Тут мы молодыми ребятами, бывало, проводили целые ночи до бела света, слушая того, кто нам казался умнее, — кто обладал большими против других сведениями и мог рассказать нам о Канте, о Гегеле, «о чувствах высокого и прекрасного» и о многом другом, о чем теперь совсем и не слыхать речей в садах нынешнего Киева. Теперь, когда доводится бывать там, все чаще слышишь только что-то о банках и о том, кого во сколько надо ценить на деньги... Нравы, собственно говоря, изменились еще более, чем здания, и тоже, может быть, не во всех отношениях к лучшему. Перебирать и критиковать этого не будем, ибо «всякой вещи свое время под солнцем», но пожалеть о том, что было мило нам в нашей юности, надеюсь, простительно» *.

Лесков первоначально застает еще тот Киев, о котором с таким увлечением говорил ему Маркович, снабдивший его рекомендациями к ценным людям.

С горечью наблюдал он потом, в какую апатию погружалось киевское общество, чуждое помыслам о чем-либо, кроме неустанного приумножения прибытков. Все остальное сходило на нет.

Грустью напоены его строки о когда-то таком «милом городе»:

«Чудный, странный, невероятный и во многих отношениях невозможный этот живописный златоверхий Киев — сия «мати городов русских». Город непомернейшей дороговизны среди богатейшей природы и плодороднейшего края; город университетский, но содержащий такой низкий уровень общественного образования, что люди, очутившиеся там из Тулы, Орла, Курска или Воронежа, поражаются мудростью общественной жизни и многостороннею неразвитостью местного населения; город на судоходной реке, в центре свеклосахарного производства, но без сколько-нибудь значительного судоходства и почти

---

* «Печерские антики». — Собр. соч., т. XXXI, 1902—1903, с. 4 и 5.

без всякой торговли; город с стотысячным почти населением, разбросанным на тридцативерстном пространстве, но без всяких дешевых общественных средств сообщения и *без воды,* — таки буквально без воды над Днепром! Водопроводов, которыми обладает не только плохой из губернских городов Орел, но даже уездный город Муром, в Киеве нет... для Киева это еще «азиатская роскошь», ему нужнее европейские монументы!» * Тут же говорится, что при приезде в Киев 31 июля 1857 года Александра II на вопрос его, чего недостает Киеву, городской голова скорбно доложил: «триумфальных ворот!»

Голова этот, по фамилии Покровский, полностью назван Лесковым в рассказе «Бесстыдник» ** как купец, доставлявший умопомрачительную семгу севастопольским «провиантщикам». Он триумфально разжился на подрядах в армию. Теперь его занимали никому не нужные триумфальные ворота, а не благоустройство города, не интересы его населения...

Это был махровый представитель «дельцов» новой формации. Число их множилось, они успевали во всем, вызывая широкое подражание.

Прежний киевский приятель Лескова, ректор Киевской духовной академии Филарет Филаретов на взволнованные письма его отвечал: «Не дивитеся сему — банковое направление все заело. В Киеве ничем не интересуются, кроме *карт и денег»* ***.

К девяностым годам Лесков выносит своему прежнему любимцу завершительный приговор: «Киев всегда останется глупее, а это для известного рода положений — удобство» ****.

Как же устроился в Киеве Лесков самое первое время по своем приезде из Орла? Жить, конечно, пришлось у дяди, хотя ему, хорошо хлебнувшему всяческой свободы в Орле, это было и не особенно по вкусу.

«Я, — не совсем полно повествует он сам, — с приезда поселился на Житомирской улице <должно быть, на Малой Житомирской. — *А. Л.*>, в доме бывшего секретаря

* «Наша провинциальная жизнь». — «Биржевые ведомости», 1869, № 252. Без подписи.

** Собр. соч., т. XVI, 1902—1903, с. 175.

*** Письмо к Лескову от 28 декабря 1873 г. Не сохранилось. — Собр. соч., т. XXXI, 1902—1903, с. 72.

**** Письмо к А. Н. Лескову от 16 июня 1890 г. — Архив А. Н. Лескова.

комиссариатской комиссии Запорожского (тоже в своем роде антика), но, совершенно одинокий и предоставленный самому себе, я постоянно тяготел к Печерску, куда меня влекли лавра и пещеры, а также и некоторое, еще в Орле образовавшееся, знакомство» *.

Дядя Сергей Петрович по натуре не мягок, но к судьбам племянников не безучастен. Без него двум из них не видать бы университета. К племяннику-недоучке он не мог питать большого расположения. Того это язвило.

Бесспорно, однако, что жизнь у старого дяди привела Лескова к сближению с рядом молодых профессоров. Это были как бы «университетские» его годы. Но только «как бы». Беседы с университетскими товарищами дяди не могли заменить правильного прохождения университетского курса, слушания лекций и т. д. Не могли заменить этого и дружеские диспуты до бела света в куртинах верхнего сада.

Более чем апокрифично и упоминаемое некоторыми воспоминателями или биографическими «скорохватами» вольнослушательство Лескова в университете. На это у чиновника рекрутского присутствия под строгим началом сурового А. К. Ключарева, которого «боялись» **. времени не выкраивалось. К тому же, согласно университетскому уставу 1828 года, вольнослушателями допускались лишь лица с соответственными аттестатами, но и такой допуск иногда, как, например, в 1849 году, совершенно воспрещался особыми распоряжениями Министерства народного просвещения.

В одной статье Лесков прямо заявлял, что «мальчиком приехал из Орла в Киев и поселился у дяди моего, профессора Алферьева. В доме дяди, поныне здравствующего, я встречался почти со всеми молодыми профессорами тогдашнего университетского кружка и, несмотря на мою едва начавшуюся юность, пользовался от некоторых из них благорасположением и даже доверием» ***.

«Приватно», конечно, кое-что он мог слушать даже и много позже, например лекции доктора А. П. Вальтера

---

* «Печерские антики». — Собр. соч., т. XXXI, 1902—1903, с. 6.

** «Владычный суд». — Там же, т. XXII, с. 56.

*** «Официальное буффонство». — «Исторический вестник», 1882, № 10, с. 411.

в аудитории университетского анатомического театра, о которых сам оповещал в печати *.

Раз, говоря о Киеве и явно подразумевая самого себя, Лесков писал, что город этот «в течение десяти лет кряду был моею житейскою школою» **. Это бесспорно и не требует подтверждения.

Вперемежку с жаждой восполнения всеми доступными средствами пробелов в образовании обуявала жажда и иного свойства.

Надзирать за племянником дяде было некогда, да и не любопытно. Это позволяло широко платить дань, еще на родине познанным, соблазнам, отдаваться порывам необузданной натуры и ключом бившему избытку сил. Сам он, уже писателем, не раз дает картины грандиозных кутежей в трактире Рязанова на Трухановом острове, за Днепром, или у Круга, Бурхарда и Каткова или гомерических боев студентов, в рядах которых сражался и он сам, с саперными юнкерами в нескромных пансионах, ютившихся по Андреевскому спуску ***[51].

К чуть более поздним годам должны быть отнесены и другие, с библейской простотой и совершенной «неприкровенностью» дважды печатно поведанные подробности о том, как степенные «добрые люди» хаживали на Печерск в укромные закоулки этой глуховатой части города, где «мешкали бессоромни дивчата», со своею «горилкою, с ковбасами, с салом и рыбицею», (причем наиболее богомольные из этих «дивчат» позволяли гостям пребывать у себя не позднее «благодатной», то есть до второго утреннего звона в Лавре ****.

Если в Орле проблеском гласности являлись лишь символические чучела козла и петуха в окне серенького домика на Полешской площади, то в Киеве она, казалось, била ключом. Чего стоили в ее распространении одни «цукерни» с их газетами, непрерывной сменой посетителей, картами, бильярдами, неумолчной болтовней, обменом новостями, слухами, сплетнями; а уличная, уже по-

---

* «Указатель экономический», 1860, № 194.

** «Блуждающие огоньки» (они же «Детские годы»). — Собр. соч., т. XXXII, 1902—1903, с. 100—101.

*** «Маленькие шалости крупного человека». — «Русский мир», 1877, № 4, 5 января; «Бибиковские меры». — газета «Неделя», 1888, № 6, 7 февраля.

**** «Печерские антики». — Собр. соч., т. XXXI, 1902—1903, гл. 2.

чти южная, оживленность, особенно яркая на Крещатике или, в другом роде, на Александровской улице Подола; ярмарочная горячка в февральские «контракты», как назывались грандиозные съезды представителей торгово-промышленного и сельскохозяйственного мира всей «золотой Украины», сопровождавшиеся широкой ярмарочной торговлей в зоне «Контрактового дома» в глубине Подола?

Сколько оригинальных, иногда карикатурных фигур! Вот каков, например, обычно гордо выступавший по Крещатику чиновник, без тени смущения выставивший на своих визитных карточках: «Статский советник Блюм. Киевский почтовый люстратор» *. При встрече с знакомыми он имел милое обыкновение говорить: «А... вы еще живы!» Привычку эту он бросил только после того, как, по словам Лескова, один болезненный и мнительный человек на такое приветствие тут же, на Крещатике, около самой почты, ответил ему несколькими ударами своей увесистой трости.

Отношения и знакомства завязывались и поддерживались тут легко, народ был по преимуществу приветливый и общительный. Служивший у самого Д. Г. Бибикова, «непобедимо дерзкий» и развязный, В. И. Аскоченский рьяно разносил из Липок [52] самые последние новости и распоряжения генерал-губернаторского «двора» и высшего административного круга.

Жизнь в доме комиссариатского секретаря Запорожского вела к знакомству с родственными Гоголю Чернышами [53], немало рассказывавшими о великом писателе. В частности, это дало Лескову тему для «апокрифического» сказания «Путимец» **, городские беседы породили заметку «Кто выгнал на улицу Гоголя» ***.

Тут же своеобычно подвизался в иерейском служении почти легендарный по доброте, самоотверженности и беззаботности «поп Юхвим» Ботвиновский, великолепный танцор, бильярдный игрок, охотник с гончими и вообще «такой человек, каких родится немного и которых грешно и стыдно забывать». Лесков и не забыл его «много-

* «Нескладица о Гоголе и Костомарове. (Историческая поправка)». — «Петербургская газета», 1891, № 192.
** «Газета А. Гатцука», 1883, № 39—42.
*** «Петербургская газета», 1887, № 74.

кратно и многообразно» *, вместе с его разучившимся грамоте дьячком Константином Ломоносовым, прототипом Котина Доильца **.

Водились в Киеве и знаменитые богатыри, в числе которых значился опять-таки «приснопамятный» Аскоченский и особенно отличался торговый человек. Голиаф — «Ваничка» Кассель, чистый, «беспримесный» хохол, «наказанный за какой-то родительский грех иноземною кличкою». Я лично прекрасно помню эту великолепную фигуру, когда ее обладатель был уже владельцем магазина «офицерских вещей» в Петербурге, в Гостином дворе по Невской линии, и я у него по указанию моего отца не раз «экипировался» ***[54].

Происходит сближение Лескова и с художественным миром, — в лице И. В. Гудовского ****[55] и М. М. Сажина *****, особенно благоприятствующее близкому ознакомлению его с «потаенным творчеством Шевченко и зарождению в нем глубокого почитания страдальца ******.

Произведения опального поэта прививают юному орловцу интерес к украинской литературе, порождают стремление овладеть языком Украины, ознакомиться с ее историей и судьбой. Мечтается когда-нибудь увидеть и самого «батьку Тараса», о котором столько нарассказано киевлянами.

В Орле, подростком, Лесков следил за росписью иконостаса церкви Никитин. Здесь <в Киеве> осматриваются такие исторические памятники зодчества и искусства, как Софийский собор, лавра и другие сооружения. Они ширят знания, укрепляют вкус, интерес к иконографии. Это — семена дальнейшего развития страсти ко всем видам творчества и художества, от древних фресок и икон к полотнам Эрмитажа, а позже и зарубежным галереям.

---

* «Печерские антики». — Собр. соч., т. XXXI, 1902—1903, гл. 35—37; «Церковно-общественный вестник», 1883, № 52, 53 и 55.

** «Печерские антики», гл. 35.

*** «Печерские антики», гл. 39 и указания в примечании к боям студентов с юнкерами.

**** См.: «Мелочи архиерейской жизни», гл. 8. — Собр. соч., т. XXXV, 1902—1903. «Путимец». — «Газета А. Гатцука», 1883, № 39—42.

***** «Печерские антики», гл. 15.

****** «Последняя встреча и последняя разлука с Шевченко». — «Русская речь», 1861, № 19—20.

Здесь слагается будущий непременный посетитель всех художественных выставок, ценитель, а иногда и истолкователь появлявшихся на них картин *[56].

«С жадностью» обозревая красоты Киева, он находит, что «Братья Кий, Щек и Хорев обладали гораздо более совершенным вкусом, чем основатель Москвы боярин Кучка и закладчики многих других великорусских городов» **.

Город пленителен везде, во всем...

С восхищением прислушивается он к своеобразию новой для него речи. Позднее вспоминает и записывает образец прелестного юмора и острой находчивости, при великолепном сохранении собственного достоинства со стороны простого старого «дида», в кратком диалоге его с высокомерным привилегированным юнцом. Чисто фехтовальный «парад» украинца на дерзкий выпад хлыща писатель приводит в опровержение уверений «благотворительной дамы», что на русском языке чего-то нельзя сказать так, как это удается ей на иностранном. Вот часть едкого, слегка в архаическом стиле построенного наброска Лескова:

«Одна из дам, торговавших «с воза» в зале дворянского собрания, беспрестанно говорила по-французски, меж тем как сама она была русского происхождения, имела очень русскую фамилию, торговала произведениями русских кустарей и отлично владела родным русским языком.

Некто колкого ума, будучи той даме слегка знаком, указал ей на эту несколько смешную несообразность.

— Я знаю, — отвечала она, — но как вы хотите...

— Привычка! — перебил тот.

— Нет, не то, но какие бы вы комплименты ни расточали нашему русскому языку, а вы должны признать тот факт, что по-русски невозможно кратким словом характеризовать лицо или положение так же сильно и метко, как на языке французском.

---

* См.: «Адописные иконы». — «Русский мир», 1873, № 192: «О русской иконописи» — там же, № 254; «Благоразумный разбойник». — «Художественный журнал». 1883, № 3; «Христос младенец и благоразумный разбойник». — «Газета А. Гатцука», 1884, № 18; «Расточители русского искусства». — «Новости и биржевая газета», 1884, № 305; «Дива не будет». — «Петербургская газета», 1884, № 305.

** «Детские годы», гл. 11.

— Не согласен, — отвечал собеседник и привел два примера из простонародных разговоров в языке малороссийском и чисто русском.

— Однажды, — сказал он, — во время университетского курса в Киеве мы отправились в свободное время за город в Слободку, где была достославная наливка, которую и желали пить, но съедомого при себе не имели. Проходя же по окраине шоссе близ Чертороя, увидели престарелого хохла мужика, который, лежа на животе, держал в одной руке трубочку, а в другой нетолстую веревку, на которой был привязан за ногу живой поросенок, повизгивавший и щипавший травку.

Увидя это употребительное в пищу животное и охранявшего его стража, один из студентов воскликнул:

— Купим, товарищи, этого поросенка, отнесем его и, сварив в укропе, съедим.

Все остальные охотно пристали к этому преднамерению и спросили у сельчанина, сколько он хочет за своего поросенка.

— Пять злотых, мои добродии, — отвечал крестьянин (zloty польский — 15 копеек).

Цена поистине была сказана с умеренностью и добросовестностью, к которой малороссийские простолюдины до сих пор сохраняют способность, но один из наших товарищей, родовитый поляк, с презрением взглянул на хохла, оторвав ему:

— Лжешь, хлоп: мой *коллега* купил вчера такого же поросенка за три злота.

— Может быть, — отвечал хлоп, — но и я вчера за шесть злотых продал *его коллегу,* — и при сем он указал на своего привязанного поросенка» *.

Набросок сделан уже стареющим Лесковым, когда любовно встают милые воспоминания молодости. Он безыскусствен, дышит правдой истинного киевского случая.

Но много лет раньше, в остро полемические годы, поросенок был подан писателем иначе.

Осуждая напряженный аристократизм польской речи, Лесков писал:

«...Отсюда вытекает весьма ощутительное неудобство говорить в Польше с человеком, не зная его сана: лакей и горничная конфузятся, если вы отнесетесь к ним с сло-

---

* ЦГЛА.

вом pan или pani, а идущий за плугом застенковый шляхтич оскорбится и ничего вам не ответит, если вы отнесетесь к нему с ты. Последствием всего этого в языке бездна самой смешной напыщенности, оригинальнейший образчик которой мне довелось слышать в Кракове. Будучи первый раз в жизни в этой второй польской столице, я пошел однажды побродить по житному базару. Здесь от нечего делать я стал прицениться к продажной живности и к другим продуктам. В одном углу, прислонясь спиною к стене Sukiennicy, стоял бравый кракус и держал за ноги зарезанного поросенка. Я полюбопытствовал узнать, что стоят в Кракове поросята, и спросил: сколько стоит этот поросенок?

— Да я-то бы хотел за него одного рейнского, — ответил мне поляк.

Я сказал, что это, мне кажется, дорого; что за такого поросенка, по-моему, довольно бы спросить три или четыре злотых.

— Э! ба! — возразил мне с значительною миною поляк. — Как не четыре злота? Да я сейчас только его *коллегу* за рейнского продал.

Это у поросенка-то, изволите видеть, есть свой kolega, точно у какого-нибудь доктора философии или медицины!» *

На этот раз тот же аксессуар использован в явно нарочитых целях, и картинка теряет свою теплоту и жизненность. Недаром и сам поросенок не пощипывает беззаботно травку, а уже недвижимо висит в руках, может быть не совсем подлинного, поляка.

В одной оставшейся в безвестности газетной статейке-повестушке Лесков описал, как трое одесских портовых грузчиков — великорусс, грек и украинец — в субботний вечер, выпив виноградного вина, идут по набережной и любуются синим морем, румяным закатом, льющимся сверху из города благовестом. Душою ласковый хохол умиляется и начинает восторгаться Одессой. Это задевает москвича и грека. «Ладно, сейчас я шелохну твою Одессу», — решает первый из них и рассказывает о московском колоколе на Иване Великом, от которого, когда в него бабахнут «так по рекам и по воздуху и пойдет гул во все

* «Русское общество в Париже. Сборник мелких беллетристических произведений Н. С. Лескова-Стебницкого», СПб., 1873, с. 459.

концы царства, и тогда все звонари во всех местах того уже дожидаются и в ту же минуту у себя звонят», и так далее. Озадаченный грек не уступает, жалея, что к такому замечательному колоколу «нельзя подвинуть» из Константинополя церковь святой Софии, которая так велика, что «когда в одну дверь входись — поп в алтаре сморкается, хоцет утреннюю начинать; а пока церез церковь до других дверей дойдесь, там на том краю другой поп узе ухи косынкой подвязывает, потому цто узе и вецерня кончилась». Очередь за хохлом. Снял он брыль, «почурхал пальцами в голове, да и говорит: «Добрая церковь, да важный и дзвин (колокол), а вже як составлять их гденибудь вместе, то щоб полна была чудесия, — треба б було до них нашего дьяка Пархима!»

И москаль и грек так «оба аж на ногах подскакнули».

На их вопрос — «чем может быть столь достопримечателен» этот дьяк, хохол им еще серьезнее отвечал: «Такий псяуха (собака), що як прыде у нидилю (в воскресенье) у церковь, то враз повнисеньку церковь и наспивает (напоет полную церковь), а потом уся громада (весь приход) целый тыждень до другой недели (всю неделю до другого воскресенья) *лопатами голос и выгребают.*

— Перекрестись, что правда! — крикнули враз грек и москвич. А хохол и не стал креститься. — Ну, так мы тебе не верим, если не крестишься, — сказали грек и москаль. — Ну так що ж с того, що не верите, — отвечал хохол, — а вы хоть и крестилыся, а я вам тоже не верю» *.

На чьей стороне и на этот раз сочувствие автора, первенство в измышлении очередной «чудесии», как и всей «поведенции», — ясно.

Но это шутки, а в серьезные моменты приходили воспоминания, полные строгих признаний.

Случилось что-то тревожное в семье В. Г. Черткова. Лесков пишет ему: «Мы все знаем, что «таков удел всего живого — расставаться», но «молчание» прилично скорби, вызываемой всяким страхом большого горя, — чем вы и были встревожены, уезжая отсюда. Я видел когда-то какую-то малороссийскую пьесу, в конце которой человека хотят утешать, а он берет утешителя за руку и говорит:

* «Новости и биржевая газета», 1883, № 157, изд. 1-е, Ср. «Смех и горе», гл. 77 — Собр. соч., 1902—1903, т. XV, с. 163.

«Мовчи, — бо скорбь велыка». Тем кончается пьеса, и мне кажется, что это верно природе скорби и в высшей степени художественно» *.

Крепко запомнилась и к месту пришлась сцена из украинской драмы.

По неукротимой живости темперамента Лесков, случалось, поддавался соблазну подтрунить над претившей ему в определенные годы сентиментальностью и провинциализмом некоторых украинских произведений или подшутить над чрезмерной гордостью особо неистовых украинофильских фанатиков, превыше всего ставивших своих, хотя бы и не слишком известных, писателей.

Так, в одном из позднейших своих, полных «сеничкина яда», рассказов к воспоминанию о финале той же украинской драмы он дал ему не лишенное озорства развитие: «Мовчи, бо скорбь велыка!» И после этих слов настала пауза, и театр замер, а потом из райка кто-то рыдающим голосом крикнул: «Эге! Це не ваш Шекспыр!» И мнение о Шекспире было понижено до бесконечности» **.

Но это уже была беллетристика, в которой не разберешь, где кончается память и начинается творческое ее обогащение. Иное дело «острые моменты», у которых «никогда не отъемлется их жало» и в которые все вспоминалось и приводилось во всей серьезности и мудрости простоты.

Любовь к Украине Лесков донес до конца дней своих. На рубеже старости, почти тридцать лет как покинув солнечный юг, он примиряюще и заключительно указывает служившему почти весь свой век под Киевом и заскучавшему на новой должности в Витебске мужу своей сестры: «После Украины уже нет равного уголка в России» ***.

А сколько тепла и веселости в таких, полных киевскими воспоминаниями и ощущениями строках его к редактору журнала «Киевская старина» Ф. Г. Лебединцеву:

---

* Письмо к В. Г. Черткову от 29 января 1892 г. — Толстовский музей, Москва.

** См.: «Импровизаторы». — Собр. соч., т. XXXVI, 1902—1903. с. 49.

*** Письмо к Н. П. Крохину от 15 декабря 1888 г. — Архив А. Н. Лескова.

«Прошу вас покорно сделать Суворину услугу, чтобы и мне иногда было удобно услужить у него вам. Они купили прекрасные доски, изображающие «казнь Кочубея в Борщаговке», и просят меня сделать «пояснительные подписи борщаговской местности». А я там был назад тому лет 25, молодой, влюбленный, та ще може и с хересом — без чего Юхвим не ездил, и потому ничего не тямлю: яка там исть Борщаговка *. — Сделайте милость, напишите писемцо: что это за место и какой там «пэозаж природы» **.

Жилось Лескову на Украине, видать, в свое время молодо, радостно, «та ще и с хересом»!

ГЛАВА 6

ПЕРВАЯ СЕМЬЯ

Итак, жадно слушавший еще в Орле увлекательные рассказы «о красоте Киева и о поэтических прелестях малороссийской жизни» и ни в чем не разочаровавшийся, а напротив, всем упоенный, Лесков становится заправским киевлянином, преданным его сыном, а в будущем и таким его хроникером и бытописателем, каких мало найдется во всей нашей литературе.

В общем, даже при грозном «Бибике» жилось во многих отношениях достаточно привольно. Лескову же здесь судьба улыбалась, как он и гадать не мог. Для «общества» он был прежде всего племянник известного профессора и популярнейшего практикующего терапевта. Это ставило молодого человека в общем мнении очень выигрышно. Незначительность личного служебного положения этим заслонялась. К тому же он был уже чиновник, а гимназический крах и писцовая захудалость остались в Орле.

Знакомства шли и по кругу блестяще поставленного дяди, и по служебно-чиновному, и по студенчеству[57]. Ширились они быстро, вовлекали в самые разновидные слои, множили впечатления, наблюдения, разнообразили развлечения.

---

* Лесков ошибся: он был с Юхвимом Ботвиновским в киевской подгородней Борщаговке, а Кочубей был казнен в сквирской, близ Белой Церкви.

** Письмо от 25 февраля 1883 г. — «Исторический вестник», 1908, № 10, с. 169.

Жизненный пульс получался не только полный, но зачастую приобретал даже рискованную разнузданность.

«Бесцеремонного» и «властного» Бибикова, по свидетельству Лескова, ненавидели все. Полон был «органической ненавистью к его нахальству» и сам юный Лесков, сохранивший эту ненависть на всю жизнь.

По натуре грубый, «Бибик» в киевское свое царствование был холост и не проявлял особых забот по «объединению общества». Вечера и приемы в генерал-губернаторских хоромах приурочивались лишь к определенным высокоторжественным дням или случаям, протекали без оживления, в атмосфере принужденности и даже некоторой опасливости. На них ездили не по охоте, а за неволю. Хозяин воплощал собою образ неусыпного блюстителя великодержавной внутриполитической напряженности. Говорить на его раутах допускалось только на государственном или на дипломатическом, то есть французском, языках. Случайное произнесение польского или украинского слова каралось тут же беспощадно и глумливо. В неизданной еще заметке Лесков приводит тому два примера.

Однажды некая польская графиня перелистывала в бибиковской гостиной акварельный кипсек художника Михаила Макаровича Сажина. Рисунки изображали древности юго-западной Руси. Каждая акварель была вклеена в альбом с каллиграфическими подписями, сделанными так искусно, что их нельзя было отличить от печатных *.

— Mon géneral, est-ce que c'est *drouquél* ** — спросила титулованная гостья проходившего мимо властительного хозяина.

— Non, madame, c'est *pissél* *** — не моргнув главой, отпарировал последний.

В другой раз какой-то очень светский польский граф, в качестве «души общества» развеселив всех рассказанными им пустячками, при прощании жеманно начал извиняться в том, что слишком много «напшикшал» («naprzykrzać siç» по-польски значит надоесть).

* Альбомы эти сохраняются в Музее изящных искусств УССР, в Киеве.

** Генерал, это печатно? (польское слово употреблено на французский манер).

*** Нет, мадам, это писано!

— Ничего, — казарменно срезал старого болтуна «Бибик», — здесь сейчас окна откроют *.

Но всему бывает конец. 30 августа 1852 года пятнадцать лет властвовавший над Украиной Бибиков призывается Николаем I на пост министра внутренних дел.

На смену приезжает мягкий князь И. И. Васильчиков со своей «всевластною» супругой, поставившей себе задачу «объединить» и оживить заскучавшее при холостом предместнике ее мужа киевское общество. Создается «двор» со всеми очарованиями и увлекательностями придворных развлечений, благотворительных концертов, балов, маскарадов, лотерей, любительских — тоже благотворительных — спектаклей... Для последних нужны актеры из общества же, нужны люди сколько-нибудь литературные. Их не так много. Их надо подобрать, приручить.

Хорошо начитанный, энергичный и к этому времени уже замеченный в местном «свете», Лесков признается достойным и желательным.

Какие именно роли и в каких пьесах, ставившихся «киевской княгиней», как называли в Петербурге Васильчикову, играл Лесков? Об этом сбереглось его личное указание: «Я тоже всегда читал, по общему мнению, довольно недурно и был удовлетворительным актером; а потому при смете сценических сил, которые должен был сгруппировать и распределить Друкарт <чиновник для поручений при генерал-губернаторе. — *А. Л.*>, явился и я на счету» **. Исполнять Лескову на этот раз предстояло в «Ревизоре» роль Добчинского или Бобчинского.

Открыв таким путем себе доступ в блистательные сферы, Лесков не порывает сложившихся ранее дружественных отношений с людьми, ведущими почти буйную жизнь с «запорожской заправкой», с «крестовыми дивчатами» и т. д. Словом, живет во всю ширь своей кипучей натуры.

Не было сомнений, что при такой «заправке» он до большой устали и пресыщения еще долго не изменит своим сподвижникам, долго еще «не перебесится», как говорилось тогда.

И вдруг, на удивление родных и близких, противно всем навыкам и прочно сложившейся репутации пылкого

---

* «Бибиковские каламбуры» [58]. — ЦГЛА.

** «Владычный суд». — Собр. соч., т. XXII, 1902—1903, с. 83.

участника многих порождений, — решение остепениться, стать добродетельным семьянином. Все были поражены и озадачены. Советы повременить, оглядеться, проверить себя, лучше узнать избранницу, прочнее устроиться служебно, житейски — впустую.

Избранница была не то однолеткой, не то на год младше или старше. Событие свершилось «на Красную горку», в апреле 1853 года[59]. Она была дочерью весьма состоятельного, скорее даже богатого, киевского коммерсанта, владельца нескольких домов, городского деятеля. Звали ее Ольгою. Васильевною Смирновой.

По дружным отзывам, жившим потом в нашем родстве, в ней не было ума, сердца, выдержки, красоты... Обилие ничем не возмещаемых «не». При условии, что в дарования Лескова не входили мягкость и уживчивость, удачи ждать было неоткуда. Ее и не было...

На чем же созидался этот для всех сторонних «очезримо» непрочный, в корне не обдуманный союз?

Семен Дмитриевич не на ветер завещал первенцу наблюсти осторожность в выборе себе подруги, «ибо от нее зависит все твое благополучие». Но кто же живет по заветам отцов, а не по восточной пословице, что «каждая голова свой камень ищет».

Через десятка два с лишком лет сам Лесков, уже во всеоружии личного жизненного опыта, убедительно расскажет о том, как подчас в этой области поступают «самые умные люди»:

«Как иногда люди женятся и выходят замуж? — писал он в одном своем рассказе. — Хорошие наблюдатели утверждают, что едва ли в чем-нибудь другом человеческое легкомыслие чаще проглядывает в такой ужасающей мере, как в устройстве супружеских союзов. Говорят, что самые умные люди покупают себе сапоги с гораздо бо́льшим вниманием, чем выбирают подругу жизни. И вправду: не в редкость, что этим выбором как будто не руководствует ничто, кроме слепого и насмешливого случая» *.

Так называвшиеся «медовые месяцы» оказались кратче возможного. Среди родных и близких знакомых пошли тревожные слухи, начали слагаться почти легенды.

---

* «Павлин», гл. 9. Первоначально печатался в журнале «Нива», 1874, № 17—21, 23 и 24.

23 декабря 1854 года рождается первенец. В честь мудрого и уважаемого за твердость нрава деда он нарекается Дмитрием.

На втором или третьем году супружества Лесков везет Ольгу Васильевну на показ и поклон к своей матери в Панино. Как молодайка повела себя у свекрови и какою драмой завершилось это злосчастное путешествие, обрисовано, во многом, видимо, очень близко к действительности, в незаконченном рассказе «Явление духа»:

«...в К. <Кромах.— *А. Л.*> меня ожидал сюрприз: у мутного, никогда не мытого и засиженного мухами окна, которым заканчивался коридор длинного каменного дома, занятого почтою, я увидел странную, несколько поразившую меня группу, в которой одна фигура показалась мне очень знакомою.

Группа состояла из взрослого человека и больного ребенка. Так, лет около шести. Оба эти существа помещались на подоконнике: взрослый человек сидел поперек окна совсем с ногами, а на коленях у него лежало покрытое пледом дитя и, казалось, не спало, а как будто томилось в каком-то недуге. По крайней мере, когда я проходил в номерок, отведенный мне близ этого окна, мне как будто послышался слабый стон и какой-то болезненный лепет ребенка. Тут же я заметил возле взрослого полоскательную чашку, из которой взрослый вынул смоченный в воде компресс и положил его на голову дитяти.

— Что это за господин? — спросил я проводившего меня в комнату пожилого слугу из крепостных, которые тогда расползлись повсюду и встречались в наших дворянских краях в большом изобилии.

Слуга махнул рукою на соседнюю дверь и отдал шепотом, что это проезжающий, с которым случилось несчастие.

— Вроде вас, — говорит, — тоже здешнего края, к родителям заезжали с супругою и с двумя детьми, да, верно, что-нибудь молодая барыня со старою не поладили, потому что прибыли сюда вдруг с больными детьми и хотели ехать дальше, да вот барчук очень разболелся — и того гляди как бы не помер. Я сейчас в аптеку ходил, там сказали, что лекарь прописал уже последнее средство. Очень жаль, — барин хороший, я его еще барчуком знал, а этакая ему недоля и в жене и в детях:

Чтобы что-нибудь сказать, я спросил:

— Чем же жена плоха?

— А бесчувственная, — говорит, — и капризница. Даже девушка их, и та над этим барином, над Игнатием Ивановичем, изжалелась, а она, супруга, — только свою амбицию наблюдает. Как приехала чем-то обиженная, так и слегла и вот третьи сутки спит, а проснется, отдохнет, и опять заплачет, пока сон придет.

— Да чего ж е , — говорю, — она плачет?

— Кто ее знает: заломит руки да стонет: «Ах боже мой! Ах, разбойник! Ах, куда он меня завез!» Хозяин даже посылал просить тише, чтобы другие это насчет критики заведению не приняли. Что говорить, разумеется, гостиница не из величественных — в Петербурге и в Москве есть гораздо ликатней, ну а все же: всякий хозяин свое бережет. А у нас такое устройство, что из номера в номер, как труба, — все слышно. Вчера, вот, в этом самом номерке проездом какие-то важные господа остановились, — а эта капризница и разголосилась: «Кто меня избавит из этого вертепа?» Неприятно; а с другой стороны барыня была, так та так взволновалась, что на выручку ей хочет идти, или, говорит, за полициею сейчас пошлите, или я ей гомеопатию дам, чтобы успокоилась. А чего ей гомеопатию, — довольно бы и одного подзагривка было; а барина бедного жаль, так жаль: тут ребенок томится, и он за ним ухаживает, а тут эта досадительная глупость через такую баловную жену.

— Что же он ее не может унять?

Лакей понизил голос и отвечал:

— Он ее вчера с отчаяния в подушку бросил, так она ведь на весь дом так зашлась; а потом взвыла, что он ее будто задушить хотел. Ведь даже городничий сюда приходил.

— Это ужасно! — сказал я и по тогдашнему моему малоопытному настроению начал сдаваться на сторону угнетенной женщины.

Но рассказывавший мне все это слуга был других мыслей: он держал сторону барина и сообщил, что за свой собственный двугривенный нанял мужика сходить в Парамоново, чтобы известить о всем старую барыню — Игнатия Иваныча старушку.

«Игнатий Иваныч» и «село Парамоново» в общем сочетании склали мне, что я недаром признавал в фигуре сидевшего на коридорном подоконнике человека что-то знакомое.

Я спросил фамилию несчастного путника и получил подтверждение, что это был милый, но злополучный друг моего детства.

Без всяких дальнейших размышлений я оставил слугу и бросился в коридор, чтобы обнять своего приятеля.

Игнатий сидел все в том же положении, только небольшая, немножко женственная голова его с прекрасными вьющимися белокурыми волосами опустилась на грудь.

Заметив это еще издали, я удержал свой порыв, с которым хотел его обнять, несмотря на то, что немножко негодовал на него: зачем он бросил в подушку свою капризную жену. Очевидно, он был очень утомлен и заснул, чему, конечно, способствовало забытье лежавшего у него на руках ребенка и хотя неспокойное, но опористое положение, которое он занял в амбразуре окна, упираясь в одну стенку спиною, а в другую ногами.

— Оба уходились и спят, сердечные, — и на каком месте. Эх, жаль, сейчас же их кто-нибудь дверью хлопнет и разбудит, — прошептал появившийся за моей спиною слуга, но опасения его были напрасны: мужичьей работы дверь, на кирпичном блоке, в эту минуту хлопнула, но измученный отец, склонившийся над больным ребенком, не просыпался.

Что же касается до самого мальчика, то он совсем не спал. Когда я подошел к нему ближе, то при слабом свете сгущающихся сумерек увидел, что дитя глядело глазами.

И боже мой, что это был за прекрасный ребенок — больной и истомленный, но очаровательный, как бледный ангел Скиавонэ[60], с отцовскими светлыми кудрями и с большими темными глазами во впалых орбитах, завешенных длинными и густыми ресницами.

Я боялся, чтобы появление незнакомого лица не испугало его — особенно в его расстроенном горячечном состоянии, но он смотрел тихо, спокойно и, не сводя с меня своих прекрасных глаз, шевелил похуделыми пальчиками своей ручки у запекшихся губок.

— Обирает ротик, это смертное, — прошептал мне на ухо слуга, народная примета которого так и кольнула меня в сердце. — А вот он хочет что-то сказать. Что вам, барчук?

— Апельсин.

— Вот, с утра все апельсина просит, а апельсина нет в городе. — Нет, барчук, апельсина.

— Ну, возьми прочь...

Слуга меня только молча дернул, — я вспомнил, что когда больной что-нибудь отдает, это тоже считается дурною приметою, и он с беспокойством спросил:

— Что, барин, взять?

— Мушку.

— Какую мушку?

— Жужжит... чтобы она папа не разбудила.

Но при звуке слабого голоса, произнесшего слово «папа», отец встрепенулся и несколько раз неуверенно сжал руками ребенка, как будто желал удостовериться: не уронил ли его на пол.

— Я спал, — прошептал Игнатий и, посмотрев на нас без всякого внимания, взял из полоскательницы мокрую тряпочку и переменил компресс.

— Я спал, — повторил он ребенку, — а ты?

— И я... Я видел... апельсин.

Игнатий обеспокоился и повел на нас глазами.

— Неужто нигде невозможно достать апельсинов? — спросил он слугу.

Тот отвечал, что невозможно. Это действительно было такое время, когда апельсины редки даже в больших городах, где есть люди, готовые платить за редкий фрукт дорогую цену; в К. же о них нечего было и думать. Но дитя этого не понимало, и ему, очень, очень хотелось освежить приятною кислотою свой смягчущий ротик.

— Видел апельсин, — простонал он, — где же апельсины?

— Нет апельсина, Саша. Ты знаешь, как я люблю тебя, — неужели бы я не купил тебе апельсина, если бы он был здесь?

— Нас нарочно привезли сюда, чтобы всех уморить в этой трущобе, — произнес в эту минуту молодой, но неприятный женский голос.

Я обернулся и увидел молодую блондинку с косым пробором и институтским выражением молодого, но испорченного капризами лица. Трудно было сказать, что ее привело сюда: потребность ли видеть ребенка или потребность сделать сцену мужу. Но дитя при первых звуках материного голоса отворотилось от нее и прошептало:

— Я больше не хочу... апельсина... Только пусть... мама... уйдет.

И та действительно ушла, очевидно еще более рассерженная.

Мне становилось и тяжело и неловко: по какому праву я делаюсь свидетелем семейного несчастия моего приятеля; я не выдержал и сказал громко:

— Неужели ты не узнаешь меня, Игнатий?

Он вспыхнул, окинул меня острым взглядом — и, быстро встав с места, прижал к груди дитя и назвал меня по имени.

— Да, это я, — отозвался я на его слова.

— Боже мой! Где и когда и при каких обстоятельствах мы встретились! Пойдем ко мне... или...

Я перебил его суетливую путаницу и отвечал:

— Нет, я прежде всего побегу достать для твоего мальчика апельсин; а ты, чтобы не стеснять меня необходимостью входить в квартиру, где твоя *жена*, — будь добр, перейди с дитятею в мой номер.

Он поблагодарил меня взглядом и сделал, как я просил; но, к сожалению, хлопоты мои были безуспешны, я обыскал весь город и не нашел апельсина.

Когда я возвратился в гостиницу, дитя спало на моей кровати, у которой стоял на коленях, склонясь головою к груди ребенка, Игнатий. Дитя лежало, обвив ручкою отцову шею, и он не шевелился, боясь разбудить сына.

Мы всю ночь не говорили. Дитя спало, но несколько раз просыпалось и всегда с одним вопросом:

— Еще нет апельсина?.. не прислали?

— Еще *нет*, — отвечал отец.

— Ничего... я подожду, скоро привезут.

Игнатий вздыхал и смотрел на меня, а я на него — и все мы снова погружались в дремоту.

Так прошла ночь — и в окне стало сереть, у подъезда гостиницы шел говор. Очевидно, кому-то запрягали лошадей в не совсем обыкновенную упряжь.

Я встал — и перед тем, чтобы задуть догоравшую в тазу свечку, взглянул на спящих; дитя точно почувствовало это и прошептало во сне:

— Посмотрите: не привезли ли апельсин?

Это было очень тяжело слышать, и я поскорее вышел на воздух, чтобы освежиться от тяжелой атмосферы спертого номера.

Утро было морозное, на востоке алела заря, час был седьмой. У подъезда стоял тяжелый дормез[61], в который был запряжен почтовый восьмерик. Лошади были уже

готовы, кучер и форейторы на местах, и лакей с солидными бакенбардами лез в свою заднюю кибитку. Пассажиры экипажа, вероятно, спали: стекла кареты были подняты и даже задвинуты нутреными маркизами; но в ту самую минуту, как выносные натянули постромки и карета уже трогалась, в одном окне опустилась маркиза, потом рама, и чья-то рука выбросила на землю свежую, очевидно только что сейчас сорванную, кожицу с апельсина.

Я, нимало не рассуждая, подскочил к дверце и сказал:

— Бога ради, один апельсин умирающему ребенку.

В карете было темно, но мне показалось, что там как будто лежал вдоль всего экипажа больной человек, а с моей стороны сидела молодая женщина, лицо которой я не рассмотрел, но которая в то же мгновение протянула мне руку с очищенным апельсином и сказала одно только слово:

— Последний.

Дормез поехал, а я побежал с апельсином в номер и был чрезвычайно доволен собою, что не потерял времени на размышление и так решительно вырвал апельсин у проезжавшей дамы. Но когда я вернулся в комнату, сцена уже изменилась: мой приятель стоял в ужасе перед сыном, который, весь побледнев, икал и задыхался. Я поднес к его устам апельсин, манящий запах плода еще шевельнул его челюстями: он закусил зубками апельсин, потянул сок и затих... умер.

Я вам не стану рассказывать, как тут что было после этого: довольно того, что милого ребенка схоронили, а супруги разъехались. Она поехала на юг к своему отцу, а он — со мною, на север, «устраиваться» *.

Картина смерти ребенка и супружеских неладов автобиографична. Частные ее недочеты порождены понятной в известных положениях и настроениях трудностью беспристрастия. Она не проиграла бы в убедительности без Скиавонэ, без жесткого требования ребенка в отношении матери. В общем же она во многом верна. Этому есть подтверждение.

Как-то, когда мне было лет девять-десять, воспользовавшись каким-то упоминанием отца о Мите, я принялся

---

* Лесков (Стебницкий) Н. Явление духа. Случай (Открытое письмо спириту). — Журнал «Кругозор», 1878, № 1, 3 января, с. 1—6.

горячо просить его рассказать мне о смерти моего неведомого старшего брата. Отца это тронуло, и он нарисовал мне глубоко взволновавшую меня картину, разыгравшуюся когда-то на глухой почтовой станции Орловской губернии. Она была тожественна той, которую я, очень много позже, прочел в мало кому известном журнальчике. Но была и разница. Во-первых, почти целиком опущена была роль Ольги Васильевны, а затем не было апельсина: подлинный Митя, умирая, запекшимися губами лепетал: «Папочка, аплик, аплик, аплик!..» Он просил яблоко. Иноземный апельсин был введен вместо легкодоступного отечественного плода для повышения затруднительности выполнения смертной просьбы ребенка и драматизма сцены у окна уже трогающегося дормеза. Вышло совсем жизненно, а в сущности было «сделано» по-писательски, мастерски.

Но и яблоко литературно не осталось забытым. В одном из неопубликованных набросков «фантастического рассказа» под названием «Чортовы куклы» *, не схожего с неоконченным романом того же заглавия, сын бедного ссыльного униатского попа рассказывает: «Раз я стоял на этой галерее в ужасном волнении: моя маленькая сестренка была больна, и мы с матерью весь день за нею ухаживали, но у нас не было денег не только на то, чтобы позвать доктора, но даже на то, чтобы купить ей моченое яблоко, которым она бредила, прося его в жару горячки. Усталый отец пришел поздно и ничего не принес: богатый купец, у которого он учил сына, не дал ему в этот день денег. Мы легли спать, ничего не евши, сестра снова забредила о яблоке, — усталая мать уже не могла подняться, но отец встал и начал утешать ребенка».

Факт из личной тяжелой драмы, беспощадно к самому себе, дважды берется рабочею темой.

Полного разрыва в 1856—1857 году в действительности не произошло. На это понадобилось еще три-четыре года. 8 марта 1856 года появился второй ребенок — дочь Вера.

В другом, много более раннем рассказе — «Ум свое, а чорт свое» — Ольге Васильевне были уделены немногие, но выразительные строки:

«А через три года Рощихин сын приехал с молодою женой. Такая-то была, говорят, нравная, что упаси ты, царица небесная! Люди сказывали, что никому от нее не

---

* ЦГЛА.

было спуску, ни мужу, ни свекрови, никому, никому. С горя Рощихин сын все с ружьем стал шататься» *.

Точно желая подчеркнуть, чья эпопея повествуется, автор именует здесь мать героя «Рощихой», зная, что на Орловщине хорошо помнили, как добрынские крестьяне по-свойски называли Марию Петровну «Лесчихой» **.

Что же замедляло для всех казавшуюся неизбежной развязку этого незадачливого союза? Вероятнее всего, переезд семьи под Пензу к Шкоттам, где Лескову выпали на долю постоянные отъезды в Пензу и Городище по делам торгово-промышленного товарищества, в котором он работал, а сплошь и рядом долгие и дальние поездки, по тем же делам, по всей России. Недаром, вспоминая эти годы «странствования по России», он всегда прибавлял: «Это самое лучшее время моей жизни, когда я много видел».

Допустимо, что некоторое время тут умиряюще действовали на супругов неописуемая кротость тетки Николая Семеновича, Александры Петровны, и подчиняющая себе английская вышколенность «дяди Шкотта».

29 сентября 1859 года последний пишет племяннику в Москву, где тот выполняет компанейские задания:

«С<ело> Райское. Сижу в кабинете, занимаюсь управительскими делами, обе барыни сидят возле меня, обе очень растолстели, равно и Верочка. Олинька говорит, что вчера тебе писала в Москву, адресуя удержать на почте до требования, посмеялись этому и опять занялись своей работой.

...Насчет твоей семьи ты можешь быть покоен; если что я не одобриваю, то за грех считаю смолчать, и сейчас все исправляется, вчера я предлагал денег, но в них особой надобности еще нет, потому что 8 р. сер. еще есть от вырученных за солод. Обедаем вместе, хозяйки завели между собой очередь» ***.

С возвращением семьи в 1860 году в Киев и восстановлением постоянной бытовой близости вся рознь натур, вкусов, интересов вспыхнула с усугубленной яростью. Гроза близилась. Наконец грянул гром.

С удивительной прозрачностью, но, разумеется, как и прежде, с неизбежным, может быть даже невольным, смягчением личных шагов, драма раскрывается в романе

---

* «Северная пчела», 1863, № 17, 18 января.

** «Дворянский бунт в Добрынском приходе». — «Исторический вестник», 1881, № 2, с. 371.

*** Архив А. Н. Лескова.

«Некуда» *, где автор фигурирует в образе доктора Розанова, а Ольге Васильевне отведено немало самых резких оценок и изменено только отчество — Александровна. Проскользнет что-то схожее в жене Долинского в «Обойденных» [62], а иной раз мимоходом развернется на ту же тему почти трактат в совсем не обещавшей его статейке:

«Ах, амур проклятый! Какие шутки он шутит со смертными... А сколько честных, рабочих людей, без разгибу гнущих свою спину, которые не встречают от своих законных сопутниц ни ласкового слова, ни привета, ни участия, ни благодарности?.. Сколько людей, работающих только для насущного хлеба семье и не слышавших ничего, кроме капризов, стонов, брани, упреков вроде того, что «я не так бы жила, если бы вышла за другого», или «ты обязан» и т. п.? Да! Сколько таких людей, которые не жалуются на свое несчастие, а терпят его, как запряженная лошадь, которую кучер хлещет по облупленному кнутом боку и которая не может ни выпрыгнуть из оглобель, ни сломить их?» **

Так, с большим резонансом, изливалась именно злоба на нечто, частию уже заслоненное новым складом жизни.

По возвращении Лескова из Пензы в Киев в семье стоит ад. Бежать!.. Бежать из потерявшего былую прелесть «милого города». Бежать от постылой женщины. К тому же манит уже и журналистика; хочется пошире попробовать свои силы. Взаимное озлобление облегчает соглашение: Ольга Васильевна с дочерью остается, Лесков едет в Москву и Петербург. Свершилось!

Однако, по украинскому присловью, «не так склалось, як жадалось».

Потерпев с год, Ольга Васильевна, в позе покинутой с ребенком женщины, мчится в Москву, где Лесков в тот момент работает у Сальяс в «Русской речи». Начинается новая, на этот раз оказавшаяся последней, до предела терпения наскучившая и истерзавшая, по определению Лескова, «Liebesfieber» ***.

Температура достигает каления, при котором все участники драмы совершают немало невообразимого и — в обычных условиях — непростительного.

---

* См., напр., гл. 30-ю I ч., 20-ю, 27-ю и 28-ю II ч., 25-ю III ч.

** Стебницкий М. Страстная суббота в тюрьме. — «Северная пчела», 1862, № 99, 14 апреля.

*** Любовная лихорадка, горячка (*нем.*).

При дальнейшем развитии событий вступает в их обсуждение ряд лиц из состава редакции «Русской речи». Рушится с трудом достигнутое рабочее положение в газете. Наживается много врагов [63]. Финал: Ольга Васильевна возвращается с малолетнею дочерью в Киев, Лесков, несколько позже, уезжает в Петербург.

«Разбился на одно колено», — скажет он потом о крушении первой своей попытки найти семейное счастье.

Два года спустя, предприняв намеренно длительную поездку по западным окраинам России и далее за границу, 11 сентября 1862 года он останавливается в Гродно. Останавливается в дрянном, но лучшем в городе «заязде» какой-то Эстерки. Скверно пообедав где-то, возвращается в свой холодный номер и, поджидая, когда за ним зайдет его спутник, польский поэт Вицентий Коротыньский, «завернулся в шинель и лег в постель. По мере того как я, — пишет он в своей корреспонденции в петербургскую газету, — согревался, меня стал одолевать сон, и я проснулся, когда было уже темно. В соседнем нумере налево горели свечи, и свет сквозь дверные щели падал двумя яркими полосами на пол моей комнаты. Я очень люблю сумерки, когда остатки дневного света еще борются с ночною тьмою; спешить было некуда, и потому я не встал с своей согревшейся постели. Szara godzina, серый час, как называют поляки сумеречный час, необыкновенно располагает к мечтам и воспоминаниям. У меня немного воспоминаний, но тем не менее они мне приятны. Под звуки свежих женских голосов моих соседок я вспомнил другой полупольский город, стоящий не в холодной Литве, а в роскошной Украйне; вспомнил маскарады, желтый дом, комнатку над брамой (воротами), белокурые локоны на миловидном личике и коричневое платьице на стройном стане. Потом пошли другие воспоминания, розы смешались с шипами; потом розы совсем куда-то запропастились, и остались одни иглы, все иглы, иглы, и вот я, одинокий и разбитый, лежу в холодной комнате литовского заязда и волей-неволей слушаю разговор двух польских помещиц, рассуждающих о приданом. *Приданое!* Какое это странное слово, думаю я, и снова чувствую, что меня одолевает дремота» *.

---

* «Из одного дорожного дневника». — «Северная пчела», 1862, № 337, 13 декабря.

Неотвязно вставали сперва веселые картины почти юношеских киевских лет, а за ними шли горькие воспоминания об иглах неосторожного осложнения жизни на едва зардевшейся ее заре.

В дальнейшем Ольгу Васильевну постигает серьезный удар: киевская банкирская контора некоего де Мезера, в которой была помещена главная часть ее средств, лопается. Назначается конкурсное управление по делам несостоятельного должника. По решению этого правления, клиентам выплачивается четыре или пять копеек за рубль.

Разорение окончательно подавляет, пожалуй от природы неблагополучную, психику растерявшейся женщины. Год от года она больше сумасбродствует, не находит себе места в жизни, дела, даже постоянного угла. Она тяготится дочерью и временами требует, чтобы последнюю взял к себе отец. Алексей Семенович и Марья Петровна готовы дать ей с ребенком приют, но в последнюю минуту она опять куда-нибудь бросается, чего-то ищет, строит нелепые планы. С возрастом психическое состояние ее резко ухудшается: она мнит себя то миллионершей, то нищей.

Требуется последнее решение. 16 марта 1878 года удается поместить ее в петербургскую больницу св. Николая, на реке Пряжке. Главным врачом ее был известный в свое время психиатр О. А. Чечотт, а попечителем знаменитый С. П. Боткин. Оба были расположены к Лескову.

Злосчастному мыканию больной по белу свету полагается предел. Хорошо или худо — ей дан кров, который ей не суждено уже когда-нибудь покинуть.

В день водворения ее в больницу ей было без малого пятьдесят лет. Время не прошло даром: со многим научило примириться, свыкнуться, притупило взаимное ожесточение, смягчило личные счеты. Расстройство мысли усыпило память...

Лесков, в меру возможного, навещает страждущую, возит ей что-нибудь изжаренное дома, сладости, лакомства. Посещение «сумасшедшего дома», при содействии Чечотта, дает ему пищу для совершенно исключительных наблюдений. В частности, своеобразный по языку и замыслу рассказ «Заячий ремиз» без всякой беллетристической натяжки начат им так:

«По одному грустному случаю я в течение довольно долгого времени посещал больницу для нервных больных, которая на обыкновенном разговорном языке называется «сумасшедшим домом», чем она и есть на самом деле. За исключением небольшого числа лиц испытуемых, все больные этого заведения считаются «сумасшедшими» и «невменяемыми», то есть они не отвечают <ни> за свои слова, ни за свои поступки» *.

Подход редкий, не придуманный, а, по одному из любимых Лесковым выражений, нечто «из самой жизни вывороченное».

Через полтора года после устройства больной Лесков пишет брату своему Алексею Семеновичу:

«Ольгу Васильевну видел в прошлое воскресенье: она все в том же положении, но переменила тон: теперь она бедна, потому что все миллионы пожертвовала. О Вере говорит порою здраво; ко мне относится как ребенок, и иногда очень нежно и трогательно: «привезите мне рыбок, мой кормилец» и тому подобное. Очень рада, что Шкляревского ** повесили, и обижена, что я этого не знал: *неизвестный* — это и был Шкляревский, и его-то и повесили. Теперь будут вешать профессора Чечотта, которого она собирается бить металлическим кофейником. Ей дали отдельную хорошую комнату, за ванною. Она очень ослабела и ничего не ест, кроме фруктов и «рыбок», то есть жареной корюшки. Состояние ее, говорят, решительно безнадежное. Начальство заведения делает все, о чем только попрошу. — Я спрашивал ее: поедет ли она в гости к Ногам ***, когда они сюда приедут? — Говорит: «нет, я еще посмотрю: какой он, да и вообще мне опасно». Скажи все это Вере» ****.

Через восемь лет Лесков делится с тем же братом новыми сведениями:

«На сих же днях очень занемогла было Ольга Васильевна — и, как ни безрадостно ее доживание, однако все-таки это не догорающая свечка, а жизнь человеческая. Тягучая натура ее вытянула, и она опять пошла колты-

* Впервые опубликован в «Ниве», 1917, № 34—37.

** Киевский присяжный поверенный, ведший одно время дело Ольги Васильевны в конкурсном управлении по банкротству банкирской конторы де Мезера. — *А. Л.*

*** Вера Николаевна Лескова только что вышла замуж за Д. И. Нога и ожидалась с мужем в Петербург.

**** Письмо от 22 августа 1879 г. — Архив А. Н. Лескова.

хать. Чечотт и Ахочинский * делают мне большие *услуги.* Не только Ольга Васильевна пользуется *одна* отдельной комнатою, но вот уже 4-й раз было отделение безнадежных за город на Удельную станцию, и Ольга Васильевна все остается здесь. Боткин, как попечитель, тоже это благословляет» **.

Омраченность сознания неотвратимо растет. Все прежнее выпадает из памяти.

Безумие Ольги Васильевны легло тяжелым камнем на «самоистязующую» душу Лескова. Оно стоило слишком многих «терзательств», таких многообразных и нестерпимых в прошлом, таких острых и неотступных в воспоминаниях о них до последних не только дней, но даже часов жизни.

Навещать ее становится все тягостнее и, в сущности, бесполезно. Остается только обеспечить ей получение фруктов и «рыбок». Эту заботу, по просьбе Лескова, готовно берет на себя добросердная больничная надзирательница. Ездить на далекую Пряжку можно, когда на то у самого хватит силы.

В сентябре 1892 года, гостя у меня, Вера Николаевна Нога навестила мать.

Рассказ о свидании был тяжел. Ольга Васильевна почти не признала дочь. Во всяком случае не проявила никакой радости.

Одна деталь остро врезалась мне в память.

На заданный Верою Николаевной матери вопрос, помнит ли она Николая Семеновича Лескова, больная задумалась. После явно больших усилий трудно работавшей мысли, всматриваясь куда-то полуприкрытыми глазами, она едва приподняла разверстые кисти восковых рук и, как бы доискиваясь чего-то в сумраке дальнего прошлого, чуть шевеля концами исхудавших пальцев в ритм раздельно слетавших с уст слов, без интонации прошептала: «Лесков?.. Лесков?.. Вижу... вижу... Он черный... черный... черный...»

Напряжение иссякло. Луч сник. Все замкнулось, погрузилось во вновь охватившее больной мозг безмыслие... Глаза закрывались... Больная утомленно умолкла...

Что выражали эти откуда-то с таким трудом пришед-

---

* В. А. Ахочинский, смотритель больницы св. Николая и приятель Лескова.

** Письмо от 7 февраля 1887 г. — Архив А. Н. Лескова.

шие слова? Проблеск давно померкнувшего сознания? Обрывочно поданное представление когда-то хорошо знакомого лица, обрамленного прядами иссиня-черных волос? Кто скажет!..

Уже значительно позже смерти Лескова осматривавший больницу газетный работник В. В. Протопопов записал: «Я вошел в небольшую комнатку, без всякой мебели, кроме одной простой железной кровати. В этой комнате лежала на подоконнике крошечная старушка, — такая крошечная, что ее исхудалое высохшее тельце умещалось совершенно свободно на узком пространстве. Она лежала, повернувшись лицом к стеклу, и не сделала ни малейшего движения при моем появлении в комнате» *.

«Тягучая натура» обрекла безумную на более чем тридцатилетнее заточение в крошечной больничной комнатке за ванной.

Только 9 апреля 1909 года дано было ей «доколтыхать» до могилы на Охтенском кладбище.

ГЛАВА 7

СТОЛОНАЧАЛЬНИК

Лесков любил назидательную поговорку: «Гулять, девица, гуляй, а свое-то дело — помни!»

Сам он, особенно в литературные свои годы, держался еще более строгого правила: он отводил «делу» все свое время, почти не зная отдыха.

Но и до писательства велся тот же порядок: работы было досыта. Чтобы вынести об этом верное представление, довольно заглянуть хотя бы в первые главы его рассказа «Владычный суд».

«Очень молодым человеком, почти мальчиком, я начал мою службу в Киеве, под начальством Алексея Кирилловича Ключарева, который впоследствии служил директором Департамента государственного казначейства и был известен как «службист» и «чиновник с головы до пяток»... А. К. Ключарев, невзирая на мои юные годы, назначил меня к производству набора. Дело это, не требующее никаких так называемых «высших соображений», требует, однако, много усилий. Целые дни, иногда с раннего утра до самых сумерек (при огне рекрут не

* В. Пр-в. Заметки. — «Россия», 1900, № 296, 20 февраля.

осматривали), надо было безвыходно сидеть в присутствии, чтобы разъяснять очередные положения приводимых лиц и представлять объяснения по бесчисленным жалобам, а также подводить законы, приличествующие разрешению того или другого случая. А чуть закрылось присутствие, начиналась самая горячая подготовительная канцелярская работа к следующему дню. Надо было принять объявления, сообразить их с учетами и очередными списками; отослать обмундировочные и порционные деньги; выдать квитанции и рассмотреть целые горы ежедневно в великом множестве поступавших запутаннейших жалоб и каверзнейших доносов... К этой мучительной, трудной и ответственной должности выбирались люди служилые и опытные; но А. К. Ключарев, по свойственной ему во многих отношениях непосредственности, выбрал в эту должность меня — едва лишь начавшего службу и имевшего всего 21 год от роду. Легко представить, какие усилия я должен был употреблять, чтобы вести в порядке такое суматошное и ответственное дело при таком строгом начальнике, как А. К. Ключарев, которого потом сменил благодушный Н. М. Кобылин, тоже удержавший меня на этой должности. Мучения мои начинались месяца за полтора до начала набора по образованию участков, выбору очередей и проч.; продолжались месяца полтора-два во время самого набора и оканчивались после составления о нем отчета. Во все это время я не жил никакою человеческою жизнью, кроме службы: я едва имел час-полтора на обед и не более четырех часов в ночь для сна» *.

Служба была более чем неприятная: обычаи и предания в области рекрутских операций были глубоко порочны, борьба с ними трудна, картины, проходившие перед глазами, полны ужаса и трагизма. Опыта и впечатлений тут набиралось как редко где на другой работе, но выматывалось много сил. Последних энергичному юноше было не занимать стать.

Приехав из Орла в Киев восемнадцатилетним не имеющим еще чина «помощником столоначальника Орловской уголовной палаты», он, как видно, быстро овладел сложной техникой совершенно нового вида делопроиз-

---

* Собр. соч., т. XXII, 1902—1903, с. 56—61. См. еще: «Несколько слои о врачах рекрутских присутствий» и «Несколько слов о полицейских врачах в России». — «Современная медицина», 1860, № 36 и 39. Подпись — «Фрейшиц».

водства и процесса проведения самих рекрутских наборов. Через два месяца, 24 февраля 1850 года, он «удостаивается» определения «помощником столоначальника по рекрутскому столу ревизского отделения».

Служит Лесков ретиво. Начальство ему верит и неспроста назначает его «к производству наборов» вместо «служилых», слишком, может быть, «опытных» в подобных делах и операциях.

Благодаря медленности восхождения даже мелких наградных представлений на «высочайшее» утверждение он все еще ходит бесчиновным чиновником. Но вот «высочайшим приказом по гражданскому ведомству» от 11 июня 1853 года за № 113 Лесков производится в коллежские регистраторы, со старшинством в этом первом классном чине «с 1851 г. июня 30».

Пусть чин и невелик, а все же — уже настоящий чиновник: вицмундир, кокарда на фуражке уже по праву, а не самочинно, как она носилась до сих пор. Правда, вольнодумные зубоскалы язвят: «коллежский регистратор — чуть-чуть не император!»

Почти сейчас же, 9 октября 1853 года, следует и определение «столоначальником».

В следующем, 1854 году он командируется в звенигородское уездное рекрутское присутствие письмоводителем к производству XI частного набора и выполняет «возложенную на него обязанность исправно». Далее, «за успешное и безнедоимочное окончание XIII очередного набора» ему 17 сентября 1855 года «объявлена признательность главного местного начальства в предложении киевского военного, подольского и волынского генерал-губернатора». Это уже второе отличие в годы войны.

Высочайшим приказом от 7 июля 1856 года за № 130 «произведен в губернские секретари, со старшинством с 1855 года июня 30».

26 августа 1856 года Лесков получает «учрежденную в память войны 1853—1856 гг. темно-бронзовую медаль на андреевской ленте». Эта скромная регалия останется единственною за всю последующую службу его отечеству.

Рекрутское столоначальничество, да еще в годы серьезной войны, дало молодому человеку много опыта и знаний.

Киев во время крымской эпопеи, благодаря сравнительной близости к театру военных действий, жил не-

сравненно нервнее северных городов империи. Он быстро был охвачен типичною тыловой, главным образом наживной, лихорадкой. Город жил волнующими слухами о военных наших неудачах на юге и сказочных удачах богатевших у всех на глазах местных поставщиков, «работавших» в трогательном единодушии с армейскими «морильщиками» — интендантами. Жизнь била ключом, остро и напряженно.

Лесков проводит один за другим спешные наборы рекрут, сряду же направлявшихся в маршевых командах пополнения на театр военных действий. Контингента сколько-нибудь подготовленного запаса не существовало. Специальных резервных кадровых частей не было. Столоначальнику рекрутского присутствия многое раскрывалось яснее, чем людям других положений.

С юга, через Киев же, вереницей тянулись скорбные обозы с ранеными, валявшимися на грязной соломе в обывательских возах, арбах, длинных дощатых драбинах.

Туда нескончаемо плелись наскоро сколоченные войска, чуть не вилами вооруженное ополчение, шли тяжело груженные обозы снаряжения, припасов, продовольствия, всего, на чем в открытую богатели беззастенчивые «герои тыла», всемирно прославившиеся «крымские воры».

Близость через дядю Сергея Петровича к медицинским кругам, обслуживавшим обильные киевские военные лазареты, а через родство Ольги Васильевны к коммерсантам и промышленникам, ведшим дела с казенными «провиантщиками» и «комиссариатщиками», раскрывала молодому человеку всю жуть военного, как и общего государственного неустройства его родины. С ужасом он начинал представлять себе невероятную отсталость нашего вооружения, неорганизованность врачебного обслуживания войск, постыднейшее хищничество на всем заготовляемом для фронта, изнемогавшего в лишениях и недостачах, мертвенность и равнодушие тыла. Полный развал страны с убитой за тридцать лет «попятного» правления общественностью, с вконец задушенной мыслью... Твердо выдержанная державным фельдфебелем и добровольным «европейским жандармом», Николаем I, «глухая пора» приносила свои каиновы плоды...

Лесков заговорит в первое десятилетие своего литераторства об «Изнанке Крымской войны»[64] и о «Параллелях» Палимпсестова[65], всегда охотно возвращаясь к оставшейся для него близкой, хотя и больной теме о

ненавистном по воспоминаниям царствовании *. Даже на склоне лет, в рецензии о чужой книге, он не упустил упомянуть, что «война на полуострове» (как выражались в тогдашних газетах) была «вскрытием затяжного нарыва и показала: чем питался организм всей страны и каковы его соки» **.

В частности, самому крымскому воровству в свое время будет отведен, негаданный по развязке, этюд — сперва под заглавием «Морской капитан с Сухой Недны», а позже — сконцентрированный в своем целевом устремлении «Бесстыдник» ***. Действие происходит на карточном вечере у прославленного севастопольского героя генерала Хрулева. Центральная фигура рассказа — до пресыщения наживший «провиантщик». Его не уязвляют колкости, бросаемые по адресу интендантов честным черноморским моряком, подлинным героем и бессребреником. В удобную минуту он даже без колебаний укоряет младшего годами защитника Севастополя в несправедливости ко всему русскому народу, цинично утверждая, что при перемене ролей они, комиссариатщики, с не меньшею доблестью воевали и умирали бы, а переведенные на их места строевики — подражали бы им, провиантщикам [66].

О хлебосольном хозяине вечера, отменном храбреце и мастере меткого и острого слова, Хрулеве, Лесков любил помянуть к месту и часу. В «Смехе и горе» про него говорится: «А этот ведь в такой ад водил солдат, что другому и не подумать бы их туда вести, а он идет впереди, сам пляшет, на балалайке играет, саблю бросит, да веткой с ракиты помахивает: «Эх, говорит, ребята, от аглицких мух хорошо и этим отмахиваться». Душа занимается! Солдатам-то просто и задуматься некогда, — так и умирают, посмеиваясь, за матушку за Русь да за веру!.. Как хочешь, ведь это, брат, талант!» ****

В одной из мелких записей, оставшихся после Лескова, какой-то генерал, ведя людей в огонь и видя, что они

* «Русские общественные заметки». — «Биржевые ведомости», 1869, № 215, и 1870, № 39. Без подписи.

** «Потревоженные тени». — «Исторический вестник», 1890, № 12, с. 817—819. Подпись — «Н. Л—в».

*** «Яхта», 1877, февраль и март, и «Звезда», 1938, № 6. — Собр. соч., т. XVI, 1902—1903.

**** Собр. соч., т. XV, 1902—1903, с. 158 (ср. гл. 75—80).

мнутся, подзадоривает их: чего, мол, боитесь? У меня в Петербурге дом каменный и жена-красавица, да иду, а у вас, кроме блох, ничего за душой, и робеете... *

Не прямое ли это хрулевское балагурство с балалайкою и ракитовой веткой от аглицких мух!

А красноречие у Хрулева было отменное, свое, ни у кого не занятое, нравившееся Лескову, без затруднений исчерпывающее какой угодно сложности вопросы, вплоть до отношений России с Германией и ее «железного канцлера»:

«— Что такое нам этот немецкий Бисмарк? Эка невидаль! Говорят: «умен». Что ж такое? Очень нужно! — Ну и пусть его себе будет умен — нам это и не в помеху. И пусть он, как умный человек, все предусмотрит и разочтет, а наши, батюшка, дураки такую ему глупость отколют, что он и рот разинет: чего он и вообразить не мог, мы то самое и удерем. И никакой его расчет тогда против нас не годится» **.

Презрению к «бесстыдникам», безжалостно и нагло обворовывавшим героически сражавшихся защитников своей родины, образно противополагается благоговейное восхищение бескорыстием и заботой о младшем брате строевого состава, и превыше всего классического адмирала Нахимова. Лесков вспоминает, что когда, уже в семидесятых годах, «пронесся слух, что в морском ведомстве обнаружилось первое большое злоупотребление», как-то «вбегает торопливой походкой в своем шарфике Фрейганг <Андрей Васильевич, контрадмирал. — *А. Л.*> и говорит с волнением:

— Слышали? Совершилось! Страшное пророчество совершилось!.. Ужас, позор и посрамленье! Наши моряки, наши до сих пор честные моряки обесславлены: среди нас есть люди, прикосновенные к взяткам!.. А он это предсказывал, я это напоминал, я говорил, что это предсказано и это так сделается, вот и сделалось — и исполнилось, как он предсказал.

— Кто предсказал?

— Павел Степаныч!

— Какой Павел Степаныч?

---

* Приведена по памяти. Подлинник в ЦГЛА.

** «Картины прошлого», гл. 18. — «Новости и биржевая газета», 1883, № 40 и 126, 12 мая (1-го и 2-го изд.); Собр. соч., изд. 1889 г., сожженный VI т., с. 687 («Сеничкин яд»); ср. «Железная воля», гл. 1, и «Смех и горе», гл. 78.

— Как «какой Павел Степаныч»!.. Нахимов!

И Фрейганг рассказал какой-то давний случай, когда покойный Нахимов был недоволен каким-то продовольственным распорядителем или комиссионером и стал его распекать, а тот, начав оправдываться, стал беспрестанно уснащать свою речь словами «ваше превосходительство». Это так взорвало адмирала, что он закричал:

— Что я вам за превосходительство! Что это еще такое! Вы имени моего, что ли, не знаете, или прельщать меня превосходительством вздумали? У меня имя есть! Это вы ваше превосходительство, а моряков нельзя так звать, они вашим ремеслом не занимаются. Тогда их можно будет «так» звать, когда и они этим станут заниматься.

Праведный бедняк адмирал <Фрейганг. — *А. Л.*> петербургских Песков * глубоко верил, что, перестав называть друг друга по именам, а начав величать по титулам, — моряки подверглись роковой порче» **.

Приведено определенное свидетельство «бедняка адмирала» и в очерке, посвященном Лесковым целиком и полностью столь исключительному в свое время явлению, как инженеры бессребреники» ***.

Вообще всегда любовно говорит писатель о честных людях и восхищенно о скромных, самоотверженно шедших на подвиг, подлинных героях, беззаветно отдававших жизнь за родину.

Но в то же время, где случится, он всегда готов едко помянуть вконец обнаглевших, надоевших всем «милитеров» ****. Надо сказать, что еще в кадетских корпусах, лично проправленный самим царем, учебник географии «с особенной серьезностью» разъяснял обучаемым, что «Россия государство не торговое и не земледельческое, а военное и призвание его быть грозою света...» [67] Неудачи наши в Крымскую войну внесли некоторое оздоровление в общее настроение и снизили военный задор, «а то

---

* Так называлась в общежитии захолустная часть столицы, официально именовавшаяся Рождественскою. Ныне Смольнинский район. — *А. Л.*

** «Пресыщение знатностью». — «Новое время», 1888, № 4271, 19 января.

*** «Инженеры бессребреники. Бытовые апокрифы». — «Русская мысль», 1887, ноябрь; Собр. соч., т. IV, 1902—1903, с. 106.

**** Militaires — военные (*фр.*).

меры не было вздорам... Я сам помню, — продолжал Лесков, — как раз вечерком, на том месте Казанской площади, у садика, где теперь часто стоит тележка чухонца с выборскими кренделями, иду я домой, а передо мною идут два офицера и говорят:

— Видишь штафирку?

Другой отвечает: вижу.

И указывают друг другу на чиновника, который покупает крендельки и завязывает их в платочек. Верно, человек бедный был, потому что шляпенка на нем рыженькая, и сам он тощий, заморененький, а на нем шинелька суконная, ветхая, подол подтрепан и разрез сзади, — как это делалось.

Один офицер говорит: давай, разорвем его.

Другой отвечает: давай.

И тут же, на моих глазах, взяли его за край шинельного разреза, потянули в разные стороны и располосовали пополам до самого воротника. Только пыль из старого суконца посыпалась, и крендельки он свои, бедняк, разронял. А все это совершенно ни за что, да и без злобы, а так, можно сказать, по глупой манере носились сами с собою в каком-то священном восторге и как зыкливые телята брыкались. Я же вам об этом упоминаю для того, чтобы показать, какой был дух времени и какое царствовало неблагоприятное для гражданской деятельности настроение — особенно в кругу тесного соприкосновения с людьми военными» *.

«Дух», по всему видно, был действительно нестерпимый, подлинно «палкинский». Военные шли везде и во всем превыше всякого понимания. У нас, мол, отменное «Марсово призвание» **, и равняться с нами некому. «Покоряйтесь, языки, и покоряйтеся нам!» И покорялись... Всё, кроме них, вздор и незначительность. Все невоенные — хамы, «аршинники», «штафирки», «рябчики»... Всех их, которые поскромнее и попроще, можно рвать, над всеми можно безнаказанно глумиться и потешаться во все свое удовольствие. Это был непререкаемый стиль и обычай.

---

* «Русский демократ в Польше». — Собр. соч., т. III, 1902—1903, с. 159.

** «Русские общественные заметки». — «Биржевые ведомости», 1869, № 277, 12 октября. Без подписи.

В «Печерских антиках» Лесков писал о годах своего столоначальничества:

«Все мы тогда чувствовали себя необыкновенно веселыми и счастливыми, бог весть отчего и почему. Никому и в голову не приходило сомневаться в силе и могуществе родины, исторический горизонт которой казался чист и ясен, как покрывавшее нас безоблачное небо с ярко горящим солнцем. Все как-то смахивали тогда на воробьев последнего тургеневского рассказа: прыгали, чиликали, наскакивали, и никому в голову не приходило посмотреть, не реет ли где поверху ястреб, а только бойчились и чирикали: — Мы еще повоюем, черт возьми! [68] — Воевать тогда многим ужасно хотелось. Начитанные люди с патриотическою гордостью повторяли фразу, что «Россия — *государство военное»,* и военные люди были в большой моде и пользовались этим не всегда великодушно».

Не имея сил справиться с своим негодованием, дальше он перебирал:

«Впрочем, подобное ожесточенное свирепство милитеров тогда было повсеместно в России, а не в одном Киеве. В Орле бывший Елисаветградский гусарский полк развешивал на окнах вместо штор похабные картинки; в Пензе, в городском сквере, взрослым барышням завязывали над головами низы платьев, а в самом Петербурге рвали снизу доверху несчастных «штафирок». Успокоила этих сорванцов одна изнанка Крымской войны» *.

«Свирепств» Лесков насмотрелся досыта и в Киеве за годы своей службы в рекрутском присутствии, и во многих других городах своего отечества, и в самой столице последнего, где, пожалуй, упорнее, чем в других местах, водились еще «сорванцы» старой выучки и прежних навыков.

Всю жизнь свою он с неослаблявшейся ненавистью вспоминал «ошалелых» плац-парадных хлыщей, твердо исповедуя, что «сила спасения» страны всегда «заключалась в тех, кто, не рисуясь и не бравируя, делали свое дело» **.

---

* Собр. соч., т. XXXI, 1902—1903, с. 46, 53.

** «Герои Отечественной войны по гр. Л. Н. Толстому». — «Биржевые ведомости», 1869, № 66, 68, 70, 75, 98, 99, 109.

ГЛАВА 8

КОММЕРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Первого мая 1857 года, с отпускным билетом в кармане, Лесков отправляется не в столицу, куда, должно быть для отвода глаз, просил его уволить, а к «дяде Шкотту». Хотелось, не порывая пока со старым, ознакомиться с новым видом деятельности — коммерческой. Четыре месяца отпуска позволяли это вполне. Первое выпавшее ему испытание — свод орловских крестьян графа Перовского в Понизовье — заканчивается конфузом, обнажая полную практическую неопытность молодого чиновника в выполнении некоторых неказенных заданий. Под старость он запечатлеет эту назидательную неудачу в потрясающем рассказе «Продукт природы» *. Это не обескураживает: все остальные виды предстоящей деятельности ему приходятся по плечу и по вкусу. Он обосновывается в селе Райском Городищенского уезда Пензенской губернии в штаб-квартире английской компании «Шкотт и Вилькенс». В Киев, в казенную палату 9 сентября посылается свидетельство о болезни, оправдывающее просрочку отпуска и желание быть уволенным «вовсе от службы». Просьба удовлетворяется. Первый период «коронной службы» кончен.

В 1877 году он, оглядываясь назад, подведет такое объяснение этому шагу: «С прекращением Крымской войны и возникновением гласности и новых течений в литературе, немало молодых людей оставили службу и пустились искать занятий при частных делах, которых тогда вдруг развернулось довольно много. Этим движением был увлечен и я. Мне привелось примкнуть к операциям одного английского торгового дома, по делам которого я около трех лет был в беспрестанных разъездах» **.

В будущем он горько упрекнет «дядю Шкотта» за соблазн, пожалеет, что поддался последнему:

---

* Сб. «Путь-дорога», СПб., 1893. — Собр. соч., т. XXII, 1902—1903. Ср.: «О русском расселении и о Политико-экономическом комитете». — «Время», 1861, № 12; «О переселенных крестьянах». — «Век», 1862, № 13 и 14; «Российские говорильни в С.-Петербурге». — «Библиотека для чтения», 1863, № 11.

** «Владычный суд». — Собр. соч., т. XXII, 1902—1903, гл. 19.

«Вскоре после Крымской войны... я заразился модною тогда ересью, за которую не раз осуждал себя впоследствии, — то есть я бросил довольно удачно начатую казенную службу и пошел служить в одну из вновь образованных в то время торговых компаний. Она теперь давно уже лопнула, и память о ней погибла даже без шума... Хозяева дела, при котором я пристроился, были англичане. Они еще были люди неопытные, или, как у нас говорят, «сырые», и затрачивали привезенные сюда капиталы с глупейшею самоуверенностью. Операции у нас были большие и очень сложные: мы и землю пахали, и свекловицу сеяли, и устраивались варить сахар и гнать спирт, пилить доски, колоть клепку, делать селитру и вырезать паркеты — словом, хотели эксплуатировать все, к чему край представлял какие-либо удобства... Из русских высшего по экономическому значению ранга только и был один я — и то потому, что в числе моих обязанностей было хождение по делам, в чем я, разумеется, был сведущее иностранцев» *.

Операции компания вела чуть не по всей России. «Хождение по делам» не ограничивалось поэтому одной Пензенщиной, а охватывало опять-таки почти всю Россию, вызывая необходимость постоянных поездок в качестве «доверенного» фирмы «от Черного моря до Белого и от Брод до Красного Яру» **.

В каких условиях, с какими передрягами и медлительностью совершались эти многоучительные поездки и сколько они могли давать молодому наблюдательному человеку — сочно описано самим Лесковым.

«Во Владимире я нашел покинутый мною тарантас, который мог еще сослужить свою службу, так как на колесах было удобнее ехать, чем на санях, — и я тронулся в путь в моем экипаже. Пути мне от Владимира оставалось около тысячи верст; я надеялся проехать это расстояние дней в шесть, но несносная тряска так меня измяла, что я давал себе частые передышки и ехал гораздо медленнее» ***.

Случалось подчас и много труднее и мучительнее:

* «Железная воля». — «Кругозор», 1876, № 38—44; Избранные сочинения. М., Гослитиздат, 1945, с. 131—168.

** Письмо Лескова к П. К. Щебальскому от 16 апреля 1871 г. — «Шестидесятые годы», с. 313.

*** «Железная воля», гл. 3.

«Лет шесть тому назад я служил в одной торговой компании, имевшей дела по всему Поволжью от Астрахани до Рыбинска и далее по Мариинской и Тихвинской системам до Петербурга. Три года я провел в беспрерывных разъездах по делам моих доверителей, беспрестанно сталкиваясь с различными людьми, между которыми было очень много староверов. Один раз, именно лет шесть или семь назад, я выехал из Москвы в Пензу с двумя попутчиками: саратовским купцом и одною молоденькою провинциальною актрисою. Дело было зимой, так после Николы, а уж были ухабцы. Ехали мы в рогожном возке, купленном нами сообща в Москве. По моим делам и делам купца нам выпадало ехать по Рязанскому тракту, а актрисе было все равно, она с нами не спорила. Мы и поехали на Рязань на вольных... А уж я говорю, местами были ухабцы, и таки раскатисто становилось. В одном таком-то местечке возок наш со всего разбега бух в ухаб, а оттуда прямо в раскат да полозом о мерзлый гребень раската, — так двух копыльев как и не было. Неприятное дело! Дотащил нас ямщик до первой деревни и стой: чиниться нужно. Деревня была раскольничья: жили в ней федосеевцы[69]. Деревенька так не очень большая, и дворов постоялых в ней всего один был, потому что упряжка тут по расстоянию выходила как-то неловкая: оттуда близко, и отсюда недалеко; извозчик все и минует. Остановились мы на квартире: комната теплая, но с угарцем, однако ничего. Я с купцом пошел рядиться в кузницу и с плотником, а попутчица наша стала хлопотать о чае. На дворе был час четвертый утра, и деревня уже встала. Люди древлего благочестия, видя нашу беду неминучую, содрали с нас за копылья и рванку цену христианскую; шесть целковых заломили и на том стали; но обещались к вечеру отпустить в лучшем виде. Дали мы шесть целковых за рублевую работу и начали выгружать возок, который нужно было опрокинуть, чтобы вдолбить копылья, а тем временем и чай поспел у актрисы. Уселись мы и благодушествуем, а за дощатой перегородкой комнаты кто-то все: ох да ах. Голос, слышно, женский.

Оказывается, терзается в предродовых муках молодая раскольница. По благочестивому обычаю федосеевцев, ей ничем не помогает не только отец ожидаемого ребенка, но даже и ни одна «суседка». «Нечестивая актерка» сердобольно бежит к страждущей, а подавшая самовар

старуха в дальнейшей беседе поясняет проезжим: «У нас, я тебе скажу... мужик баловник, козел-мужик, похотник. Он тебе бабу никогда не сожалеет... В нашем-то звании все, миленький, вот так-то: молода да легка, так все «поди сюда», а затяжелела, так и милу дружку надоела» *.

До вечера, пока исправили возок, чего только путники не наслушались, не нагляделись, не изучили, со сколькими самыми «различными» людьми не «столкнулись», чего не вызнали... Ну, а за три-то года таких поездок по святой Руси как не узнать всю ее «в самую глубь!». И притом именно «от Черного моря до Белого и от Брод до Красного Яру». Это была жизнью, а не книгой даваемая школа. Ее и хватило на весь писательский век!

Дела компании по началу развернулись, может быть, шире и смелее, чем подсказали бы большее знание страны, общих условий, осмотрительность. Англичане, по мнению писателя, не учли, «что Россия имеет свои особенности, с которыми нельзя не считаться» [70]. В результате более состоятельные компаньоны, Велькенсы, примирившись с потерями, вышли из дела. «Совсем обрусевшему» и денежно подорванному Шкотту оставалось осесть на кое-как, не без долга, закрепленных за собою клочках «райских» угодий.

Лескову здесь уже делать было нечего. Приходилось покидать Пензенщину. Разлука племянника с дядей не оставила добрых воспоминаний. Отношения не сбереглись ни с самим Шкоттом, ни со «шкоттятами», как с родственной теплотой называли его сыновей киевские Лесковы.

В ходе лет Николай Семенович отпустит дяде-англичанину его нечаянную вину и заговорит о нем с прежним расположением: «В понизовых губерниях в имениях графов Перовских и Нарышкиных в довольно недавнее время был управляющий некто Александр Яковлевич Шкотт — родом англичанин, но человек совершенно обрусевший, замечательно хорошо знавший русский народ и умевший снискивать себе доверие крестьян, которыми управлял. Он уже умер, но его до сих пор знают и помнят в Симбирске, и в Пензе, и в Самаре» **[71].

---

* Стебницкий М. С людьми древлего благочестия. — «Библиотека для чтения», 1864, № 9, с. 19, 22.

** «Наша провинциальная жизнь». — «Биржевые ведомости», 1869, № 238, 3 сентября. Без подписи.

«Шкоттята» за статьями двоюродного своего брата не следили и чего-то ему по-прежнему не забывали.

В оскудении и захудалости Александру Яковлевичу не пришлось долго ждать смерти.

Всех удалее обернулся во всех совершавшихся событиях... сосед Шкотта, Ф. И. Селиванов, исподволь благоприобретший чуть не все Райское и выкроивший овдовевшей Александре Петровне Шкотт скромный хуторок, на котором она и свековала со вторым своим, в «науках незашедшимся» сыном, тогда как старший[72], учившийся в Москве, стал там популярным хирургом.

Хозяйство Селиванов повел кругом и во всем без филантропии предпоследнего владельца, Всеволожского, — он же «Шут-Севатской» *, — и без всяких «аглицких» затей, по старой русской мере: «Торговый рубль широк, да короток, а земельный — тонок, да долог». И не прогадал, оставив неплохое состояние роду своему **.

Пензенский период отмечен в жизни Лескова и вполне самостоятельной неудачей коммерческого же характера. Я лично узнал об этом впервые от него самого почти ребенком. Жили мы с ним в 1876 году на даче под Выборгом. В одну из поездок «в город», то есть в Петербург, взял он почему-то и меня. Литейный мост тогда как раз только что строился[73]. С Финляндского вокзала ездили через плашкоутный мост, наведенный против Воскресенского, ныне Чернышевского, проспекта. Съехал наш извозчик с моста и стал: поперек тянулся длиннейший интендантский обоз, охраняемый конвоем. «Что это везут и так много?» — спросил я. «Муку», — отвечал отец. Я замолчал. Отец вынул портсигар, закурил и, взглянув раз-другой на кули, неожиданно для меня продолжал: «Да, мука... Давно это было... Взял я раз подряд по продовольствию какой-то инвалидной команды в Городищах... Невелика, казалось бы, хитрость, а сумел и на ней прогореть. Не за свое дело, значит, взялся. На все сноровка нужна, опыт, да и удача... Я ее никогда ни в чем не знал...»

---

* См.: «Загон», гл. 2. — Собр. соч., т. XX, 1902—1903, с. 137 и 139.

** Свертывание первоначального размаха планов Шкотга завершилось стремлением развязаться с построенной покойным паровой мельницей, о продаже которой нескупо объявлялось, вероятно при участии Лескова, в «Северной пчеле» между 15 и 29 августа 1862 г. и 25 апреля и 17 июля 1863 г.

Прошло много лет. Отец уже умер. Я начинал стареть. Сижу в Публичной библиотеке, перелистываю пыльные страницы «Северной пчелы» [74] и вдруг вижу: «Возился я раз в г. Г—ах со сдачей провианта для располагавшейся там провиантской команды. Жду у амбара «коменданта» (так называли там г-ского инвалидного начальника из «сдаточных»)» *. Ба! — думаю, — да ведь это Городищи, все это то самое, что в детстве привелось слышать раз от отца на извозчике.

Ярким диссонансом осуждению себя за оставление казенной службы ради более живой деятельности являются восторженные строки, написанные два года спустя. Это был горячий отзвук «сложению с себя обязанностей попечителя Киевского учебного округа» знаменитым хирургом и педагогом Н. И. Пироговым: [75]

«Очень недавно в небольшом кружке одного из наших университетских городов носился слух, что почтенный русский ученый, гуманные статьи которого тогда производили сильное впечатление на молодое племя, оставляет службу, уезжает в свое небольшое бессарабское поместье и дает место всем, кто захочет жить около него честным сельским трудом. Боже мой, какое это было время! Какое благородное и честное стремление охватило десятки голов, самых умных, самых мыслящих голов, несмотря на то, что они с самого детства слышали только о необходимости «сделать себе карьеру!» **

Но ведь если бы не было разногласий в оценках своих решений — не было бы и ошибок в них. В силах ли это человеческих?

Суждения живых и темпераментных людей меняются не только со сменой лет, а подчас и минуты.

Однажды, должно быть в начале девяностых годов, за ужином у П. А. Гайдебурова зашла речь об устойчивости и изменчивости взглядов. Лесков утверждал, что пока человек жив, если он действительно одушевлен еще живою мыслью, он неминуемо должен менять некоторые свои воззрения, прогрессировать в них, а если застыл, — значит, надо умирать, впереди уже ждать нечего!

---

* Стебницкий М. Страстная суббота в тюрьме. — «Северная пчела», 1862, № 104, 19 апреля.

** Лесков Н. О русском расселении и о Политико-экономическом комитете. — «Время», 1861, № 12, с. 84—85.

А. М. Скабичевский начал отстаивать хождение всю жизнь «в одном сюртуке». Вспылив, Лесков бросил ему в упор «осла в шорах». Об этом много и не без вариаций рассказывалось, говорилось... *

Покончив с Пензой, Лесков весною 1860 года возвращается в Киев.

Однако что же дальше здесь делать? Снова чиновничать? Упущены три года. Многие товарищи обогнали. Младший на шесть лет брат Алексей уже «удостоен степени лекаря». Это положение, дорога. Идти «на зов» Пирогова? Но ведь не все, что иногда так заманчиво звучит, оказывается прочным, удовлетворяет, кормит... Только что перенесенная неудача настораживает. Решение принято: 15 сентября 1860 года Лесков вновь «определен на службу в канцелярию киевского военного, подольского и волынского генерал-губернатора».

Из того, что, несмотря на явленное три года назад «модное» пренебрежение к службе, он опять взят тем же генерал-губернатором непосредственно в «собственную» его канцелярию, надо заключить о полном к нему благоволении державной четы Васильчиковых. Возможно, что не последнюю роль тут сыграли прошлые заслуги молодого чиновника по участию в благотворительных спектаклях «киевской княгини».

Когда мне доводится перечитывать «Смех и горе», мне неотвязно представляется, что изображенный там губернатор Егор Егорович и его воплощающая собой «геральдического льва», со стеклышком монокля в глазу, супруга, не могущая «привыкнуть к этой должности» и несущая отсветный вздор, — что в обеих этих фигурах многое призанято у добродушного Иллариона Илларионовича Васильчикова и его «всевластной» супруги Екатерины Алексеевны, рожденной княжны Щербатовой.

Допустимо также предположение, что была принята во внимание и уже слегка обозначившаяся прикосновенность Лескова к журнализму: пусть пока не выше, чем в обличительно-корреспонденческом жанре, а все-таки — сочинитель [76].

«Во всяком разе», по любимому присловию Лескова, перед ним открывалась незаурядная карьера.

---

* См.: Фидлер Ф. Ф. Литературные силуэты. — «Новое слово», 1914, № 8.

И все же, нежданно-негаданно, 29 ноября того же года, «согласно прошению», он снова «по болезни уволен от службы» [77].

Что-то уже не мирило с канцелярией, чиновной зависимостью, «хомутом» и «ливреей». Три года вольной работы, богатство встреч и впечатлений, широта личного почина в делах отравили безвозвратно. Вицмундир стал гадок. Он его никогда больше уже и не надел [78].

В самые последние годы жизни, ошибочно относя некоторые настроения свои к совсем ранней юности, Лесков говорил, что «не знал, к чему себя определить», что ему «и хотелось и не хотелось служить», что он «был уже немножко испорчен фантазиями», что все военные ему представлялись «Скалозубами, а штатские Молчалиными, и ни те, ни другие не нравились». Далее он писал: «По характеру моему мне нравилось какое-нибудь живое дело, и я рассказал это моей тетке, а та передала своему мужу; англичанин стал мне советовать, чтобы я не начинал никакой казенной службы, а лучше приспособил бы себя к хозяйственным делам. Для того же, чтобы заохотить меня к этому, он. сказал мне: «Вот мы теперь переселяем партию крестьян... Отправляйся-ка ты с ними и вникай» *.

Мы теперь знаем, к чему привело исполнение совета «англичанина», относящееся к значительно более позднему времени. Знаем, что это было потом оценено как непростительная «ересь». А в «приказе», в «палате», тем паче, должно быть, в генерал-губернаторской канцелярии — молчалинство. О военной службе никогда и речи не было.

Шли искания. Они стоили дорого, брали много невозвратного времени, на них, казалось впустую, ушла почти вся молодость. Это приводило в отчаяние. Вот оно было полностью — ересь.

Если бы не было десятилетних и с к а н и й, — не было бы и писателя.

На закате дней, подводя «итоги жизни», Лесков сам признавал, что «ересь» заключалась в предположении в себе способности удовлетвориться прибыльным, карьерным, чем бы то ни было кроме «от сосцу матерне» предопределенного ему — *служения литературе.*

* «Продукт природы». — Собр. соч., т. XXII, 1902—1903. с. 136 и 137.

На рубеже четвертого десятка лет смутно и неуверенно, но уже начинало расти предощущение истинного жребия.

Он сулил много трудностей, требовал во многом разобраться, многое преодолеть, минутами страшил, но «поглощенность литературою» уже неосилимо влекла.

В конце концов жизнь властно сказала: «прирожденный писатель!» *[79]

---

* Письмо Лескова от 16 мая 1838 г. — «Письма русских писателей к А. С. Суворину», Л., 1927, с. 80.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

ПИСАТЕЛЬСТВО

1860—1864

На тихоньких бог нанесет,
а резвенький сам набежит.

Пословица

ГЛАВА 1

ПЕРВАЯ ПРОБА ПЕРА

В отличие от большинства русских беллетристов Лесков чуть не полжизни и не помышлял о писательстве.

По собственному его показанию, «в литераторство» его «втравили» и «свели» с Краевским и Дудышкиным профессор Вальтер, Громека и другие. Вообще, «писательство началось случайно».

Все это тем удивительнее, что еще в Орле близость со Сребницким и особенно с Опанасом Марковичем вовлекла его в исключительную заинтересованность литературою.

Почему еще там зародившаяся страсть не привела к хотя бы робкому творческому опыту? Почему так долго не было последнего и позже?

С чего же на тридцатом году жизни начались литературные попытки? По чуть не общепринятому обычаю со стихов? Опять-таки, он их никогда не писал, кроме двух-трех интимных или шутливых четверостиший, да и то уже в пору настоящего писательства.

И начало было свое — необычное.

Общение с передовыми профессорами Киевского университета привело к знакомству со статистикой (Д. П. Журавский), с социологией, философией, политической экономией.

Трехлетние деловые странствия по родной земле ознакомили с экономикой и бытовыми условиями всех слоев населения в самых различных участках России, со всем многообразием отраслей промышленности в каждой отдельной местности. Все это приковывало к себе жадное внимание любознательного, молодого наблюдательного и хорошо подготовленного жизнью Лескова. В нем вырабатывался экономист-этнограф. Одновременно заклады-

вался грунт, полезный и необходимый для заправского беллетриста, для художника, пробудившегося и выросшего в нем с огромным, по сравнению со многими, опозданием, но зато на хорошо утучненной почве большого опыта и огромных практических знаний.

В 1859 году на глазах у него прокатилась волна «питейных бунтов», захлестнувшая Пензенскую губернию с Городищенским ее уездом. Лесков хорошо знал положение винокуренного дела в данной местности и, впервые в жизни, решил взяться за перо.

В апрельской книжке журнала «Отечественные записки» за 1861 год появляется статья — «Очерки винокуренной промышленности. (Пензенская губерния)». Она занимает страницы 419—444. Подпись — «Николай Лесков». Дата: «Г. Одесса. 28 апреля 1860 г.».

В печати ее, правда, обогнали десятка два небольших статеек, корреспонденций и мелких заметок.

Первой задуманной и написанной для печати работой Лескова, бесспорно, является именно эта статья, и именно такой признавал ее и сам Лесков.

На хранимом мною ее оттиске, точнее вырезке из журнала, выше заглавия стоит чернилами сделанная собственноручная мета Лескова:

«Лесков
1-я проба пера.
С этого начата литературная работа
(1860 г.)».

Один из двух эпиграфов к статье взят из статьи Щедрина «Скрежет зубовный»: «Урожай у нас — божья милость, неурожай — так, видно, богу угодно. Цены на...» и т. д. [1].

Основная мысль статьи — общая несправедливость и убыточность винокуренных привилегий, предоставляемых помещикам и дворянству. Тенденцию и стиль ее в основном выражают следующие строки:

«Мы стали чувствовать дыхание новой атмосферы; освежающий воздух пробуждает нас от долгой томительной дремоты; и теперь только, раскрыв глаза, мы замечаем, как тесны, как жалки рамки нашего экономического быта. Теперь только мы видим во всей наготе свое прежнее упрямство и сопротивление всякому движению, посягавшему на отживающие формы нашего народного хозяйства. Замолкли убаюкивающие нас панегирики, и действительность, возвышая свой голос, обнажает жалкое

состояние нашей торговли, промышленности и сельского хозяйства. С скорбным чувством мы лишаем себя в правдивом сознании громких титл Креза и обладателя неисчерпаемого источника, питающего Европу. Мы пришли в сознание своей слабости, и это сознание составляет наше благо: оно залог нашего лучшего будущего.

К сожалению, и теперь, несмотря на расширяющийся круг здравых экономических понятий, многие отрасли нашей промышленности, торговли и сельского хозяйства идут видимо ложным путем. Многие деятели того или. другого поприща, поставив себе целью быстрое самообогащение, смотрят на свое дело слишком односторонне.

Винокурение предоставлено правительством только известному сословию помещиков-землевладельцев, свободно от всяких налогов и пользуется кредитом от казны. Мы должны полагать, что правительство, обусловив винокурение таким образом, желало не только обеспечить себя необходимым для потребления количеством вина, но видело еще в этой промышленности средство к достижению других целей; иначе правительство не имело бы нужды делать винокурение привилегиею одного сословия, по большей части не владеющего денежными капиталами, необходимыми для такого производства. Ему стоило только сделать эту промышленность доступною лицам всех сословий, и нет сомнения, что не встретилось бы недостатка в людях, которые, обеспечив правительство залогами, произвели бы это дело своими средствами, не требуя от правительства никакого содействия и кредита, без чего не обходятся нынешние винокуренные заводчики из лиц привилегированного сословия».

Далее автор обнажает чудовищное преувеличение пензенской казенной палатой производительных сил местных помещичьих заводов, облегчающее заводчикам преувеличенные же заподряды, особенно таким господам, как губернатор, предводитель дворянства и т. д.

Два года спустя, направляясь через всю Белоруссию за границу, он еще яснее оттенил хорошо памятные ему потворства, повсеместно оказывавшиеся привилегированным предпринимателям и винокурам:

«Имея в виду, что уездный город Пинск не только имеет городничего, без которого не бывает города, но даже частных приставов, да еще не одного, а двух, я уж не хочу говорить, что Пинск нимало не напоминает ни Кром, ни Малоархангельска, ни Борзны, ни Черни,

ни (спаси господи!) Городищ, устроенных, собственно, для выдачи пензенским винокурам свидетельств на несуществующую на самом деле запасную медь, ради получения под нее денег» *.

В самом «очерке» подальше двусмысленно говорится:

«Уверенные в том, что винокурение есть могущественнейший рычаг, с помощью которого возвышается земледелие, а через него и народное благосостояние целого края, мы сказали, что правительство, предоставляя это дело сословию, занимающемуся землевозделыванием, вероятно, имело в виду дать помещикам средство возвысить свое хозяйство и тем содействовать общественному благосостоянию...

Мы нимало не ошибемся, если причину всех этих неблагоприятных явлений будем полагать в преизбытке того спекулятивного характера, который усвоен здешнему винокурению. Пензенские помещики, владеющие винокуренными заводами, смотрят на винокурение как на независимую самостоятельную промышленность, а не как на прибыльную отрасль сельского хозяйства, которая, видоизменяя главный продукт местного плодородия, кроме денежных прибылей от самого фабриката, дает средства к возвышению местного хозяйства. Этот взгляд помещиков заставил их вести производство значительного, как мы видели, винокурения на относительно малом числе огромных заводов; и в нем лежит коренная причина того, что здешнее винокурение мало содействует или, вернее, вовсе не содействует ни скотоводству, ни земледелию».

Желчно смеется Лесков над «вдохновенными» надеждами и соображениями пензенских горе-винокуров, доходящих до «милого обычая спускать барду в реки», вместо того чтобы скармливать ее скоту, «пометом которого» при других порядках люди «утучняют свои поля и рачительно обрабатывают их с помощью здоровых и сильных животных, улучшают свой быт и быт своих крестьян».

Ближе к концу статьи автор как бы подводит итог:

«Нам кажется, что этот пример ясно говорит, что покровительственные меры правительства, вверившего винокурение помещикам, здесь не достигают своей цели и что земледельческие интересы края более выигрывали бы,

---

* «Из одного дорожного дневника». — «Северная пчела», 1862, № 347, 23 декабря. Без подписи.

если б винокурение предоставлено было не одному привилегированному классу, а вообще, без различия сословий, всем лицам, владеющим землею и занимающимся возделыванием ее: от этого вино, как нужный для правительства продукт, нимало бы не вздорожало, а земледелие заметно улучшилось бы».

Чисто земельному, экономическому вопросу посвящает свою первую литературную работу Лесков. Он возмущается в ней многовидными льготами, предоставляемыми лицам привилегированных положений в ущерб людям других сословий, фактически «занимающимся землевозделыванием», не выпрашивая от правительства никаких субсидий и вспоможений, содействующим повышению благосостояния родного края, а с тем и всей своей страны. Им осуждается вся система покровительства многоимущим, выгодно поставленным особам, вроде губернаторов и предводителей дворянства.

С опубликованием такой во многом щекотливой, если для некоторых издателей не одиозной, статьи пришлось помытарить. Не мудрено, что ее и опередила разная малозначительная мелочь, но остается непреложным, что именно прежде всего хотел сказать начинающий публицист.

Пока здесь виден только знающий землю и страну экономист. Его сменит бойкий корреспондент — минутами безудержно смелый, даже дерзкий по отношению к противникам, публицист. И только после многого пережитого станет проглядывать будущий «волшебник слова», который «писал не пластически, а рассказывал и в этом искусстве не имеет равных себе» *.

Что же именно опередило в печати эту «первую пробу пера» Лескова?

По-видимому, прежде всего была напечатана в № 181 журнала «Указатель экономический» от 18 июня 1860 года бесподписная корреспонденция о продаже в Киеве, у книгопродавца С. И. Литова, Евангелия на русском, а не на славянском, как издавалось оно до тех пор, языке, по сорок копеек вместо выставленной на обложке книги цены в двадцать **[2].

Через три дня, в № 135 «С.-Петербургских ведомостей от 21 июня, появилась по тому же вопросу коррес-

---

* Горький М. Несобранные литературно-критические статьи. М., 1941, с. 92.

** Отдел «Слухи и вести», с. 437.

понденция, датированная 20 мая 1860 года и подписанная — «Николай Лесков».

Дальнейшими ближайшими публикациями Лескова были написанные по предложению издателя киевского журнала «Современная медицина», профессора Киевского университета А. П. Вальтера, острые статьи: «Заметка о зданиях», «О рабочем классе, «Несколько слов о врачах рекрутских присутствий», «Несколько слов о полицейских врачах в России», «Полицейские врачи в России» *, а также ряд характерных корреспонденческих заметок и статеек в «Указателе экономическом» [3] по неблагоустройству Киева, об открытии там абонемента на книги [4], о приватных популярных лекциях профессора Вальтера в анатомическом театре университета [5], «О трудности не из-за прилавка пристроиться в коммерцию или к ремеслу», «Несколько слов о местах распивочной продажи хлебного вина, водок, пива и меда», «Несколько слов об ищущих коммерческих мест в России» и т. д. ** [6].

Итак, Пенза продиктовала Лескову тему для первой его статьи, а вся работа у Шкотта неоценимо сказалась на подготовке его к писательству, щедро обогатив воспринятое и накопленное на Орловщине и Украине.

Детство в непосредственной близости к народу остерегло от ошибок в изображении народных образов и жизни. Привольная гимназическая и приказная жизнь в Орле обеспечила сближение с городским населением всех его слоев и разновидностей, облегчила изучение его языка, нравов, нужд, обычаев, помыслов. Киев обострил и повысил наблюдательность. Трехлетние торгово-промышленные разъезды широко раздвинули ее рамки.

Школа была пройдена богатая впечатлениями, исключительно счастливая для создания писателя, про которого величайший знаток русской жизни, Горький, уверенно скажет: «Но он, Лесков, пронзил всю Русь ***, да еще прибавит: «Великий сочинитель!» ****

На литераторскую арену ощупью выходил человек яркой самобытности, «насквозь русский», больших знаний, сразу же признанной огромной одаренности.

---

* 1860, № 29, 32, 36, 39, 48.

** 1860, № 189, 193, 195, 203, 206 и др.

*** «Жизнь Клима Самгина», т. I.

**** Пьеса «Чудаки».

Вскоре он утвердился в вере в свои силы: «Я смело, даже, может быть, дерзко, думаю, что я знаю русского человека в самую его глубь, и не ставлю себе этого ни в какую заслугу. Я не изучал народ по разговорам с петербургскими извозчиками *, а *я вырос в народе* на гостомельском выгоне с казанком в руке, я спал с ним на росистой траве ночного, под теплым овчинным тулупом, да на замашной панинской толчее за кругами пыльных замашек, так мне непристойно ни поднимать народ на ходули, ни класть его себе под ноги. Я с народом был свой человек, и у меня есть в нем много кумовьев и приятелей, особенно на Гостомле... Я был этим людям ближе всех поповичей нашей поповки, ловивших у крестьян кур и поросят во время хождения по приходу... Я не верю, чтобы попович знал крестьянина короче, чем может его знать сын простого, бедного помещика» **.

Через шестьдесят лет это подкрепит опять-таки Горький: «Он взялся за труд писателя зрелым человеком, превосходно вооруженным не книжным, а подлинным знанием народной жизни» ***.

Основой всех основ в писателе Лесков всегда полагал знание родины, ее людей, всего больше — крестьянства, простолюдина.

Не подлежит сомнению, что одиннадцатилетняя служба в Орле и Киеве дала Лескову много жизненного опыта, однако опыт, вынесенный им из поездок по коммерческим заданиям, он ценил всего выше. Уже стариком, на полные восхищения и удивления вопросы — откуда у него такое неистощимое знание своей страны, такое богатство наблюдений и впечатлений — писатель, немного откидывая голову в как бы озирая глубь минувшего, слегка постукивая концами пальцев в лоб, медленно отвечал: «Все из этого сундука... За три года моих разъездов по России в него складывался багаж, которого хва-

---

* Выпад по адресу «Незнакомца», т. е. А. С. Суворина, по поводу его фельетона из цикла «Петербургская летопись» в «С.-Петербургских ведомостях», 1861, № 12 от 15 января, под заглавием «Разговоры с извозчиком».

** «Русское общество в Париже. (Письмо первое)». «Очерки, повести и рассказы. М. Стебницкого». СПб., 1867, с. 320. Ср.: «Библиотека для чтения», 1863, май, с. 18.

*** Горький М. Несобранные литературно-критические статьи. М., 1941, с. 85.

тило на всю жизнь и которого не наберешь на Невском и в петербургских ресторанах и канцеляриях».

На эту тему он не только говорил, но и писал. И притом всегда охотно и образно, подкрепляя личные взгляды чужими заключениями.

Тут он любил помянуть старшего своего собрата по перу, усматривавшего оскудение содержания, образов и языка у новых писателей в невозможности что-либо наблюсти и воспринять из окна железнодорожного вагона, заменившего неторопливую езду на лошадях.

«Теперь человек проезжает много, но скоро и безобидно, — говорил Писемский, — и оттого у него никаких сильных впечатлений не набирается, и наблюдать ему нечего и некогда, — все скользит. Оттого и бедно. А бывало, как едешь из Москвы в Кострому «на долгих», в общем тарантасе, или «на сдаточных», — да и ямщик-то тебе попадет подлец, да и соседи нахалы, да и постоялый дворник шельма, а «куфарка» у него неопрятище, — так ведь сколько разнообразия насмотришься. А еще как сердце не вытерпит, — изловишь какую-нибудь гадость во щах да эту «куфарку» обругаешь, а она тебя на ответ — вдесятеро иссрамит, — так от впечатлений-то просто и не отделаешься. И стоят они в тебе густо, точно суточная каша преет, — ну, разумеется, густо и в сочинении выходило; а нынче все это по-железнодорожному — бери тарелку, не спрашивай; ешь — пожевать некогда; динь-динь-динь, и готово: опять едешь, и только всех у тебя впечатлений, что лакей сдачей тебя обсчитал, а обругаться с ним в свое удовольствие уже и некогда» *.

Любопытно и много более раннее собственное свидетельство Лескова: «Извозчик для едущих на протяжных это совсем не то, что кондуктор для нынешнего путешественника, несущегося по железной дороге. С извозчиком седоки непременно сближались и даже сживались, потому что протяжная путина — это часть жизни, в которой люди делили вместе и горе, и радость, и опасности, и все ее досады! «Вместе мокли и все сохли», как выражается извозный люд» **.

---

* «Жемчужное ожерелье». — «Новь», 1885, № 5; Собр. соч., т. XVIII, 1902—1903.

** «Блуждающие огоньки». — «Нива», 1875, № 1, 3—18; Собр. соч., т. XXXII, 1902—1903, с. 18.

Случилось однажды Лескову выслушать от Суворина укор в разбрасывании своих заметок по разным газетам, иногда достаточно досадительных другим. Пришлось изъяснять мотивы: «Прожив изрядное количество лет и много перечитав и много переглядев во всех концах России, я порою чувствую себя как «Микула Селянинович», которого «тяготила тяга» знания родной земли, и нет тогда терпения сносить в молчании то, что подчас городят пишущие люди, оглядывающие Русь не с извозчичьего «передка» (как мы езжали за 3 целковых из Орла в Киев), а «лётком летя», из вагона экстренного поезда. Все у них мимолетом — и наблюдения, и опыты, и заметки... Всему этому так и быть следует, ибо «всякой вещи есть свое время под солнцем, — протяжные троечники отошли, а железные дороги их лучше, но опыт и знание все-таки своей цены стоят да и покоя не дают. То напишу я заметку вам, то Нотовичу, то Худекову[7], и они, кажется, везде читаются и даже будто замечаются и, быть может, отличаются от скорохвата. С. Н. Шубинский говорит, будто он везде меня узнает, а Худеков говорит, что «простые читатели» меня «одобряют» *.

Удивительно созвучны многому из приведенного здесь строки письма Л. Толстого из Женевы к Тургеневу в Париж от 9 апреля 1857 года: «Ради бога, уезжайте куда-нибудь и вы, но только не по железной дороге. Железная дорога к путешествию то же, что бордель к любви. Так же удобно, но так же нечеловечески машинально и убийственно однообразно»[8].

Устарели ли такие взгляды и советы трех писателей уже начинающего становиться далеким прошлого?

Как будто — нет.

В статье «О пользе грамотности», упомянув о том, как русский литератор, путешествуя по Европам», «врет в карьер», Горький наставительно отмечал: «И невольно жалеешь, что они путешествуют галопом, а не пешком, как это делают немецкие студенты» **.

Лесков органически не терпел «коекакничества» в чем бы то ни было и уж, конечно, всего больше в литературной работе. Его гневили и раздражали «литературные приживалки», искавшие в писательстве материальных прибытков и удовлетворения мелкого тщеславия. При

---

* Письмо от 29 сентября 1886 г. — Пушкинский дом.

** Горький М. О литературе, 3-е изд. М., 1938.

случае он разражался жестокими упреками «кидавшимся по верхам журналистики верхоглядам и скорохватам».

Сам он, уже на двадцатом году своего литераторства, писал Шубинскому: «Голован» весь написан *вдоль,* но теперь надо его пройти *вчпоперек...* Надо бы его хорошенько постругать. Не торопите до последней возможности» *.

«Недоструганную» работу сдавать в печать не умел.

ГЛАВА 2

ПУБЛИЦИСТ ОБЕИХ СТОЛИЦ

С возвращением в Киев возобновляются отношения с кружком молодых университетских профессоров. В их числе доктор медицины А. П. Вальтер, с которым по старой памяти, как бывший киевский же профессор, не терял связи видный экономист И. В. Вернадский, с 1857 года издававший в Петербурге «Указатель экономический, политический и промышленный журнал» [9].

Это предопределяет русло первых публицистических попыток Лескова, приводит его к графине Е. В. Сальяс де Турнемир де Турнефор, собиравшейся издавать в Москве умеренно-либеральную газету «Русская речь» и обращавшейся к видным киевлянам с просьбой указать ей молодых корреспондентов и сотрудников для ее газеты [10].

Все складывалось как бы органически, само собой, без трудных поисков и гаданий о том, как, где и к кому пристать.

Видимо, в декабре 1860 года Лесков пускается в путь. К добру ли покидался, в недавние еще годы такой «милый», а сейчас ничем к себе уже не влекший, Киев для холодного, загадочного севера? А что было беречь здесь? Семья развалилась. К чиновничеству вкуса нет. Негоциация не оправдала себя. Пустое место! А сознание предназначения к чему-то иному, новому, волнующему, пусть и опасному, растет, говорит: дерзай! Хотелось больше видеть, полнее чувствовать, острее жить. И Лесков дерзает...

Едет он не вслепую, а по всем обеспеченной трассе: в Москве его ждет «Русская речь», в Петербурге — «Указатель». Сразу два рабочих очага.

После свидания с Евгенией Тур он, не теряя времени, уже в качестве штатного корреспондента «Русской

* Письмо от 16 октября 1880 г. — Пушкинский дом.

речи», в конце декабря 1860 или начале января 1861 года приезжает в Петербург.

Здесь исключительное радушие со стороны И. В. Вернадского и его жены[11], «приючающих» у себя «киевлянина». Нет одиночества и растерянности в чуждом городе. Напротив, создается бытовой уют, жизнь в высококультурной семье не слишком много старшего, но много более просвещенного ученого, неизбежно становящегося по началу руководителем первых шагов новичка. Одновременно, у Вернадских же, живет и любопытный во многом А. И. Ничипоренко, два года спустя трагически погибший в зловещем Алексеевском равелине Петропавловской крепости за сношения с лондонскими пропагандистами — Герценом и Огаревым[12].

Глубокий провинциал, недавно еще колесивший в возках по дебрям своего необъятного отечества, окупается в водоворот ключом бивших политических событий, столичных публицистических течений, борьбы разномысленных лагерей, взглядов, стремлений.

Было от чего закружиться голове.

Собственные политические взгляды были сыроваты, во многом сбивчивы. Откуда им было быть иными? Чудаковатый отец в них не был искушен. Он мирился с существующим, отдыхая в обществе Квинта Горация Флакка. Дядя Алферьев — трезвенный скептик, врач без сторонней примеси. Дядя Константинов — «дворянин jusqu'au bout des ongles», до конца ногтей! Другой дядя — «радикал-практик» английской складки. Тоже не широки рамки. Глядя на них, слушая их, протекала жизнь до тридцати лет.

Могли ли не влиять на политически очень еще сырого Лескова Вернадский, Усов[13], Дудышкин[14] и прочие, близкие им по взглядам, маститые петербургские деятели, в среду которых он вошел с самого своего приезда.

Ничто не благоприятствовало приятию более смелых воззрений и установок. Как и прежде, все располагало, может быть, и к не очень стойкому, но зачастую азартному и вызывающему исповеданию «постепеновства». Это принесло плод обилен и горек.

Вернадский — воплощение благомыслия, закономерности, равновесия. Это неколебимый противник «все отрицающего и над всем глумящегося направления», неустанный полемист по отношению к «Современнику» времен Чернышевского.

Лескову это сызмальства свычно и представляется непогрешимо верным. Покоренный авторитетом журналистов, круг которых его обласкал, Лесков утверждается в верности их доктрин и ошибочности, даже опасности взглядов инакомыслящих.

Уверовавший в эту позицию, Лесков неминуемо вовлечется в полную вызова и пыла полемику * и даст повод укорить его за «беспардонные приговоры» [15].

Вернадский, отечески пестуя своего пансионера, вводит его в «Политико-экономический комитет императорского Географического общества», в «Комитет грамотности при третьем отделении Русского вольно-экономического общества», знакомит с массою значительных лиц, издателей и т. д.

С головокружительной стремительностью развертывается публицистическая и общественная деятельность еще вчера никому не известного человека от недр земли. Он усердно посещает всевозможные заседания, уверенно выступает на них по ряду земельных, крестьянских и экономических вопросов, навещает смертно больного Шевченко, закрепляет о днесь цитируемое описание картины его угасания, его похорон, шлет бойкие корреспонденции в «Русскую речь» о столичных событиях и настроениях, сотрудничает в «Указателе экономическом», а в марте 1861 года уже дебютирует сразу тремя статьями в «толстом» журнале Краевского и Дудышкина «Отечественные записки» **.

Это ли не успех! Было от чего и опьянеть, потерять самообладание даже и не при таком, как у него, темпераменте. О чем только не писал он: о борьбе с народным пьянством, о торговой кабале, о раскольничьих браках, о колонизационном расселении малоземельного крестьянства, о поземельной собственности, о народном хозяйстве, о лесосбережении и о дворянской земельной ссуде, о женской эмансипации, о народной нравственности, о привилегиях, о народном здоровье, об уравнении в правах евреев и т. д.

---

* См. напр.: «О замечательном, но неблаготворном направлении некоторых современных писателей». — «Русская речь», 1861, № 60, 27 июля.

** «О найме рабочих людей. Практическая заметка»; «Об ищущих коммерческих мест в России»; «Сводные браки в России».

В своем постепеновстве он резко осуждает привилегии дворян, защищает интересы и права обездоленного крестьянства и вообще всех низших классов, противостоит аксаковскому «Дню» по национальному и иным вопросам, не говоря уже о Каткове или Аскоченском[16].

В один зимний полусезон он выдвигается в ряды заметных публицистов, общественных фигур Петербурга и Москвы.

Не уклоняется он и от непосредственного обучения взрослых людей в широко развернувшихся «воскресных школах». Корреспондируя о заседании Комитета грамотности при третьем отделении Русского вольно-экономического общества 28 мая 1861 года, он называет «учредителем» первой из таких школ в России бывшего профессора Киевского университета П. В. Павлова, а о своей практике в них говорит:

«Передавая читателям «Русской речи» сущность этого заседания с точностью, возможною для моей памяти, я позволяю себе высказать несколько собственных мыслей, не оставлявших меня ни в самом заседании, ни по выходе оттуда.

Я не считаю себя достаточно опытным, чтобы опровергать мнение гг. членов комитета о необходимости ограничиваться только начальным обучением народа грамоте, устраняя из первоначальных школ распространение других научных познаний, необходимых в смысле общечеловеческого развития; но я могу по собственному опыту свидетельствовать, что при самом обучении чтению и письму есть некоторая возможность сообщить ученикам много интересующих их общественных сведений. Такой смешанный метод обучения я попробовал ввести в одной из с.-петербургских школ, где, обучая чтению и письму фабричных работников и работниц, я освободил мой кружок от употребления литографированных прописей и начал учить их письму, приучая списывать себе в тетради то, что я писал для них крупно мелом на черной деревянной доске. Опыт мой совершенно удался и принят в этой школе другими преподавателями. Выгоды этого письма главнейшим образом заключаются: 1) в уничтожении расходов на покупку прописей; 2) в возможности обучать разом большее число учеников, занимаясь исправлением их почерка во время списывания ими с доски, и 3) в том, что у каждого из учеников и учениц остаются тетради, в которых их соб-

ственною рукою записаны более или менее необходимые в жизни сведения. Таким образом, я полагаю, что полезнее стремиться *соединять* с обучением грамоте распространение некоторых научных сведений, *а не стараться вовсе изгонять* последние из круга первоначального обучения. Здесь есть возможность всегда действовать так, что одно не будет идти в ущерб другому» *.

Первые заседания Политико-экономического комитета вызывают его горячее одобрение. Ему кажется вначале, что этот комитет «в течение нынешнего сезона сделал очень много. Он решил немало общих жизненных вопросов, и решил их так верно, так правильно, как едва ли они когда-нибудь были бы решены иным путем. Он раскрыл такие тайны общественного организма, которые до сих пор не были никому известны; он убедил нас, что и мы можем решать вопросы, требующие глубокого и всестороннего обсуждения, *не истратив ни одного листа писчей бумаги;* он, наконец, видимо, содействовал выработке во многих его посетителях здравых политико-экономических понятий» **.

Он сетует на неприглашение на эти заседания женщин, мимоходом, не без колкости, упоминает о неприбытии приглашенного комитетом на одно из заседаний Муравьева-Амурского. К декабрю 1861 года, после годичного опыта и пристального наблюдения, тон его отзывов о работе комитета заметно снижается: «Но я далек от мысли безусловно отрицать относительную пользу прошлогодних заседаний комитета и разделяю сожаление многих о том равнодушии, с каким прошла их наша периодическая литература... Ему <комитету. — *А. Л.*> можно пожелать и еще очень многого, а главное того, чтобы некоторые ораторы не смотрели на залу комитета как на арену для ломания копий цветословия и шли бы к решению вопросов путем более положительным и ясным, без уносчивости в пространные области всеобъемлющей науки и без неудержимого желания давать концерт на своем красноречии» ***. Рикошет не минует и Вернадского, у которого Лесков уже не живет и академизмом

---

* «Как относятся взгляды некоторых просветителей к народному образованию». — «Русская речь», 1861, № 48, 15 июня.

** «Письмо из Петербурга». — «Русская речь», 1861, № 30, 13 апреля.

*** «О русском расселении и о Политико-экономическом комитете». — «Время», 1861, № 12, с. 72, 85.

которого, как экономист-практик, видимо, успел несколько пресытиться.

Попозже, почти не чинясь, недавний апологет выступает с ясной, в одном своем заглавии полной яда статьей — «Российские говорильни в Петербурге» *. Тут уже именословно говорится о самом Вернадском, а его «говорильня» безапелляционно признается вполне бесполезной [17].

Приговор этот выносится, однако, лишь через два года от начала посещения первоначально так пленивших Лескова заседаний. По первому впечатлению эта форма столичного парламентаризма очаровала не знавшего ничего подобного провинциала [18]. Заняли, само собой разумеется, и личные отношения этих двух по всем различных людей.

Успехи публициста не заглушают, а последовательно даже будят в Лескове беллетриста. Уже в таких статьях, как «О русском расселении» и «О переселенных крестьянах» **, даются жизненно-теплые зарисовки, представляющие нечто весьма близкое к картинам, развернутым через тридцать лет в рассказе «Продукт природы» ***.

Видевший Лескова, вероятно в конце 1861 года, выходящим из кабинета Вернадского в редакции «Указателя экономического» будущий библиограф его произведений, П. В. Быков, записал за ним: «Сейчас я стремлюсь показать людям жизнь, какова она есть, а скоро выступлю и как «изящный словесник» ****. При этом он высказывал уверенность, что будет замечен по манере письма и по отблеску знакомства его с некоторыми из даровитых польских беллетристов. Недаром в бумагах Лескова оказался рукописный список «нравоописательных очерков» Иордана — «Заметки ценовщика», с которых он собирался делать «вольный пересказ». Набросав к нему коротенькое вступление, — «От переводчика», — он признавал, что в авторе «преобладает здоровое стремление и склонность передавать современные жизненные явления своей родины без сентиментальностей и без традиционных прикрас» *****.

---

* «Библиотека для чтения», 1863, ноябрь.

** «Век», 1862, № 13—14, 1 апреля.

*** Сб. «Путь-дорога», СПб., 1893.

**** «Силуэты далекого прошлого», «ЗИФ», 1930, с. 157.

***** ЦГЛА.

К весне 1862 года Лесков, выполняя свое намерение, выступает как заправский словесник и знаток быта сразу с тремя небольшими рассказами: «Разбойник» *, «Погасшее дело» ** (впоследствии «Засуха») и «В тарантасе» ***. При неизбежных в первинках недочетах, все они заставляли задумываться.

В 1861 году в Москву посылаются «Письма из Петербурга» для «Русской речи», в которой происходит реорганизация: с 39-го номера газеты от 18 мая 1861 года Евгения Тур, оставаясь издателем, слагает с себя редакторские тяготы, перелагая их полностью на своего сотрудника Е. М. Феоктистова. К названию органа прибавляется еще — «Московский вестник».

К лету, с замиранием «сезона», со снижением пульса политической и общественной жизни в столице, материалы для корреспонденции оскудевают. Лесков направляется к «своему» журналу в «первопрестольную». Здесь его помещают во флигельке усадьбы, нанимаемой Сальяс, где-то на Большой Садовой, «против Ермолова», как означал не раз Лесков. Сама издательница проводит летние месяцы в Сокольниках (Старая Слободка, дача Гурьянова). Лесков часто навещает патронессу и охотно гащивает у нее.

По первым приметам все сулит дружество и теплоту отношений и с графиней, и со всем ее семейно-приятельским окружением, с новым редактором, с сотрудниками.

При почти ежедневных встречах ведутся бесконечные горячие дебаты на общеполитические и литературные темы с хозяйкой и ее близкими, в числе которых небезызвестная писательница «Ольга Н.», то есть С. В. Энгельгардт, рожденная Новосильцева.

Волею владелицы газеты Лескову поручается ведение «внутреннего обозрения», с окладом 1200 рублей в год при особой оплате личных статей и заметок. Отношение к нему хорошее, как к вполне оправдавшему свое назначение, полезному и желательному сотруднику, интересному собеседнику, живому человеку. Опять, как начиналось и с Вернадским, не одиноко и не без уюта.

Конечно, есть кое-что и смешное, почти комичное, минутами, пожалуй, жеманное, даже докучливое. Может

---

* «Северная пчела», 1862, № 108, 23 апреля.
** «Век», 1862, № 12, 25 марта.
*** «Северная пчела», 1862, № 119, 4 мая.

быть, не одинаково приятны и все сотрудники, но добрые предпосылки преобладают. Выдается встретить кое-где и простодушное женское внимание и ласку. В сумме — жить можно.

Но вот к осени, «в одно подлейшее утро», с «последними запоздалыми журавлями», приезжает «скоропостижная дама» — казалось, навсегда освободившая, всячески нежеланная и непереносимая Ольга Васильевна.

О том, в каких тонах, напряженности и темпах протекают супружеские интермедии, — уже говорилось. К сожалению, в них вовлеклось много совершенно стороннего элемента. Главарями азартного вмешательства явились: сама «Сальясиха», как будет потом долго называть ее Лесков; сестры Новосильцевы, которых он перекрестит в «углекислых фей Чистых прудов»; Феоктистов, в «Некуда» — Сахаров, а в беседах и письмах — «подлый и пошлый человек, стоящий на высоте бесправия» *. К ним, в той или другой мере, примкнет кое-кто из сотрудников, в том числе и недавно приехавший из Воронежа А. С. Суворин, в конце концов разделивший взгляды главарей, не пожалевший самых поносительных отзывов о Лескове в письмах, посылавшихся им в эту пору воронежскому приятелю М. Ф. де Пуле **, а затем очень долго сколько мог и как умел вредивший Лескову и полемически бесславивший его.

В итоге — полный и злой разрыв со всей редакцией, с изданием, к которому «приткнулся» и с которым начал свыкаться. «И зачем ехала? — Чтобы еще раз согнать меня с приюта, который достался мне с такими трудами; чтобы и здесь обмарать меня и наделать скандалов». Такие, чисто личные, слова вложит он через три года в уста доктора Розанова в «Некуда». Но при чем тут *«еще раз»,* «обмарать», «наделать скандалов»? Не с ее ли помощью пришлось уйти и из киевской генерал-губернаторской канцелярии? Легенд в Киеве жило много.

По каким-то, вероятно, договорным и гонорарным условиям, как ни тягостно, Лесков еще около двух месяцев ведет «внутреннее обозрение» и только с конца ноября, с 96-го номера «Речи», вести его начинает Суворин.

---

* Письмо Лескова к А. С. Суворину от 13 апреля 1890 г. — Пушкинский дом.

** В 1930 г. принадлежали А. Г. Фомину.

С «сальясихиным кружком» порвано. Лесков полон гнева на всех, а наипаче на «злорадного» Феоктистова-Сахарова. Врагов нажито богато! Не совсем открыто, но убежденно в их рядах и Суворин, будущий хлесткий фельетонист «академических» «С.-Петербургских ведомостей», писавший там под псевдонимом «Незнакомец», по лесковской терминологии — «академический скандалист», а по Салтыкову впоследствии — «Пятиалтынный Третий» [19]. Затем Феоктистов, со временем достигший степеней известных и, заняв пост начальника Главного управления по делам печати, ревниво припомнивший все выпады по его адресу Лескова в печати и рассчитавшийся за них «мерою полною и утрясенною», вплоть до сожжения целого тома в общем собрании сочинений врага.

Покончив с «белокаменной», Лесков окончательно переселяется в Петербург.

Московские события стоили ему крови...

Под их впечатлением, во вред себе и своему произведению, он не удержится от мстиво-памфлетного пересола в главах «Некуда», о чем потом будет вспоминать с досадою и самоугрызением.

«В моей литературной деятельности я знаю два проступка, за которые краснею, — это вывод на сцену «углекислых фей» да некоторый портрет в рассказе «Островитяне». Это дурные поступки, но они были сделаны давно, в молодости, да и кто из писателей не грешен точно такими же грехами... С тех пор я никогда, *ни одного раза* не подпал подобному исключительному соблазну» *.

Так думалось двадцать лет спустя.

По приезде зимой, на исходе 1861 года, в Петербург Лесков опять посещает различные заседания, клубы, собрания, работает в журналах «Время»[20], «Книжный вестник» [21], «Век» [22] и становится одним из наиболее значительных и самоуверенных сотрудников газеты «Северная пчела», несмотря на то, что там было достаточно матерых и более опытных журналистов. Следом идут и первые опыты словесного изящества — беллетристики.

Положение в либерально-журналистических кругах

---

* Письмо к А. С. Суворину от 3 февраля 1881 г. — Пушкинский дом.

складывается довольно благоприятно. Когда Н. Курочкин по ряду соображений, не исключая и экономических, не нашел возможным продолжать заведовать редакциею «Иллюстрации» после перехода ее в руки некоего иностранца А. Баумана, о чем заявил письмом в «Северную пчелу» от 7 февраля 1862 года, № 37, на другой же день в № 38 той же газеты появилось заявление многих столичных литераторов и об их нежелании сотрудничать у названного издателя, причем в их число входил и Лесков.

Для освещения, с чьими именно именами стояло его имя, с кем он оказывался в то время в большей или меньшей рабочей близости, дословно привожу все это заявление:

К ИЗДАТЕЛЮ «СЕВЕРНОЙ ПЧЕЛЫ»

По случаю перехода журнала «Иллюстрация» под заведование другой редакции, нижеподписавшиеся долгом поставляют довести до сведения читателей этого издания, что они прекращают в нем всякое дальнейшее сотрудничество:

В. Пеньков, В. Толбин, А. Ушаков, П. Мельников (Андрей Печерский), А. Потехин, Н. Потехин, И. Пиотровский, Э. Крупянский, Н. Кроль, П. Боклевский, В. Курочкин, А. Ничипоренко, А. Апухтин, Г. Жулев, Г. Елисеев (Грыцько), С. Максимов, Г. Руссель, Д. Минаев, И. Чернышев, А. Витковский, И. Горбунов, М. Семевский, И. Яфимович, А. Майков, Н. Лесков, М. Стопановский, В. Елагин. К. Бестужев-Рюмин, М. Хмыров, В. Крестовский, Н. Соколовский, А. Афанасьев (Чужбинский), П. Лавров, Н. Альбертини, П. Якушкин».

Работа есть, но ее не столько, сколько жаждет творческий темперамент. Статьи и рассказы редакциями принимаются и печатаются, публикою читаются, а такой уверенности, чтобы целиком и исключительно отдаться литературе, не думая ни о каких других видах труда, — нет! Лесков точно оглядывается, присматривается — не подкрепить ли еще чем-нибудь свое жизненное положение?

В то же время, увлеченный работами Географического общества, он, как «действительный член» последнего[23],

делает в начале 1862 года заявку о желании совершить большую поездку по юго-востоку России.

Императорское Русское географическое общество сношением от 3 апреля 1862 года за № 610 просит министра внутренних дел П. А. Валуева «почтить... уведомлением, не встречается ли со стороны Министерства внутренних дел каких-либо препятствий к выдаче от Общества гг. Кулишу и Лескову просимых ими письменных рекомендаций к местным властям» *.

20-го того же месяца Лесков, в письме к В. П. Безобразову, сообщая о своем намерении «нынешним летом сделать этнографические и статистические исследования по низовьям Волги и на восточном берегу Каспийского моря», просит его «заявить Совету Географического общества мое намерение и принять на себя ходатайство перед ним по моей просьбе» [24].

Там же он просит, если возможно, «примкнуть» его к «экспедиции, снаряжаемой в Азовское море для исследования его глубины», уверенный, что «один человек, посланный *кстати,* а не нарочно», не обременит эту экспедицию. Дальше он говорит: «Я буду вести мой походный журнал *живыми сценами,* как пишу свои рассказы (псевдоним М. Стебницкий). Опыт убедил меня, что у нас это самый удобный способ описаний. Он не исключает возможности научного метода в исследованиях и даст произведению тот характер, к какому привыкли наши читатели, убегающие от книг, писанных в виде чистого исследования. Я надеюсь доказать, что в заключениях моих нет ошибки».

Поездка выполнялась бы в качестве корреспондента газеты «Северная пчела», характеризуя неутолимую жажду Лескова как можно больше видеть, узнавать, наблюдать, накоплять впечатления.

Это тот самый путь, который он до последних своих лет будет указывать всем тяготеющим к литературе: «дальше от Невского!»

Пока идет переписка, в конце мая разыгрываются события, которым посвящается очередная глава.

---

* «Дело императорского Русского географического общества о выдаче гг. Безобразову, Кулишу и Лесковскому <так! — *А. Л.*>, отправляющимся с ученой целью вовнутрь России, письменных рекомендаций к местным властям». — Архив Географического общества Союза ССР, Ленинград.

События эти заставляют его, хотя ненадолго, покинуть Петербург, чтобы в родной глуши, у матери в Панине, несколько успокоиться, собраться с мыслями *.

Вопрос о поездке на юго-восток России пока не вырешается.

Так или иначе, а служит он своей новой, публицистической профессии пылко, все безогляднее увлекаясь борьбой со «всеотрицающим направлением». По поводу же встречных выпадов и рикошетов он, с неколебимой верой в правоту своих слов, всегда будет говорить: «с тех пор, как я пишу, *меня только ругают»* **.

Так ли? Не бывало ли и иначе?

Бывало! По отношению к нему делался шаг глубочайшего значения, удивительный, истинно дружеский, не кем другим, как именно «Современником».

Обреченно отозвавшись о безнадежно-определившемся авторе нижних столбцов «Северной пчелы», то есть о П. И. Мельникове-Печерском, журнал делал крутой поворот: [25]

«Если бы мы были уверены, что желчные и грязные статьи против «Современника» принадлежат Павлу Ивановичу Мельникову... то мы не сказали бы ни слова. Павел Иванович — человек с дарованием, но с дарованием вполне сложившимся и вполне высказавшимся. Последние письма его о расколе показывают, что от него более ждать нечего... [26] Нам жаль верхних столбцов «Пчелы». Там тратится напрасно сила не только не высказавшаяся и не исчерпавшая себя, а может быть, еще и не нашедшая своего настоящего пути. Мы думаем, по крайней мере, что при большей сосредоточенности и устойчивости своей деятельности, при большем внимании к своим трудам она найдет свой настоящий путь и сделается когда-нибудь силою замечательною, быть может совсем в другом роде, а не в том, в котором она теперь подвизается. И тогда она будет краснеть за свои верхние столбцы и за свои беспардонные приговоры de omnibus et quibusdam ***. Веяние кружка, интересы минуты настраивают часто вопреки нашей воле каким-то стран-

---

* Отъезд подтверждается письмом его к секретарю Географического общества от 7 июня, находящимся в указанном выше «деле».

** «Повести, очерки и рассказы М. Стебницкого», т. I, СПб., 1867, с. 321.

*** Обо всем и кое о чем (*лат.*).

ным образом наши взгляды. Особенно вредно в этом случае действует петербургский климат. Говорят, стоит только переменить климат, уехать за границу, особенно в Лондон, — и можно в месяц, даже менее, получить совсем другое настроение и воззрение. Были, дескать, и опыты такие» *.

Так не ругают. Это полный доброжелательства, скорбью дышащий терпеливый ответ на ряд далеко не безупречных, не всегда выдержанных выпадов противника, в котором с горечью отмечается расходование силы по недостойному назначению. Это был мост, опускавшийся из цитадели «нетерпеливцев» талантливому заблудившемуся «постепеновцу».

Это был зов. Мало того — это оказалось и пророчеством.

Такая глубокая, спокойная и уверенная оценка силы, такой полный признания и дружества призыв политического противника могли зажечь желание пересмотреть свои установки, проверить безошибочность личных взглядов, умерить напряженность вражды и в итоге, может быть, даже привести, без потери ценных лет, к много более раннему преображению.

Но... «веяние кружка» и «интересы минуты» превозмогли...

Отвечая «Современнику» в передовой «Пчелы», Лесков упорно подчеркивает полную независимость и неизменность своих умозрений:

«Сотрудник, которому *Современник* сделал некоторые замечания за его «верхние столбцы», принял эти замечания с искренней благодарностью и очень рад опытным указаниям, по которым он может поверить свои убеждения. Ему нечем обижаться. Со дня появления в *Современнике* «полемических красот» журнал этот ни с кем из несолидарных с ним писателей не обходился с такою мягкостью и вниманием, какое выражено им автору наших передовых статей по русским вопросам [27]. Такими замечаниями не оскорбляются, а ими люди незаносчивые и несамонадеянные пользуются для поверки своей деятельности. Сотрудник наш, благодаря редакцию *Современника* за сделанные ему замечания, конечно, не соглашается с тем, что его взгляды выработались под влиянием нашего кружка. Он пришел к нам, в наш

* «Современник», 1862, № 4, апрель, с. 305.

кружок, с теми самыми взглядами, которые постоянно приводил и приводит в своих статьях у нас и в других периодических изданиях, где встречается его имя. Он не отрицает пользы, которую ему могла бы принести рекомендуемая поездка в Лондон, и готов с особенною тщательностью видеть там всех и вся и воспользоваться всем, чем полезно там воспользоваться, но не полагает, чтобы знакомство с Лондоном могло перевернуть его коренные убеждения...[28] Мы имеем право сказать, что солидарный с нами во всех основных убеждениях, сотрудник наш, которому сделано *Современником* замечание, никогда не будет «краснеть» за написанные им в нашей газете статьи, ибо мы твердо уверены, что когда-нибудь споры наши станут выражаться точнее и определеннее и тогда само общество своим сочувствием докажет, мы ли с нашими «единомышленниками»[29] или *Современник* с его плеядою чутче понимали желания общества и вернее шли к тому, достижение чего нужно обществу в настоящую минуту... До времени нам, право, лучше было бы оставить очистительную критику каждого из лиц нашего кружка. Что за прок ронять друг друга в общественном мнении?» *

Протянутая рука как будто пожата, но не без строптивости и условности.

На другой день в «Пчеле» появляется передовая Лескова же о петербургских пожарах.

Буря, вызванная ею в наиболее влиятельной части столичной прессы, сметает все.

Едва начавшая казаться возможной, взаимно терпеливая полемика не может иметь дальнейшего развития

Разобщение усугубляется. Корабли сожжены[30].

«Ошибки были неизбежны» * * , — говорит в беседах старый Лесков.

«Я не видал, «где истина»!.. Я не знал, чей я?.. Многое мною написанное действительно неприятно... Я блуждал и воротился, и стал сам *собою* — тем, что я есмь». Это писано в годы, позволявшие критически обозреть весь пройденный путь ошибок и достижений ***.

Чтобы стать самим собою, надо было освободиться от многого, воспринятого в своем родстве и быту, как гово-

* «Северная пчела», 1862, № 142, 29 мая.

** *Фаресов,* с. 66.

*** Письмо к М. А. Протопопову от 23 декабря 1891 г. — «Русские писатели о литературе», т. II. Л., 1939, с. 318, 319.

рилось, «от сосцу матерне», а потом подтвержденного «веянием», наследственно предуготовленного, постепеновского окружения.

В начале тысяча восемьсот шестидесятых годов Лескову до грядущего обращения из Савлов в Павлы [31] было еще не близко.

ГЛАВА 3

КАТАСТРОФА

На третьем десятке литературной своей работы Лесков с полным сочувствием и духовной удовлетворенностью скажет о букете живых цветов, смело брошенном девичьего рукой к позорному столбу, у которого 19 мая 1864 года на Мытной площади Петербурга стоял приговоренный к каторге Чернышевский *[32].

Еще позже он скорбно напишет Толстому: «Вы не ошибаетесь — жить тут очень тяжело, и что день, то становится еще тяжелее. «Зверство» и «дикость» растут и смелеют, а люди с незлыми сердцами совершенно бездеятельны до ничтожества. И при этом еще какой-то шеренговый марш в царство теней, — отходят все люди лучших умов и понятий. Вчера умер Елисеев, а сегодня лежит при смерти Шелгунов... Точно магик хочет дать представление и убирает то, что к этому представлению негодно; а годное сохраняется...» **

Так чувствует и смотрит стареющий писатель. Начинавшим журналистом он не мог освободиться от многого привитого ему с юных лет, не мог еще стать самим собою, разобраться, чей он, разглядеть и вернее оценить «людей лучших умов и понятий».

Благожелательное, в основе дружественное движение «Современника», дышавшее искренним сожалением, что молодой даровитый журналист «Северной пчелы» идет недоброю дорогой по, может быть, случайно навязанному ему направлению [33], в 1862 году не успело победить полного еще ранних «одержаний» Лескова.

---

* «Товарищеские воспоминания о П. И. Якушкине». — «Сочинения П. И. Якушкина», СПб., 1884, с. VIII. Ср. «Биржевые ведомости», 1869, № 68, 11 марта.

** Письмо от 20 января 1891 г. — «Письма Толстого и к Толстому». М., 1928, с. 90.

13 мая князь В. Ф. Одоевский после беседы с ним записывает в дневнике: «Толковали о глупых прокламациях [34] и о нелепостях нашего социализма. «Северная пчела» начинает поход на социалистов» *.

Раз взятый курс остается неизменным и даже явно утверждается.

А следом над Лесковым разражается катастрофа, вызвавшая новые ошибки, трагически подорвавшие литературное положение писателя почти на два десятка лет, да и едва ли всеми забытые ему до конца его жизни.

В «духов день» 28 мая 1862 года, по стародавнему порядку, весь крупноторговый мир столицы наводнил Летний сад. Это были традиционные показ и смотрины купеческих невест. Любопытное зрелище привлекало внимание людей и не одного торгового положения.

День выдался, как на заказ, погожий. Народу ко второй половине дня в саду тьма. Кто чопорно-важен, кто весело-шутлив, и уж во всяком случае все как нельзя более праздничны. И вдруг, в шестом часу вечера, как гром среди ясного неба, страшная весть — горят Апраксин и Щукин дворы, рынки!

Все бросаются к экипажам, к выходам, к домам. Сад как вымело. Пожар бушует, разрастается, угрожает соседним кварталам, чуть не всей центральной части города. Справиться с ним в один день никакой надежды! В толпах, запрудивших ближние к нему улицы, смелые догадки, подозрения, обвинения...

Все они разносятся с невероятной быстротой по всему городу. С азартом и озлоблением подхватывается всегда легкое на помине острое слово — поджог! Кто же, кто поджигатели-то? Улица решает быстро и просто: вернее всего — «поляки», они ведь «всегда бунтуют», либо те, что в мягких шляпах, очках да пледах ходят, они везде «мутят»! К ним же мелкий городской люд относит и всегда волнующуюся учащуюся молодежь, студентов, как, впрочем, и вообще всю «протерть горькую» из так называемых «господ» [35].

Поиски «поджигателей» идут с упорством и нарастающей раздраженностью и в других слоях населения столицы. Конечно, делается это келейно, не в печати, со стороны которой требуется исключительная осторож-

---

* «Литературное наследство», кн. 22—24, 1935, с. 149.

ность, особенно в отношении отражения уличных толков, о которых всего благоразумнее не поминать.

В «Северной пчеле» не было недостатка в умудренных многолетним опытом публицистах. Тем непонятнее представляется — как в такой острый час писать «передовицу» на такую острую тему было предоставлено или поручено менее других испытанному, заведомо небогатому выдержкой полуновичку? Еще непостижимое — в чем выразилась, необходимая для боевой статьи, «правка» ее заправилами газеты?

Привожу наиболее значительные выдержки из этой бедоносной для Лескова статьи, навлекшей на него жестокие гонения и обвинения в преступлении, которого он не хотел совершить. Опущены здесь перечисление улиц и кварталов, охваченных пожаром, и предложения о сформировании пожарных команд из волонтеров, о мероприятиях по оказанию материальной и продовольственной помощи пострадавшим, по облегчению скорейшего возобновления торговли и т. п.

«С.-Петербург, среда, 30 мая 1862 г.

Среди всеобщего ужаса, который распространяют в столице почти ежедневные большие пожары, лишающие тысячи людей крова и последнего имущества, в народе носится слух, что Петербург горит от поджогов и что поджигают его с разных концов 300 человек[36]. В народе указывают и на сорт людей, к которому будто бы принадлежат поджигатели, и общественная ненависть к людям этого сорта растет с неимоверною быстротою. Равнодушие к слухам о поджогах и поджигателях может быть небезопасным для людей, которых могут счесть членами той корпорации, из среды которой, по народной молве, происходят поджоги... В огромных толпах, стоявшего на пожарах народа толки о поджогах шли вслух. Народ нимало не скрывал ни своих подозрений, ни своей готовности употребить угрожающие меры против той среды, которую он подозревает в поджогах. Во время пожара в Апраксином дворе были два случая, свидетельствующие, что подозрения эти становятся далеко не безопасными. Насколько основательны все эти подозрения в народе и насколько уместны опасения, что поджоги имеют связь с последним мерзким и возмутительным воззванием, приглашающим к ниспровержению всего гражданского строя нашего общества, мы судить не смеем. Произнесение

такого суда — дело такое страшное, что язык немеет и ужас охватывает душу... Но как бы то ни было, если бы и в самом деле петербургские пожары имели что-нибудь общее с безумными выходками политических демагогов, то они нисколько не представляются нам опасными для России, если петербургское начальство не упустит из виду всех средств, которыми оно может располагать в настоящую минуту... Потом, для спокойствия общества и устранения беспорядков, могущих появиться на пожарах, считаем необходимым, чтобы полиция тотчас же огласила все основательные соображения, которые она имеет насчет происхождения ужасающих столицу пожаров, чтобы вместе с тем тотчас же было назначено самое строгое и тщательное следствие, результаты которого опубликовывались бы во всеобщее сведение. Только этими способами могут быть успокоены умы и достигнуто ограждение имущественной собственности жителей!.. Скрываться нечего. На народ можно рассчитывать смело, и потому смело же должно сказать: основательны ли сколько-нибудь слухи, носящиеся в столице о пожарах и о поджигателях? Щадить адских злодеев не должно; но и не следует рисковать ни одним волоском ни одной головы, живущей в столице и подвергающейся небезопасным нареканиям со стороны перепуганного народа. Мы не выражаем всего того, что мы слышали; полиция должна знать эти слухи лучше нас, и на ней лежит обязанность высказать их, если она хочет заслужить себе доверие общества и его содействие» *.

Удивляться вызванному статьей взрыву не приходится. Автор статьи подвергся ярым нападкам, обвинениям и угрозам, вплоть до смертных. Строки: «чтобы присылаемые команды являлись на пожары для действительной помощи, а не для стояния» — вызвали гнев самого царя. Прочитав их, Александр II написал: «Не следовало пропускать, тем более, что это ложь» **. «Высочайший гнев» для газеты был тоже не радость.

Кругом попавшая впросак, редакция «Пчелы» начинает многократно и многословно доразъяснять истинные

* «Северная пчела», 1862, № 143, 30 мая.

** Дело 1862 г. № 137 Особой канцелярии министра народного просвещения «По высочайшему повелению касательно напечатанной в № 143, 1862 г. «Северной пчелой» статьи о пожаре, бывшем в С.-Петербурге 28 мая». — Лен. отделение Центрархива.

цели и стремления своей злочастной статьи, делая это, несомненно, не без участия автора последней *.

В сущности, сказанное в «Пчеле» не отличалось от многого появлявшегося на столбцах других газет, как, например, «Наше время», «Современное слово», «Иллюстрация», «St. Petersburger Zeitung», «Время», не говоря уже о «Русском вестнике», «Современной летописи», «Домашней беседе» и т. д. Однако ни одной из них это не вменилось в такую вину, как «Пчеле». Роковую для Лескова роль в его статье сыграла нетерпимость сопоставлений, подчеркивания беспочвенных уличных слухов и толков.

В самооправдательных стремлениях растерявшаяся «Пчела» не раз попадает из огня в полымя. 7 июня она с воплями и аффектированным негодованием принимается опротестовывать, пока только в воздухе носившиеся, слухи о причастности к поджогам «студентов». Это слово впервые читается в печати. Этим губится в раскаленном общественном мнении газета и автор определенных ее статей...[37]

Личные «терзательства» Лескова были беспредельны. Они «засели» у него «в печенях» на всю жизнь. Он положительно трепетал всегда при воспоминании о них. Это была незаживляемая, неослабно кровоточащая рана. Она была тем больнее, что упорно почиталась им незаслуженной.

Проходит двадцать лет. Уже «генералом от литературы» задумывает он очерк, которому, по обычаю, примеряет несколько заглавий: «Кустарный пророк», «Религиозные мечтатели и нововеры», «Фабричный пророк» и в конце концов — «Обнищеванцы» **.

Ни одно из этих заглавий не предвещает, что рассказ коснется в своем развитии уже хорошо призабытых апраксинских событий. Но Лескову забыть их не по силам. Может быть, и не без натяжки, не упускается случай осветить — был ли поджог, кого больнее всех он обездоливал и чьим интересам отвечал. Там говорилось:

---

* «Северная пчела», 1862, № 144, 148, 151, 157, 168, 170.

** «Обнищеванцы. Религиозное движение в фабричной среде». — «Русь», 1881, № 16—21, 24, 25, с. 28 февраля по 2 мая; «Русская рознь», СПб., 1881. См. еще: Повести, очерки и рассказы М. Стебницкого, т. I, 1867, с. 512; Сборник мелких беллетристических произведений П. С. Лескова-Стебницкого, 1873, с. 512.

«Но беды ходят толпами: едва Исаич наработал товару и сдал в рынок, как случилось большое и до сих пор не определенное по своему значению для петербургских рабочих событие: сгорел торговый Апраксин двор. Памятный пожар этот, причина которого так и осталась необнаруженною, был первым общественным бедствием, которое молва стала приписывать умыслу людей, желавших произвести смуту в народе, но до сих пор, кажется, никто не осведомился у рабочего народа: кому привелось пострадать от этого бедствия? Полагали, что более всех понесли убытки одни торговцы этого рынка, тем более что у большинства из них — если не у всех — товар был не застрахован, и потому недоумевали: что же за цель могла быть у них, кому нужным казалось истребить этот рынок? Говорили: «если бы хотели создать затруднения в продовольствии бедного класса и тем вызвать беспорядок, то надо бы сжечь Сенную площадь, а не Апраксин двор. Тогда, говорили, вздорожали бы продукты, а бедный народ назавтра же встретился бы с дороговизною, а может быть даже с совершенным голодом, который бы непременно вывел рабочих из терпения и легко мог сделать их игрушкою в руках «специалистов». В Апраксином же дворе сгорели изделия, а не корм. Истребление изделий потребует возобновления их и тем самым даже увеличит задельную п л а т у, — следовательно, этот пожар наказал только капиталистов, а рабочим это истребление товаров простонародного рынка, так сказать, даже будет выгодно». Такие вполне ошибочные выклады выкладали как официальные, так и вольнопрактикующие наши экономисты и имели успех у послушенствовавших им государственных людей, но на самом деле все эти рацеи были чистейший вздор... Огромное количество рыночного товара тогда производили для рынка мелкие фабриканты, то есть кустари, работающие свое производство у себя на домах, иногда в одну руку, иногда всем семейством и реже при содействии одного или двух рабочих. Все эти мелкие производители разного рыночного товара — люди почти бескапитальные. Две-три сотни рублей, которые они имеют и ими «оборачиваются», постоянно находятся у них «в материале», из которого идет производство... В этом же положении застал их и пожар, истребивший апраксинские лавки, *в которых, таким образом, сгорело не столько товара, принадлежавшего самим торговцам, сколько принадлежавшего производителям, кустарям, ко-*

торые снесли его туда на распродажу, но денег за него еще не получили. А в этом товаре у кустарей было затрачено все, что они имели, и они буквально оставались нищими... Следовательно, если пожар был делом чьего-либо умысла и расчета, то эти люди знали положение дела лучше, нежели экономисты, и хорошо знали, во что метили. Проникновения же на это с другой стороны не было никакого: на убытки торговцев, которые сейчас же после пожара явились на виду, обратили какое ни есть внимание, а на круглое разорение несравненно большего числа производителей-кустарей — никакого... Эти остались в полной беспомощности и имели самую настойчивую причину считать себя больше всех обиженными.

Взгляд на возможность поджога не меняется, однако высказывается он уже с некоторою условностью.

Об апраксинском, как о всяком чудовищно большом, пожаре ходило много взаимно противоречивых версий. Непогрешимо уверенные обвинения и домыслы шли по самым различным направлениям и адресам.

Толстой находил, что Москву в 12-м году намеренно никто не поджигал и нужды в том не было: она должна была гореть, не могла не гореть [38].

Без большой сторонней о том заботы мог в любой день гореть и Апраксин двор, представлявший собою готовый костер, сплошное нагромождение деревянных лавок, ларей, закусочных и всевозможных балаганчиков, в которых день-деньской копошились, толклись, ели, пили, курили крайне разношерстные представители городского и пришлого люда.

Нет основания обходить вниманием также и одну дневниковую запись Одоевского: «Говорят, что поджог в Апраксином дворе был произведен некоторыми купцами, чтобы избавиться от подходящих к Макарьевской ярмарке расчетов. Свидетели видели, что три лавки были заперты, хозяев не было, пожар приближался, — сломали двери, — лавки оказались *пустыми,* следственно, хозяева их приготовились к пожару» *.

Такого рода операции были у нас в большом ходу. Тринадцать лет спустя купец-миллионер С. Т. Овсянников, «влетев» в 1875 году утром, «на масляной», в кабинет дельца-миллионера В. А. Кокорева и не заметив

---

* «Литературное наследство», кн. 22—24, 1935, с. 159; запись от 18 сентября 1862 г.

стоявшего в глубокой оконной нише Лескова, «был нескромно весел и воскликнул: «А мы нонче блины пекли!» * Другими словами — сожгли огромную, хорошо перестрахованную паровую мельницу около Александро-Невской лавры. Не побоялся и новых судов. Однако сорвался и только во внимание к большим годам угодил не на каторгу, а лишь на поселение в Сибирь. Не те уж были времена, как до гласных судов, хотя бы в тот же 62-й год, к которому и возвращаюсь.

Ни один из упорно живших слухов никогда не нашел себе ни вполне убедительного подтверждения, ни бесспорного опровержения.

Почти три десятка лет спустя после смерти Лескова прозвучал голос Горького:

«Литературная деятельность Лескова началась тяжелой для него драмой, которая могла бы и не разыгрываться, если б русские интеллигентные люди умели относиться друг к другу более внимательно и бережно, — что и до сего дня необходимо, ввиду количественного ничтожества интеллектуальных сил в нашей стране. Но издревле русские люди болеют стремлением «разбрестись» розно, и в первый же год своей работы в Петербурге Лесков получил удар в сердце, совершенно не заслуженный им.

Летом 1862 г. в Петербурге возникли подозрительные частые пожары, кто-то пустил слух, что это от поджогов, а поджигают студенты. Лесков напечатал в газете статью, требуя, чтобы власть или представила ясные доказательства участия студентов в поджогах, или не медля и решительно опровергла клевету на них. Легкомысленные люди истолковали статью так, что будто бы именно Лесков приписывает поджоги буйному студенчеству. Он неоднократно опровергал это злостное недоразумение, но ему не поверили» [39].

Июнь 1862 года весь проходит в тяжелом пожарно-полемическом угаре. Жестоко оплошавшая «Пчела» мечется, не зная, чем утишить бурю. Но в то же время на ее так недавно пострадавших столбцах появляется малоуспокоительная статья, говорящая о «Колоколе», «желчевиках», «демагогах», о грядущей терпимости свыше к расколу **.

* Письмо Лескова к И. С. Аксакову от 1 марта 1875 г. — Пушкинский дом.

** «Северная пчела», 1862, № 168, 24 июня.

Темы, досадительные как «нетерпеливцам», так и властям предержащим [40].

2 июля министр внутренних дел сообщает управляющему Министерством народного просвещения свое заключение о том, что разговоров о «терпимости» к расколу «вовсе не следовало бы допускать», так как они содействуют «кривотолкам раскольников» *. Новая неудача! [41]

28 июля на Украине арестовывается А. И. Ничипоренко, только что побывавший у Герцена. Его привозят в Алексеевский равелин Петропавловской крепости. Тут же, в бесподписной статье, «Пчела» опять заговорила о Герцене **. Ответчиком снова мог быть принят автор пожарного письма.

Поднимаются разговоры о показаниях Ничипоренко, как и И. И. Кельсиева [42]. С первым Лесков жил в зиму 1860—1861 годов у И. В. Вернадского, со вторым встречался в «сальясихином кружке» в Москве. Можно ли поручиться за то — что, когда и как говорил с ними по приятельству? Как угадать — что именно любознательному Третьему отделению покажется особенно значительным и заслуживающим дальнейшего доследования по опросе этих лиц?

Положение осложняется. Поездки в поволжское понизовье нет. Не толковее ли на некоторое время все же оказаться подальше, не быть в Петербурге, а то и в России? Мысли далеко не безосновательные и сами собой рождавшиеся.

Кстати: четыре года позже в делах канцелярии санкт-петербургского обер-полицмейстера еще значились такие розыскные данные: «Елисеев, Слепцов, Лесков. Крайние социалисты. Сочувствуют всему антиправительственному. Нигилизм во всех формах» ***. Мог ли Лесков рассчитывать на благоприятную для себя полицейскую «аннотацию» в 1862 году, с нигилистически длинными волосами, в совершенно неблагонамеренной косоворотке?

Тучи со всех сторон. Медлить нечего. Редакция не то полупредательской, не то преступно беспечной «Пчелы», может быть не без искупительной предупредительности,

---

* «Дополнения к «Сборнику постановлений и распоряжений по цензуре С 1720—1862 гг.». Постановления и распоряжения с 1862—1865 гг. Тетрадь 1», СПб., 1865.

** «Северная пчела», 1862, № 212, 7 августа.

*** «Щукинский сборник», вып. V, с. 509.

придумывает своему слишком пылкому, но несомненно ценному сотруднику длительную и дальнюю командировку в качестве корреспондента газеты. Маршрут интересный: Литва, Белоруссия, Украина, Польша (австрийская), Чехия, в завершение пути — Париж, а пожалуй и Лондон. Последний не исключался неспроста: помнилось благожелательное указание «Современника» на вредное для некоторых журналистов влияние петербургского климата и на благотворное иногда воздействие на их «настроение и воззрения» климата лондонского *.

Исход найден. Поездка обещает уврачевать «смятенный дух» потрясенного сотрудника, оживить столбцы газеты любопытными, живыми письмами о положении дел и настроениях западных окраин, об отношении к России зарубежной Украины, чехов, поляков, о возможности достижения «slawjanskoj wzajemnosci» **, о луи-наполеоновской Франции, а может быть, даже привести к взаимопониманию с самим Герценом. Программа увлекательна. Горизонты широки. Есть где обогатить впечатления, во многом по-новому разобраться, может быть, многое переоценить, перестроиться. Лишь бы уехать... Это свершается беспрепятственно.

«Будь медлен на обиду, а на прощенье скор», — стоит в одном из его писем ко мне ***.

Учительно мелькает этот совет в его обращениях и к другим близким и неблизким.

Удавалось ли его применение самому Лескову?

Не раз, даже в минуты исключительной умиротворенности, в сумерки («szara godzina», как любовно называл он эти часы по-польски, по-мицкевичски), в дружественной беседе, многозначительно скандировался им по какому-нибудь поводу любимый стих любимого поэта:

Забыть! Забвенья не дал бог,
Да он и не взял бы забвенья ****.

Не брал его и Лесков.

Он покидал Петербург и родину, уязвленный в самую глубь своей «самоистязующей» души, полный озлобления и мести.

---

* «Повести, очерки и рассказы М. Стебницкого», т. I, СПб., 1867, с. 509.

** Славянского взаимопонимания (*пол.*).

*** Письмо от 26 июня 1884 г. — Архив А. Н. Лескова.

**** Лермонтов. Демон, ч. I, гл. 9.

ГЛАВА 4

БЕГСТВО[43]

Шестого сентября 1862 года Лесков выезжает по строившейся тогда французской компанией Варшавской железной дороге.

Первым пунктом назначения является столица Литвы, Вильно.

Путешествие дает благотворное рассеяние, отодвигает, заслоняет огорчения, которых столько было перенесено за последние месяцы.

С дороги посылаются в «Северную пчелу» любопытнейшие письма, печатающиеся под общей рубрикой «Из одного дорожного дневника». Подписи под ними не ставится вовсе. Признается благоразумнее несколько повременить с упоминанием на газетных столбцах имени автора бедоносной «пожарной» статьи.

Оторвавшись наконец от места стольких переживаний, полный сил и кипучей энергии, Лесков начинает оживать, воспрядать духом.

«Орлу обновишася крыла и юность его», — любил говорить он. Подъем настроения чувствуется с первой же корреспонденции. Более сочную и жизненно яркую хронику всей поездки, чем оставил ее нам Лесков, трудно себе представить. Это не помешало ей до сегодня остаться почти неведомой, никогда не переизданной и со времени печатания ее на столбцах «Пчелы» прочно забытой. Сейчас воспользоваться выдержками из этого «дорожного дневника», по его живости и искренности, несомненно, как нельзя более ценно.

7 сентября путешественник заносит уже полный биографического букета курьез: «В Динабурге пиво особенно вкусное; я его рекомендовал генералу, который сидел около меня за столом...

— А как вы хорошо говорите по-русски! — заметил генерал после того, как я заявил свое удовольствие, что динабургское пиво нравится его превосходительству.

— Неудивительно, — отвечал я, — тридцать годочков живу на русской земле.

Генерал посмотрел на меня инспекторским взглядом и с видимым недоверием спросил:

— Да вам всего-то сколько лет?

— Да тридцать лет.

— Так вы в России родились?

— В — ской губернии.

— Да, но все-таки вы ведь француз?

— Происхожу от бедных, но честных родителей, вышедших из благословенной семьи православного духовенства.

Генерал хлебнул пиво, затянулся папироскою и повернул голову в сторону.

— А ваше превосходительство отчего думали, что я француз? — решился я побеспокоить генерала.

— Как-с? — спросил он меня, обратись как бы с испугом.

Я повторил вопрос. Генерал потянул верхнюю губу, обтер ус и сказал:

— Так, право, и сам не знаю, показалось что-то.

Сколько уже раз я был оскорблен таким образом! Еще недавно один дворник в Петербурге три месяца уверял моего слугу, что я француз и с известной стороны субъект весьма подозрительный. В Орловской губернии, назад тому года три, бабы тоже заподозрили меня в иностранстве. Ехал я домой на почтовых, одевшись как следует, то есть по-«немецкн». Подошла большая гора, «дай думаю, пройдусь под гору». Схожу с горы, а под горой, около мостика, три бабы холсты колотят. Только что поравнялся с ними, гляжу, одна молоденькая бабочка и бежит; в одной руке валек, а другою паневу на бегу подтыкает.

— Ей ты! слышь, ей! постой-кась! Постой-мол, говорю, — кричит баба.

Смотрю, никого, кроме нас двоих, на мосту нет. «Какое, думаю, дело до меня бабе?» Остановился.

— Постой-мол, — кричит баба, совсем приближаясь ко мне.

— Ну, стою, чего тебе?

— Ты чего покупаешь?

— Я-то?

— Да, чего покупаешь: не пьявок, часом?

— Каких пьявок?

— Известно каких: хорошие есть пьявки.

— Да на что мне твои пьявки?

— Аль ты не жид? — спрашивает меня баба, глядя подозрительно.

— Какой жид? с чего ты выдумала?

— Ой!

— Какой жид? Бог с тобой!

— И пьявок тебе не требовается?

— На что мне твои пьявки?

— Поди ж ты! — Баба огорчилась, бросила валек на мост и, шмыгнув рукою под носом, сказала с сожалением: — А тетка Наташка баит: «Беги, баит, Лушка, швыдче, вон тот жид идет, што пьявок покупает». Экое горе! — добавила баба с горьким соболезнованием, что я не жид и не покупаю пьявок».

П. В. Быков, совсем незадолго до бегства Лескова познакомившийся с ним в приемной Вернадского, записал: «Вышел среднего роста, плотного сложения, красивый молодой человек, лет тридцати» *.

Наружность Лескова была характерна и впечатляюща, но «красивым молодым человеком» называть его было невыразительно.

Раз как-то он собирался на какой-то большой вечер. Глядя, как он опрыскивается духами «шипр» забытого уже Пино, я, семнадцатилетний юноша, неожиданно для самого себя, произнес: «Какой вы красивый, папа!» Отец повернулся ко мне, окинул меня спокойным взглядом человека, которому предстоит что-то развлекательное, а не обременительное, медленно ответил: «Красив?.. Нет!.. И не был... И ты не будешь. Но... любим будешь. Пожалуй, даже больше, чем это впору серьезному, трудовому человеку».

Он уехал. Опустелая квартира погрузилась в мертвую тишину. Возвратясь к развернутому на моем столе «курсу» тригонометрии, я задумался: какие из глядевших на меня «кривых» даст мне жизнь в смутно предощущаемой, загадочной, только что затронутой отцом области...

В тридцать лет Лесков не был «плотен» или хотя бы особенно широк в плечах. Напротив, он был еще худощав, порывист, быстр в движениях. Все это неопровержимо подтверждается фотографическим снимком как раз тысяча восемьсот шестидесятого года.

Зазнавший его рановато отяжелевшим, Антон Павлович Чехов метко писал брату Александру: «Этот человек похож на изящного француза и в то же время на попа-расстригу» **.

---

* Быков П. В. Силуэты далекого прошлого, 1930, с. 157.

** Письмо от октября 1883 г. — Чехов А. П. Полное собр. соч. и писем, т. XIII. М., 1948, с. 79—80.

Встречавший Лескова многие лета И. К. Маркузе оставил весьма достоверный портрет: «Николай Семенович Лесков сохранял в позе и в разговоре некоторую сановитость и торжественность, сознание своей возвышенной миссии никогда его не покидало и как бы отмечало его полную в то время фигуру, с грузною, прочно покоившеюся на широких плечах и короткой шее головою, над которой вздымалась гуща всклокоченных темных волос, печатью известности, или «генеральства», как принято называть теперь эту черту в манерах некоторых литераторов с именем или весом» *.

Я бы заменил слова «всклокоченных» и «темных» словами — назад зачесанных и иссиня-черных. Остальное — хорошо.

К старости он давал достаточные основания видеть в нем Ивана IV, Аввакума, расстригу.

Но это все дела поздние, а в 1862 году сам, начинавший уже воскресать, М. Стебницкий рассказал о себе с неподражаемой веселостью и «пэозажностью».

Приехав 8 сентября вечером в Вильно, Лесков «немного не застал похорон Сырокомли, любимого из современных польских поэтов... Сырокомлю знают не только в Литве и Польше, но и вообще во всех славянских землях... У него было очень много общего в характере и нраве с покойным Тарасом Григорьевичем Шевченком».

В библиотеке Лескова стояли издания сочинений Мицкевича и Сырокомли-Кондратовича. Он был прекрасно знаком с их произведениями и некоторые из них читал наизусть, по-польски. Он очень ценил противошляхетскую «притчу» его «О Заблоцком и мыдле» [44], мастерски акцентируя, как уже в прах разорившийся на мыловарении, когда-то зажиточный шляхтич стариком побирается на рынке, причем:

На ним торба з пшипасем
И пас з хербем на бляше.

Этот пояс нищего с непременным гербом на бляхе восхищал Лескова меткостью иронии автора поэмы над неистребимой гоноровостью прогоревшего шляхтича.

Высмеивая вспыхнувшее одно время и у нас стремление к аристократизму, Лесков писал: «Польская шляхта, не доказавшая своего дворянства, всегда жалуется,

---

* Маркузе И. К. Воспоминания о В. В. Крестовском. — «Исторический вестник», 1900, № 3, с. 279, 983, 988—991, 1000—1001.

что у них *«герольд спалён»,* то есть сгорел; а у наших он всегда «сопрел» *. В беседах на эту тему он вспоминал о шутовских потугах мелкой шляхты — даже и при «спаленном», а может быть никогда и не существовавшем, «герольде» — придумывать себе самый трескучий «nomen glorisum» **, претенциозно удваивая свои коренные, простодушно-крестьянские *прозвища* — Дробыш-Дробышевский, Плющик-Плющевский, Лукаш-Лукашевич, Борщ-Борщевский и т. д.

«Наши, даже при «несопрелом герольде», до таких «выкрутасов» этих Враль-Вралевичей не простирались», — прибавлял он с усмешкой.

Сырокомлю он любил и чтил не только за теплоту и блеск его таланта, но и как «сельского лирика», как чистой воды демократа, врага крепостничества, как поэта, писавшего о темных, забитых белорусах, способствуя пробуждению в них национального чувства.

Два вечера, вернее, может быть, ночи, проводятся в обществе радушных виленских литераторов. Не обходится дело даже без тостов за русских писателей, знакомство с произведениями которых, однако, как оказывается, невелико: «Из уст здешних литераторов я слышал имена Пушкина, Лермонтова, Кольцова (!), Гоголя, Шевченко, Герцена, Кохановской и Чернышевского. О других ни слова: ни Тургенева, ни Белинского, ни Некрасова, ни Островского, ни Марка Вовчка здесь не вспоминают, а о людях, занимающих второстепенные и третьестепенные амплуа в нашей литературе, — и говорить нечего. Впрочем, поляков упрекать тут не в чем. Если взять в расчет знакомство русских с польской литературою, то верх все-таки останется за поляками. Из русских периодических изданий наибольшим почетом здесь пользуется «Современник». Это я могу сказать утвердительно, потому что сочувствие к приостановленному журналу слышал от людей самых различных общественных положений» [45].

От Гродно Лесков едет на лошадях через массу попутных городишек, селений, ночуя подчас в крошечных деревушках.

Хорошо приглядевшись за десяток лет, прожитых на Украине, к ее земельно хозяйственным и экономическим особенностям и к быту ее «хлопов»-крестьян, он остро

* «Геральдический туман». — «Исторический вестник», 1886, № 6, с. 611.

** Славное (прославленное) имя (*лат.*).

всматривается по пути во все стороны жизни местностей, которые проезжает теперь по своему, как он его называл, «странному и смешному» маршруту.

Побывав в «литовском Манчестере», то есть в Белостоке, он добирается до знаменитой своими зубрами Беловежкой пущи. Здесь как бы мимоходом, но не без «сеничника яда»[46], описывается, как в 1860 году, во время царской охоты, Александр II, стоя в крытом рубленом павильоне, самолично застрелил 28 из 32 всего убитых при этом зубров, выпускавшихся из загона по прямолинейной аллее, ведшей безобидных животных прямо к павильонам, занятым «охотниками». Далее высказывается, что «Беловежский зверинец, собственно, не зверинец, а, так сказать, *садок,* в который загоняется зверь для царских охот». Выходило, что в один прием царь «забил» в этом «садке» третью часть всех «современников мамонта», которых во всей Европе, мол, всего 97 экземпляров![47]

Наибольшею достопримечательностью стоявших на очереди Пружан отмечено наличие в них мостовой, а потом следовала десятидневная остановка в Пинске, именовавшем себя литовским Ливерпулем, а Лесковым, по географическому положению этого города, оцененном скорее как «литовская Москва». Очеркнув довольно обстоятельно местные исторические достопримечательности, он переходит к населению.

«Обитатели Пинска интересны еще едва ли не более, чем самый Пинск. Впрочем, они именно как бы сотворены друг для друга: и Пинск без пинчуков и пинчуки без Пинска просто, кажется, даже немыслимы. Пинчук-простолюдин не хочет, чтобы его считали малороссом, литвином или поляком; его не кличьте: *человиче*! как кличут незнакомого человека в Малороссии и Украйне, он пресерьезно отвечает: «Я не человек, я пынчук».

«Тогда время было еще тихое, — писал в других корреспонденциях Лесков, — и даже в воздухе не пахло разразившимися через полгода событиями <польское восстание 1863 года. — *А. Л.*>. Предчувствие близости революции на всей Литве мне выразил ясно только один человек: это был старый крестьянин, взявшийся провезти меня с моим товарищем, польским поэтом В. Коротыньским[48], из Пинска в Домбровицу. Едучи пустынной болотистой дорогой, старик часто вступал с нами в некоторые собеседования и однажды обратился к Коротыньскому с вопросом:

— А скажите, будьте ласковы, пане: чи не знаете вы чего, от се нам по селах казакив понаставляли?

— Того понаставляли, — отвечал мой спутник, — что вы все с своими панами (то есть против своих панов) бунтуетесь, оброков не платите, на панщину ходить не хотите.

Мужик подумал, почесался, перевалил с плеча на плечо свой колтун и заговорил:

— Нет, се здаетця, пане, щось буцим-що не так.

— А как же? — запытал поэт.

— Як? А ось воно як: се наши паны по костелах бог зна що спивают, а нарочито на нас жалуются, що мы бунтуемось, а у Москви, дила того не разобравши, нам казакив ставят, щоб последнего порося або курку у мужика спонивадили.

— Але даремна та пратца (напрасный труд), — продолжал с энергией старик, оборачивая к нам свое лицо. — Не треба сюда нияких казакив, ни гармат (пушек); тылько нам цыкнули бы, мы бы сами всих сих панов наших в мешки бы попаковали, да прямо в Москву або в Питер живых и представили. Нехай их там в образцовый полк або куда знают и определят».

Поэт-поляк сделал вид, что он этих слов не слышал. Но Лесков их не забыл, как характерное определение отношения «хлопов» к польскому панству. Остановился он на этом вопросе и еще раз:

«Сельский народ по эту сторону Пинны говорит совсем не так, как придорожные крестьяне от Гродно до Пинска. Там народ легче всего понимает польский разговор, а сам говорит каким-то испорченным и бедным польско-малороссийским наречием; здесь же, наоборот, редкий понимает по-польски, а каждый как нельзя более свободно разумеет разговор великорусский, а сам между собою говорит на малороссийском языке с руссицизмами, как, например, говорят частию в Севском, частию в Грайворонском уездах <Орловской и Курской губернии. — *А. Л.*>... В здешних крестьянах мне не удалось заметить ни симпатий, ни антипатий к польскому или русскому элементу. В них есть какой-то странный индиферентизм, как бы следы апатии, заносимой из Литвы с северным ветром. У пинчуков, наоборот, апатии этой не заметишь. Там польский элемент, благодаря папам и ксендзам... я, разумеется, говорю о панстве, потому что полячество пинчуками не понимается отдельно от панства и панство

отдельно от полячества. «Gazeta narodowa» [49] и некоторые другие заграничные издания ищут причин некоторых столкновений народа с панами в разных подстрекательствах, производимых людьми, враждебными польской народности. Конечно, трудно разуверить кого бы то ни было в том, что крепко засело в голову; но если бы польские органы вникли в дело поближе, побеспристрастнее, если бы они дошли до спокойного состояния, в котором *русский народ* и его настоящие отношения к полякам сделались им ясными, то они поняли бы, что не враги польской народности вооружают против нее крестьян, между которыми живут католические помещики, а что дело это — творение рук приятельских, рук, которые еще памятны «хлопам».

1 (13) октября, замешкавшись в дороге с случайным разгоном почтовых лошадей, путники только к вечеру добираются до пограничного пункта Российской империи — Радзивиллова.

«Обыкновенно думают, что нет хуже езды, как между Тамбовом и Воронежом или между Уманью и Одессою, — заносит в свой «дневник» Лесков. — Напрасно так думают... От Пинска до Домбровиц набрались мы горя до бород, а от Домбровиц к Корцу и до усов хватило» *.

Таможенные и пропускные операции производятся только до захода солнца. Приходится ожидать его восхода. Останавливаются путники у «пожилого человека с южнославянским лицом», пана Михола. Почтенный шляхтич дает им «свежий, вкусный ужин», в результате которого им остается лишь почить после всех мытарств и невзгод преодоления «странного и смешного» маршрута и способов передвижения сплошь на лошадях, в невероятнейших повозках и условиях.

Итак, завтра — *заграница*!

Таково ли в ней многое, как приводилось о том читать и слышать с чужого голоса, с чужого глаза? Любопытно...

---

* «Из одного дорожного дневника». — «Северная пчела», 1862, № 334, 335, 337—339, 343—350; «Русское общество в Париже (Третье письмо к редактору «Библиотеки для чтения»)». — «Библиотека для чтения», 1863, сентябрь, и в несколько измененной редакции. — «Повести, очерки и рассказы М. Стебницкого», т. I, СПб., 1867.

ГЛАВА 5

ЗА РУБЕЖОМ

Утром 2 (14) октября, напившись у пана Михола кофе, Лесков и Коротыньский сели в экипаж и направились к пограничным шлагбаумам и рогаткам, у которых проверялись паспорта и ожидался сугубо строгий досмотр чемоданов и чуть ли не карманов пальто и платья. Наслушавшись от назойливых советчиков всяких страхов об этих операциях, Лесков, в предвидении неисчислимых опасностей, доверчиво поуничтожал на ночлеге все рекомендательные письма, открывавшие ему пути к доверию очень ценных ему потусторонних деятелей. В действительности все затруднения по паспортно-таможенной процедуре предотвращались вручением каким-то унтерам или услужливому фактору-еврею полтинников, злотых или крейцеров, а личный досмотр полностью был исключен. Пришлось горько пожалеть о доверии, оказанном советчикам, но писем уже не было.

Самый момент переезда государственной границы совершился проще простого: «Мы дали полтинник, и еврей юркнул в мазанку. Через четверть часа он выскочил, махнул в воздухе документами, отворявшими нам двери в Европу... За желтым шлагбаумом стоит австрийский часовой, в огромных сапогах, дающих ему вид тонконогого аиста. «Не имеете ли табаку?» — спросил он нас тоненьким голоском. «Имею», — отвечал я. «Нельзя везти. Сколько у вас?» — «Три сигары». — «Дайте ему два злота», — сказал по-польски еврей, держащий в руках наши паспорта. Мы дали». Все по строго выработанному расписанию.

«Вот я и за границею. Мук-то, мук-то зато натерпелись!.. — восклицает Лесков. — Вот они, Броды! — первое место полицейско-конституционного государства, благоденствующего под отеческим покровительством габсбургского дома. Шум, крик, движение, немножко грязновато, как вообще в торговых городах, но жизни так много, что людей на улицах как будто больше, чем габсбургских орлов, торчащих чуть не на каждом доме».

Дилижанс на Львов по расписанию, измененному как раз с этого дня, уже ушел. Поехали в наемной карете.

До сих пор Лесков знал одну Русь, но зато в самую ее глубь, и от Черного моря до Белого и от Брод до

Красного Яра. Теперь открывалась Европа от Брод до Парижа. На первых шагах большого отличия от нашей Украины не замечалось. Любуясь великолепными видами, развертывавшимися на пути ко Львову, седоки вышли из кареты и пошли пешком поразмяться.

«Спускаясь помаленьку, — записывает Лесков, — мы поравнялись с кучкою крестьянок, которые шли, весело болтая между собою. «По-нашему говорят», — сказала одна из них, когда мы подходили к группе. Я читал моему товарищу одно место из стихов Шевченки. Женщины оглянулись на нас и сказали: «Добрый день панам!» — «Добрый день», — отвечали мы, обгоняя крестьянок».

Приезд во Львов состоялся около 11 часов утра 15 октября. Здесь сразу развертываются обширные литературные знакомства <...>.

Посетив по приглашению львовских литераторов местное «русское казино» [50], автор дневника пишет: «В главной комнате, на самом парадном месте, где в некоторых странах обыкновенно вешаются портреты Наполеонов да Фердинандов, висит в вызолоченной рамке портрет Тараса Григорьевича Шевченки. «Любый кобзарь Украйны» здесь еще в большем, кажется, почете, чем у нас в Малороссии и Украйне» [51].

Из Львова Лесков, уже по железной дороге, поехал в Краков. «Кракусы» с их «толеранцией» [52] пришлись ему очень по сердцу.

«У кракусов, впрочем, вообще резонно говорят о русском народе (то есть о москалях) и никогда не усиливаются выдвигать на сцену вопросы племенные и религиозные: «...это ксендзовские штуки, — говорят кракусы, — нам какое дело, кто как молится». Мне кажется, что оснований краковской толеранции можно искать и в особенностях занятий краковского поляка. Поляк с Волыни, Подолии или восточной Галиции — по преимуществу *пан,* обыватель, помещик; краковский же поляк — ремесленник, купец, торговец. У первого живут традиционные остатки какого-то католического рыцарства, польского шляхетства; у второго торговые сношения сгладили традиции аристократизма, приучили делать дела, а не споры... Вообще народ в Кракове мне показался очень добрым и толерантным. В нем живы все хорошие характеристические черты польского духа, кроме

аристократизма и некоторой узости племенных и религиозных понятий».

Некраткое пребывание в Кракове ознаменовалось для Лескова двумя далеко не однородными событиями.

Первое, по его писанию, заключалось в следующем: «Вошли ко мне утром в нумер гостиницы три человека: двое стали у дверей, а третий предъявил мне разграфленную книжку, в которой было написано: «*№ 9-й* (это был нумер, в котором я жил) *платит* десять злотых». Я спросил: за что это? — «Так следует», — коротко отвечал мне стоявший предо мною гайдук. Я подумал, что это требуется по какому-нибудь городскому положению, и заплатил. Гайдук вырвал мне из книги листочек, на котором значилось только одно слово: «Zaplacono», и со всею своею командою удалился. По удалении этой честной компании, на досуге, я рассмотрел на обороте оставленного мне листка синий штемпель: «Rzad Narodowy» [53], и понял, что с меня взяты podatki на «Sprawe polska» [54].

Второе, тоже сбереженное его «дневником», было для него столь неожиданно и курьезно: Лесков — в первый и последний раз в жизни — *танцевал*! Да еще как: всенародно, на рыночной площади, с задорной кракуской, под шарманку, самого заправского «мазура», по-нашему — мазурку! [55]

«Краковский рынок уже был полнехонек народа. Рынок здешний необыкновенно оригинален. Это не деревенская ярмарка, не губернский базар, не петербургская толкучка. Это огромная площадь, буквально залитая людьми, которые очень покойно продают и очень покойно покупают. Полиции нет; по крайней мере так называемой *наружной* полиции не видно. Только рослый тонконогий австрийский гицель, с тонким длинным шестом, на конце которого прилажена веревочная петля, хватает собачек. Площадь, на которой собирается краковский рынок, обставлена необыкновенно красивыми историческими зданиями. С одной стороны вы видите известный великолепный Kosciol panny Maryi, с другой — огромное старинное строение, называемое здесь «Sukiennicy», а за ним упраздненную ратушу города Кракова. В галереях сукенницы теперь сидят кракуски с молоком и овощами, а около ратуши помещается австрийская гауптвахта. Дамы в Кракове также носят траур, но этот траур здесь нельзя назвать сплошным: он пестрится яркими

нарядами кракусов, которых бездна на базаре. Говор кругом, но крика и брани, отличающих русские торжища, нигде не слышно. Здесь, на базаре, утром я в первый раз видел настоящую польскую мазурку. Из-за угла улицы (Florjanskiej) раздались звуки шарманки, а вслед за тем показался и шарманщик. Он играл на своем инструменте «мазура», а около него пар двадцать отхватывали отчаянную мазурку. Кованые каблуки кракусов звонко отбивали такт по каменной мостовой, а маленькие ножки полек в белых чулочках и краковских сапожках подлетали на воздух, едва прикасаясь к земле. Восхитительно танцуют! В несшихся за шарманщиком парах было несколько пар, составленных необыкновенно оригинально: так, я помню маленького мальчика лет 14, который неистово несся с стройной, высокой девушкой в красной юбке и черном спензере. Одна ее рука была в руке мальчика, а в другой она держала корзину, из которой выглядывали красные хвостики моркови, помидоры и кочан капусты; другая пара — старая дворничиха с метлой на плече, в огромном белом чепце. Она танцует лучше всех и как-то так грациозно кидается к своему кавалеру, высокому, стройному кракусу в расшитом синем кафтане с красными выпушками, что ей все закричали: «brawo, stara! brawo, stara!» При входе на площадь мазурка увеличилась. Несколько торговок, несколько кухарок, несколько молоденьких кракусок поставили на мостовую свои корзины, схватили за руку первого попавшегося им на глаза человека и пустились у танец. Тут со мной произошел казус. Дьявол надоумил какую-то задорную черноглазую кракуску, в зеленой юбке и белом переднике, лишить меня приятного положения зрителя и сделать действующим лицом. Она схватила меня за руку и, крикнув: «Taniec, chlopiec!» — вшвырнула меня в свою бешеную мазурку — меня, человека, привыкшего к самым чинным движениям на Невском проспекте! Господи! Что я только вынес, проклиная мою бесцеремонную даму. Атта Тролль[56] стал бы тут в тупик, не только я, русский человек, которого вертит краковская полька, да еще и не хочет выпустить; не хочет верить, что есть на свете люди, не умеющие танцевать мазурки. Сначала я было попробовал упираться, но задний кракус так ловко поддал меня сзади своим коленом, что я налетел на переднего танцора и уж решился прыгать. В мазурке я ничего не понимал, но русская

сметка спасла меня. Мне показалось, что если я стану подражать русской пристяжной лошади, то я еще могу быть спасен и выйду целым из моего плачевного положения. Я взглянул на мою мучительницу, дернул ее за руку, загнул голову в сторону и понесся московским пристяжным скакуном так, что задний кракус уж не догонял меня и не дал мне больше ни одного стречка. Сколько кругов я прогалопировал — уж не помню, но помню, какой радостию исполнилось мое сердце, когда скачка моя прекратилась. Все пошли выпить по кружке пива в погреб между улицами Florjanskiej и Szpitalnej. У всех лбы были мокрые, и всякий вел свою даму на кружку пива. Я тоже пригласил мою даму и предложил ей две кружки: но она, однако, более одной пить не стала. «Надо, — сказала она, — днем дело делать».

До Праги Лесков едет в обществе одного приятного поляка, а там, благодаря ему же, знакомится с редактором газеты «Nàrodni Listy» Грегором [57], редактором газеты «Pozor» [58] и целым рядом чешских литераторов.

— Обжился я здесь очень скоро, — вспоминал он в следующем году, — ходил пешком в горы с Тонером, редактором «Oswety» (которого фамилию теперь забыл) и молодым князем Кауницем, который в это время был искреннейшим чехом и молодецки осушал с нами кружки вкусного чешского пива, восклицая: Niech zyje mati nase Slava! * Демократизм чешский — истинный демократизм, и притом чехи — демократы, которые, по гейневскому выражению, уже успели «вычесаться и сходить в баню» [59], а это, как известно, весьма много значит... Они не боятся ни чистых рук, ни длинных женских волос, ни красиво сшитых платьев, ни отвлеченных наук».

Настроение повышается: пиво в Динабурге, невольная мазурка в Кракове, молодецкое осушение вспененных кружек в Праге at' zyje svaté Slavanstvi! **

«Я ехал в Париж около трех месяцев, — подытоживал позже Лесков. — При существующих теперь путях сообщения, когда из Петербурга в Париж ездят в два дня, это довольно долго» ***.

---

* Да здравствует наша мать Слава! (*пол.* и *чеш.*).

** Да здравствует святое славянство! (*чеш.*).

*** «Из одного дорожного дневника». — «Северная пчела», 1862, № 350—351, и 1863, № 108; «Повести, очерки и рассказы М. Стебницкого», т. I, СПб., 1867, с. 394, 405, 411.

Да, но зато, в полное подтверждение совета Писемского, впечатлений — на весь век, и каждое из них — «точно суточная каша преет», оттого — «густо и в сочинении выходило».

ГЛАВА 6
ПАРИЖ

Хорошо погостив у ласковых чехов в Праге, заботливо переданный их письмами расположению чехов парижских и даже некоторых наиболее «толерантных» парижских поляков, Лесков направляется к конечному пункту своего затянувшегося «вояжа».

Швабские земли не манят. Их впору проехать транзитом, обозрев по-современному — из окна вагона.

В результате этих забот Лесков, не блуждая ощупью, с первых же дней оказался в новом Вавилоне удобно устроенным, ознакомленным с хорошими и недорогими ресторанами, с кафе, в котором имелось много русских газет, вплоть до «Колокола» и даже его собственной «Северной пчелы». Сразу создалось приветливое окружение, общность духовных интересов, уютность жизни.

Было у него письмо Артура Бенни к брату его — «очень молодому господину» — Карлу, тогда медицинскому студенту в Париже *, но, может быть по разнице лет и настроений, сближения, видимо, не сложилось и ценных воспоминаний не осталось. Сохранился, например, много более поздний, не дышащий теплом отзыв Лескова о нем, проскользнувший в горячем заступничестве за всегда милого Лескову «пана Опанаса», то есть А. В. Марковича.

Совсем иначе развертывалась общность с «милыми чехами».

Тепло и приветливо отнеслись к нему и некоторые из поляков, не совсем оправдываемых молодою польской партией за их сочувствие панславизму. Так, например, почтенный профессор Леонард Ходзько [60], вообще радушно встречавший сербов, чехов и русских, не считаясь с доходившими уже до Парижа ранними слухами о под-

---

* «Русское общество в Париже. Письмо третье и последнее». — «Повести, очерки и рассказы М. Стебницкого», т. I, СПб., 1867, с. 405, 440; «Библиотека для чтения», 1863, сентябрь, с. 30, 32.

готовке восстания, представил Лескова своей жене и дал ему возможность провести «очень приятный вечер в его почтенном и прелестном семействе». На общепринятую на Западе мерку это являлось выражением особого доверия и расположенности, порождаемых особо же серьезною рекомендацией.

Дальше легко создаются приятельские отношения с поэтом Иосифом Фричем, попозже ставшим противником «славянской унии» с царской Россией, но в то время горевшим идеей демократического объединения всех славян[61], и с целым кружком чешских патриотов, как и с несколькими поляками. Дружество день ото дня укреплялось, и с приближением 1863 года чехи пригласили Лескова встречать Новый год с ними вместе.

«Пир был устроен в двух комнатах небольшого трактирчика в rue Vavin, неподалеку от rue l'Ouest, где жил, а может быть, и теперь живет Фрич, — описывает событие Лесков. — Положено было всем нам сходиться в десять часов вечера»... Чехи назначили складку по пяти франков. Во время ужина «обошла компанию огромная полная братская чаша из чешского хрусталя. Чашу эту первый пригубил Фрич, сказав над нею несколько горячих слов... Обойдя всех присутствующих, братская чаша опять окончилась на Фриче. Были транспаранты с политическими оттенками не в пользу Австрии и юмористические, где «шваб» занимал плачевно-смешную роль». Были ряженые. Пелись чешские песни, потом польские, и, наконец, дошла очередь и до русского гостя. Выбор представлял немало затруднений. «Но я вспомнил наши великорусские святки с их подблюдными песнями и, зная, что слова, собственно, здесь ничего не значат, а что у чехов часто припевается *слава* (slava) запел:

Как идет млад кузнец из кузницы,
Слава, слава!

По второму куплету музыкальные чехи отлично схватили мотив припева и с величайшим одушевлением подхватили: «slava, slava!» Выбор вышел пресчастливый. В этой «славе»... чехи услыхали русский отклик на их призыв «Rusov» k «slovanské vzajemnosti». Пять или более раз меня заставили пропеть «кузнеца», получившего вдруг в этот вечер некоторое международное значение»[62]. Состав пирующих был самый демократичный — от ученых и поэтов до десятка самых подлинных рабочих,

которые, по словам Лескова, все «были расчесаны, напомажены, одеты в новое платье и вообще являли собой самый пристойный и праздничный вид. Для меня это всё были люди большею частью уже знакомые или по чешскому кафе, или по дому Фрича».

Это было ценное для изучения нации сближение. К польским рабочим он пригляделся и в «zabranem kraje», как называлась тогда русская Польша, и в Польше зарубежной, австрийской. Случай, в который вскоре сам он попал центральною фигурой, выгодно познакомил его с настроением, правосознанием и политическим темпераментом французских рабочих, горячо взявших на себя задачу быть непосредственными его заступниками и правовыми истцами. Вот как он описал это событие шесть лет спустя в одном из петербургских уже фельетонов:

«Прошлою зимою, в разгар рысачества, когда заявления о людях, раздавленных лошадьми, особенно надокучили и наводили даже некоторый страх, один из русских литераторов, проводивший зиму 1863 года в Париже, рассказывал нам, что бывает с давителями пешеходов в Париже.

Переходил я, говорил наш соотчич, небольшую улицу, выходящую к церкви Магдалины, как вдруг совершенно неожиданно получил не очень болезненный, но сильный толчок в спину и тотчас же упал на мостовую. Я решительно не мог сообразить, что и по какому случаю так толкнуло меня, но, поднимаясь, увидел впереди себя шагах в пятидесяти вздымавшуюся на дыбы лошадь, на удилах которой, как пиявки, висели три блузника. Большая, красивая лошадь эта была запряжена в легкий тюльбюри, в котором сидела молодая дама и мужчина. Полиции в тот момент, как я поднялся, не было видно ни одного человека, и лошадь держали три работника. Никого из полицейских не показывалось и еще с минуту, а около тюльбюри набралась уже целая куча увриеров[63]. Когда я подошел к этой куче, лошадь уже стояла тихо, но трое могучих рук все-таки крепко держали ее за морду: господин, сидевший в экипаже, выскочил и суетился, а дама в перепуге плакала.

— Что у вас болит? Где они вас зашибли? — закидали меня вопросами рабочие.

Я говорил, что удар был совсем безболезнен; меня, очевидно, столкнуло с ног выгибом оглобли, и я упал без

всякого ушиба. Так я и отвечал вступившимся за меня и допрашивавшим теперь меня рабочим, но ответ им мой чрезвычайно не понравился.

— Это не может быть, — отвечало мне, в свою очередь, несколько голосов.

— Вы сами теперь сгоряча не чувствуете, но после вам будет больно.

— Вы еще, верно, первый раз знакомитесь с толчками, которые раздают беднякам эти конные шалопаи, — и т. д.

Дама продолжала плакать, ее кавалер продолжал перебраниваться с увриерами и отталкивал их от узды, за которую они, как клещами, держали коня. В эту минуту подбежали запыхавшись два городские сержанта.

— Кто? что? как? в чем дело?

Я опять рассказал, в чем дело, и, конечно, добавил, что я не ушиблен и ни на что не претендую.

Сержанты обнаружили движение почесть все дело ничтожным и отпустить экипаж, а плачущая дама, простирая ко мне руки, заговорила: «Бога ради! Это я, я правила лошадью! Я во всем виновата, я прошу у вас прощения! Имейте снисхождение к женщине, простите меня!»

Я сказал, что охотно ее прощаю и не только не простираю к ней никаких претензий, по даже сам прошу сержанта отпустить ее.

Боже мой! Что же тут началось! Крики, шум, толчки, свистки — и не трое, а уже двадцать рук повисли на упряжи коня и так его осилили, что он было метнулся на дыбы, но тотчас же упал на колени и захрапел.

— Черт вас возьми! — закричали мне, кажется, все одним голосом. — Вы можете прощать все, что вам угодно, ради прекрасных слез этой барыни, но только не то, что она сбивает с ног человека, который идет по тем улицам, по которым мы и наши дети ходим для заработка нашего хлеба. Ведите ее, сержант, сейчас ведите ее к комиссару, и мы все идем туда.

Сержант сказал, чтобы тюльбюри ехало, и я и вся собравшаяся масса народа пошли за ним вслед, причем ни сержанту, ни комиссару, ни мировому судье и ни одному стороннему человеку из общества не пришло в голову находить поступок рабочих превосходящим их обязанности или их гражданские права.

Так смотрят на эти дела даже во Франции, где общественная самодеятельность и самозащита не пользуются в настоящее время особенно громкою славой».

Находясь в Париже, Лесков не имел причин обходить и «русскую поповку в Париже», не навестить подчас несколько лет назад приглашавшего его к себе землякаорловца, ее настоятеля, священника Васильева. Он находил, что «поповка парижская все равно, что поповка рождественская, гостомельская и всякая другая поповка». Интересного, значит, искать в ней нечего, но через нее открываются новые пути к общению с вольными или невольными парижанами русской крови и речи, множатся впечатления, ширится круг знакомств, наблюдений.

Столица Франции кипит, полна слухов, новостей, толков, придворных сплетен, внешнеполитических гаданий. Одни «Тюлерии», как называют знаменитый медичиский дворец поляки, дают этому неистощимую пищу... Взволнованно следит восторженная польская молодежь Парижа за каждым жестом или улыбкой тюльерийского хозяина, который, по мнению Лескова, «всех приучил беспрестанно ошибаться» в его «расположении».

«Я видел лицо французского императора два раза, — писал Лесков, — и один из этих двух раз при церемонии, с которою он открывал бульвар принца Евгения, я видел Наполеона III весьма близко. Я не сводил моих глаз с его лица и должен признаться, что никогда не видал ничего столь страшного, как лицо этого государя. Это лицо кадавра[64] с открытыми глазами, которые смотрят устало и в то же время пронзительно. Ни одна тонкая черта этого лица не движется; ни один его мускул не шевелится. По этому-то лицу поляки определяют повороты политики в свою или не в свою сторону, точно Наполеон только о них и думает. Сведения газетные, конечно, бывают гораздо тоще и скромнее устных толков... Судя по этим новостям, несчастная страсть поляков обращать свои взоры на Тюльерийский флюгер то разгорается огнем самых пламенных надежд, то раскаливается сдержанною злобою, но никогда совсем не угасает.

Лондон, климат которого так недавно почти дружески рекомендовался Лескову, здесь чувствуется острее, неотступнее ставя вопрос — ехать или не ехать? А полемическая напряженность прежняя, с неизменной готовностью в любую минуту дать вспышку какой угодно силы. Желчь не унималась. Нельзя упрекнуть в бедности ею и

«Письма к редактору «Библиотеки для чтения», именуемые «Русское общество в Париже», далеко выходящие за пределы вопросов, касающихся этого общества. В 1863 году в журнале П. Д. Боборыкина они, может быть благодаря вмешательству редактора, несколько менее уклоняются от основной темы и менее резки. Изданные через четыре и десять лет, они, напротив, были обострены и частично захватили события, происшедшие позже пребывания автора в Париже *[65].

На фоне таких отношений и настроений зреет первое крупное беллетристическое произведение Лескова — «Овцебык». Оно датировано автором, может быть, и не вполне точно — «Париж, 28 ноября 1862 года».

Горький говорит: «В рассказах Лескова все почувствовали нечто новое и враждебное заповедям времени... Лесков сумел не понравиться всем: молодежь не испытывала от него привычных ей толчков «в народ», напротив, в печальном рассказе «Овцебык» чувствовалось предупреждающее — «Не зная броду — не суйся в воду!»... Людям необходимо было верить в свободомыслие мужика, в его жажду социальной правды, а Лесков печатает рассказ «Овцебык», в этом рассказе семинарист пытается внушить мужикам, что всякий лесопромышленник — враг им, мужики соглашаются с пропагандистом... «Это ты правильно!» И тотчас доносят на него купцу: «Гляди, он не в порядке!» Бедняга пропагандист повесился, убедясь, что «через купца — не перескочишь» **.

Такова была прелюдия к «отомщевательному» роману «Некуда».

Кое-что, обрывочно уловленное в Париже от не то побывавших у Герцена, не то, может быть, и не бывавших в Лондоне, «расхолодило мою горячую решимость ехать туда», заключает Лесков, хотя «с ранней юности, как большинство людей всего нашего поколения, был жарчайшим поклонником таланта этого человека» ***.

---

* См.: «Библиотека для чтения», 1863, № 5, 6 и 9, а также «Повести, очерки и рассказы М. Стебницкого», т. I, СПб., 1867, и «Сборник мелких беллетристических произведений Н. С. Лескова-Стебницкого», СПб., 1873.

** Горький М. Несобранные литературно-критические статьи. М., 1941, с. 90, 91.

*** «Русское общество в Париже. Письмо третье и последнее». — «Повести, очерки и рассказы М. Стебницкого», т. I, СПб., 1867, с. 509.

В конце концов выполнение одной из главнейших задач всей поездки — снижалось. Была ли, однако, она сызначала безусловно тверда?

Память не уставала подавать: в «Петропавловке» Д. И. Писарев, Н. Г. Чернышевский, Н. А. Серно-Соловьевич, В. П. Гаевский[66], — последний как раз за сношения с Герценом. Вспомнилось положение А. И. Ничипоренко и В. И. Кельсиева[67]. Представлялась вся ярость правительственного наступления на «крамолу». Клонило вслушиваться во все суждения и отзывы о Лондоне, хотя бы и малодостоверные, но располагавшие к осмотрительности. Вопрос отпадал не без самоубеждения в бесплодности свидания, да и не без сомнения — пожелает ли Герцен свидеться с автором «пожарного письма»?

В таких настроениях пишутся статьи и корреспонденции, а рядом с ними один маленький, но чрезвычайно автобиографичный, ни разу потом не переиздававшийся очерк «Ум свое, а черт свое» и, как дань посещению славянских стран, делаются переводы с трех литературных «арабесок»[68].

Работы хватало. Было во что уйти с головой. Но хватало времени и на развлечения, на отдых, на интимности. Лескову ведь шел всего тридцать второй год. А Вавилон, при опытном руководстве, сулил столько возможностей!

Поместился он, может быть даже и не совсем по летам, на «левом берегу, в прославленном свободой и самобытностью нравов и традиций студенческом «Латинском квартале» («Quartier Latin»). Жить начинает здесь в полном смысле «en garçon» *. Ольге Васильевне сюда не добраться! Хочется наверстать досадно полупропущенную молодость.

В избранном, таком милом, квартале все «понимают, что не благо быти человеку одному». Прекрасная заповедь! Она выполняется с усердием. Он рьяно посещает «бешеные» балы в Прадо, Валентано и Казино, которые «первый раз одуряют, но в миллион раз пристойнее и живее нашего петербургского «Хуторка» и «Минералок», где бывает *пьяно* и *пьяниссимо,* но никогда не весело». Пишется трактатец о прелести и бескорыстии очаровательных гризет, которые, вопреки свидетельству малоавторитетных скептиков, вовсе не исчезли о день нынеш-

* Молодым человеком, по-холостому (*фр.*).

ний, несмотря на зачастую горькую участь, ожидающую многих из них с минованием молодости и потери привлекательности: «Не знаю, — говорит одна из них, — вот Селины нет три дня. Нужно бы завтра сходить в морг».

«Гризета, — развивается в трактате, — вообще весела, никогда почти не смотрит вперед и относится к будущему с какою-то отчаянною беспечностью. — «Что ты будешь делать, когда постареешь? — спросил однажды при мне гризету один мой соотечественник. — Это еще не скоро, мой друг. — Однако? — Умру. — А пока умрешь? — Пойду в госпиталь. — А если будешь здорова и стара? — Ах, какой ты скучный! Ну, куплю угольев». — Спокойствие, с которым это говорится, вас поражает», — кончает Лесков. Поражает и жестокость вопросов «соотечественника». Она воскрешает образ тульской старухи, беспощадно спрашивающей умирающую от чахотки взрослую дочь: «А в каком платье хоронить тебя, как помрешь?»...

Через двадцать лет, описывая своеобразие нравов старокиевского населения, обитавшего в «удалых Крестах и Ямках» на Печерске, «где мешкали бессоромни дивчата», Лесков, не обходя памятью свои парижские впечатления, делает любопытное сопоставление: «Теперь этого оригинального типа непосредственной старожилой киевской культуры с запорожской заправкой уже нет и следа. Он исчез, как в Париже исчез тип мюзаровской гризеты, с которою у киевских «крестовых дивчат» было нечто сходственное в их простосердечии» *.

Возвращаемся к событиям и впечатлениям 1863 года.

«В Латинском квартале города Парижа, — повествует Лесков, — я нахожу самым удобным местом для жизни угол улицы rue de l'Ecole de médecine и Hautefeuille. Здесь на одном углу живет честнейшая старуха в целом Париже, которую называют мадам Лакур. Она замечательна материнскою нежностью к своим постояльцам. Я тут поселился, и тут живу, наслаждаясь бездействием и сообществом двух моих соседок по лестнице. Они обе очень милые и благонравные девицы с самым добрым сердцем. В черноглазой медемуазель Арно я открыл эту добродетель во второй день моего пребывания в Париже, но бело-пепельная Режина представлялась мне ужасно страшною. Мне казалось, что она робка, как Ундина.

---

* «Печерские антики», гл. 2. — Собр. соч., т. XXXI, 1902—1903, с. 4—5.

Однако в весьма непродолжительном времени оказалось, что это только следствие моего предубеждения насчет блондинок. Уже довольно давно я перестал называть мадемуазель Арно шампанским, потому что мадемуазель Режина тоже шампанское, но только замороженное. Да здравствует замороженное шампанское!»

Немного дальше продолжается: «Я спал, и мне виделись различные сны. Сначала я видел себя на бале в Валентано. Было тесно, жарко и весело. Я пил канеты с французскими студентами; пикантные гризеты тоже пили с нами канеты, и все мы пели <тут приводится текст шутливой песенки — *А. Л.*>. Потом виделось мне, что мы пошли с бала ужинать к Вашету, что я вел под руку Режину, мое дивное замороженное шампанское».

Затем описывается переполох, вызванный чьим-то самоубийством напротив квартиры Лескова, а еще далее — как одна из соседок, продрогшая Режина, вбегает в комнату очарованного ею московита, видит у него пылающий камин, бросается к нему с радостным восклиrouting: «А! у него есть огонь. Огонь! Огонь!» — и, подвинув к камину кресла, греет перед ярким огнем свои мокрые ножки в новых <только что подаренных ей ее русским другом. — *А. Л.*> чулочках» *.

«О, как хорошо жить в Париже!» — в совершенном восторге заключает свою корреспонденцию Лесков.

ГЛАВА 7

СНОВА НА РОДИНЕ

Что говорить! «Хорошо жить в Париже!» — а не живется дольше. Тянет домой. Там зреют события, бурлит и бьет ключом своя, не чужая жизнь. Там и место сейчас русскому человеку, и всего больше — журналисту.

Парижские бульвары с их перемежающимися, сомнительными слухами, французская печать с ее уклончивым по отношению к России настроением прискучили, начинают нервировать.

Домой! — в горнило, которое пусть и испепелит, но вне которого нет жизни для человека, отведавшего яды публицистики, захваченного вихрем полемической борьбы.

---

* Стебницкий М. Как отравляются угольным чадом в Париже. — «Северная пчела», 1863, № 70, 14 марта.

Возможно, впрочем, что позвала и «Пчела», переписка с заправилами которой — Усовым и другими, даже и с Бенни — едва ли сбереглась.

Русские газеты в «Cafe de la Rotonde» жгут руки. Скорее, вероятно раньше, чем думалось, без колебаний — назад.

Торопливо прощается он с парижскими друзьями, несколько теплее, может быть, с искренно всплакнувшей Режиной, завязывается «дорожный мешок», и... в марте Лесков уже в Петербурге.

Первоначально он устраивается на жилье на углу Невского и Литейной, в буквальном смысле слова — на бойком месте. Бойка и смена происшествий, отношений, настроений. Возобновляются и освежаются старые знакомства, завязываются новые. Отдаются в печать готовые небольшие вещицы *, а дальше пристраивается и «Овцебык» **.

Проходят два-три месяца. Случайная заминка в уплате Л. А. Краевским гонорара вызывает вспышку, как нельзя более красноречиво свидетельствующую, как быстро и убийственно сказывался на возвратившемся петербургский климат. Издателю посылается чудовищно резкое, угрожающее письмо:

«12-й день, как вышла книжка «Отечественных записок», в которой напечатан мой рассказ «Овцебык». В течение этих 12 дней я был четыре раза у г. Кожанчикова и видел там очень невежливого господина Свириденко. Невежа Свириденко не дает мне ответа, почему вы до сих пор не платите денег нуждающимся в них сотрудникам, и денег мне не дает. К вам я идти не хочу, потому что вы имеете очень неприятную манеру держать по полчаса в вашей зале, которая для меня не представляет никакого интереса, и я более люблю залы министра Головкина, где ожидают не более 5 минут и в том выслушивают извинения. — Я пошел к Дудышкину, как к человеку, в котором скорее, чем в вас, можно дощупаться до мягких сторон (я не говорю — до *мягких частей*). Дудышкина нет в городе, а то он, вероятно, избавил бы меня от неприятной необходимости писать к вам.

Пришлите мне, Андрей Александрович, деньги сегодня или завтра, т. е. в четверг, по нижеписанному адресу.

* См.: «Северная пчела», 1863, № 70, 91, 95, 108.

** «Отечественные записки», 1863, № 4.

Я ни к вам, ни к Кожанчикову не пойду, — это мне *претит.* Но если вы мне не пришлете счета и денег, то я вам не забуду завтра сообщить, как я разделываюсь с теми, которые меня донимают до зла горя.

Мы ведь с вами встречаемся в различных местах, с Невского до Географического общества. Я вас завтра заставлю провесть пренеприятную минуту в вашей почтенной жизни. Мне ведь терять меньше вашего, а я погружусь для других.

Я через вас не исполнил моего слова перед бедным человеком, но уж на вас зато сдержу мое слово.

24 часа перед вами» *.

На другой день, узнав, что не сам Краевский был виновником «тех неприятностей», которые пришлось испытать Лескову, он коротеньким письмом выражает владельцу журнала «сожаление» о вчера писанном и даже просит извинить его за этот выпад[69].

Вне всякого сомнения, однако, последний никогда не мог быть забытым «Пятиалтынным Первым», как называл в свое время Краевского Салтыков. Лесков терял благоволение издательского туза. Это грозило дорого обойтись нуждавшемуся в журнальных пристанищах писателю особенно в годы росших гонений на него прогрессивно-демократической прессы.

Но Лескова, как сам он определял в поздние годы, уже «вело и корчило».

Кое-как полусмягчив свой поступок в отношении хозяина издательства, он бессилен удержаться от резкостей по отношению к доверенному служащему этого хозяина, сочетая эти резкости с очередными «выпадами» против «нигилистов», в том числе даже и Чернышевского.

Сейчас же в требующую особой выдержанности тона статью «Николай Гаврилович Чернышевский в его романе «Что делать?» врезывается, наскоро сметанная, отместка Свириденке, хотя и безыменная, но как нельзя более прозрачная:

«Посадите такого господина на какое хотите место, он сейчас и пойдет умудряться, как бы ему побольнее съехать *не своего.* Сделайте его приказчиком, хоть в книжном магазине, он и там приложит свой нрав. Карячиться станет, едва говорит, и то с грубостью; велите ему

* «Шестидесятые годы», с. 292.

двух сотрудников рассчитать: нигилисту даст деньги, а не нигилиста десять дней проводит. Что ему за дело, что человек напрасно тратит рабочее время, ходя, да «наведываясь». Что ему до того, что у этого сотрудника жена без башмаков, дети чаю не пили, хозяин с квартиры гонит? Квартира *отрицается,* потому что фаланстерия будет; жена *отрицается,* потому что в «естественной» жизни (у животных, например) нет жен; дети и подавно *отрицаются,* их община будет воспитывать, родители им не нужны. Познакомьтесь с таким соколиком, да если вы не сам г. Чернышевский, то он вам во второе же свидание вместо любезностей дурака завяжет. Это ничего, это все естественно» *. В пылу отместки даются рикошеты по всем и вся...

Но и это не дает успокоения. В другую, подготовляемую к печати статью, с не меньшей натяжкой, вводится нечто и по адресу неослабно ненавистного Феоктистова, а по пути уж и Кожанчикова, видимо, чем-то прогневившего за стычки с М. Я. Свириденкой.

«Если бы в некотором кружке не разнесся слух, что Д. Е. Кожанчиков, после издания истории греческого восстания, написанной с неотразимой прелестью московским ученым Феоктистовым, не дал торжественного заклятия не издавать более без разбора исторических сочинений наших историков, то я бы непременно дерзнул написать историю раскола. Но как слух, разнесшийся насчет резкой перемены в нраве г. Кожанчикова после издания вышеупомянутой исторической монографии, убивает во мне всякую предприимчивость, то я отлагаю мое намерение до тех пор, пока г. Феоктистов нападет на другого издателя, столь же неразборчивого, как г. Кожанчиков, и таким образом покажет новое место, через которое можно валить всякий сор в русскую публику» **[70].

Неуспех первой значительной беллетристической работы — рассказа «Овцебык» — остро уязвил автора. Денежная неисправность «Северной пчелы» породила непредвиденные и тяжелые материальные затруднения. За издателем этой газеты накопляется серьезный долг в восемьсот рублей, кстати сказать, никогда Лескову не

---

* «Северная пчела», 1863, № 142, 31 мая.

** Стебницкий М. С людьми древлего благочестия. — «Библиотека для чтения», 1863, ноябрь, с. 6, 7.

уплаченный. Все это раздражает, оскорбляет, нервирует. Конечно, при большем самообладании кое от чего можно бы и удержаться. Мягкость и «толерантность» не были чертами натуры Лескова.

Так приблизительно идет по литературной линии с самого приезда.

Как бы в некоторое умаление невзгод и в ободрение духа нежданно-непрошенно приходит заманчивое предложение извне.

«Либеральный» министр народного просвещения А. В. Головнин заинтересовался вопросом об учреждении особых школ для детей раскольников. На заданный им специально приглашенному П. С. Усову вопрос — кого из сотрудников «Северной пчелы» можно было бы с успехом для дела привлечь к посещению огромных районов страны, заселенных раскольниками, к изучению на месте положения школьного вопроса в старообрядчестве, к составлению затем по этому делу обстоятельной записки, редактор газеты указывает прежде всего на П. И. Мельникова. В силу служебного положения Мельникова, чиновника Министерства внутренних дел, Головнин видит неудобство в его привлечении к выполнению задачи. Вторым Усов называет неслужащего Лескова. Министр приглашает последнего, объясняет ему предстоящую работу и просит составить план всей поездки.

21 апреля 1863 года Лесков представляет ему следующую записку:

«В течение предстоящего лета и осени я нахожу для себя возможным познакомиться с состоянием учебного вопроса в среде раскольников, живущих в северно-восточной полосе империи.

Я предполагал бы выехать из Петербурга в первых числах мая и возвратиться в октябре 63-го года.

В течение этого времени намерен быть в Твери, Мышкине, Угличе, Романове, Ярославле, Пошехонье, Костроме, Судиславле, Буе, Казани, Сарапуле, Ачинских скитах, Перми, Кунгуре, на Демидовских и Тагильских заводах и в Тюмени.

Тюмень будет самым дальним пунктом моей поездки.

На обратном пути я буду в Златоусте, на Иргизе, в Вольске, Балашове, Саратове, Хвалынске, Самаре, Сызрани, Симбирске, Алатыре, Палте, Моршанске, на Мещере, в Зарайске, Коломне и, наконец, через Москву возвращусь в Петербург.

Таким образом я буду в состоянии ознакомиться с целою восточною полосою раскола трех наиболее распространенных толков (поповщина, федосеевщина беспоповщинская, молоканство) и надеюсь дать определительные ответы по вопросам, интересующим г. министра народного просвещения.

Для совершения этого путешествия мне нужны деньги и вид, гарантирующий меня от подозрительности должностных лиц.

По моим соображениям, денег мне нужно около десяти рублей в сутки, считая здесь прогоны, содержание, необходимые издержки на поддержание знакомств и все другие непредвидимые расходы.

При выезде я желал бы получить вперед на два месяца, то есть около шестисот рублей серебром.

Видом, способным защитить меня от неприятных случайностей, встреченных, например, гг. Якушкиным и Рыбниковым *, я разумею открытую бумагу на мое имя, на министерском бланке и, если можно, за подписью г. министра. Бумагою это прошу, на всякий случай, определительно указать предмет поручения, возлагаемого на меня г. министром, — и только. — При общей склонности видеть в каждом путешественнике, интересующемся народными делами, человека опасного, политического агитатора, такая бумага делается необходимою даже для человека, далекого от мысли об агитации.

Плана своим действиям я изложить не могу. Опыт, которым я руководствуюсь, обдумывая предложенную мне поездку, давно показал мне всю несостоятельность заранее уложенных планов. Я буду вести мое дело, применяясь на всяком месте к обстоятельствам и характерам лиц, с которыми должен буду придти в столкновение.

Я только смею ручаться, что доверие, которым меня удостаивает г. министр, ничем компрометировано не будет, что сведения, которые я найду, не будут искажены и сделанные из них выводы будут свободны от всякого пристрастия и всякой предвзятой идеи.

Во время дороги я буду вести журнал, вроде журнала, напечатанного мною о моей поездке в Литву; а о месте моего пребывания всегда будут сведения у г. редактора «Северной пчелы».

---

* Якушкин и Рыбников во время своих этнографических странствий по России неоднократно арестовывались местными властями по подозрению в революционной пропаганде. — *А. Л.*

Лесков окрыляется широтой задачи. Как год назад, впереди опять интереснейшие впечатления, смена лиц, картин, наблюдений, неисчерпываемый материал для жизнью дышащих корреспонденций в столичные газеты. Что может быть увлекательнее для писателя с кипучим темпераментом, ненасытимой любознательностью!

27 апреля Головнин отвечает писателю вполне во всем благоприятным письмом, но раньше, чем его успевают набело переписать, приходится отменить его отправку по назначению: выясняется необходимость соблюдения крайней экономии до намеченного преобразования министерства. Лесков приглашается пожаловать к министру 1 мая, в среду, к десяти часам утра. Головнин с сожалением объявляет ему, что вынужден воздержаться от выполнения совсем уже предрешенного было плана. Он так и остался без выполнения *.

Однако, связанный экономическими соображениями, министр не отказывается от принципиального решения собрать хотя бы и значительно меньший, но однородный материал по заинтересовавшему его вопросу. На этот раз им намечается другой, более краткий и ближний маршрут обследования. Пока идет подготовка выполнения нового плана, писатель публикует бесподписную предпосылку:

«РАСКОЛЬНИЧЬИ ШКОЛЫ»

Стоит только догадаться
За дело *просто* взяться.

Говорят, что г. министр народного просвещения пришел к мысли, достойной духа настоящего времени. Он намерен содействовать учреждению в раскольничьих обществах первоначальных школ в духе, не противном традициям «людей древлего благочестия» и сообразном с требованиями здравой педагогии. Приветствуем эту благую мысль и от всей души желаем одолеть трудный вопрос соглашения раскольничьих традиций с воззрениями педагогии. Говоря, что это трудно, мы вовсе не считаем этого вопроса невозможным. Что раскол нимало не страшен государству — это теперь ясно, как солнце. Толки,

---

* Штрайх С. Я. Неизданное письмо Н. С. Лескова об исследовании раскола. — «Вестник литературы», 1917, № 1.

пугавшие власть расколом, росли от незнакомства с духом и домогательствами раскола. Теперь раскол высказался сам. Стоит найти людей, способных познакомить нас со всеми подробностями раскольничьей педагогии, и она, вероятно, станет страшна менее прошлогоднего снега. Стоит послушать самих раскольников, самих их вызвать на указание путей к соглашению их педагогических желаний с желаниями правительства и сделать дело как можно проще и согласнее с желаниями тех, для кого оно делается. Как бы ни обучен был молодой раскольник, он будет ближе своего отца к современной среде и получит большую охоту к знаниям, в которых лежит сила, долженствующая непременно одолеть заблуждения, устоявшие против петровских крючьев, кнута и плахи» *.

При первой к тому возможности Головнин предлагает Лескову поездку, в прежних же целях, в Псков и Ригу.

10 июля он пишет рижскому генерал-губернатору Ливену, прося его облегчить Лескову возможность ознакомиться с положением школьного вопроса в местном раскольничестве.

12 июля Лесков выезжает в Псков, а оттуда затем направляется в Ригу. В результате всей этой поездки появляется обстоятельная записка «О раскольниках города Риги преимущественно в отношении к школам. 1863». Ниже текста стоит: «Николай Лесков. 23 сентября 1863 г. С.-Петербург» **. Напечатана она была по распоряжению Головнина в количестве шестидесяти экземпляров, для раздачи министрам и членам Государственного совета. Автор считал, что напечатано восемьдесят экземпляров. Сам он получил от Головнина один, заботливо переплетенный, вернее всего самим Лесковым, в

---

* «Библиотека для чтения», 1863, май, отдел «Хроника России», с. 89.

** Упоминается А. Е. Бурцевым в «Описании редких книг», 1897, ч. III, № 618. Переиздана им же полностью в т. V «Словаря редких книг и гравированных портретов», СПб., 1905, № 1932, с. 45—98. См. у Лескова: «Пропавшая книга о школах». — «Русский мир», 1874, № 56, 28 февраля; «Народники и расколоведы на службе». — «Исторический вестник», 1883, май. Указания, данные об этой записке в журнале «Книжные новости», 1937, № 18. — сплошь неверны[71]. Ср. Фаресов, с. 163. См. еще у Лескова: «Искание школ старообрядцами». — «Биржевые ведомости», 1869, № 28, 30, 37, 43, 44, 48, 65, 71, 89, 102, 134.

красный сафьян и хранящийся в уцелевшей до наших дней части его библиотеки *[72].

«Мысль, достойная духа времени», не была разделена министром внутренних дел графом П. А. Валуевым и многими из государственных мужей, равно как и влиявшим на многие умы М. Н. Катковым, отстаивавшим в «Московских ведомостях» ту точку зрения, что раскол «можно только терпеть», чем и достаточествует ограничить весь «либерализм правительства» к нему.

Борьба становилась непосильной. Начинание Головина получить дальнейшее развитие не могло. Оппозиция держалась взгляда, что пусть, мол, раскольники возблагодарят за невозвращение для них кнутов и плах и условий, ведших к самосожжениям, последнее из которых, к слову сказать, приключилось в Олонецкой губернии всего три года назад.

Вопрос снимался прочно, а с тем заканчивалось и сотрудничество Лескова с Головниным.

Из-под пера Лескова идет ряд статей и небольших рассказов, встречаемых то холодно, то осудительно.

Сближения не видно даже с когда-то не предубежденными органами. Требуется «литургия мужику» (Горький) [73], а не успевший еще завоевать положения новичок в литературе упрямо рисует то, что знает, и таким, каково оно есть. Он знает, что восстанавливает против себя вершающих судьбы пишущих, и не сворачивает, заходя в пылу борьбы дальше, чем прощалось. Натура!

Второй крупной беллетристической его работой был рассказ «Житие одной бабы (Из гостомельских воспоминаний)». В дальнейшем, при предположении переиздать его, он был назван «Амур в лапоточках <...> **. И тут не было литургии.

Что же делать, если дух горит, ни с чем не считаясь, кроме собственных велений, неукротимых и бесстрашных.

С января 1864 года в журнале, издававшемся Боборыкиным, идет первый большой роман М. Стебницкого — «Некуда».

Покойный А. А. Измайлов в своем незаконченном и неопубликованном критико-биографическом труде о Лескове (Пушкинский дом, Ленинград) дал обоснованное

---

* Архив А. Н. Лескова.

** «Библиотека для чтения», 1863, июль — август; «Повести, очерки и рассказы М. Стебницкого», т. I, СПб., 1867, с. 2.

определение этому произведению. «Книга мести и вызова».

Первая часть охватывала события, развертывавшиеся в буколике глухой провинции, и прошла без нареканий.

С переносом во второй части действия в Москву оценка направления романа и самых приемов письма начинает меняться. В прогрессивных кругах вызывают осуждение портретность персонажей * и явная памфлетность романа.

С каждой новой книжкой журнала раздражение растет. Оскорбляет усиливающийся шарж в изображении лиц, за некоторыми из которых признавались определенные заслуги, право на иное к ним отношение.

Одновременно «отомщевательность» опьяняет автора. Не считаясь ни с чем, он все сильнее отдается стремлению как можно шире и злее посчитаться поголовно со всеми, кто представляется ему сколько-нибудь виновным в досаждениях, причиненных ему в пожарный его просак или причастных больной интимной дрязге, разыгравшейся в 1861 году у «Сальясихи».

Роман, который мог осветить сущность новых общественных движений, настроений, исканий, показать искренно отдавшихся им только пристегнувшихся к ним литературно-общественных деятелей, начал разбиваться на мало связанные между собой, случайные и бессодержательные эпизоды, заполняясь даже пространными раскрытиями личных семейных передряг. Мельчая в замысле, расползаясь в строении, он не удерживался уже и на линии вкуса. Появляются подчеркнуто вульгаризованные заглавия отдельных глав: «Углекислые феи у Чистых прудов», «Монтаньяры со Вшивой горки», «Скоропостижная дама» и т. д.

Во всем, вплоть до этих мелочей, сказывается, что автора, как он часто говорил, «ведет и корчит», что он теряет самообладание.

В результате — неизбежные «аффектация и пересол». Отдельные художественно выдержанные главы резче оттеняют порочность остальных. Назревает новая буря.

---

* Райнер — А. И. Бенни, Белоярцев — В. А. Слепцов, Пархоменко — А. И. Ничипоренко, маркиза де Бараль — Евгения Тур (графиня Е. В. Сальяс де Турнемир де Турнефор), Оничка — ее сын Е. А. Сальяс, углекислые феи — сестры Новосильцевы, Завулонов — А. И. Левитов, Бертольди — княжна Макулова, Лиза Бахарева — М. Н. Коптева, Сахаров — Е. М. Феоктистов.

Сперва начинают жалить юмористические журналы. Дается ядовитый совет: «Г. Стебницкому. Оставить писание романов, наводящих уныние и сон, заняться изучением брандмейстерского искусства и писать статьи об одних пожарах» *.

Полгода спустя по адресу боборыкинского журнала появляется не лишенная соболезновательной грусти заметка: «А нам некуда, мы все так же по-прежнему...» **

Но это пустяки. А вот младший сотоварищ по работе в «Русской речи» у «некудовской» героини «маркизы де Бараль (читай — графини Сальяс), в те времена прогрессивный журналист А. С. Суворин, выступает с ужасной статьей, грозясь, в качестве «знакомого г-на Стебницкого», написать и опубликовать «пропущенные» автором романа дополнительные главы из «Некуда». Он обещает дорассказать в них нечто чрезвычайно значительное из жизни некудовского «доктора Розанова» (читай — самого Лескова) ***.

Такая угроза должна была цепенить душу! Наступают дни трепетного ожидания. В силу чего, по каким побуждениям, по чьему воздействию всенародно обещанные главы, при всей их публицистической заманчивости, остаются ненаписанными или во всяком случае неопубликованными — загадка [74].

Опасность миновала. У Лескова отлегает на душе. Может быть, под влиянием только что пережитых тревог более поздние главы оказываются значительно утишенными.

При всей остроте осуждения романа прогрессивными кругами **** дело, казалось, могло еще обойтись без тяжелой драмы, особенно после невыполнения Сувориным его убийственного плана. Требовалось суметь отмолчаться на пока еще терпимые выпады. На это не хватает воли. На собственную пагубу Лесков, на последнем поклоне, портит все дело.

В декабрьской книжке журнала, в которой кончался печатанием весь роман, он выступает с как нельзя более ненужным, почти истерическим, по существу ничего не объяснявшим и, что, может быть, всего хуже, не кажущимся искренним «Объяснением».

---

* «Оса», 1864, № 18, 16 мая.

** Там же, № 39, 14 ноября.

*** «С.-Петербургские ведомости», 1864, № 200, 11 сентября.

**** См., напр.: Зайцев В. Перлы и адаманты русской журналистики. — «Русское слово», 1864, № 6, отд. II, с. 47—50 и др.

Опрометчиво и бездоказательно в нем полностью отрицается памфлетность романа и портретность выведенных в нем лиц от начала его до конца.

Рядом с приемлемыми указаниями на то, что вообще в литературе «нет ни одной повести, ни одного рассказа, в котором не встречалось бы лиц, которых многие видели, знают и узнают в печати», что, мол, бывало, и не раз бывало в русской литературе, что такое сходство казалось очень сквозным и подходило к людям, которых узнавал не одни какой-нибудь местный кружочек, а целые города, но и это литературными судьями не считалось проступком», выдвигались слишком рискованные утверждения: «Все лица этого романа и все их действия есть чистый вымысел, а видимое их сходство (кому таковое представляется) не может никого обижать, ни компрометировать».

Дальше, с подсказанною раздраженностью неразборчивостью, сыпались по адресу живых и мертвых напоенные ядом намеки, и, наконец, бросались уже совсем запальчивые вызовы «гнезду грачей, кричащих громче смысла».

Клокочущее неукротимым гневом «Объяснение», уличавшее в чем-нибудь и задевавшее всех, кто только вспомнился и подвернулся под горячую руку его автора, ошеломило.

«Акция» взывала к возмездию. Оно пришло. Возможно, даже превзойдя меру содеянного.

Боборыкин, хорошо знавший всю подоплеку романа, предвидя взрыв большой силы, не упустил оградиться от «Объяснения»:

«Не имея права отказать автору, мы сообщаем его объяснение, хотя далеко не разделяем высказанных в нем мнений. Многочисленные намеки объяснения оставляем на полной ответственности автора. *Ред.».*

Откликаясь на «Объяснение», Д. И. Писарев завершает свое выступление беспощадным приговором и властным предостережением всей русской журналистике: «Меня очень интересуют два вопроса: 1) Найдется ли теперь в России, кроме «Русского вестника», хоть один журнал, который осмелился бы напечатать на своих страницах что-нибудь, выходящее из-под пера Стебницкого и подписанное его фамилией? 2) Найдется ли в России хоть один честный писатель, который будет настолько неосторожен и равнодушен к своей репутации,

что согласится работать в журнале, украшающем себя повестями и романами Стебницкого?» *[75]

«Это было почти убийство» — определит поступок Писарева Горький полустолетием позже **.

Через четыре года после Писарева скажет свое слово и Салтыков. В своей рецензии о первых произведениях Лескова он прозорливо, безпристрастно и твердо решает, что консервативность воззрений романа «Некуда» не отличается устойчивостью, признавая тут же в «одиозном» Стебницком несомненные «наблюдательность» и дарование.

Это уже был суд, а не сгоряча вынесенный смертный приговор.

Дав в общем отрицательную оценку роману, Салтыков тут же зло говорит о «фарисействе», с которым в либеральной печати Лескова «ругали огулом «за все», ругали сплеча, кратко, но сильно, даже с каким-то соревнованием, точно каждый спешил от своего усердия принести свою посильную лепту в общую сокровищницу и только боялся, как бы не опоздать к началу» ***[76].

Личное жалит памятливо.

Многие из современников отмечали в своих воспоминаниях «фотографичность» большинства персонажей «Некуда», как и описываемых в нем событий, подтверждая тем самым достоверность последних. Они поясняли, что в момент публикации романа раздражали и возмущали все-таки не столько эти стороны произведения, как общий его тон и приемы письма ****[77].

Перешагнув на шестой десяток лет, Лесков в не изданной до сей поры интереснейшей статье «О шепотниках и печатниках» с неослабевающей болью в сердце остановился на происшедшем с ним семнадцать лет назад.

«Двадцать лет кряду <...> гнусное оклеветание <шпионом. — *А. Л.*> нес я, и оно мне испортило немногое — *только одну жизнь...* Кто в литературном мире не знал и, может быть, не повторял этого, и я ряды лет лишен был даже возможности работать... И все это по поводу

---

* «Русское слово», 1865, № 3.

** Горький М. Несобранные литературно-критические статьи. М., 1941, с. 87.

*** «Новые книги». — «Отечественные записки», 1869, апрель, № 7. Авторство Салтыкова установлено Н. Яковлевым.

**** См., напр.: «За полвека» Е. И. Козлининой. М., 1913; «Записки» Е. И. Жуковской, с комментариями К. И. Чуковского. Л., 1930.

одного романа «Некуда», где просто срисована картина развития борьбы социалистических идей с идеями старого порядка. Там не было ни лжи, ни тенденциозных выдумок, а просто *фотографический отпечаток* того, что происходило. В романе даже самое симпатическое лицо есть *социалист* (Райнер, которого я писал с Арт. Бенни). Ныне князь Бисмарк говорит, что с социалистами кое в чем надо считаться[78], а я тогда показывал живым типом, что социалистические мысли имеют в себе нечто доброе и могут быть приурочены к порядку, желательному для возможно большего блага возможно большего числа л ю д е й. — В литературном мире, однако, было сложено, что роман этот «писан по заказу III отделения, которое заплатило мне за него большие деньги». Это испортило все мое положение в литературе, а так как у меня, кроме литературы, никаких других занятий не было, то это мне *испортило жизнь на целые двадцать лет.* Сбросить гнусную клевету не было никакой возможности, потому что об этом *только говорили,* а не печатали... В печати ограничивались намеками, вроде намеков кн. Мещерского об усопшем митрополите Макар и и, — будто он «церкви нелюбезен»... Обо мне печатали вроде того, что «это, пожалуй, хорошо, но *пахнет доносом»*[79]. Напрасно я ждал и напрасно жду, чтобы кто-нибудь имел благородство и великодушие *напечатать* то, что говорилось обо мне по поводу «Некуда» и так и остается на мне клеветою не разъясненною и не смытою. А я бы считал это большим благодеянием, потому что на открытое обвинение мне было бы отрадно и легко рассказать историю печатания этого романа, пока живы свидетели его появления. Но один из них, Н. Н. Вокобойников, уже сошел в могилу, а другой — П. Д. Боборыкин — хранит упорное молчание о том, как этот роман задумывался и писался и какие он мне принес суммы... Такое дело, как оправдание человека, которого напрасно оклеветали и г у б и л и, — стоит, как видно, выше нравственных принципов и потребностей Петра Дмитриевича, которому я *верил,* которым был склонен к писанию *«Некуда»* и который проводил его через цензурные затруднения, *не имевшие себе равных и подобных.* Роман марали и вычеркивали не один цензор (Де-Роберти), но три цензора друг за другом, и, наконец, окончательно *сокращал* его Михаил Николаевич Турунов, нынче престарелый сенатор, стоявший тогда во главе цензурного

учреждения в Петербурге. Это лицо, к преклонным летам и доброму прошлому которого я желаю относиться с полным доверием, конечно, не станет отрицать, что «Некуда» не только не пользовался никакою поддержкою и покровительством властей, но он даже подвергался *сугубой строгости.* Единственный и, к сожалению, *неполный* экземпляр, собранный мною из корректурных листов, может свидетельствовать, что роман «Некуда» выходил из рук четырех цензуровавших его чиновников *совершенно искалеченным...* Там вымарывались не места, а целые главы, и притом часто самые важные...» *

В июне 1882 года, когда Лесков стремился опубликовать эту статью, живы были еще два свидетеля рождения и всех затруднений с печатанием «Некуда» — Боборыкин и Турунов. Любая неточность, недостоверность или предвзятость в статье могла быть тотчас же ими указана и опровергнута. Суворин, в «Новом времени» которого представлялось по некоторым соображениям необходимым напечатать статью, нашел более спокойным воздержаться от этого **.

Горький не разделил «скоропалительности суждений» Писарева; в этом очень близок ему оказался и Чехов ***[80]. Оба они судили Лескова своим, несхожим с былым, судом. Пришел он не скоро. Для Лескова, у в ы, — посмертно. Каким целительным бальзамом явился бы он для всегда горевших ран Лескова! Шестидесятые годы не знали снисхождения к ошибкам, не отличая их от самых тяжких преступлений. Слишком острое было время.

Вспоминая его, Лесков всегда взволнованно говорил: «Здесь человека берегут, как на турецкой перестрелке!» ****

В 1881 году, призабывая или пренебрегая уже собственным «объяснением» 1864 года, Лесков дает литературному, мало прежде знавшему его, корреспонденту, И. С. Аксакову, прелюбопытные показания:

«Некуда» частию есть исторический памфлет. Это его недостаток, но и его достоинство, — как о нем негде пи-

* Рукопись середины июня 1882 г. — ЦГЛА.

** См. находящиеся в связи с этой статьей статьи Лескова: «Усопший митрополит Макарий» и «Клевета «Нового времени» на усопшего митрополита Макария». — «Новое время», 1882, № 2256 и 2261, 11 и 16 июня.

*** Горький М. История русской литературы. М., 1939, с. 240 и письмо А. П. Чехова к А. С. Суворину от марта 1892 г.

**** Стихотворение Пушкина «Гусар».

сано: «он сохранил на память потомству истинные картины нелепейшего движения, которые непременно ускользнули бы от историка, и *историк непременно обратится к этому роману...»* В «Некуда» есть пророчества, все целиком исполнившиеся [81]. Вина моя вся в том. что описал слишком близко действительность да вывел на сцену Сальясихин кружок «углекислых фей». Не оправдываю себя в этом, да ведь мне тогда было 26-й год, и я был захвачен этим водоворотом и рубил сплеча» *.

Рубил сплеча — это вне спора. По позднейшей редакции второго его письма о русском обществе в Париже, как бы «исповедуя писаревский принцип: «бей направо и налево, — что уцелеет, то останется» **.

Определение собственного возраста времен «Некуда» умалено на семь-восемь лет как смягчающее обстоятельство. Случилось раз, в переписке с тем же Аксаковым, пораньше, сказать и еще сильнее: «Этого не было со мною даже при юношеском «Некуда» ***.

В прямом значении слова Лесков на тридцать четвертом году, конечно, не был юношей. Но вместе с тем по всем статьям он не был и подготовлен для большого литературно-полемического выступления. Еще за год до начала печатания романа он с нескрываемым раздражением по отношению к некоторым нигилиствовавшим писал:

«Это еще старые типы, обернувшиеся только другой стороной. Это Ноздревы, изменившие одно ругательное слово на другое... Такова в большинстве грубая, ошалелая и грязная в душе толпа пустых, ничтожных людишек, исказивших здоровый тип Базарова и опрофанировавших идеи нигилизма» ****.

Сбереглось еще одно откровение Лескова, хорошо обрисовывающее условия, в которых писался и выходил в журнале роман.

«Роман «Некуда» есть вторая моя беллетристическая работа (прежде его написан один «Овцебык»). Роман

---

* Письмо к И. С. Аксакову от 9 декабря 1881 г. — Пушкинский дом. То же сказано им раньте в письмо к А. С. Суворину от 3 февраля 1881 г. Хранится там же.

** «Повести, очерки и рассказы М. Стебницкого», т. I, СПб., 1867, с. 388.

*** Письмо к И. С. Аксакову от 23 апреля 1875 г. — Пушкинский дом.

**** «Николай Гаврилович Чернышевский в его романе «Что делать?». — «Северная пчела», 1863, № 142, 31 мая.

этот писан весь наскоро и печатался прямо с клочков, нередко писанных карандашом в типографии. Успех его был очень большой. Первое издание разошлось в три месяца, и последние экземпляры его продавались по 8 и даже по 10 р. «Некуда» вина моей скромной известности и бездны самых тяжких для меня оскорблений. Противники мои писали и до сих пор готовы повторять, что роман этот сочинен по заказу III отделения (все это видно из моих парижских писем) *. На самом же деле цензура не душила ни одной книги с таким остервенением, как «Некуда». После выхода первой части Турунов назначил г. Веселаго поверять цензора Де-Роберти. Потом велел листы корректуры приносить от Веселаго к себе и сам марал беспощадно целыми главами. Наконец, еще и этого показалось мало, и роман потребовали еще на одну «сверхъестественную» цензуру. Я потерял голову и проклинал час, в который задумал писать это злосчастное сочинение...

Роман этот носит в себе все знаки спешности и неумелости моей. <...> Покойный Аполлон Григорьев, впрочем, восхищался тремя лицами: 1) игуменьей Агнией, 2) стариком Бахаревым и 3) студентом Помадой. Шелгунов и Цебрикова восхваляют доднесь Лизу, говоря, что я, «желая унизить этот тип, не унизил его и *один* написал «новую женщину» лучше друзей этого направления» [82]. Поистине, я никогда не хотел ее унижать, а писал только *правду дня,* и если она вышла лучше, чем у других мастеров, то это потому, что я дал в ней место великой силе преданий и традиций христианской, или по крайней мере доброй, семьи [83]. *Н. Лесков-Стебницкий»* **.

Сколь безосновательны и вздорны были «пошептом распространявшиеся» клеветнические утверждения о писании романа по заказу Министерства внутренних дел и знаменитого Третьего отделения собственной его императорского величества канцелярии, свидетельствуют заключения об этом произведении, имевшиеся в секретных делах архива этого самого министерства.

---

* Здесь подразумеваются три «письма», помещенные первоначально в «Библиотеке для чтения», 1863, № 5, 6 и 9, а затем, в значительно шире развернутой редакции, включенные в издание «Повести, очерки и рассказы М. Стебницкого, т. I, СПб.. 1807.

** Подарочная надпись П. К. Щебальскому от 18 апреля 1871 г. на экземпляре «Некуда», изд. 1867 г. Библиотека Академии наук УССР, Киев; «Шестидесятые годы», с. 354.

«Наконец, роман *г. Стебницкого* (Лескова) — «Некуда» — уже просто, так сказать, фотографически наглядно представил самые *личности* этих молодых, школьнических заговорщиков, радикалов, нигилистов, их фаланстерии и разные проделки. Сколько-нибудь знакомые люди могут назвать даже по фамилии каждое действующее лицо романа г. Стебницкого, так много разоблачено в нем закулисных сторон этого кружка» *.

«Библиотека для чтения. С половины прошлого лета продолжается и еще не кончен роман г. Стебницкого (псевдоним), под заглавием «Некуда», имеющий претензию быть одним из капитальных произведений беллетристики. Сколько по вышедшим уже главам можно судить, автор имеет целью высказать всю сумасбродную несостоятельность попыток в России лжелиберальной партии вообще, а вместе с идеями опошлить и типы лиц, предающихся добросовестно или даже притворно развитию и осуществлению подобных утопий. К сожалению, автор не в состоянии совладать с этою задачею. Скучное изложение не окупается ни множеством действующих лиц, ни калейдоскопическим разнообразием вводимых характеров и положений. Русское брожение автор приводит с польскою интригою, которой в то же время придает характер чисто иезуитский. В этом месте романа есть сцены, живьем взятые из «Вечного жида» Сю» **.

Так судили органы охранения, по просьбе которых и с хорошей оплатой из их же сумм якобы писался и печатался роман.

Через несколько лет Лесков скомкает кое-как роман «На ножах» — апогей «злобленья». В почти смертно-канунные дни, в интервью, он скажет: «По-моему, это есть самое безалаберное из моих слабых произведений» ***.

Свалив с плеч этот «сокрушивший» его самого, опостылевший ему огромный роман, он делился своим настроением с Щебальским: «Я знаю себя и чувствую, что во мне собралось чего-то много, на что-то вроде «Некуда», и я хотел бы предаться этому с полною

---

* «Собрание материалов о направлении различных отраслей русской словесности за последнее десятилетие и отечественной журналистики за 1863 и 1864 гг.», СПб., 1865, с. 195.

** Приложение к отчету Совета министра внутренних дел по делам книгопечатания за 1864 г., с. 285—286.

*** «Новости и биржевая газета», 1895, № 49, 19 февраля.

отверженностью от жизни, которая здесь на Руси меня все беспокоит, тревожит и манит, волнует и злит...» *

Манило — чувство, как он говорил — «влеченье сердца». Опыт — оберег.

К сожалению, впрочем, не вполне: кое-что, опять-таки по влеченью непримиренного сердца, проникает и в «великолепную книгу» («Соборяне»), не умножив ее красот.

Всегда готовый вести неустанные разговоры и споры о «Некуда», но никогда почти не говоря о романе «На ножах», Лесков давал возможность сделать за ним не одну запись.

«У меня в «Некуда» Бертольди — при всех ее резкостях и экстравагантности — простое и честное дитя. Взяты нигилистические особенности, но не забыт характер человека. Так у меня даны Райнер, Лиза Бахарева, Помада, Бертольди, — и все они — живые люди. А там, где я, забывая это неизменное требование художественного творчества, рисовал одни нигилистические черты и игнорировал обрисовку души человеческой, там получались односторонние обличительные фигуры, марионетки, а не живые типы нигилистического склада. Это были «заплаты», и очень досадные и заметные» **[84].

У среднего напуганного нигилизмом обывателя роман, во всех его изданиях, имел значительный успех. В 1865 году он вышел отдельною книгой, сброшюрованной из оттисков журнала, в 1867-м — тяжеловесным фолиантом в издательстве М. О. Вольфа с аллегорически-примитивным рисунком-обложкой во весь лист. Выполнен рисунок был знаменитым «Михайлой» Микешиным, а *придуман* самим автором произведения. Об этом он, не без пренебрежительности к композиционной фантазии художников, засвидетельствовал лет двадцать спустя: «Они люди умные! Им и на «Некуда» виньетку я *сочинял,* им и Лейкин всегда *подает идеи...* Есть тоже о ком говорить!» ***

---

* Письмо от 7 октября 1871 г. — «Шестидесятые годы», с. 323.

** «Русские писатели о литературе», т. II, Л., 1939, с. 303.

*** Записка Лескова к А. Н. Толиверовой-Пешковой 1883 г. без даты. Пушкинский дом. Рисунок М. О. Микешина хранится в Русском музее в Ленинграде. Экземпляр с такой обложкой и подарочной надписью автора матери, М. П. Лесковой, — в архиве А. Н. Лескова[85].

Есть одна не допускающая невнимания деталь. Роману был дан, полный предопределения судьбы некоторых из героев его, вещий эпиграф: «На тихеньких бог нанесет, а резвенький сам набежит. *Пословица».* С издания 1867 года он раз навсегда снимается. Больше опираться на такую пословицу не хотелось.

Идеологические трудности и цензурные испытания, очерченные в подарочной надписи Щебальскому, находят существенное себе дополнение в одном, сравнительно много более позднем, исповедном письме Лескова:

«Потом соприкосновение с превосходными людьми освободительной поры, которые жаловались, что «им мешали Белоярцевы». Я верил, что без этой помехи было бы достижимо лучшее. В этом *моя ошибка,* но не злоба. Райнер *не* «маньяк», а мой идеал. Лиза — тоже. Она говорит <после его казни> — «с теми у меня есть общая ненависть, а с вами <родными> — ничего!» «Некуда» искалечено, как ни одно другое произведение. Кроме обыкновенной цензуры (Де-Роберти), корректуры марали Турунов, потом Веселаго и, наконец, чиновник из III отделения; а Вольф при 2-м издании так обошелся, что хотел восстановить вымарки, но вместо того потерял или, может быть, даже скрыл от меня мой единственный экземпляр, собранный из корректурных полос» *.

ГЛАВА 8

«ОТВЕРЖЕНИЕ ОТ ЛИТЕРАТУРЫ»[86]

В расцвете реакционно-«попятных» мероприятий Александра III[87] Лесков, охваченный тревогой за политическую настроенность русского общества и за будущее своей страны, горестно восклицает:

«Скучно, тяжко и вокруг столь подло и столь глупо, что не знаешь, где и дух перевести.

А через три дня, на утешения и советы корреспондента, отвечает:

«Вы пишете, что не надо падать духом, а надо бодриться. Слова нет, что это так, но ведь всякие силы знают усталость. Столько лет работы и уныния чего-нибудь да стоили душе и телу. Родину-то ведь *любил,* желал

---

* Письмо к М. А. Протопопову от 23 декабря 1891 г. — «Шестидесятые годы», с. 381.

ее видеть ближе к добру, к свету познания и к правде, а вместо того — либо поганое нигилистничание, либо пошлое пяченье назад «домой», то есть в допетровскую дурость и кривду. Как с этим «бодриться? <...> Все истинно честное и благородное сникло, — оно вредно и отстраняется, — люди, достойные одного презрения, идут в гору... Бедная родина! С кем она встретит испытания, если они суждены ей?» *

И вспоминаются слова Горького: «Каждый его герой — звено в цепи людей, в цепи поколений, и в каждом рассказе Лескова вы чувствуете, что его основная дума не о судьбе лица, а о судьбе России» **.

В одном «открытом письме» Лесков подчеркивал, что «всегда нуждался в живых лицах», которые «овладевали» им, что «в основу своих произведений «клал действительные события» и что именно так «по преимуществу» написано «Некуда». Дальше говорилось: «Вы знаете и многим известно, что этот роман представляет многие действительные события, имевшие в свое время место в некоторых московских и петербургских кружках. Я терпел самые тяжелые укоризны именно за то, что *списал* то, что было... *Я ни к чему не тянул.* Я только или описывал виденное и слышанное, или же развивал характеры, взятые из действительности. Я даже действовал во вред той тенденции, которую мне приписывают» ***.

Настойчиво отмечает он всегда, что дал в романе несколько нигилистов «чистой расы», каких не дал никто другой. Его возмущает, что их-то почему-то и не замечают, не ценят даже позднейшие критики. Почти негодующе он пишет М. О. Меньшикову: «Выводя низкие типы нигилистов, я дал, однако, в «Некуда» Лизу, Райнера и Помаду, каких не написал ни один апологет нигилизма. Это *нехотя* замечали мои клеветники; а вы этих лиц вовсе не отметили» ****.

---

* Письма к С. Н. Шубинскому от 17 и 20 августа 1883 г. — Гос. Публичная б-ка им. Салтыкова-Щедрина.

** Горький М. История русской литературы. М., 1939, с. 276.

*** «Варшавский дневник», 1884, № 266, 15 декабря. Вызвано статьями о Лескове, напечатанными в этой газете 19, 20 и 24 ноября 1884 г., № 248, 249 и 252. — См.: «Шестидесятые годы», с. 314—315[88].

**** Письмо к М. О. Меньшикову от 12 февраля 1894 г. — Пушкинский дом.

С горечью и даже отчаянием проводит он в письме к В. А. Гольцеву параллель между наблюдавшимся когда-то и зримым ныне, указывая на явления, беспощадно отражаемые им в «Зимнем дне», вплоть до «соллогубовского сосьете» *[89].

В таких настроениях «по влеченью сердца» тянет снова писать, но уже не «некуда», а «не с кем»!

«Садись и пиши, — волнуясь, говорил он, — да годы уж не те. Второй раз не вынести всего, что оттерпел в силе лет».

Уже после смерти Лескова стали слышаться голоса, что особо отягчающей ответственности его, — по сравнению с авторами некоторых других, одновременно с «Некуда» появлявшихся и довольно безобидно прошедших, романов, — пожалуй, и не установить. Говорилось, что внешне в романе «все было как будто правдиво, яд клеветы шипел только в тоне изложения да в каких-то неуловимо скользких à part между строк».

До исхода лет, почти в предощущениях недальней уже «распряжки», не ослабевает в Лескове потребность во врачующих дух, не всегда непогрешимых, признаниях.

Газетному интервьюеру больной и сильно остарелый писатель удостоверяет:

«Первый свой серьезный труд — «Некуда» — я написал, повинуясь какой-то органической потребности протестовать против злоупотреблений идеею свободы, что тогда практиковалось многими. Второй — «Обойденные» — появился в Париже, куда я уехал от досаждавшего мне шума, который поднял «Некуда» **.

В не предназначавшихся к немедленному опубликованию беседах не отвергались и некоторые личные промахи:

«Я, конечно, мог изобразить шестидесятые годы неумело и бестактно. Ошибки были неизбежны, но я не радовался им, как нынешние, и не гордился ими... ***

Не посягая на литературно-общественный анализ романа, трагически сказавшегося на писательской судьбе Лескова, я ставил своей задачей осветить, как судил о нем сам автор.

---

* Письма от 20 декабря 1891 и 10 мая 1894 гг. — «Памяти В. А. Гольцева». М., 1910, с. 250, и «Голос минувшего», 1916, № 7-8, с. 409. См. ниже, ч. VI, гл. 11.

** «Петербургская газета», 1894, № 326, 27 ноября

*** Фаресов, с. 60, 66, 67.

Подменять Лескова вольным пересказом собственных его толкований и показаний или стремиться к слишком большому их сокращению я не почел себя вправе.

Напротив, я полагал своею обязанностью не считаться даже с возможностью некоторых полуповторений, а может быть, и длиннот.

Я заботился всего больше об одном: возможно бесспорнее иллюстрировать, как определял на протяжении всей своей жизни литературно-историческое значение своего романа его автор.

Менялись времена и настроения. Менялись и люди. Многие из ярых врагов сошли в могилу. Старел Лесков, последовательно становясь «известным», «уважаемым», «маститым»...

Зло пущенное присловье — «унизиться до Стебницкого» — забыто. Он давно «прощен» большею частью критики. Даже последняя «правоверная нигилистка» Цебрикова дает ему индульгенцию за «Полуношников». Он не только признан, но и признан передовыми журналами.

Все неослабно и до боли остро помнит сам Лесков.

Возникает вопрос о публикации нового, еще только пишущегося романа «Чертовы куклы», кстати сказать, в самом же начале печатания снятого самим автором *. Совсем недавно еще как бы сильно опережавшая Лескова в левизне, «Русская мысль» уже успевает к этому времени приучить былого Савла считаться с ее непостижимой робостью перед цензурой. Особенно страшными ей в этом отношении представляются именно вещи Лескова.

Лескову по началу его новый роман представляется цензурно невинным. Однако живо помнятся страхи редакции в отношении его произведений, посылавшихся ей ранее. Чтобы успокоить ее, одному из трех ее столпов, не без горькой шутливости, пишется, многоценное для обрисовки собственного настроения Лескова, признание:

«Глубоких или «проклятых» вопросов нет вовсе. «Много бо пострадах их ради» **.

«Некудовская» катастрофа в своей сокрушительности и бесповоротности писаревского приговора неизмеримо превзошла первую — «пожарную».

---

* «Русская мысль», 1890, № 1.

** Письмо к В. М. Лаврову от 14 июня 1889 г. — «Печать и революция», 1928, кн. 8, декабрь, с. 38.

Окончательно утрачивались положение и связи в либерально-прогрессивных литературных кругах. Закрывались двери ряда журналов, изданий. Терялись друзья и знакомства. Обида жалила и терзала злее прежнего.

Умный и зоркий Катков, которого не миновали в свое время такие столпы литературы русской, как Тургенев, Л. Толстой, Достоевский, берет изгнанника противного лагеря на учет. Это ничего, что тот успел уже не раз достаточно зло обрушиваться на «Московские ведомости» *. Озлобленность и оскорбленность этого, несомненно, даровитого и горячего человека — прекрасный козырь в руках умелого игрока. Конечно, чтобы завербовать Лескова, придется, может быть, и подождать, не упуская его из поля зрения и наблюдения. А там — будет видно.

По началу писаревское заклятие жизненно не сказывается с такой силой, с какой было возвещено. В 1865 же году отдельно издаются два выпуска «С людьми древлего благочестия»; сброшюрованный из оттисков «Библиотеки для чтения» тот же роман «Некуда»; с сентября в «Отечественных записках» проходят «Обойденные», не лишенные противонигилистических выпадов. 17 марта запродается Вольфу второе, вышедшее в марте 1807 года, грузное издание «Некуда»; в апреле в «Отечественных записках» — почти свободная от счетов с нигилизмом «Воительница»; в июле запродаются Краевскому «Чающие движения воды» и т. д. Но вот 16 сентября скоропостижно умирает расположенный к Лескову С. С. Дудышкин. Это осложняет отношения с «Отечественными записками», так как с Краевским отношения никогда не были теплы и искренни. Однако журнал продолжает помещать статьи Лескова по театру, повесть «Островитяне». На 1867 год закрепляются в нем и театральные обозрения Лескова и его «Чающие», то есть будущие «Соборяне». Эта «романическая хроника» гневно изымается автором из редакции после апрельских его книжек. Разрыв с «Отечественными записками» сразу дает себя чувствовать. Замыслов много, а средства к воплощению их снижаются, да и заработок падает. Надо хотя на время обеспечить покрытие житейских нужд, чтобы целиком отдаться тому, к чему влекутся дух, помыслы, талант, чтобы что-то «совершить»!

---

* См., напр., «О литераторах белой кости». — «Русский инвалид», 1862, № 15, 20 января. Без подписи.

В поисках разрешения узлом завязывающихся затруднений Лесков принимает по-своему героическое решение — обратиться за ссудой к заведомо мало расположенному к нему Литературному фонду. Выше сил волнуясь, а вследствие этого и чрезвычайно сбиваясь с темы просьбы, выходя далеко за ее пределы, Лесков 20 мая 1867 года пишет председателю комитета фонда Е. П. Ковалевскому:

«Ваше превосходительство
Егор Петрович!

Этим письмом я обращаюсь в Литературный фонд с просьбою, для рассуждения о которой г.г. членам фонда нужно иметь более или менее подробные сведения; а потому я начну с изложения их и прошу вас выслушать меня. Я, нижеподписавшийся, Николай Лесков, известен в русской литературе под взятым мною псевдонимом «М. Стебницкий». Существую я исключительно одними трудами литературными. Начал я мои работы назад тому шесть лет в закрытых ныне *«Экономическом указателе»* и *«Экономисте»*[90] профессора Вернадского, где напечатан ряд моих экономических статей. Затем я писал критические и экономические статьи в *«Отечественных записках»*. Статьи эти частию подписаны моим полным именем «Н. Лесков», частию же буквами «Н. Л.», и, наконец, есть статьи так называемые редакционные, вовсе не подписанные. Год целый работал я в газете *«Русская речь»* Евгении Тур; писал в *«Современной летописи»* Каткова; потом два года кряду, во время так называемого нигилизма, писал передовые статьи в *«Северной пчеле»* у г. Усова. Год провел в Париже корреспондентом этой газеты. Потом, оставив публицистику, взялся за беллетристические работы, под псевдонимом «М. Стебницкий». В беллетристическом роде мною написано несколько мелких рассказов по разным изданиям; а также более крупные очерки *Овцебык* (напечатан в «Отечественных записках), *Леди Макбет Мценского уезда* («Эпоха»), *Русское общество в Париже* («Библиотека для чтения»), *Язвительный* («Якорь»), *История одного умопомешательства* и *Воительница* («Отечественные записки»), народная повесть *Житие одной бабы* («Библиотека для чтения»), роман *Некуда* («Библиотека для чтения» и два отдельные издания), роман *Обойденные* («Отечественные записки» и отдельное издание), повесть *Островитяне*

(«Отечественные записки» и отдельное издание). Наконец, в марте этого года я начал печатать в «Отечественных же записках» романическую хронику *Чающие движения воды.* Продолжение этого романа встретило препятствия, которых я не имею оснований скрывать от Литературного фонда, ибо с этим делом связана самая моя просьба.

Хроника *Чающие движения воды* мной была запродана в «Отечественные записки» в июле месяце прошлого, 1866 года, когда у меня была готова только одна первая часть. Продана она была покойному редактору «Отечественных записок» Степану Семеновичу Дудышкину по восьмидесяти рублей серебром за печатный лист. Словесными условиями между нами было положено, что редакция «Отечественных записок», пока я кончу роман, будет давать мне до нового года по 125 руб. в месяц, с тем что забранные мною деньги будут потом удержаны из моего гонорария. С. С. Дудышкин, как вам известно, в августе месяце прошлого года скончался. Внезапная кончина этого человека поставила меня в самые крайние затруднения, ибо я ничем никогда не договаривался с г. Краевским. В это время редактор «Всемирного труда» доктор Хан обратился ко мне с просьбою о сотрудничестве в открываемом тогда им журнале [91]. Я благодарил доктора Хана за его внимание и отвечал ему, что моя работа и мое время принадлежат уже другому изданию. Затем мы с г. Краевским не умели поразуметься. Доктор Хан, известясь об этом по литературным слухам, прислал ко мне товарища моего Всеволода Крестовского и литератора Н. И. Соловьева с предложением внести за меня г. Краевскому весь мой долг и заплатить мне за роман «Чающие движения воды» по 150 руб. за лист. Не соблазняясь ни на минуту выгодным для меня предложением, я не дал своего согласия доктору Хану, а написал об этом г. Краевскому, представляя это дело его великодушию. Г. Краевский, сообразив сделанное мне предложение доктором Ханом, известил меня через товарища моего литератора Е. Ф. Зарина, что он предлагает мне за роман по сто рублей за лист. Как это ни было невыгодно для меня потерять по 50 р. на сорокалистном романе, но я отклонил предложение доктора Хана и продолжал роман для г. Краевского. В декабре 1866 года мы положили начать мой роман не с генваря, а с марта, так как я его еще не совсем окончил, а в руках редак-

ции был роман г-жи Вельтман. В марте начали печатать мою хронику. Первые два куска первой части прошли благополучно. В третьем отрывке вдруг оказались сокращения, весьма невыгодные для достоинства романа. Мне, как и всем другим ближайшим сотрудникам журнала, было известно, кто сделал эти сокращения: их, келейным образом, производит в «Отечественных записках» один цензор и одно лицо Главного управления по делам печати. Этих чиновников г. Краевский уполномочил и просил воздерживать неофициальным образом его бесцензурный журнал от опасных, по его мнению, увлечений его сотрудников, и оба эти чиновника г. Краевскому не отказали в его просьбе. Все предназначаемое к печатанию в «Отечественных записках» посылается по заведенному ныне у этой редакции порядку на их предварительный дружеский просмотр, и они в две руки делают произвольные и самые бесцеремонные сокращения, точно так же, как это бывало в доброе старое время при предварительной цензуре. В числе этих сокращений бывают такие, которые не могут не приводить в ужас благонамеренного русского человека: таковы, например, известные нам, сотрудникам, сокращения замечательных статей о Прибалтийском крае [92]. Это поистине сокращения такого обидного свойства, что никто бы не поверил, что их делал русский человек; их мог сделать только заклятый враг русских интересов в Остзейском крае, барон-сепаратист или его форвальтер [93]. Но, однако, их делали не остзейские бароны.

Упоминаю о сокращениях, которые претерпела названная мною статья, не без цели. Они показали мне, что может случиться со всякой печатной вещию, которая прежде своего появления в нынешних «Отечественных записках» должна пройти чрез незримую, бесконтрольную предварительную цензуру упрошенных г. Краевским цензоров. Я сообщил г. Краевскому, что роман *«Чающие движения воды»* есть роман, задуманный по такому щекотливому плану, что с исполнением его нужно обходиться очень осторожно; что я имею в виду выставить нынешние типы и нынешние положения людей, *«чающих движения»* легального, мирного, тихого; но не желаю быть, не могу быть и не буду апологетом тех лиц и тех принципов и направлений, интересы которых дороги и милы секретным цензорам бесцензурного издания г. Краевского. Я написал ему (и мои товарищи и литературные

друзья знают это), что я не могу стерпеть никаких произвольных сокращений в этом романе и что если сокращения действительно окажутся необходимыми, то я прошу сделать их не иначе, как только с моего согласия, с предоставлением мне возможности по крайней мере залатывать ямы, открываемые негласными цензорами. При этом я добавил твердо и решительно, что если такое мое законное требование не будет удовлетворено, — то вынужден буду прекратить продолжение романа. Г. Краевский говорил об этом моем требовании литератору Зарину и другим, а характер моих предыдущих отношений к этому редактору не оставлял ему никакого права думать, что я не сдержу данного мною слова. Но несмотря на все это, в первой же следующей книжке (2-й апрельской), когда эта книжка уже была отпечатана, сброшюрована и послана к одному из негласных цензоров, удерживающих бесцензурный журнал г. Краевского от увлечений, мой роман подвергся еще большим помаркам. В силу этих помарок одно из лиц романа (протоиерей Савелий, в особе которого, по моему плану, должна была высказаться «чающая движения» партия честного духовенства) вышло изуродованным. Об этих сокращениях мне не дали знать, как я просил. Напротив, их от меня скрыли и начали перепечатывать и подверстывать книжку. Узнав об этом случайно, я простер мою просьбу о том, чтобы роман с сделанными сокращениями не печатали, а дозволили бы мне объясниться с цензуровавшим его негласным цензором, которого я надеялся разубедить в его опасениях за мое легкомыслие и вольнодумство. Не знаю и не ручаюсь, удалось ли бы мне достичь этого, но я надеялся, ибо и опытность и здравый смысл ручались, что вымаранные места совершенно позволительны. Но мне измаранной книжки не дали и объявили, что сокращения будут сделаны, ибо уже таков в «Отечественных записках» порядок, и номер выйдет. Мне оставалось одно средство защищаться — заявить в какой-нибудь газете, что роман выходит не в том виде, в каком он сдан для печати, и что он вдобавок выходит в свет почти насильно, против моего желания. Я не хотел сделать такого литературного скандала г. Краевскому, ибо, вследствие некоторых особенностей нрава и обычаев этого почтенного редактора, такие скандалы для него уже не редкость; а для публики они только открывают язвы нашей и без того много раз компрометированной литературной семьи.

Я ограничился одним исполнением моего обещания г. Краевскому, т. е. не дал более присланному им человеку оригинала, и рукопись романа остается у меня, пока я оправлюсь, обдумаюсь и найдусь, что мне с нею можно сделать, после начала романа в «Отечественных записках».

Возвращаюсь теперь назад к моей литературной деятельности.

По массе произведенных мною литературных работ, об объеме которых Литературному фонду нетрудно будет собрать сведения, ваше превосходительство и члены Фонда, вероятно, изволите придти к заключению, что я не гулял, а трудился, и трудился прилежно. Получал я гонорарий довольно хороший и, следовательно, мог бы перенесть нынешнюю беду мою. Но на мою долю, по несчастью, выпали самые странные и несчастливые случайности. Газета «Северная пчела» недодала мне *800* руб., мною заработанных; журнал «Эпоха», удовлетворив почти всех своих сотрудников, остался мне должен *150* р. «Библиотека для чтения» закрылась, оставшись мне должною *4950* рублей, и все это раз за разом, одно за другим. Долг на «Северной пчеле» я считаю безнадежным и не ищу его на г. Усове, в добросовестность которого глубоко верю, г. Достоевский и г. Боборыкин мне выдали векселя, срок которым давно минул. Векселя своего на г. Достоевского я не представляю, потому что литератор этот нынче, как говорят, сам в затруднительных обстоятельствах; а долг свой с г. Боборыкина я получу только осенью этого года, когда имение его по претензии гг. Печаткиных будет продано с аукционного торга. До тех же пор, пока последует это несомненное, но отдаленное получение, мне буквально нечего есть; у меня нет средств работать новой работы, которая бы меня выручала из беды, в которую меня поставил г. Краевский; мне нечем заплатить полутораста руб. за дочь мою, обучающуюся в пансионе Криницкой [94], и я не могу отдать 200 руб. долгу г. Краевскому, — что меня стесняет до последней степени.

Утомленный тяжкою работою по сочинению ныне погибшего романа, я тотчас же по его прекращении не дал себе ни минуты отдыха и сел за окончание два года назад начатой драмы *Расточитель.* Три акта этой пиесы готовы, — два остальные я надеюсь дописать к будущему

сезону; в покупщике на нее в журнал не сомневаюсь, в допущении на сцену тоже; но угрожающая привычка питаться, от которой до сих пор меня не отучила жизнь русского литератора, заставляет меня, отложив листы сочиняемой драмы, писать на этом листе к вашему превосходительству это письмо с просьбою помочь мне. Я прошу Литературный фонд обеспечить мне пять месяцев жизни, ссудив меня пятьюстами руб. сереб., которые обязываюсь заплатить к новому году с десятью процентами в пользу сумм фонда. Средства для отдачи этого долга я имею: эти средства — моя драма и получение долга с боборыкинского имения, назначенного в продажу; средства же не умереть с голода и продолжать работу без такого пособия Фонда решительно не вижу.

Ваше превосходительство будете бесконечно милостивы, если предложите мою просьбу членам Фонда в одном из ближайших заседаний и изволите распорядиться почтить меня уведомлением о резолюции, какой она удостоится.

С высоким уважением к вам имею честь быть
вашего превосходительства
покорнейшим слугою

Николай Лесков
(М. Стебницкий)».

22 мая состоялось очередное заседание комитета в составе: председателя Е. П. Ковалевского и членов: П. В. Анненкова, А. Д. Галахова, П. П. Гаевского, К. Д. Кавелина, М. М. Стасюлевича, Б. И. Утина и С. П. Щепкина.

Вынесено следующее постановление:

«8. Читано письмо Н. Лескова (М. Стебницкого) к председателю Общества о выдаче ему ссуды в 500 руб. Г. Лесков начал свою литературную деятельность в «Экономическом указателе» и «Экономисте», был потом в течение года сотрудником «Русской речи», писал в «Современной летописи» и в «Северной пчеле» (под редакцией Усова), помещал рассказы и повести в разных периодических изданиях и особенно известен двумя романами, напечатанными первоначально в «Библиотеке для чтения» под редакцией Боборыкина и в «Отечественных записках» и вышедшими потом отдельными изданиями. В последнее время он начал печатать новый роман в «Отечественных записках», но разошелся с редакциею и временно находится в весьма стесненном положении.

Комитет, находя, что ссуда не может быть выдана г. Лескову, так как ссуды выдаются лишь за поручительством членов Комитета, желавших же принять на себя поручительство за г. Лескова в Комитете никого не оказалось, но имея при этом в виду, что было бы справедливо оказать некоторое пособие автору, *определил:* в ссуде отказать, а относительно пособия поручить предварительно П. П. Гаевскому собрать сведения о положении г. Лескова».

День вручения Лескову этого постановления неизвестен. Ответ на него характерен и быстр:

Ваше превосходительство
Егор Петрович!

П. В. Анненков известил меня, что просьба моя о заимообразной ссуде из Литературного фонда удовлетворена не будет; но что Комитет поручил г. Гаевскому посетить меня и осведомиться о моем положении, дабы потом подать мне некоторое безвозвратное вспоможение.

Не имея способности принимать от кого бы то ни было безвозвратных пособий, я тем более далек от желания получить их от членов русского литературного общества, которое отозвалось, что оно меня не знает и в кредите мне отказывает. Прошу ваше превосходительство передать г. Гаевскому мою просьбу, чтобы он не утруждал себя посещением, которого я не приму; а просьбу мою о ссуде считать не требующею никаких последствий.

Я уверен, что вы не изволите встретить препятствий к тому, чтобы о ходатайстве моем в отчетах Фонда не упоминалось даже намеком, и прошу вас принять засвидетельствование моего отличного к вам почтения.

Н. Лесков
(М. Стебницкий)».

26 мая 67 г. СПб.» *.

А пока Лесков горько и едко жаловался Фонду на Краевского, запрещается «Современник», и, с Некрасовым и Салтыковым «во челе», оживают на новом курсе «Отечественные записки».

Надо спешить с «Расточителем» и, не чинясь, печатать его, как и полемические и театральные статейки,

---

* «Дела Литературного фонда 1867 г.», т. V и XVIII. — Гос. Публичная б-ка им. Салтыкова-Щедрина.

хотя бы в мало заманчивой и едва ли прочной «Литературной библиотеке» * Ю. М. Богушевича.

Кругом все какое-то шаткое, мелкое, бесперспективное, какие-то, по лесковскому речению, «трень-брень с горошком» или «pêle-mêle», вздор!

Но истово литераторский темперамент превозмогает трудности.

1 ноября 1867 года на сцене Александринского театра, в бенефис К. И. Левкеевой, премьера — лесковский «Расточитель», а 24 декабря 1868 года, в бенефис Чумаковской, он ставится на Малом театре в Москве. В одной из заметок пьеса глумливо переименовывается в «Раздражитель» **.

Влиятельная пресса тех лет почти сплошь отнеслась к пьесе отрицательно ***. Хулы слышалось много. Беспристрастного суда не было [95].

Оценка публики была совершенно иная, и драма прошла за сезон шесть раз. По-тогдашнему это был почти успех.

Директор императорских театров С. А. Гедеонов предсказывал ей десять лет жизни. Она не сходила с провинциальных сцен полвека и шла еще в 1927 году ****.

Старый и образованный актер М. И. Писарев в начале 1887 года, за завтраком у Лескова, говорил мне о ней как об «актерской пьесе», в которой «в каждой роли есть что играть». П. П. Гнедич называл ее «превосходной вещью» *****, А. Блок ввел в репертуарный план ****** Большого драматического театра.

Непосредственно в постановочный период Лесков натерпелся с нею до зла горя всевозможных «терзательств» и интрижных козней.

Одной из александринских актрис, успокаивавшей и ободрявшей его в этих жестоких передрягах, он со всей

---

* «Литературная библиотека», 1867, июль, кн. 1 и 2.

** «Будильник», 1867, № 50, 29 декабря.

*** «Искра», 1867, № 42 и 1868, № 9; «Сын отечества», 1867, № 257, 4 ноября; Незнакомец. Разное. — «С.-Петербургские ведомости», 1867, № 306, 5 ноября; «Петербургский листок», 1867, № 164, 4 ноября, и др.

**** «Вечерняя Красная газета», 1927, № 118/1436.

***** «Книга жизни», Л., 1929, с. 173.

****** Блок А. Заметки, связанные с работой в Большом драматическом театре, 1920, апрель. — Полн. собр. соч., т. XII. Л., 1936, с. 267.

горячностью выражает искреннейшую благодарность на своей фотографической карточке:

«Марье Михайловне Александровой на память о том, как она мне сказала доброе слово, когда меня общим собором убивали бесталанные артисты и бесчестные интриганы: «Болезнь сия да не будет к смерти, но к славе божией» и вашей — милейшая из душ, которую я зазнал за изнанкою Александринского занавеса. *М. Стебницкий»* *.

С какими зложелательствами приходилось соприкасаться за этим занавесом, может свидетельствовать, например, дышащее ненавистью письмо всепризнанно недаровитого актера Бурдина к Островскому, в котором он приходит в негодование от одной мысли о возможности назначения Лескова режиссером Александринского театра **[96].

Каков же был общий результат постановки «Расточителя» для его автора? Может быть, более неблагоприятный, чем может показаться сначала. Неопытный, но несомненно талантливый автор первой написанной им драмы был сразу же дружно, пожалуй, с преступным легкомыслием, «простужен» критикою. Первый драматургический блин прошел комом. Это подрывало веру в свои силы.

Года два спустя ему как-то приходит на мысль написать, на этот раз, видимо, легонький, сценический памфлетец на биржевых пройдох, на как грибы множившиеся, дутые, как мыльные пузыри лопавшиеся, разорявшие доверчивых вкладчиков банкирские дома и конторы. Измыслено было пьеске и хлесткое название: «Голь, Шмоль, Ноль и компания». Мелькнули о ней и оповещения в газете, да, видать, раздумалось ***. Не осталось ни следа, ни хотя бы схемки [97].

В более поздние годы два-три раза что-то иногда задумывалось, но дальше начаточных набросков да перечня действующих лиц дело не шло. Драматург в Лескове был потерян. Велика ли оказанная в этом отношении заслуга господ Сувориных и прочих старателей злого вышучивания «Раздражителя»?

---

* Архив А. Н. Лескова.

** «А. Н. Островский и Ф. А. Бурдин. Неизданные письма». М., 1923, с. 74.

*** См. театральные заметки в «Биржевых ведомостях», № 234 и 274, 29 августа и 9 октября.

Так от «Некуда» идет вообще не критика и не полемика, а прямая свара:

«Милый кавалер», «темная личность», — кричит по адресу Лескова на столбцах «С.-Петербургских ведомостей» Суворин.

«Известный академический скандалист», — бросает ему в ответ Лесков, отмечая в нем «беззастенчивую смелость» разнузданного фельетониста, раскрывающего в печати чужие семейные тайны, псевдонимы, доходящего до площадной брани, неопрятных намеков и т. д.

Заодно уже, в общей свалке, изливает свою ожесточенность Лесков и на других в чем-нибудь проштрафившихся врагов, а то даже и на ни в чем не повинных, старших годами и литературным положением, хотя бы лично и уважаемых, писателей.

Схватки не прекращаются... Ничто не позволяет им не только заглохнуть, но хотя бы сколько-нибудь утишиться. Колкости сыплются по всем именам. Боборыкин, без всякой в том необходимости, признается Лесковым «писателем почти без имени» *.

Доходит дело и до заведомо признанных и самим Лесковым искренно почитавшихся корифеев.

Упрекнув И. С. Тургенева в непростительной обидчивости за «проманкирование общественным вниманием» таких «неудачных», его вещей, как «Собака», «Лейтенант Ергунов», «Бригадир» и «Несчастная», Лесков, с очезримым подразумеванием самого себя, писал:

«Те менуэты, которые он начинал было вытанцовывать перед иными из своих противумысленников, ему не к чину и не к летам... Пора в самом деле и не бояться говорить, что думаешь: здесь ведь дома (а не в своем «прекрасном далеко») есть люди, которые гораздо больше г. Тургенева оттерпели и злых напраслин, и клевет, и самых низких поношений; но они не пятятся от сказанного, они не жалобятся, не дуют губы и не жмутся чужим людям под ноги, как слегка посеченная розгою фаворитная господская амишка... Что делать: «говорить правду — терять дружбу» — это пословица не новая, но тем не менее все-таки надо говорить правду, особенно когда пушистый снег уже успел покрыть все кудри и очам души невдалеке уже зрится берег той страны, «откуда

---

* «Русский драматический театр». — «Литературная библиотека», 1807, октябрь, кн. 1, с. 102.

путник к нам еще не возвращался»... Помилуют ли нас или не помилуют, будет ли нам утешением хоть минута раскаяния в тех, кто сторицею облыгал нас всеми лжами и клеветами, — это нам должно быть все равно: на весь мир пирога никогда не спечешь и, угодив одним, опять не потрафишь на других. Всякое подделывание и танцы менуэтов и гавотов бесполезны, а между тем смешная их сторона чувствуется» *.

Так, хотя и колко, но вежливо укоряются литературные боги. Много более упрощенная участь постигает простых смертных, хотя бы по прошлому и из приятельственных. Автор «Марева», «Больших кораблей» и «Цыган», В. П. Клюшников, тут же, без обиняков, именуется «маленьким муликом», «онагром», то есть диким ослом, под которым «разъезжаются его неокрепшие копытца».

В чаду раздраженности и озлобленности, в нарастании литературных и бытовых неудач и затруднений проходят пять мучительных посленекудовских лет. Ни один из избираемых путей ни к чему доброму не приводит. Терпение истощается, негодование растет.

Следивший за сменой расположения фигур вождь «литераторов белой кости» ** Катков, при благожелательном посредстве А. К. Толстого, А. Н. Майкова и Т. И. Филиппова, делает ход: Лесков привечен, обласкан, приобщен.

---

* «Русские общественные заметки». — «Биржевые ведомости», 1869, № 340, 14 декабря.

** См. противокатковскую статью Лескова «О литераторах белой кости». — «Русский инвалид», 1862, № 15, 20 января. Без подписи.

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

В ТЕНИ И НЕБРЕЖЕНИИ

1865—1874

Не властны мы в самих себе.
Баратынский[1]

ГЛАВА 1

ХАРАКТЕР

Нельзя, не видя океана,
Себе представить океан *[2].

Михаилу Ивановичу Драгомирову приписывали такой алгебраический афоризм: «Карьера? — произведение личных качеств на случай».

Личные качества — это, конечно, природный ум, одаренность, знания, характер... Всего более, может быть, — характер.

Как сказывался характер Лескова на его отношениях с родными и близкими — уже более или менее ясно. Каков же он был вообще и как влиял на создание тех или иных отношений между Лесковым и собратиями его по перу, а с тем и на положение его в писательских кругах?

Но прежде о самом слове *характер.* Чужеземное, оно едва ли отвечало русскому быту. До заимствования его мы знали *нрав,* а то и *норов,* и прекрасно обходились ими.

«Мы народ дикий, и ни с чем не можем обращаться бережно: гнем — не парим, сломим — не тужим», — писал Лесков **.

«Жестокие нравы, сударь, в нашем городе, жестокие!» — читаем у Островского, да еще с предпосылкою: «Я понимаю, что все это наше русское, родное, а все-таки не привыкну никак» ***.

---

* Один из любимых Лесковым эпиграфов.

** Письмо к А. И. Фаресову от 17 ноября 1893 г. — *Фаресов,* с. 217.

*** «Гроза», д. 1, явл. 3.

Лесков, пользуясь пушкинским определением Фонвизина, был *«из перерусских русский»* [3].

В Тургеневе он любовно отмечал «просвещенный и благоустроенный ум». На том, какими заботами умной и образованной матери даны эти «просвещенность» и «благоустроенность», он не останавливался.

В Толстом он опасливо видел: в молодом — «своенравную непосредственность» *, а в старом — «страстность и гневливость», побеждаемые «ужасною над собою работой» **.

У самого Лескова, как и у многих других писателей менее счастливого общественного и материального положения, дело обстояло много сложнее и труднее.

Знавший Лескова еще с киевских времен В. Г. Авсеенко писал:

«Лесков любопытен уже тем, что хотя литературный труд являлся для него средством к жизни, но поглощал его всецело, напрягая все его нервы и создавая для него особый мир, органически связанный с его существованием. Ремесленника в нем не было, и не было дилетанта, заскакивавшего в литературу ради тщеславия или ради гонорара... Лесков был настоящий писатель, нервный, страстный, постоянно волнующийся условиями и обстановкой своего авторства, словно перегорающий в нем...

Несмотря на свое злоречие, Лесков в сущности вовсе не был зол...

Помню такой случай. Лесков сидел у меня в кабинете, как вдруг раздался звонок.

— Это Д.! <Г. П. Данилевский. — *А. Л.*>, — воскликнул он, назвав одного ныне покойного литератора, тоже любившего пройтись насчет приятелей. — Он как войдет, так сейчас же начнет ругать меня.

И прежде, чем я опомнился, Лесков с необычайной быстротою залез под письменный стол и притаился там. К моему большому смущению, Д., которого я не мог предупредить, действительно тотчас же заговорил о Лескове в довольно неблагоприятном тоне. Тогда Лесков с хохотом вылез из-под стола, безгранично довольный сыгранной им шуткой. Но Д. очень обиделся, и с тех пор

---

* Письмо Лескова к И. С. Аксакову от 29 июля 1875 г. — Пушкинский дом.

** Письмо к А. С. Суворину от 31 декабря 1889 г. — Там же.

отношения между ним и Лесковым так и остались испорченными» *.

Здесь просятся строки самого Лескова, внятно определяющие отношения, существовавшие между ним и «Гришкой Скоробрешкой»[4] последние два десятка лет жизни каждого из них.

Прошло достаточно времени. Лесков уже начисто разобщился с «юрким литератором», с Милюковым, Крестовским, Авсеенкой и т. д. Однако первого из них он нет-нет да помянет то колким словом в разговоре, то едкой фразой в письме, то со всем понятным подразумеванием в печати.

20 марта 1888 года он писал Суворину: «...об отзывах о себе не хлопочу и с Григорием Петровичем рядом становиться не стремился. Кем писан отзыв — не знаю. Во всяком разе, в вопросе о местничестве, не я добивался сесть под Григория Петровича, а разве уж его ласка была меня «под себя» посадить».

А пять дней спустя, 25 марта, вдобавок: «Притом я знаю натуру того, с кем рядом упомянут: ему мало прилепить пятно, а еще надо и почесывать, а вы человек — человек впечатлительный... Мы много прожили вместе, и я не хочу ничем огорчить вас и потому вперед себя ограждаю от наветов «мужа льстива и двоязычна» **.

Но еще выразительнее говорится в статейке 1885 года «Заповедь Писемского»:

«Тогда Алексей Феофилактович везде стал заподозревать против себя «личности» и особенно много и кажется напрасно обвинял одного «юркого литератора», известного в кружках отменною способностью сплетничать. Это наконец надоело тому, кто должен был в эту пору часто выслушивать желчное ворчанье Писемского, и тот <т. е. Лесков. — *А. Л.*> сказал Алексею Феофилактовичу:

— Как вам не стыдно всего так бояться? Это в таком крупном человеке, как вы, даже противно!

— Вот тебе и раз! — возразил как бы удивленный Писемский. — Отчего же *бояться стыдно*? А если у меня это врожденное?

— Да, но личность, которой вы теперь боитесь — такая сущая ничтожность...

---

* А. О. Из литературных воспоминаний. — «Новое время», 1900, № 8705, 8710 от 23 и 28 мая.

** «Письма русских писателей к А. С. Суворину», с. 61, 63.

— Вот потому-то я его и боюсь, что он ничтожность. Крупному человеку у нас всякий ногу подставит и далеко не пустит, а ничтожность все будет ползти и всюду проползет. А потому бойтесь, ребята, ничтожества и поклоняйтесь ему. Сие есть «моя заповедь роду грядущему» *.

В незлобивую минуту, дома, Лесков примиряюще заключал толки о «графе Данилевском» <как читали иногда его подпись — «Гр. Данилевский». — *А. Л.*>:

— Ну, да о чем тут толковать! Довольно вспомнить всем когда-то известный предостерегающий стишок:

Пройтись вдоль Невского,
Встретить Данилевского,
Он солжет, а ты повторишь,
С кем-нибудь потом повздоришь!

Уступаю дальше место снова В. Г. Авсеенке:

«Испорченных отношений у Лескова вообще было много, что и немудрено было при беспокойной желчности его натуры. Гораздо удивительнее, что в иных случаях, с иными людьми, он умел сохранить видимую приязнь, очень искусно зализывая, так сказать, наносимые его злоречием раны...

Лесков был непосредственный талант, сырой, неуклюжий, лишенный вкуса и чувства меры, но с большою силою вдохновения» **.

Ценные по своей живости и убежденности, чисто писательские показания человека, помнившего Лескова почти на протяжении всей его жизни, никогда с ним не сближавшегося, едва ли сколько-нибудь к нему расположенного, тонко циничного и ко всем и многому неуязвимо безразличного.

В частности, сцена с залезанием под стол приобретает особую яркость, если учесть, что Лескову при этом не могло быть менее сорока лет.

В эти же годы, поддавшись своей «нетерпячести», он накликал себе достаточно «скверный анекдот».

Показалось ему, что получаемые им письма перлюстрируются и иной раз даже довольно бесцеремонно заклеиваются потом. Раздражение быстро ввергло его в состояние, которое сам он определял словами: «человека

---

* См.: Писемский А. Ф. Письма. М.—Л., 1936, с. 698—699.

** А. О. Из литературных воспоминаний. — «Новое время», 1900, № 8705, 8710 от 23 и 28 мая.

ведет и корчит». Ни слова никому не говоря, он заказывает штамп, который ставит на своих письмах, на заклейной стороне конвертов, — задорный аншлаг: «Подлец не уважает чужих тайн».

В один из ближайших же дней, утром, в передней загремели «унтерские» шпоры, и вбежавшая в кабинет Паша испуганно доложила:

— Какой-то жандарм вас спрашивает.

— Что за вздор!

Однако приходится выйти. Диалог краток:

— Благоволите, ваше благородие, принять пакет и расписаться в его получении.

— В чем дело? — непроизвольно произносит Лесков.

— Не могу знать. В бумаге обозначено, — поясняет хорошо вымуштрованный унтер-офицер. — Благоволите принять и расписаться, — на прежней ноте вразумительно повторяет он, протягивая разносную книгу с лежащим в ней пакетом.

— Извольте, — говорит, возвращая книжку со сделанною в ней росписью, Лесков.

— Счастливо оставаться, вашебродие!

Поворот кругом, мерный шаг с левой ноги, нарочито жандармский звон шпор, вздох захлопнутой за неожиданным посетителем двери на лестницу, тишина, но не на сердце. А в доме уже всеобщий всполох! Еще бы!

Что же «обозначено в бумаге»? Адресату предлагается в определенный день и час пожаловать для объяснений в Третье отделение собственной его императорского величества канцелярии с выставлявшимся им последние дни на своих письмах штампом.

Ничего устрашающего, конечно, нет, а все-таки... лучше бы и этого не было! Дома идут упреки, укоры, драма. Виновник происшествия успокаивает, но и у самого на душе несладко... Ночь и сон у всех неспокойные. И стоило ли все это затевать, чтобы потом получить такую противность!? Ну да уж теперь делать нечего — придется оттерпеться, но в сущности за что?

На другой день подчеркнуто сдержанный жандармский штаб-офицер объявляет Лескову, что, по просьбе санкт-петербургского почтамта, он обязывается сдать свой штамп и никогда более не разрешать себе никаких отступлений от общеустановленных и для всех обязательных почтовых правил.

— Внутри, — холодно и учительно говорит жандарм старшего ранга, — пишите и ругайте кого вам угодно, но на конвертах ничего, кроме адреса!

Выполнив основную задачу, он смягчается и уже тоном светского, благовоспитанного человека, щегольнув знакомством с литературой вообще и с произведениями приглашенного в частности, распространяется о том, что перлюстрация, как ни неприятна, но необходима и существует во всех благоустроенных государствах, а потому выпады против нее напрасны и недопустимы. Аудиенция завершается галантно-едким извинением за причиненное беспокойство, которое легко могло быть избегнуто при соблюдении почтовых правил.

— Ну и черт с ними и со всеми правилами! — говорит Лесков, возвратясь домой к завтраку.

— Но и гусей дразнить — не велика забота, — говорит немало пережившая со вчерашнего посещения, повеселевшая сейчас моя мать.

Самому Лескову вспоминать о своей схватке с перлюстраторами и вызванными ею впечатлениями не минулось, но семейные о ней не забыли.

Других случаев непосредственного соприкосновения с «голубыми купидонами» у Лескова, по-видимому, не было, хотя сам он, как мало кто, «отображал» их почтенную деятельность.

В «Смехе и горе» одно из первых мест предоставлено пошленькому и подленькому капитану Постельникову *. В «Соборянах» помянут «новый жандармчик, развязности бесконечной», который «все для себя считает возможным» **. В «Товарищеских воспоминаниях о Якушкине» свидетельствуется, что он спас от жандармской любознательности девушку, бросившую букет на эшафот Чернышевского во время его гражданской казни на Мытной площади в Петербурге ***. В очерке «Дворянский бунт в Добрынском приходе» местный, орловский «жандармский полковник» завязывает «бунт», от которого ничего не останется, когда «прилежная рука историка» достигнет донесений, лежащих в Третьем отделении, и, «пыль времен с доносов отряхнув», покажет солидность разума иных «охранителей нашего времени» ****. В статье «Иродова

---

* «Современная летопись», 1871, № 1—3 и 8—16.

** «Русский вестник», 1872, № 4—7, ч. III, гл. 2.

*** «Сочинения П. И. Якушкина», СПб., 1884, с. LVIII.

**** «Исторический вестник», 1881, № 2, с. 381—382.

работа» убедительно очеркнуты жандармские преимущества и правомочия *. Наконец, в написанной в позднейшие годы «Административной грации» обнажается гнусная «грация» губернского жандармского штаб-офицера в деле нежелательного университетского профессора **, а в «Загоне» гадливо высмеивается усердие «штаб-офицера в голубой форме» дознаться о молоденькой институтке, в экстазе призывавшей на проводах киевлянами уходившего в отставку Н. И. Пирогова быть «нашим президентом» *** <русской республики. — *А. Л.*>.

Все эти беллетристические «пэозажи» и политические опусы дышат нескрываемым и небезопасным презрением к доблести «лазурной рати» и всем ее подвигам. Частная, но немаловажная черта характера.

В случавшихся иногда спорах с каким-нибудь «трезвомысленным» мужем, вроде «поэта-чиновника» В. Л. Величко [5], о необходимости жандармов в настоящем состоянии страны Лесков, исчерпав все возможные доводы, восклицал: «А Алексей Константинович Толстой, по-вашему, хуже вас разбирался в этом вопросе, когда писал в своей «Федорушке»:

— На кого же, матушка, на кого, Федорушка,
Рать тебе татарская,
Силища жандармская?
— На себя, родименький, на себя, невпорушка,

Чтобы я приникнула,
Чтобы я не пикнула,
Чтоб не выла жалобы,
Чтоб ура кричала бы! ****

Это, что ли, по-вашему, идеал государственного устройства? По-шевченковски: «мовчат, бо благоденствуют» [6]. Ну и благоденствуйте в таком, как я нарисовал, «загоне»! Далеко уйдете».

На этом «дискурс» заканчивался до новой схватки.

Ценны духовные самообнажения самого Лескова непосредственно в письмах:

---

* «Исторический вестник», 1882, № 4, с. 204.

** «Год XVII. Альманах четвертый», 1934, с. 377—386.

*** «Книжки «Недели», 1893, № 11, с. 125.

**** Приписываемая А. К. Толстому «Федорушка» десятки лет ходила в рукописных списках. Впервые напечатана в женевском издании «Вестник народной воли» (1884, № 2, с. 202). См.: Толстой А. К. Полн. собр. стихотв. — «Библиотека поэта». Л., 1937, с. 668—670.

«Одним словом, я дописываю роман * с досадою, с злостью и с раздражением, комкая все как попало, лишь бы исполнить программу. Может быть, я излишне впечатлителен, но тем не менее я ни гроша бы не стоил с меньшею впечатлительностью» **.

«Это была бы та «радость», которая, по словам врачей, «одна может меня вылечить». Чего бы и желать лучшего, но это трудно по очень многим причинам и, между прочим, потому, что до этого *надо дожить,* а я болен прескверно и, может быть, — безнадежно. Такие нервные потрясения в годы склоняющиеся не проходят даром, и со мной действительно надо обращаться как с больным ребенком, позволяя мне ломать и портить то, что я сам всего более люблю. Это состояние неописанное и невыразимое словами; лучший ум, замученный нервами, Гейне, называл это «зубная боль в сердце». Лечение напрасно, — не берет ничто на свете... Мои мысли всегда заскакивают вперед, дальше того пункта, на котором многие успокаиваются и живут счастливо. Я, однако, люблю девиз Гейне — «лучше быть несчастным человеком, чем самодовольной свиньей»[7], и таким я вышел из колыбели, таким же, вероятно, сойду и в могилу. Я знаю, что можно быть без сравнения самодовольнее и спокойнее, и делал к тому усилия, но *не могу.* «Человек может быть только тем, на что он способен», я же не могу ни притворяться, ни носить маски, ни лицемерить, ни сдерживать порывов моих чувств, которые во мне никогда не теплятся, а всегда — дурные и хорошие — кипят и бьют через края души. Изменить себя я не могу иначе, как убив себя, и пока я не ничтожество — до тех пор я все буду мною самим. В этом, вероятно, есть что-нибудь не совсем дурное, потому что люди меня ценят и любят с этой натурой, и я сам не считаю ее наихудшею, но, однако, уживаться с этакою натурою можно только тогда, если она нравится, — иначе же жизнь обращается в унизительную и вреднейшую муку. Братья мои думают, что у меня «тяжелый характер», — твои же братья над этим смеются и думают иначе; а как ты думаешь — этого я совсем не знаю. Чтобы жить со мною, надо давать

---

* «На ножах», печатавшийся в «Русском вестнике». 1871, № 1—8 и 10.

** Письмо к П. К. Щебальскому от 16 апреля 1871 г. — «Шестидесятые годы», с. 311.

мне, как говорят, «женственное равновесие», и только *тогда* я становлюсь *благодарен за мой покой* и предан душою без раздела» *.

«Подозрительность во мне, может быть, есть. Вишневский писал об этом целые трактаты и изъяснил, откуда она произошла. Он называет ее даже «зломнительством», но ведь со мною так долго и так зло поступали... Что нибудь, чай, засело в печенях» **.

«Ехать некуда, потому что всюду придется повезти с собою самого себя, а это для меня — самая противная ноша... Все люди, да люди — хоть бы черти встречались» ***.

«Я не хочу быть для них калекою, а мне молчание обходится дороже гнева, но и тот мне убийствевен» ****.

«Я действительно бываю пылок и, может быть, излишне впечатлителен, но это и дурно и хорошо: я схватываю иногда в характере явлений то, чего более спокойные люди с «медлительным сердцем» не ощущают и даже отрицают» *****.

Думается — достаточно этих, горечью и болью полных, признаний. Но в них упоминались «трактаты» о «зломнительности», писанные таким интересным человеком, как остроумный поэт и вразумительно ясный переводчик Шопенгауэра Ф. В. Вишневский. Извлеченные из двух его писем к Лескову, они не займут много места, но ознакомят с своеобразным опытом толкования духовного облика Лескова, к которому Федор Владимирович был ряд лет близок, и притом всегда в позиции равноправного и равносильного, чуждого искательства собеседника.

---

* Письмо к В. М. Бубновой от 2 января 1883 г. — Архив А. Н. Лескова.

** Письмо к А. С. Суворину от 25 марта 1888 г. — «Письма русских писателей к А. С. Суворину». Л., 1927, с. 63.

*** Письмо к Н. П. Крохину от 19 сентября 1889 г. — Архив А. Н. Лескова. Вольная перефразировка конца письма Лермонтова к С. А. Бахметьевой: «Все люди, такая тоска; хоть бы черти для смеха попадались» (СПб., август 1832 г.).

**** Письмо к А. Н. Лескову от 15 февраля 1890 г., вызванное незначительным досаждением, шедшим из одной родственной семьи. — Архив А. Н. Лескова.

***** Письмо к Л. Н. Толстому от 25 октября 1893 г. — «Письма Толстого и к Толстому». М.—Л., 1928.

«Делижан, 5.2.1887.

Прошу вас пояснить мою зломнительность примером моего поведения или отношения к людям.
Лесков

Я взял эпиграфом вашу фразу, которая как раз может служить примером вашей зломнительности, — конечно, не в вашем поведении, об котором я не думал говорить.

Разбирая разлад между моим взглядом на вас и взглядом других (конечно, только не Гея *), я пришел к тому выводу, который и изложил в своем письме. Я не имею привычки перечитывать свои письма, а потому, может быть, в него и вкралась какая-нибудь недомолвка. Придуманное во время изложения я мог считать уже за изложенное, — все это легко возможно.

Но тем не менее *объем,* в котором вы восприяли мною сказанное, именно подтверждает мое мнение. Судите сами.

Вы восприяли *больше* и *злее,* чем у меня сказано. Я мог бы сказать просто, что вы *мнительны,* но я хотел контрастировать это слово с эпитетом по отношению к тому источнику, который в вас вызывает мнительность. Хотел сказать, что в своем суждении вы не довольствуетесь видимым добрым побуждением в людях и готовы *мнить* за видимым добром *злой* умысел. Поэтому я и сказал, что *вы зломнительны.*

Вы же, по своей *мнительности,* поняли не так. Вам показалось, будто я говорю, что вы мните зло *на* когонибудь, а не в ком — чт*о* сказано мною. Для такого простого качества не требовалось вовсе сочинять нового слова. *Злопамятность, Злоумышленность, Злокозненность* — это такие же ясные и старые слова, как ясны и стары обозначаемые ими качества. Я бы не задумался употребить их, если бы они соответствовали моей мысли, и не стал бы для смягчения придумывать двухзначащего слова.

Напротив, *зломнительность* качество не часто встречающееся и есть принадлежность преимущественно людей добрых, обжегшихся на молоке и дующих на холодную воду. Она есть продукт раздвоения, рефлекса, обра-

---

* Б. В. Гей, один из первейших воротил «Нового времени». Пользовался особым благорасположением А. С. Суворина, но не прямых людей вроде Вишневского. — *А. Л.*

зовавшийся из столкновения прирожденной доброты сердца с благоприобретенною недоверчивостью и презрительностью ума.

Сделав с места доброе дело и обсуждая его потом на досуге, они замечают, что многие из этих мыслей совершенно не гармонируют с движением сердца, побудившего их к доброму д е л у, — и тут начало раздвоения. Они не принимают в расчет, что каждому человеку могут придти в голову всякие мысли; но реализовать он может далеко не все, а только те, которые совпадают с его прирожденным характером. Им нет до этого дела. Они видят и чувствуют только, что их искренне доброе дело аккомпанируется недобрыми мыслями, и переносят этот процесс мыслей на всякий добрый поступок другого, *мня* за ним скрытое *зло*.

Потому-то первый и единственный признак каждого доброго дела тот, если оно сделано с маху, по первому движению сердца, пока голова не успела еще привнести элементов всяческого расчета и умысла...» *

Следующее письмо, от 21 февраля 1887 года, начиналось так: «Многоуважаемый Николай Семенович, надеюсь, что последнее мое письмо разъяснило вам истинный смысл «зломнительного двоесуда», несмотря, может быть, на сбивчивость и растрепанность изложения, происходящего оттого, что приходится писать под шум и возню двух детишек. Вы убедитесь теперь, что этот эпитет только звучит странно (вроде жупела), а отнюдь не предполагает в человеке злодейства или неистовости. Выражаемое (енное!) им качество, в известной степени, свойственно всем людям; только в вас оно доведено до размеров, отуманивающих ваше суждение и вредящих вашим отношениям к людям. Вы говорите, что часто видите насквозь человека. Но вы забываете, что ум подобен глазу, который видит все, кроме самого себя. А какой-либо слишком субъективный прием в суждении (напр<имер>, зломнительность) все равно, что цветные очки для глаза. Все предметы принимают в восприятии умом и глазом известный посторонний оттенок. Для правильного заключения необходимо иметь поправку к восприятию. Я и предложил вам таковую. Не моя вина, если вы станете от нее открещиваться. Но — довольно об этом» **.

---

* ЦГЛА.
** Т а м ж е.

Не сохранившиеся, увы, должно быть, письма Лескова, видимо, начинали убеждать благожелательного автора трактатов в тщете найти им живой отклик и разделение.

Перехожу к другому интересному и ценному суждению о Лескове.

«Умный темпераментный старик с колючими черными глазами *, с душою сложною и причудливою... Полный бунтующих страстей. Беспокойного, придирчивого и сильного разума [8]. Он никогда не знал душевного или умственного успокоения. Он громил старое, отживающее и высмеивал новое, не дожидаясь, чтобы оно принесло свои плоды, не снисходя к недостаткам, свойственным периоду брожения. Капля крови Ивана IV, мятежного деспота с порывами к самоусовершенствованию, со склонностью к святошеству, но вместе с тем способностью терзаться в религиозном экстазе» **.

Таким поняла Лескова в последние годы его жизни образованная, наблюдательная, вдумчивая и осмотрительная в отзывах о людях, дружественно настроенная по отношению к нему Л. Я. Гуревич, издававшая «Северный вестник», в котором охотно работал «мятежный человек».

Из массы разноречивых характеристик Лескова, от приторно умиленных до злостно хулительных, эта, в каждом своем слове взвешенная и прочувствованная, очень многих вернее и тоньше. Спорной в ней, пожалуй, представляется способность *смиряться.* В годы «маститости» Лесков говорил, что когда-то «злобился», а потом «смирился, но неискусно». Ценное признание. С натурой не совладаешь: *неискусно* выйдет. Мешала память, не позволявшая зарубцовываться ни одной ране. Жила потребность расчесать любую царапину непременно до крови...

Отвечая А. К. Чертковой, пытавшейся примирить его с ее мужем, В. Г. Чертковым, Лесков раскрывает карты: «Можно повелевать своему разуму и даже своему сердцу, но повелевать своей памяти — невозможно!» ***

Какое уж тут смирение! Неубедительно умалена здесь и доля крови Грозного, крови, унаследованной, может

---

* У Лескова глаза были карие, небольшие; колющий и обжигающий в минуты гнева их взгляд был трудновыносим. — *А. Л.*

** «Северный вестник», 1895, № 4.

*** Письмо к А. К. Чертковой от 4 января 1892 г. — ЦГЛА.

быть, от деда, выгнавшего сына без ломтя хлеба за пазухой, а может, быть, и от не слишком мягкосердечной матери.

К слову сказать, и пластически минутами Лесков мог служить прекрасной «натурой» для художественного воплощения любого гневливого московского царя.

Дома безудержные вспышки и бури разражались внезапно, по самым ничтожным поводам, а то и вовсе без них. Царила гнетущая подавленность, напряженная настороженность. Ни музыки, ни песни, ни даже громкого, вольного голоса... На чей-то вопрос — любит ли он музыку — Лесков медленно ответил: «Нет... не люблю: под музыку много думается... а думы у меня все тяжелые...»

И все, прислушиваясь к покашливаньям, доносившимся из писательского кабинета, к тяжелым его шагам, молчало... Казалось, в самом воздухе что-то висит и давит...

Кого, в долготу лет, это не истомит, не остудит, бережи себя ради, не отдалит?

В начале писательства Лесков уверенно свидетельствовал, что русский человек многое принимает «горячо, с аффектацией, с пересолом» *.

Сам он был «насквозь русский».

Как неотступное правило — любая искра раздувалась в пламя, «пошептом» пущенная сплетня, не проверенный и не подтвержденный еще фактически слух подхватывались как требующие непременного и неотложного гласного разбора, обсуждения или протеста: «опубликовать во всеобщее сведение результаты следствия», «убить гнусную клевету», «бываю излишне впечатлителен», «несчастно щекотлив» — вот чем горели дух и сердце, вот что «мутило душу».

Можно ли при всем этом «пожарные» или «некудовские», как и менее болезненные драмы литературного его пути, относить только к случайностям? Не приходится ли признать, что почти всегда происходило несчастное *умножение* «случая» на «личные качества»?

Жестоко попав однажды впросак с одним «маленьким фельетоном», он, на раздраженный упрек поместившего

* См.: «Овцебык» (1863 г.), гл. 3. — Собр. соч., т XIV, 1902—1903, с. 19.

этот фельетон в своей газете Суворина, жестко бросает ему в ответ: «Я причинен, — а виноваты вы» *.

Блестящий диалектический субъективизм безотказно служил искреннему самоубеждению в бесспорности чужой вины. Беспристрастность оценки — кто, чему и в какой мере «причинен» — была невозможна. Отсюда немалые и, что всего обиднее, не неотвратимые «терзательства» свои и не свои.

Он любил и учил всматриваться в характерные черты и поступки окружающих. Он говорил, что, подмечая недостатки и ошибки других, можно выносить очень полезные уроки себе, можно проследить — не совершаешь ли чужих грехов сам. Хорошее правило. Счастлив действительно следующий таким урокам!

В одном своем частью беллетристическом, частью историческом очерке, он писал о бывшем киевском генерал-губернаторе, к которому питал «органическую ненависть»: ** «Бибиков, конечно, был человек твердого характера и, может быть, государственного ума, но, я думаю, если бы ему было дано при этом немножко побольше сердца, — это не помешало бы ему войти в историю с более приятным аттестатом» ***.

Кому бы это не помогло во всех случаях и положениях!

Тургенов писал Толстому: «С вашей сестрой жить очень легко — но вы не умеете жить легко» ****.

У Лескова это неумение превосходило все считавшееся возможным. «Жить и давать жить другим» — было чуждо его натуре. *«А в натуру,* — как он утверждал, — *можно верить больше, чем в направления»* *****.

Но ведь *«ум подобен глазу, который видит все, кроме самого себя».*

Таким, в общем, представляется Лесков, близящийся

---

* Письмо от 21 декабря 1888 г., Пушкинский дом. — Статейка Лескова «Великосветские безделки» («Новое время», 1888, № 44603, 20 декабря) резко вышучивала некий «Альбом признаний», состряпанный, как оказалось, сестрой жены Л. Н. Толстого, Т. А. Кузьминской.

** Письмо Лескова к Ф. Г. Лебединцеву от 12 ноября 1882 г. — «Исторический вестник», 1908, № 10.

*** «Печерские антики», гл. 2. — Собр. соч., 1902—1903, т. XXXI, с. 6.

**** Письмо от 28 ноября — 7 декабря 1857 г. — «Толстой и Тургенев. Переписка». М., изд. М. и С. Сабашниковых, 1928, с. 39.

***** Письмо Лескова к брату А. С. Лескову от 4 октября 1885 г. — Архив А. Н. Лескова.

к старости, по легковерию многих, приносящей усовершение нрава и умягчение сердца.

Каким же он был в первые годы своего писательства, когда сам себе представлялся «аггелом», когда все чувства «били» в нем «через края души», с головою захлестывая и его самого и всех оказавшихся на его пути, в свою очередь отплачивавших е м у , — в духе того бурного времени — «мерою полною и утрясенною»!

А тому, какое значение придавал он вообще характеру, оставлен им великолепный в силе и точности памятник.

В 1885 году, на переломе шестого десятка своих лет, читает он приведенную в одной книге мысль Гартмана: «Одно все-таки мы у з н а л и , — то внутреннее зерно индивидуальной души, коего эманация есть характер (следовало сказать — организм) » и т. д. *.

Взяв карандаш, Лесков четко пишет на полях, подчеркивая последнее свое слово:

«Нет — именно *характер!»* **

ГЛАВА 2

«ПРЕЛОМИ И ДАЖДЬ»

Облик Лескова был бы односторонен без освещения некоторых других характерных свойств его натуры, сердца, духа, обычая.

На людях, в обществе, он совершенно перерождался, веселел, горел злободневными новостями и интересами, вовлекал в них, заражал своею взволнованностью окружающих, будил и зажигал самые «медлительные сердца».

Хозяевам домов, в которых он появлялся, не было нужды или заботы «занимать» своих гостей, не приходилось опасаться, что у них кто-нибудь заскучает.

Быстро завоевывая общее внимание кипучестью своего темперамента, самобытностью взглядов, суждений, блеском речи, неистощимостью тем, яркостью набрасываемых картин и образов, Лесков царил и властвовал. Даже за сравнительно многолюдными «столами» общий говор постепенно стихал, работа ножей и вилок приглушалась, всем хотелось не проронить ни одного слова невольно вдохновлявшегося в атмосфере общего восхищения «волшебника слова».

---

* Упоминавшаяся выше книга «Гелленбах...», с. 98.

** Архив А. Н. Лескова.

В общем, это был интереснейший человек в «обществе» и «свете», ни на минуту не забывавший при этом, что он прежде и больше всего *писатель,* а писатель должен всегда во всех читающих или слушающих его очищать представления, по-пушкински — *пробуждать чувства добрые*[9].

Жило в Лескове еще одно очень ценное, незаслуженно мало отмеченное и едва ли не призабытое свойство — неиссякаемая и неустанная потребность живого, действенного доброхотства.

Здесь он отрешался от своей широко известной суровости, как бы преображался, а случалось иногда — и «возносился».

Где-то в глубине его непостижимо сложной души таилась живая участливость к чужому горю, нужде, затруднениям, особенно острая, если они постигали работников всего более дорогой и близкой его сердцу литературы, членов их семей или их сирот.

В этой области все делалось без чьих-либо просьб или обращений, по собственному почину, чутью, угадыванию, движению, органическому влечению, нераздельному с большим жизненным опытом, навыками, чисто художественным представлением себе положения человека, впавшего в тяжелое испытание, беду.

Немного знает литературная летопись его времени таких заботников о неотложной помощи нуждающемуся товарищу, каким неизменно всегда бывал Лесков. При этом он шел на выручку и подмогу сплошь и рядом к заведомому былому недругу, а то и прямому, хорошо навредившему ему когда-то врагу.

Но — раз бедовал литератор — колебания не допускались, личные счеты отпадали. Тут в пример брался Голован, который «ломал хлеб от своей краюхи без разбору каждому, кто просил» *.

Собрать деньги;[10] поместить больного в лечебницу; ** помирить с редакцией ***, «выправить» или

---

* «Несмертельный Голован». — Собр. соч., т. IV, 1902—1903, с. 25.

** Заметка о болезни В. П. Бурнашева. — «Новое время», 1887, № 4201, 8 ноября; «Больной и неимущий писатель». — «Петербургская газета», 1887, № 323, 24 ноября; «О литературных калеках и сиротах». — Там же, 1887, № 326, 27 ноября.

*** Гусев С. (Слово Глаголь). Мое знакомство с Н. С. Лесковым. — «Исторический вестник», 1909, № 9.

«проправить», не хуже своей собственной, чужую «работку» и «пристроить» ее в печать; добыть потерявшему место «работишку»; выпросить принятие юноши, исключенного из одной гимназии с «волчьим паспортом», в другую *, выхлопотать в мертвенном Литературном фонде пособие; поместить в богадельню беспомощную литераторскую нищую вдову **, уговорить на складчину для взноса за «право учения» исключаемой из последнего класса гимназистки, — на все такие и схожие хлопоты он всегда первый, неустанный старатель. Охотно участвуя почти во всех подписках, он дарит в сборники полноценные свои работы, твердо отказываясь, однако, давать «на камень, когда есть нуждающиеся в хлебе живые».

Вот, так сказать, его credo ***. Исповедовал и воплощал его Лесков на протяжении всей своей жизни неотступно.

Всему этому сохранилось достаточно подтверждений в письмах, заметках, статьях и воспоминаниях.

Кому только не выправлял он и в языке, и в строении, и даже в синтаксисе работ? Тут и Артур Бенни с его неудобонаписанной статьей о мормонах ****[11], и С. Н. Терпигорев, которому он «изметил соответственно не в обиду» своими «нотатками» его рассказ *****, и, нетвердый на перо, особенно в борьбе с причастиями и деепричастиями, «МИП», то есть М. И. Пыляев с его пестро наборными сооружениями — «Старый Петербург» и «Старая Москва»; ******[12] и вдова писателя А. И. Пальма (Альминского) Е. А. Елшина, первый (он же, может быть, и последний) повествовательный опыт которой Лесков терпеливо преобразил, пе-

---

* «Скрытая теплота». — «Новое время», 1889, № 4614, 2 января.

** Вдову С. И. Турбина, Анну Доминиковну Турбину. См. письма Лескова к М. И. Михельсону от 19 и 22 сентября 1884 г. (Пушкинский дом) и к В. П. Гаевскому от 16 октября 1884 г. (Гос. Публичная б-ка им. Салтыкова-Щедрина).

*** Верую (*лат.*).

**** Б. «Несколько слов о мормонах». — «Русская речь», 1861, № 68. См. «Загадочный человек», гл. 21 и 27.

***** Письмо Лескова к Терпигореву от 15 ноября 1882 г. — Пушкинский дом.

****** См.: Щукинский сборник, вып. 8, письмо Лескова к М. И. Пыляеву от 30 августа 1888 г.

реозаглавил и под красивым псевдонимом «Антонина Белозор» тиснул в газете! * Да все и не перечесть! Всем, всегда литературная услуга оказывалась охоче, деловито, им лестно и прибыточно, себе работно и хлопотно.

Вообще помогать людям надо скоро и споро, — так подсказывала и требовала исполненная «нетерпячести» натура.

«Мистику-то прочь бы, а «преломи и даждь», — вот в чем и дело», — писал он как-то, уже на шестьдесят первом году жития своего, не без распространительного двусмыслия Толстому **.

И сам он «преломлял» — не расточительно, но готовно — «на первое время, пока человек обернется, пока у него что-нибудь «образуется» ***.

Он много раз сурово осуждал Литературный фонд за его бюрократизм, безучастность, неторопливость в помощи, собирался подчас выйти из состава его членов. Не раз случалось, что он опережал этот литературно-сановный орган, лично «снимая шапку перед миром» и прося в печати «добрых людей» помочь такому-то или такой-то. Таким путем ему удалось, например, собрать на воспитание дочери умершего Пальма около четырех тысяч рублей, когда Фонд еще и не пошевелился ****.

Обращение к многоимущим не всегда проходило Лескову даром. Миллионеры-золотопромышленники Сибиряковы жестко попросили однажды его никого больше с записочками к ним не присылать. Разжившийся, хорошо когда-то знавший нужду, товарищ первых литературных шагов Лескова, А. С. Суворин как-то даже грубо выругался. Лесков достойно ответил ему: «То, что я вам писал о нищете Соловьева-Несмелова, лежавшего в окровавленных лохмотьях, не было «шантаж». Если бы вы тогда захотели узнать, что это было, — вы бы не сделали

---

* См. рассказ «Материнские тайны» с напутственным письмом Лескова в редакцию. — «Новости и биржевая газета», 1886, № 241, 248 и 255 от 2, 9 и 16 сентября. Письма Лескова к Елшиной см.: Проф. Багрий А. В. Литературный семинарий, вып. II. Баку, 1927, с. 27 и 28.

** Письмо от 12 июля 1891 г. — «Письма Толстого и к Толстому», М.—Л., 1928.

*** *Фаресов,* гл. VII.

**** См. заметки Лескова в «Новом времени», 1885, № 3497, 3500, 3514, 3521 и 1886 г., № 3550 и 3626.

одного очень прискорбного дела, о котором надо жалеть. Меня же вы не обидели. Такой укоризной меня обидеть нельзя» *.

Альтруистические темы затрагивались в кабинетных беседах Лескова не реже, чем смертные или даже чисто литературные. Слово за слово они от более крупного переходили и к самому мелкому виду участливости — к уличной милостыне.

Лично у меня отчетливо сохранилось в памяти приводившееся всегда при споре о том, подавать или не подавать просящим на улице, личное его, связанное с большим литературным именем, воспоминание. На сухое доктринерство, что всякое подаяние развращает, Лесков, дав волю порезонерствовать строгим моралистам и оставляя в стороне оценку их доводов, как бы обращался мысленно к прошлому. Воскресив что-то в его глубинах, он задумывался, а немного спустя спрашивал: «Значит — не давать? Может быть!.. Пройти?.. Пожалуй... Только я всегда вспоминаю покойного Тараса Григорьевича Шевченко. Рассказал он нам как-то, вот при таком же споре, как шел он раз поздним часом, в дождь и непогоду, к себе на Васильевский остров по Николаевскому мосту. Протянул ему какой-то горемыка руку, а Шевченко, поленясь расстегиваться да лезть в далекий карман, прошел... Идет и идет, хотя и не по себе стало, на душе скребет что-то. Однако все идет. И вдруг слышит позади крики, беготню: оглянулся — видит, к перилам люди бегут и в пустое место руками тычут, а того-то, что две-три минуты назад просил, на мосту-то — и нет! С тех пор говорил он, всегда даю: не знаешь — может, он на тебе предел человеческой черствости загадал... Ну, — примиряюще, мягко оглянув собеседников, заканчивал свое выступление Лесков, — памятуя Тараса, и я — не прохожу...»

Зорко следя не только за всеми «веяниями», отражавшимися на литературе, но и за всеми бытовыми явлениями в ней, Лесков зло вышучивал в беседах и письмах, во что выродилась юбилеи — в большинстве случаев материально не обеспеченных писателей, ничем здоровым и трезвомысленным не отличаясь от юбилеев чиновничьих и купеческих. Как только в прессе мельком затронули

* Письмо от 12 октября 1892 г. — «Письма русских писателей к А. С. Суворину». Л., 1927, с. 86.

юбилейный вопрос, Лесков решает горячо откликнуться на него. В архиве покойного писателя нашлась следующая, почему-то не попавшая в свое время в печать, статейка:

«О ЮБИЛЕЙНОМ ПОСИЛЬЕ»

Позвольте мне высказать одну мысль по поводу неудовольствия, вызываемого изобилием юбилеев. Я разделяю мнение тех, кто находит, что юбилеев у нас очень много и что от них только беспокойство, суета, расходы, расстройство желудка, празднословие и беспорядок в головах, а прибыль только трактирщикам и виноторговцам. Это все правда, и так продолжать дело, кажется бы, не следовало, но нужно ли хлопотать о том, чтобы совсем вывести обычай поздравить человека, много лет потрудившегося и ненадокучившего собою близким людям? Многие понимают замечания о юбилеях в этом именно смысле, а я думаю, что так не надо понимать.

Выразить доброжелательность и приязнь тому, кто честно прожил трудовую жизнь, очень благородно, тем более что для некоторых (например, литераторов) только и есть один день, когда человек слышит о себе ободряющее, ласковое слово. Ради этого можно снести и преувеличение заслуги, которое при этом бывает, и не потяготиться хвалами, которые во всяком случае не залечат всех прежде нанесенных ран и уязвлений. Вывести из практики и этот проблеск желания приласкать стареющего товарища было бы несомненною жестокостью: лучше пусть хоть один день в своей жизни человек увидит ласковые лица и услышит добрые слова, чем бы он их никогда не увидал и не услыхал. Но надо ли справлять юбилеи непременно только так, чтобы пить за обедом здравицы и подносить альбомы или бювары, на которых делают такие затраты, которых эти бесполезные вещи не стоят? Я думаю, что это рутина и что продолжать их нет надобности, особенно тем людям, юбиляры которых не пресыщены другими благами жизни. Я думаю, что, когда *наш юбиляр* дострадается до своего *старческого дня,* нам следует не пропускать этот день без внимания, но надо сделать в этот день то, что юбиляру нужно и полезно.

А что юбиляру всего нужнее, это предусмотрено самыми первыми учредителями юбилеев — ветхозаветными

евреями: в юбилейный год земля *отдыхала,* а раба *отпускали на волю.* Вот смысл юбилеев, ясно показывающий, что нам делать для своих намученных юбиляров: надо бы *отпускать* их на волю или по крайней мере хоть давать *отдыхать* (что, другими словами, значит *давать им средства к отдыху*). Вот, кажется, что должно бы озабочивать и товарищей и почитателей талантливого человека, проведшего свою жизнь за такою работой, которая хотя и шла у всех перед глазами, но ничего не принесла труженику, кроме насущного хлеба, который съеден тогда же, когда выработан, и ко дню престарения или юбилея у него чаще всего нет ничего...

Мне кажется, мы делаем большие ошибки, что подражаем офицерам, чиновникам и певцам и другим людям видного положения, когда стараемся сравниться с ними в способах чествования живых и усопших людей нашей литературной среды. Мы не можем сравнить себя с ними, к которым приходит большая помощь со сторон, к нам совершенно равнодушных. Это усилие равняться нам тяжело и ненужно. Ни для кого не секрет, что литературные занятия не приносят больших выгод и что писатели должны жить без излишеств, часто даже бывают знакомы с большими недостатками. Скрывать этого и нет нужды: писательская бедность по большей части есть настоящая *честная* бедность, которой нечего ни перед кем стыдиться. И я хотел бы убедить в этом своих товарищей по литературе для того, чтобы у нас изменилось отношение к празднованию юбилеев наших собратий и чтобы мы отошли в сторону от общей рутины праздновать юбилейные дни едой да здравицами в трактирах, а начали бы заботиться о том, чтобы придти к стареющему другу с тихим приветом, да и с посильем на отдых...

Я не дерзаю указывать способы, как и что надо бы делать, но я указываю *направление,* в котором полезно переделать юбилейные заботы, а не отменять их, чтобы *ничего* не было.

Торжествовать на юбилеях наших людей трудно; тем, кто привык вдумываться, на этих торжествах всегда бывает тяжело... Тут бы, кажется, не торжествовать, а разве каяться да просить друг у друга прощенья с зароком не делать того вреда, который многие друг другу сделали. Это было бы гораздо теплее и искреннее, но этому, конечно, теперь еще не бывать... Другое дело — заменить чахлое, искусственное «торжество» полезным и живым

посильем: это нам стоит только захотеть, и мы можем в значительной мере приспособить юбилейный день к облегчению хоть нескольких впереди стоящих дней его жизни» *.

Правилу не проходить безучастно мимо чужой нужды он не изменял на всем своем жизненном пути до самых последних лет.

Доходит до него неожиданно весть о горестном положении бывшего <...> старшего сослуживца по Орловской уголовной палате И. М. Сребницкого. Сразу же разворачивается и «акция».

2 мая 1891 года впавшему в нужду и больному старику посылается страховое письмо:

«Уважаемый Илларион Матвеевич!

Вчера я получил известие о том, что вы тяжко больны и терпите недостатки в средствах. Написал мне об этом человек мне незнакомый, г. Цорн. Мне кажется, что надо, чтобы кто-нибудь из близких к вам людей сделал складчину от людей, готовых помогать вам, и я просил бы его и меня считать в числе одного из таковых. Так это у людей делается, и всем выходит удобно. Постоянная помощь вас бы успокоила. Пока же — позвольте мне послать вам на насущные надобности *двадцать* рублей. Искренно вас любящий и уважающий *Н. Лесков»* **.

Вслед за неизвестным Лескову Цорном пишет ему и призабытый орловский товарищ, заметный губернский чиновник, В. Л. Иванов. В ответе ему, на другой же день, 28 июня 1891 года, Лесков декларативно останавливается на вопросе о Сребницком:

«Об Иллларионе Матвеевиче вы пишете верно. У нас не умеют помогать друг другу. Я это знаю, но я насмотрелся, как это делают другие, и все хотел бы это применить. Гамбетте[13] <навещая его в болезни. — *А. Л.*>, и тому клали франки на камин. Есть простое понятие: когда человек болен, значит, он не может работать, и потому, следовательно, он нуждается. И вот приходящий по-

* ЦГЛА. Статья являлась откликом на заметку, помещенную в «Новом времени», 1893, № 6082, 2 февраля. Этим определяется дата ее написания в пределах нескольких дней.

** Пушкинский дом.

сетитель его кладет «сколько может». Наши мужики и теперь это часто делают: они несут кваску, редечки, каши, или баба приходит «потрудиться». Компаниею очень легко помочь одному, а порознь очень трудно. О благотворительных обществах я не говорю: это — вздор, и притом, несомненно, очень вредный. Но я верю, что и складчину у нас сделать очень трудно, и, однако, радуюсь, видя из вашего письма, что она у нас все-таки сделалась: вы, да я, да Цорн, да Ветлиц — вот и складчина; все-таки думается, что старик наш будет иметь угол и чай. Я буду присылать вам на надобности Иллариона Матвеевича по 5 рублей в месяц и первый взнос мой пошлю завтра же, когда поедут от меня в Мереккюль, где есть почтовый прием. Я буду посылать за 2 месяца вперед и надеюсь, что это будет идти аккуратно. Более же я ничего сделать не могу, именно по тому самому, что и вы приводите в расчет... На каждом немало разных обязательств. Эту свою должность мы и должны повести, как теперь сами между собой постановили...» *

Так, с легкой руки Лескова, эта складчина и выполняла свою «должность» до кончины Сребницкого 6 сентября 1892 года, около полутора лет смягчая тяготы престарелого бедняка.

Призыв старого и обреченно больного Лескова неизменен: приди к малоимущему с *полезным и живым посильем,* и в юбилейные, как и во все прочие дни и случаи, — *преломи и даждь!*

Надеясь, что в литературных кругах того времени доброхотство его было достаточно известно, Лесков пишет Суворину: «Меня считают, кажется, не за самого дурного и не за самого злого человека, но зло во мне есть... Это-то и есть, что вы обозначаете словами «подмывает». Я это чувствую, и приписываю скверным навыкам и примерам, и остерегаюсь, но еще мало успеваю» **.

«Успевать» в борьбе с натурой, несомненно, нелегко. Во врожденную, органическую доброту Лескова, как и в искренность покаянных его признаний вообще не верили, и Суворин меньше многих. Неизменно продолжавшие

---

* В «Историческом вестнике», 1916, № 3, с. 805, в дате письма ошибочно указан июль. Автограф в Тургеневском музее, в Орле.

** Письмо от 21 декабря 1888 г. — Пушкинский дом. «Письма русских писателей к А. С. Суворину». Л., 1927.

и дальше появляться в печати полные яда и неослабного «злобления» выпады Лескова в отношении многих из недавних полудрузей его подтверждали это их недоверие.

И тут же вспоминается, как лет на двадцать раньше Н. Долгорукова горячо благодарила его за письмо, которое ее «воскресило», а в другой раз без колебаний писала: «Обращаюсь к вам потому, что у вас легче просить вашего, чем у других своего» *.

Как разобраться во всем этом?

Одно из движений своего сердца или своей впечатлительности Лесков раскрыл в рассказе с подкупающим заглавием: «Скрытая теплота» **.

Выявлялась иногда теплота и в его авторе, но, может быть, обидно редко и недолго гревшая, торопясь опять стать скрытой, побежденная нагромождениями несчастных настроений. Другие же свойства «били через края души», тяжко сказываясь на всей судьбе Лескова и щедро умножая его «злострадания».

ГЛАВА 3

ВТОРАЯ СЕМЬЯ

Бывает, что внешне малозначительный случай негаданно осветит и изъяснит сокровенный смысл значительнейших событий в жизни человека, труднопостижимых решений и движений его души и сердца.

Летние каникулы 1880 года я, тринадцатилетний «военный гимназист», проводил среди достаточно многочисленного своего родства на Украине.

Ближе к осени туда же ожидался и мой отец. Он уже пятый год не видался со своей стареющей матерью, с братьями, сестрами и, еще немалочисленными тогда, дружественно расположенными к нему киевлянами.

К этому времени уже и вторая семья Лескова давно распалась, и жили мы с отцом третий год на холостую ногу.

23 июля (4 августа) все, кто случился о ту пору из Лесковых в Киеве, торжественно и радушно встречали на вокзале «старшего в роде». Всех больше, конечно, была

* Одно письмо Долгоруковой без даты, второе от 28 августа 1870 г. — ЦГЛА.

** «Новое время», 1880, № 4614, 2 января.

растрогана Марья Петровна, главным образом настаивавшая на непременном свидании с первенцем.

День-два спустя, когда первое возбуждение поулеглось, после обеда отец собрался навестить мою мать, прикованную в это время к городу хлопотами по выполнению больших строительных работ на своем земельном участке.

Алексей Семенович приказал заложить нам свою покойную докторскую пролетку, и мы вдвоем отправились с высокого Старого города по хорошо памятным отцу улицам вниз, к Днепру, на Подол.

Выходя из экипажа у крыльца Солидного деревянного особняка на каменном фундаменте, расположенного на широкой и тихой Андреевской улице, упиравшейся в набережную, мы увидали в открытом окне довольно статную еще хозяйку.

Встретив нас в просторной передней, она широким, слегка церемонным жестом указала на настежь раскрытую дверь в большую гостиную, а когда мы вошли, отступила на два-три шага и, глядя отцу прямо в глаза, с едва уловимой улыбкой, тихо продекламировала:

Здесь — «в первый раз,
Онегин, видела я вас»[14].

Это запомнилось. Вот оно — место первой, как у большинства сильных натур, сразу решающей встречи!

Когда же она произошла? В одно из самых трудных для Лескова времен — в 1864 году, в полосу писания, а затем и разгар неисчислимых «злостраданий», порождавшихся печатанием «отомщевательного», кругом злосчастного для автора, романа «Некуда»[15].

Отцу моему было немного за тридцать. Матери — двадцать пять. Не годы, а апогей жизненных сил, стремлений, взволнованности, возможностей!

Были ли сходны и соответственны натуры, вкусы, характеры? Но кого это занимает и кем угадывается в пору влюбленности! Всем всегда кажется — да, всецело!

Одно, однако, сразу же улавливалось: сдержанность и самообладание удавались легче моей матери, чем моему отцу.

Среди многого другого в семье жила память о небольшой бытовой картинке из начальной эры знакомства.

Лето 1864 года. Моя мать, с детьми и сестрою Верою Степановной, живет на даче под Киевом, в Китаеве.

Жаркий июльский день. Около полудня, сидя верхом на линейке, запряженной взмыленной лошадью, лихо въезжает во двор и круто осаживает коня у крыльца Лесков. Он в фуражке, пиджачной «паре», высоких охотничьих сапогах. За спиной у него болтается на широком ремне двустволка.

Привязав к чему-то лошадь, он приветливо улыбается игравшим здесь, но сейчас застывшим в любопытстве детям. На веранде появляются обе молодые и красивые хозяйки. Гость заметно волнуется, то и дело одергивает свое ружье, на широком жесте начинает какой-то веселый рассказ из последних столичных событий и городских киевских сплетен. Женщины смеются. С ним вообще не соскучишься! Не отходят и жадно слушающие дети.

Время незаметно бежит. Пора, пожалуй, и уезжать. Хозяйки просят остаться до хлеба-соли. Лесков благодарит, выпрягает лошадь, со знанием дела водит ее по двору, поит, задает корм и освобожденно снова присоединяется к обществу.

Обед проходит весело. Еще бы! Мастер заговорить кого хочешь!

Но вот, вслед за десертом, он вдруг схватывает забытую было в углу двустволку, к ужасу непривычных к оружию дам, прилаживает к воротам сарая вынутую из кармана четвертушку бумаги и, невзирая на мольбы хозяек, зорко окинув глазом весь двор, начинает всаживать один за другим заряды в свою импровизированную мишень. Мальчики в восторге. Мать их и тетка упрашивают прекратить опасный эксперимент, но увлеченный стрелок не в силах остановиться. Наконец, усталый, красный и в испарине, он изнеможенно опускает ружье, одним взмахом вскидывает его опять за спину и гордо подходит к потрясенным зрителям.

Наступает приятная тишина. Хочется отдохнуть от пальбы. Но тут же неугомонный стрелок выдвигает неожиданно новое предложение:

— Катерина Степановна, Вера Степановна! Едем в лес! На моем аргамаке! Едем! Подышим смолой, какой смолой! Янтарь! Что может быть полезнее вдыхания сосновой смолы — при этом он шумно вдыхает воздух, широко раздувая ноздри, прерывисто закрываемые им ладонями р у к . — А уж какая там з е м л я н и к а , — тщетно умножает он соблазны, не зная, что бы придумать еще позаманчивее.

Так доводилось слышать это в бесхитростном рассказе моей матери, человека, органически чуждого дара импровизации в передаче каких бы то ни было происшествий и событий. А уж о том, что каждая мелочь этих дней помнилась хорошо, говорить нет нужды.

Случай невелик, но не беден живописью и притом относится к летам, из которых сбережено о Лескове всего меньше.

Лесков успел уже хорошо натерпеться житейских и литературных невзгод.

В самые эти только что затронутые дни у него в журнале идет острый роман, уже начинающий предвещать новую полемическую бурю, новые «терзательства». И, несмотря на все это, он не в силах, хотя бы ненадолго, урваться из столицы в далекий Киев, где живет овладевшая его воображением женщина, в союзе с которой ему видится верное счастье на всю вторую половину оставшейся жизни. С ней ничто не страшно, все преодолимо, на все хватит сил!

Недаром, вспоминая эти времена много лет спустя, уже вторично одиноким, он признавался в письме к Ф. Г. Лебединцеву: «был молодой, влюбленный...» [16]

Чувство зажглось обоюдно большое, глубокое.

Верилось, что оно уврачует тяжелые неудачи, испытанные в личной жизни обоими и дорого обошедшиеся каждому из них. Каждый успел уже, по любимому Лесковым присловью, «разбиться на одно колено». Горячо хотелось не разбиться на второе. Опыт был. Был и разум. Выбор взаимно казался безошибочным, чувство проверенным, счастье обеспеченным.

В частности, если в первом союзе, заключенном Лесковым в слишком ранние годы, почти вслепую, ничто не обещало прочности, то во втором опыте найти семейное счастье все предпосылки представлялись исключительно благоприятными.

Но... одно дело, хотя бы и кажущиеся всесторонне взвешенными, предположения, другое — жизнь.

Мать моя, Катерина Степановна Савицкая, родилась в Киеве 24 ноября 1838 года. Родители ее были весьма достаточные потомственные старожилы патриархальной части этого поэтического города — Печерска, изобиловавшей, как известно, воспетыми впоследствии Лесковым «печерскими антиками». Она получила прекрасное по тогдашним требованиям воспитание: и музыка, и фран-

цузский язык, и — что всего, пожалуй, удивительнее — исключительное знакомство с родной литературой, с годами воспитавшее в ней горячую любовь к этой литературе, живую заинтересованность ею. Уже на моей памяти она поражала нас, ее детей, безупречным чтением наизусть длиннейших од не только Державина, но и Ломоносова, а то и Тредьяковского или Хераскова. Особенно любила она, не без некоторой восторженности, декламировать нам оды «На смерть Мещерского» и всего больше — «Бог». О знании Пушкина и Лермонтова, Фета, Тютчева и позднейших поэтов и говорить нечего.

По строго соблюдавшемуся обычаю, ее рано выдали, судя по свидетельству современников, за неплохого, но заурядного и слабовольного, довольно богатого и подходящего по годам владельца значительного имущества на Подоле М. Бубнова. Родителям казалось, что он представлял собою хорошую «партию». Но жена была много выше мужа, и супружество не ладилось. Она год от года росла и становилась взыскательнее в вопросах мысли и знания; он стоял на месте, а вернее и опускался.

Первое время шли погодки — три сына и дочь. Муж с друзьями и прихлебателями бражничал, проигрывал в карты и постепенно расточал... Был поднят вопрос об опеке. На шестом году супруги окончательно разошлись.

«Разбилась на одно колено». Пришлось перейти на вдовье положение, чтобы оберечь детей от разорения. Нужен был характер, воля, чтобы все это пройти и двадцатипятилетнею женщиной взять на свои плечи опеку и все мужские обязанности по ведению больших денежных дел, по воспитанию четверых детей, и все это без помощника, не говоря уже — без заступника и заботника.

Но хотя она росла и в строгом родительском дому и подчинении, в жилах ее текла кровь вольной Украины, где женщина давно была полноправнее, чем на севере.

В Киеве до 1840 года действовало еще так называвшееся «Магдебургское право». По этому «праву» город имел даже свое «муниципальное войско» из местных обывателей. В каменной «палатке» с чудовищной толщины стенами, узенькими оконцами под самой крышей, перехваченными хитрыми железными решетками, стоявшей посреди громадного двора материнской усадьбы на Подоле, хранилось много любопытного добра. Среди последнего особенно занимала мое воображение длинная и широкая «карабеля» (сабля) в изъеденных молью, бархатом

крытых ножнах и не менее выцветший и источенный временем алый шелковый «жупан» с золотыми позументами материнского отца или деда — полковника этого «посполитого» * войска. В этом жупане и с этою карабелей обладатель этих доспехов в высокоторжественных случаях, как например на «Владимирском» параде 15 июля, с сознанием собственного достоинства и исключительности событий, после прохода бесконечной церковной процессии к «каплице», стоявшей на месте, на котором, по преданию, стоял Владимир при крещении киевлян, зычно командовал: «Рушници товстим кинцем до ч*о*-б*о*-тт*а*аа!» Не чета нынешнему скаредному «к ноо-гг*е*!». «Вы, нанешние, ну-тка!»

В 1864 году мать моя была в полном расцвете красоты. На счету недюжинных красавиц считалась она даже в таком богатом ими городе, каким славился Киев. Рослая, стройная брюнетка, с густо-васильковыми глазами, умевшими по-украински улыбаться без участия губ, тонкие, так сказать «классические», черты, деловитая, в беседе самобытная, начитанная, скромная в личных требованиях и совершенно чуждая тому, чему много лет спустя присвоили чужеземное понятие — «флирт».

Это была натура цельная, стойкая. Это был верный спутник на весь век.

Возможно, что в характере были не одни достоинства. Думается однако, что снисхождение к второстепенным, в каждом живом человеке неизбежным недостаткам, с лихвой искупавшимся первостатейными достоинствами, благоприятствовало бы созданию modus vivendi **, бережи чувства и отношений. Увы, в буднях повседневности мелкое заслоняет и часто даже побеждает значительное. И притом — насколько всего чаще переоцениваются чужие недочеты, настолько же недооцениваются свои.

Итак, в 1865 году создается новая, вторая, сразу же большая — сам-шост — семья Лескова, а через год, 12 июля 1866 года, появляется на свет и новый, седьмой ее член — Андрей, в детстве — Дрон или Дронушка, а в старости — летописец дней Лескова.

«Всякий имя себе в сладостный дар п о л у ч а е т», — многократно ставил эпиграфом к своим произведениям и

* То есть ополчения.

** Изрядный, приемлемый склад жизни (*лат.*).

статьям классический стих Лесков, относя его к «Идиллии» Феокрита *.

Он придавал очень серьезное значение заглавию произведения, статьи и даже заметки, ставя условием соответствие его содержанию опуса и заботясь о том, чтобы оно было выразительно и заманчиво. Он даже немножко гордился своим мастерством «крестить» — не только свои, но и чужие работы.

Помню, я был уже офицером, приехал к отцу; при мне и М. И. Пыляеве С. Н. Терпигорев (Атава) стал читать одноактную веселую шутку, в которой действуют молодожены и мать супруги, которую дочь все время называет «maman».

Всем пустячок понравился. «Вот только с заглавием у меня не выходит как-то, — сказал автор. — Примерял и «Молодожены», и «Управительница», и «Раиса Кильдякова», и «Раиса Павловна», да все не по душе...»

Лесков слушал, и я видел, что заглавие у него уже есть.

— Что же ты ищешь! — потомив слегка приятеля, бросил он. — Заглавие у тебя так и мелькает в самой пьеске, так и просится!

— Где же это оно у меня так просится-то?

Подержав Атаву немного под пристальным своим взглядом, он воскликнул:

— Да «mamam»!.. Самое институтское слово! Камертон для всей твоей остроумной и милой вещицы! По верному авторскому чувству и пониманию, ты пронизал этим словом текст, дал ему этим прекрасное, колоритное звучание. Им все держится и характеризуется. В нем у тебя весь фокус, «все качества»!

Терпигорев умилился...

— А ведь верно! Ишь ты! И как это мне в голову-то не пришло? Чего лучше! Ну и «креститель»!.. — радостно благодарил он, охваченный удовлетворением и признанием дара товарища по ремеслу.

Так с этим заглавием «вещица» и пошла жить **.

---

* В действительности — Гомер. Одиссея, кн. VIII, стих 550:
Между живущих людей безыменным никто не бывает
Вовсе; в минуту рождения каждый, и низкий и знатный,
Имя свое от родителей в сладостный дар получает [17].

** Пьеса под этим названием напечатана в журнале «Артист» (1889, ноябрь, кн. III) в приложении. О ней упоминает П. П. Гнедич. — «Книга жизни», изд. «Прибой», 1929, с. 211.

Крестительские таланты Лескова были хорошо известны. Он ими не таился и не скупился. Напротив.

Устраивая давнему киевскому своему другу одну «работку» в «Исторический вестник», он пишет ее автору: «Заглавие тоже хорошо, но я бы его несколько изменил, чтобы казалось еще независимее. Почему бы не озаглавить так, например: «Византийский отблеск в русском боярстве — опыт бокового освещения к русским фигурам «Боярской думы» <Ключевского. — *А. Л.*>? Ко мне частенько «братия» толкается за заглавиями и, смеясь, «просят наречь имя младенцу». Я люблю заглавие, чтобы оно было *живо* и в самом себе рекомендовало содержание живой повести» *.

Случилось ему раз, едва ли особенно точно, но прелюбопытно, рассказать беседу свою с А. Ф. Писемским, вызванную затруднениями, происшедшими с пьесой последнего «Подкопы» в 1872 году. С ней все шло как будто *заклятое*, — и даже самое заглавие ее долго не давалось. Писемский это чувствовал и говорил Н. С. Лескову: «Я родил, брат, и умираю. Предаю дух мой. Мне силы нет подумать об имени этого ребенка... Я изнемог в муках рождения... Ты по поповской части очень усерден — ты нареки сему чадищу имя. Только смотри, чтобы кличка была по шерсти» **.

Не меньшее значение придавал Лесков и дарованию «пришедшему в мир» имени, с которым тому придется пройти весь свой «путь жизни».

В молодости первому своему сыну он дал имя своего деда, в котором ценил крепкий нрав и ум. Митя умер ребенком. В вопросе о наречении второго, вероятно, решающим был голос матери ребенка. Она была горячая патриотка, в частности своего родного города.

Киев, по преданиям, был местом апостольского подвига Андрея Первозванного. В его честь как раз над Подолом, на круче Старого города, высился дивной красоты и ажурной легкости собор, построенный по проекту гениального Варфоломея Растрелли в стиле затейливого барокко, почти тожественный Смольному собору, сооруженному этим зодчим в Петербурге.

---

* Письмо к Ф. А. Терновскому от 12 ноября 1882 г. — «Украïна», 1927, кн. 1—2, с. 188—189.

** «Заповедь Писемского». — «Петербургская газета», 1885, № 264, 26 сентября, без подписи; «А. Ф. Писемский. Письма», М.—Л., 1936, с. 698.

Впрочем, и отец мой не уставал восхищаться чудесным памятником архитектуры и вдохновенным избранием места для его возведения: «Я пришел в безумный восторг от легкого фасада этого грациозного храма, и особенно от вида, который отсюда открывается на Подол и пологую часть Заднепровья» *.

При поездках моих с моею матерью на лето на Украину уже от поэтической в своем названии Ворожбы она загоралась трогательным восхищением родными ей картинами. С приближением поезда к Днепру и раскрытием правого берега с самим Киевом волнение ее было беспредельно. «Смотри, смотри, Дронушка, — шептала она мне, — лавра! Выдубецкий монастырь, здесь киевляне молили брошенного в Днепр Перуна: выдубай, боже, выплывай! А вот правей, правей — Андреевский собор, видишь, совсем в небе, в честь твоего святого! Запоминай все это! Помни, ведь Киев, «сей пращур русских городов», — колыбель России! Никакой другой город не сравнится с ним в красоте и глубине исторического его значения!» И я не забыл этих новых для меня, подростка, слов.

Но — откуда Дрон, Дронушка? Тут опять мать, с ее обычной литературностью. «Война и мир» читались у нас жадно и ревниво. Отец при появлении пятой части романа посвятил критическому его разбору ряд статей с чисто «лесковскими» заглавиями отдельных глав: «Рассуждающий смертный», «Выскочки и хороняки», «Вредители и интриганы», «Бойцы и выжидатели» и т. д. **. В свое время появился в романе и чрезвычайно понравившийся моей матери староста Болконских в имении Богучарово, с пленившим ее наименованием Дронушка, Дрон. Ей это показалось очень близким к Андрею, а в уменьшительной, ласкательной форме и совсем однородным. С тех пор во всем родстве меня иначе уже и не звали. Приятно было матери и случайное совпадение моего имени-отчества с молодым Болконским. Но тут уж

---

* «Блуждающие огоньки». — «Нива», 1875, № 1, 3—18; Собр. соч., т. XXXII, 1902—1903, гл. 15.

** См. бесподписные статьи под общим титулом «Герои Отечественной войны по гр. Л. Н. Толстому». — «Биржевые ведомости», 1869, № 66, 68, 70, 75, 98, 99, 109, и «Вечерняя газета», 1869, № 54, 55, 57, 82, 84, 90; «Русские общественные заметки». — «Биржевые ведомости», 1869, № 229, 340; «Русские популярные люди». — Там же, № 335.

были лишь вполне беспочвенные, полусуеверные чаяния. Однако и они характеризовали, как интимно воспринималось все читаемое, как охотно переносилось многое из прочтенного в собственные настроения. Такими приблизительно путями избрано было мне имя, а затем и детское прозвище.

Ценности, красоте и непременно национальности имен Лесков уделял не раз внимание и в печати *. По совету и указанию его, в нисходящем потомстве появилось даже такое богатое исторически-русским звучанием имя, как Ярослав!

Неблагозвучие имен вызывало в нем подчас курьезные взрывы негодования. Однажды А. Н. Толиверова-Пешкова, приглашая его на вечеринку, вздумала соблазнять тем, что у нее будет какой-то Феодосий Аполлосович. Лесков, отвечая на письмо, возмущенно завершал его: «Феодосий Аполлосович!.. Ведь это же ужасно! **

Однако — к теме.

Поселилась семья, или, как называл ее всегда за ее пуританизм сам Лесков, «святое семейство», в не лишенном поэтической прелести, тихом уголке «столицы многошумной», в самом конце широкой и малолюдной, тогда еще не бедной деревянными особнячками с садами, Фурштатской улицы, у самого Таврического сада. Воздух и солнце со всех сторон! Это являлось неотступным требованием моей матери.

Сад любили все: матери он напоминал обильный зеленью Киев, особенно Печерск; отцу — родную Гостомлю, Панино, Орел и опять-таки «милый город» — Киев; старшие мальчики в густых зарослях его «гойцевали» [18], играли в казаки-разбойники; дочь (а попозже с нею и я) чинно гуляла с француженкой. По всему бесконечному его периметру шел широкий и довольно глубокий ров, в воде его водились «колючки», ловля которых являлась тоже громадным развлечением для подростков. Из самой середины этого водяного рва высился тын из толстенных заостренных бревен. Подлинный стародавний крепостной палисад!

---

* См., напр., «Жития как литературный источник». — «Новое время», 1882, № 2323; «О русских именах». — «Новости и биржевая газета», 1883, № 245; «Календарь графа Толстого». — «Русское богатство», 1887, № 2.

** Письмо от 28 ноября 1888 г. — Пушкинский Дом.

Ни наша мать, да и никто еще тогда не думал, что и этот ров, и все пруды, и едва ползшие, тинистые и зацветшие садовые речки являлись, по позднейшему определению знаменитого Боткина, одним из петербургских очагов малярии. Лет через двадцать, в целях борьбы с нею, ров был засыпан, допотопный палисад заменен ныне стоящею чугунной оградой, пруды и речушки бетонированы.

Значительная, по тогдашним способам сообщения, отдаленность от центра придавала месту полупровинциальный, даже несколько дремотный характер.

Квартира попалась по тем временам отличная: весь верхний этаж хорошего трехэтажного дома. «Ходить по головам», чего бы не потерпела мать, было некому. Было сухо, тепло, светло. Но планировка по старинке была нелепа: из шести комнат только один небольшой писательский кабинет, прямо из передней, окнами на тенистую, задумчивую «Тавриду», был непроходной, обособленный. Коридоров тогдашние архитекторы не любили

По свидетельству Лескова, дом имел свое историческое прошлое: считалось, что в первом этаже жил секундант Пушкина Данзас. Позже, в восьмидесятых годах, он принадлежал матери поэта Случевского *.

Прибавлю от себя: с 1866 по 1875 год в нем жил Лесков, а в начале 1900-х годов он перешел в собственность одного из сыновей знаменитого С. П. Боткина.

Лесков, не без местного горделивства, любит оттенять еще и то, что через два-три дома, на углу Сергиевской (ныне ул. Чайковского) и Таврической (ныне Потемкинской) улиц жил до своей ссылки Сперанский.

В глубине сада цепенел с темными окнами, в пренебрежении и забвении, обширный дворец «великолепного князя Тавриды». Перед его фасадом прошла, сравнительно новая, часть Шпалерной улицы (ныне ул. Воинова), отрезавшая всю дворцовую усадьбу от Невы, на которой в дни «светлейшего» имелась своя, дворцовая же, речная гавань для галер, буеров и шняв. Дальше в струнку вытянулись приземистые казарменные, длинные, охрой выкрашенные флигеля «павловской стройки» с не всем понятными белыми восьмиконечными «мальтийскими»

* См.: «Случаи из русской демономании». — «Новое время», 1880, № 1552, или «Русские демономаны». — «Русская рознь», СПб., 1881, с. 274.

крестами на фронтонах. Это были здания, сооруженные новым гроссмейстером ордена Иоаннитов для приюта изгнанных Наполеоном с острова Мальты родосских рыцарей. И, наконец, за этим бесконечным мальтийским городком, вдали — высился растреллиевский красавец — Смольный!

Кругом история, предания, образы, картины...

Отца они волновали. Мать поначалу занимали.

Захваченная бурным круговоротом литературных и общественных вопросов, она приучала себя к во всем новой, ключом кипевшей петербургской жизни, к напряженности ее пульса. Поражали личные отношения, полные неискренности, недоброжелательства, вероломства. Ошеломила неисчислимость писательских испытаний и «терзательств», тяжело сказывавшихся на всех видах быта.

Воочию, шаг за шагом, Петербург открывался во многом не тем, чем мнился в тихом Киеве...

ГЛАВА 4
НА ФУРШТАТСКОЙ

Квартира у «Тавриды» выдалась на славу, слов нет! Да вот домовладелец попался аспид. Схватки с ним шли, по самым вздорным поводам, одна за другой.

«Милостивый государь, Александр Тихонович, — пишет раз ему мой отец. — Сегодня, собираясь ехать в Москву, я хватился моей бумаги, и тут оказалось, что она у вас. — С какой это, милостивый государь, стати? Что я ваш дворник, слуга или рабочий? Как вы могли себе это дозволить? — Сейчас прошу прислать мне мой паспорт. *Н. Лесков».*

Подьячески настроенный самодур вместо извинения огрызается: «Милостивый государь, Николай Семенович. Пачпорты всех живущих в моем доме хранятся у меня, и если кому представится надобность в паспорте, гот просит, учтиво разумеется, возвратить и тотчас же получает, с распиской в домовой книге, на тот конец, что в случае потери паспорта не думать, что он остался у хозяина. Паспорт ваш я вам возвращаю, в получении оного прошу расписаться, а на будущее время покорнейше прошу не дозволять себе делать мне дерзкие и неуместные вопросы и приказаний мне не отдавать». Подпись.

Письмо безотлагательно возвращается его автору с надписанием: «Я вам, милостивый государь, делаю замечания, на которые имею право. — Если вы ими оскорблены, мне будет очень интересно доказать вам, что вам не на что оскорбляться. *Н. Лесков»* *.

В другом случае выведенному из терпения неугомонностью придиры приходится писать: «Беспрерывные неприятности эти все мне самому столь надоели, да и столь мне несвойственны, что я вместо продолжения переговоров, которые ни к чему не ведут, желаю знать, что же вам угодно? Мы живем так, как вправе жить всякий, не навлекая на себя никаких претензий. Иначе мы жить не можем, и я не знаю, кто согласится жить, подчиняя себя в своей наискромнейшей жизни ежедневному контролю. Впрочем, это дело ваше. Угодно ли вам нарушить контракт? — Мы, несмотря на неудобную пору для перемены квартиры, не вынудим вас повторять нам об очистке вашего дома. — Более я, к сожалению моему, ничего сделать не могу. Ваш слуга *Н. Лесков».*

Ультиматум, угрожавший простоем квартиры пустой, вернее всего до осени, обуздал сутягу. Вскоре же он умер. С наследниками его создаются самые милые и прочно дружественные отношения.

Литературные трудности несравнимо сложнее и неразрешимее. Как вспомнит через два десятка лет это время Лесков, его «топили»...

Дух горит, жаждет творить или, по любимому Лесковым гоголевскому выражению, «совершать»! [19] Замыслы велики, а хлеба ради приходится размениваться на пустяки, пробавляться газетною поденщиной с ее грошовым и крайне ненадежным заработком. Драма!

Где же выход? Как добиться условий, в которых можно было бы в виде духовного отдыха — *совершать*! Поискать казенную службу с ее бесстрастной работой и верной оплаченностью? Пожалуй!

Но, конечно, в сорок лет, с писательским именем, хотя бы и с жалким чином губернского секретаря, идти на чиновничью ежедневную высидку в канцелярии думать не приходится.

Классический и сам уже изрядно чиновный поэт, А. Н. Майков делает некоторый как бы вспомоществова-

---

* Вся переписка без дат, вероятно, зимы 1867/68 г. — Архив А. Н. Лескова.

тельный жест. 24 марта 1868 года он дает Лескову «паспорт» на соискание расположения Т. И. Филиппова, занимавшего тогда достаточно значительное положение в Управлении государственного контроля.

«Г. Лесков, в литературе известный под именем Стебницкого, гроза нигилистов, предполагает во мне возможность открыть ему путь к вашему слуху. Не разуверял я его в противном потому, что сам питаю эту уверенность, вследствие чего и дан мною ему сей паспорт для свободного пропуска в вашу приемную» *.

Существенного и тут ничего не выходит. «Терций» восхищается талантом нового знакомого и, может быть не без опасения именно таланта, не решается осложнять приятельские отношения отношениями служебными. Он возит к нам в дневные приезды какие-то по особому его рецепту изготовляемые «варенцы», прослоенные подрумяненными пенками до самого дна глиняного горшка, умопомрачительные русские кулебяки, ржевские и белевские пастилы, а вечерами «сказителей» и «воплениц», а пуще всего ведет нескончаемые разговоры на любезные его вкусам темы с увлекательным собеседником. Чего приятнее и осмотрительнее?

Стихийно подготовляется становящееся неизбежным сближение с Катковым. Появляется в печати многозначительная статья Лескова «Большие брани» **. Автор ее впервые являет себя апологетом школьного классицизма [20], внося в проповедь о последнем хорошо оцененную лепту.

1869 и 1870 годы Лесков буквально на своих плечах несет бремя заполнения трубниковских «Биржевых ведомостей», а попутно и его же «Вечерней газеты», оживляя оба эти издания своими интересными статьями. Хозяин охотно печатает в обеих своих газетах все, что дает ему его даровитый и острый сотрудник, и еще более охотно не платит ему сплошь и рядом гонорара ни по одной из них. Это создает неисчислимые денежные затруднения, хорошо изматывающие нервы.

Исподволь начинается работа у Каткова. После усовской «Северной пчелы», трубниковских «Биржевых ведо-

---

* *Фаресов,* с. 81—82, и «Исторический вестник», 1916, № 3, с. 787.

** «Биржевые ведомости», 1869, № 153, 8 июня, и «Вечерняя газета», 1869, № 120 и 129, 11 и 14 июня.

мостей» и богушевичевской «Литературной библиотеки» здесь с гонораром дело поставлено надежно. Сперва идут никому не обидные историко-жанровые «Плодомасовские карлики» *, а затем пишется для него последний «отомщевательный» роман — «На ножах» **.

Отвержение Лескова прогрессивным лагерем неумолимо нарастает. Работать приходится не там, где хотелось бы, а где так или иначе привечают.

Интимная жизнь пока сравнительно лучше, но и на ней все эти незадачи отражаются.

Знакомственный круг все еще держится преимущественно почвенно-наследственный: орловско-пензенски-киевский. Только что перешедшая из Киева на Александринскую сцену бойкая опереточно-водевильно-комедийная актриса М. П. Лелева, рожденная Лилиенфельд, с мужем Ф. А. Юрковским, режиссером «Александринки», по сцене Федоровым; В. Г. Авсеенко с женою, теткою «Сени» Надсона; пензенские супруги Е. Ф. Зарин и Е. И. Зарина-Новикова, скончавшаяся ста четырех лет, в 1940 году.

Последние состояли тогда в особых друзьях. Жили они против нас, на Фурштатской же. Цела фотографическая карточка Лескова) которую он подарил не оказавшемуся прочным другу с редкостно трогательною надписью: «Ефиму Федоровичу. Зарину, человеку, которого более всех присных и знаемых возлюбила душа моя. *Н. Лесков.* 2.XI—66 г. СПб.» ***.

К середине семидесятых годов на почве резкого расхождения во взглядах менялись и отношения. Много лет спустя, когда молодой Андрей Ефимович Зарин начал писать, Лесков как-то коротко бросил: «Он, видать, начинает там, где отец его кончил. Доспеет!» Личные встречи давно отошли в прошлое.

Екатерина Ивановна, уже старухой и вдовой, изредка захаживала к Лескову «за советом».

В мое посещение ее в 1934 году, в г. Пушкине (тогда Детское Село), она рассказала мне, как мой отец, в девяностых уже годах, пробежав какой-то ее рассказ, сказал: «Задумано хорошо и интересно, но подано ниже замысла. Много остается в тени, неясным. Точно при

---

* «Русский вестник», 1869, № 2.
** Там же, 1870, № 10—12; 1871, № 1—8 и 10.
*** ЦГЛА.

закрытых ставнях происходит. Откройте окна! Осветите все действие, всю картину, лица! Покажите яснее характеры! Меньше разговоров! Больше движения! Иначе нет образов, фигур, картин, а с тем и впечатлений! Окна, окна настежь!»

Тут же она вспоминала, как непривычны и тягостны были моей матери перебои в денежных поступлениях, случавшихся иногда по неисправности арендатора ее киевских домов и всего чаще издательств, журналов или газет, в которых работал мой отец. Ей все это было слишком неожиданно и, при большой семье, мучительно.

В оставленных ею воспоминаниях она пишет о моей матери: «Екатерина Степановна была поразительной красоты: выше среднего роста брюнетка, с большими, выразительными серыми глазами, очень грациозная и элегантная... Надо сказать, что и Николай Семенович в то время был очень красив. Это была замечательно красивая парочка, обращающая вообще на себя внимание» *.

За Зариным Лесков числил большой заслугой разоблачение в молодости, в корреспонденциях, бесчисленных гнусностей пензенского губернатора А. А. Панчулидзева и достойного его сподвижника, пензенского губернского предводителя дворянства А. А. Арапова. Зарины упоминаются или подразумеваются не один раз в лесковских статьях и рассказах **.

От орловских корней продолжаются в Петербурге отношения с Н. М. Фумели, юристом, являвшимся поверенным Лескова в его тяжбе с В. В. Кашпиревым из-за «Божедомов», и с мировым судьею П. Н. Анцыферовым, товарищем писателя по Орловской гимназии ***.

Новых, чисто столичных знакомых сейчас еще маловато.

В связи с постановкой «Расточителя» появились актеры: А. А. Нильский (Нилус), Н. Н. Зубов и другие.

Сложилось почти сразу же доброе знакомство с целым выводком Дягилевых, имевших большой участок с изряд-

---

* «Воспоминания Е. И. Зариной-Новиковой», ч. III, гл. 3. — Пушкинский дом.

** См.: «Биржевые ведомости», 1869, № 263, 333; «Мелочи архиерейской жизни». — Собр. соч., т. XXXVI, 1902—1903, с. 5—8; «Умершее сословие» — там же, т. XX; «Белый орел» — там же, т. XIV, гл. 3.

*** См.: «Дворянский бунт в Добрынском приходе», гл. 8. — «Исторический вестник», 1881, № 2.

ным домом на Фурштатской же, поближе к Литейной. Здесь были: молодой, веселый офицер самого блестящего кавалерийского полка, Павел Павлович, кавалергард; три его сестры — Мария Павловна; замужем за Г. Д. Корибут-Кубитовичем, другая — известный деятель женского движения Анна Павловна Философова, муж которой был генерал-прокурором Военного министерства, третья — Юлия Павловна за заметным генералом Паренсовым. Из этих домов приходило немало любопытнейших новостей и ценной осведомленности о разнообразных светских и политических событиях.

11 января 1872 года скончался после долгой болезни сорокалетний, горячо любимый мадам Корибут, муж ее Георгий Данилович, подполковник генерального штаба, прекрасный, всеми уважавшийся человек, стоявший на хорошей дороге.

Не знаю почему, на Волково кладбище в день похорон взяли и меня. Это было мне совершенно внове. За припоздавшим невольно обедом, к которому прихватили кого-то с кладбища, стали сетовать — какое несчастье посетило бедную Марию Павловну.

«Конечно, это горе, и большое, — сказал мой отец, — но у меня оно бледнеет перед тем, что все мы видели сегодня же, на том же Волковом, как перед нашими глазами в какой-то самый дальний его «разряд» пронесли убогий гроб какого-то армейского штабс-капитана, а за этим гробом шла в вытертом пальто вдова, ведя за руки четверых бедно одетых «обер-офицерских» сирот, которые через день-два, может быть, останутся без хлеба и даже без крова! Мария Павловна как-никак вернулась сейчас в свою просторную квартиру, в свой собственный наследственный дом и знает, что и дети ее и сама она кругом обеспечены, на весь век сыты! А куда и к чему повела, поди пешком, своих четверых ребят эта армейская офицерша! Ужас подумать!.. Она стоит передо мной, окруженная держащимися за нее детьми, они не выходят из памяти, они жгут эту память... И сколько такого горя, неотступного и неосилимого! Нищета на долгие, беспросветные годы, нужда во всем — и ниоткуда никакой помощи, кроме грошового пособия на похороны, а дальше — как знаешь! Вот это — настоящее горе!..»

Все удрученно затихли.

Два месяца спустя Лесков писал А. Ф. Писемскому: «Бедняга Корибут таки не вылечился и умер, потеряв

здравый рассудок. Врачи говорят какую-то нескладицу, а, кажется, сами во всем виноваты» *.

В конце того же года Лесков дарит стойко перенесшей свои испытания вдове экземпляр первого издания «Соборян» с полным дружественного участия автографом:

«Уважаемой Марии Павловне Корибут от автора, преисполненного глубочайшего почтения к достоинству ее характера, не изменяющему ей в счастии и в несчастии. *Н. Лесков.* Рождество И. X. 1872» **.

Лет через семь-восемь она вышла замуж за репетитора ее детей, чеха Луниака. Сильно охваченный уже церковным еретичеством, Лесков, не осудив движение ее сердца, желчно говорил: «Умная женщина, а вот, подите ж, не хватило мужества обойтись без пошлости! И что это всех их на один салтык, и барынь, как кухарок, непременно «подзакониться» нудит! Не могут без этого. Удивительно!» Не утерпел как-то дать и легкий «рикошет» по ее новому мужу ***.

Дягилевы дали писателю порядочно материала для «Мелочей архиерейской жизни» и других очерков ****.

Мать моя очень дружила со скромной, образованной и премилой Е. С. Ивановой, державшей собственную школу на Фурштатской, в которой я постигал в свое время первую ученость. Невдолге после отъезда моего «дяди Васи» в Ташкент она получила место начальницы какого-то женского училища в Белозерске. Ее отъезд был большою потерей для моей матери, как, впрочем, и для всех нас, искренно любивших ее. По приятельству она не уклонялась иногда выполнять и переписную работу для моего отца, как, например, в период гонки романа «На ножах».

Слышал я, будто нередко посещал моего отца и прославленный Г. И. Семирадский, но сам свидетельствовать

---

* Письмо от 3 марта 1872 г. — «Новь», 1895, № 9.

** ЦГЛА.

*** «Кадетский малолеток в старости». — «Исторический вестник», 1885, № 4 с. 122 и др.

**** Собр. соч., т. XXXV, 1902—1903, гл. 4 и 5. «Пермский откупщик» — отец всех четырех петербургских Дягилевых, ханжа и богомолец; офицер с ученым значком, по отчеству «Данилыч» — Корибут; веселый офицер, провожающий местного архиерея Неофита по Пермской губернии, — Павел Павлович, рассказывавший Лескову, может быть несколько бледнее, весь эпизод.

этого не могу. На моей памяти нашими частыми гостями были двое совсем невеликих художников.

Один из них — Я. Л. Филатов — был воплощением любви к «чистому искусству». Крошечный, слабогрудый, слегка заикающийся, люто бедствующий, но все еще не обескураженный жизненными неудачами, «свободный художник второго», а может быть, и «третьего класса» как значилось в аттестате, полученном им при окончании Академии художеств. Полный надежд когда-нибудь что-то великое «скомппонноввать», жил убого, одними копиями. Трогательный, душою чистый, верящий, что в нем живет невежественно не признанный гений, это был, пожалуй, по-своему лесковский «праведник».

Ходил он к нам с Девятой линии далекого Васильевского острова, конечно, пешком, в ветхом пальто, повязанный зимою не то большим шарфом, не то какою-то косынкой, зачастую неся жестоко парусивший на невских ветрах, рогатившийся в руках драгоценный «холст».

Всякое предложение, казавшееся ему замаскированным воспособлением, отвергал с восхитительною гордостью истинного Дон Кихота. Предпочитал всему бескорыстные длительные беседы об искусстве, о живописи, школах; перебирая с моим отцом, кажется, весь эрмитажный каталог А. И. Сомова, имевшийся в библиотеке Лескова с обильными пометками хозяина *.

Так шло с ним несколько лет. Но вот в сатирическом очерке «Смех и горе» появляется чудаковатый и прекраснодушнейший становой в таком описании: «Сижу я однажды пред вечером у себя дома и вижу, что ко мне на двор въехала пара лошадей в небольшом тарантасике и из него выходит очень небольшой человечек, совсем похожий с виду на художника: матовый, бледный брюнетик, с длинными черными прямыми волосами, с бородкой и с подвязанными черною косынкою ушами. Походка легкая и осторожная: совсем петербургская золотуха и мозоли, а глаза серые, большие, очень добрые и располагающие».

Портретно получалось что-то во многом схожее с Филатовым. Далее к этому святому «становому» применяются понятия — антик, философ, ничем не удовлетворяемый богослов, мыслитель и т. д. «Антиком» и «философом» не

* Архив А. Н. Лескова.

раз называли и Якова Львовича в беседах. И в конце концов говорится про него: «а ведь все же он человечишко!» *

На несчастье, автор неосторожно дарит художнику экземпляр отдельного издания очерка. Дочитавшись не спеша до злокозненных глав, одаренный признает во внешнем облике станового себя как «натуру». Прибежав с своего острова к Таврическому саду, художник молча проходит прямо в писательский кабинет, с небывалой твердостью требует объяснений и жестко корит автора очерка за вероломное нарушение законов истинного дружества. Все попытки отца, как и подоспевший ему на помощь матери моей, убедить обвинителя в совершенной безобидности для него в данном случае некоторого частичного внешнего сходства с выведенным в рассказе лицом — оказываются бесплодными. Обычно кроткий сердцем Филатов ожесточен и негодующе, даже устыжая писателя, покидает наш дом. И навсегда! Это было больно.

Едва закрылась за ним дверь, мать моя круто переменила фронт на защиту Филатова и полное осуждение моего отца. «Бедный Яков Львович вправе был обидеться и наговорить все, что наговорил сейчас. Надо щадить самолюбие таких горьких неудачников», — взволнованно говорила мать. Отец был удручен. Его не оправдал никто в доме, корили и многие знакомые. «Маленького художника», как его всегда называли у нас, все любили и жалели, а потеря нами его всех огорчала.

Пошли пространные беседы и обсуждения происшедшего. Некоторые находили, что беллетрист вправе писать с натуры, тем более не рисуя портрет во всем совпадении черт, свойств и жизненного положения художественного образа и «натуры».

Радуясь такой трактовке вопроса, Лесков удовлетворенно восклицал: «Напрасно обидевшегося Якова Львовича очень жаль, но прав все-таки не он, а я!»

Помню, как отец мой приписывал этому же «маленькому художнику» такой рассказ об одном оригинальном приключении с ним в стенах Академии. «Сижу как-то и копирую марину. Дело идет к концу. И небо в свинцовых тучах, и бушующее море, и разбиваемый на рифах

* Очерк печатался в малозаметной московской газете «Современная летопись» (1871, № 1—3, 8—16; Собр. соч., т. XV, 1902—1903, гл. 53—57 и 66).

волнами корабль, и идущий от него к берегу спасательный бот — все верно, на месте и, кажется, неплохо. Не удаются только брызги на прибрежных скалах. Сажаю их точка в точку, как на оригинале, но там живут и блещут, а у меня мертвы. Сниму их мастихином и опять за то же и с тем же неуспехом. А сзади кто-то давно стал и стоит. Хоть бы ушел скорее. И снова бьюсь. «Не выхходдит?» — слышу за спиной. Этого только не хватало, лаже зло взяло. Однако, помня традиции, совладал с собой и, не оглядываясь, отвечаю — не выходит! «Да так никогда и не выйдет». Ну, думаю, надо обернуться. Кто же это такой? Бритая губа и подбородок, бакенбарды, внушительный нос, совсем не артистическая, а чисто сановническая осанка. Неужели?..

А тот тем временем спокойно говорит: «Позволите?» Как не позволить? «Пожалуйста!» Сам подаюсь от мольберта и подаю ему свою тоненькую кисть... А он, и не взглянув на нее, нагнулся, выбрал большую грубую кисть, разжидил краску, стряхнул слегка кисть-то, повернул ее в левой руке вверх, взял в правую мастихин, поставил впоперек над кистью, присмотрелся к скалам да острым его ребром как черкнет от копии к себе, скалы-то враз живыми брызгами и заиграли. Я и обомлел.

«Иначе, — говорит, — уважаемый коллега, это не делается», — и с легким поклоном сановник мой пошел дальше. Ну, тут уж я окончательно уверился, что удостоился указаний самого творца марины — Айвазовского».

Так приблизительно, подражая местами легкому заиканью «маленького художника», передавал этот случай иногда мой отец. Апокриф это или быль — не знаю.

Яркую противоположность бессребренному Филатову являл собою второй жрец палитры. Крестьянским мальчиком он растирал краски художнику, выписанному в его рязанскую деревню для реставрации иконостаса в местной церкви. Живописцу он показался шустрым, и он взял мальца с собой в Петербург. Дальше паренек подучился, патрон устроил его в какую-то школу, а потом и в Академию художеств, которую тот окончил без блеска. Таланта не оказалось, но сметки и понимания, где раки зимуют, хватало.

В столице он заменил казавшееся ему оскорбительно простонародным имя Антон на более утонченное Анатолий, а в совершенно неудобном деревенском прозвище

переставил некоторые буквы, создав малопонятную, но приемлемую в общежитии фамилию Ледаков *[21]. С неслишком звучным отчеством Захарович — примирился.

Приземистый, очень неладно, но и очень крепко сшитый, нос лопатой, он был не только некрасив, но имел в себе что-то отталкивавшее. Сильно глуховатый, он кричал, грубо и противно произнося многие слова. Особенно всем нам, ребятам, не нравилось, как он выкрикивал свои почтительнейшие обращения к нашей матери: «Достоуважаемая Е-ка-те-ри-на Сте-панов-на!» Никто другой из всех бывавших у нас с таким напором на начальную букву имени, обычно вовсе не произносимую, не акцентировал.

Кулак от юных лет, он, путем больших лишений и каких-то операций, к тому времени уже сколотил копейку и беззастенчиво ссужал своих знакомых деньгами на самых беспощадных ростовщических условиях. Разживясь на самом лютом дисконте, он стал кредитовать газеты, властно ведя в них «художественную критику», да и вообще держался в них хозяином.

Бездарность его, как художника, закреплена навечно написанным им в 1871 году «в кредит» масляными красками портретом Лескова, заслуженно не имевшим никакого успеха на современной очередной выставке картин в Академии художеств **.

Дорого заплатил в свое время за его «выручки» в тяжелые моменты частенько нуждавшийся в известные годы Лесков. Знали цену его услуг и В. Комаров, и В. Крестовский, и М. Черняев, и многие из газетно-писательской братии.

Деятельность этого господина нашла себе небольшое, почти мимоходное, но вполне достойное его подвигов отражение в статьях и письмах Лескова и И. Н. Крамского ***[22].

Яркой по самобытности фигурой в числе тогдашних наших посетителей являлся С. И. Турбин. Некруп-

---

* См.: «Геральдический туман». — «Исторический вестник», 1886, № 6. с. 610.

** Ныне находится в ЦГЛМ.

*** См.: «Первенец русской литературной богемы». — «Исторический вестник», 1888, № 6; «Загробные комплименты». — «Петербургская газета», 1888, № 85; письмо Лескова к Суворину от 25 марта 1888 г., «Письма русских писателей к А. С. Суворину». Л., 1927.

ный, плотный, с большою квадратной головой и зычным, «ромового» тембра[23], гласом, он еще из передней гремел, снимая пальто и калоши: «А этот-то ваш апостол Павел! Вот каналья-то! Нет! Ведь чему учит-то? В чем наставляет: рабы, повинуйтесь господам вашим, несть бо власть аще не от бога. Чего лучше! Это, с позволения сказать, «Благословенный»-то наш с Аракчеевым или Палкин с Бенкендорфом и Дубельтом — от бога! Ах он, простите, дам нету близко?..»

Лесков тогда, пожалуй, еще не во всем единомыслил с этим *«нигилистом чистой расы»,* которого он вывел, значительно смягченным, в романе «На ножах» в лице майора Форова.

Он и в самом деле был человеком чистой души и расы, неизменным в своих, по тому времени очень крайних, взглядах и убеждениях: Форов уходит в отставку, оскорбив «на словах» командира полка, оказавшего неуважение его жене. Сергей Иванович, по словам Лескова, дал командиру полка пощечину за неприглашение на полковой бал его жены, на которой он, как неколебимый атеист и нигилист, еще не был церковно женат. Грозило расстреляние. После многих ходатайств оно было заменено разжалованием в рядовые. Карьера была непоправимо искалечена. Офицерство пришло очень много лет спустя, и служба потом была вскоре же брошена. Это был, как Филатов, бессребренник и тоже в своем роде и «антик» и «праведник». Солдаты, расставаясь с Форовым, бегут за ним и в виде высшей, какая есть, хвалы и благодарности кричат ему: «Да разве вы похожи на благородных?» *

Как и положено праведнику, умер Турбин в нищете, в военной Измайловской богадельне под Москвой, в 1884 году. Лесков не раз помянул его в печати и в письмах **[24].

Состоял еще почти в друзьях, хотя уже и не очень прочно, В. В. Крестовский, но о нем речь поведется позже.

В общем, в эти годы литературные связи скорее в упадке; рабочие возможности невелики, их рамки узки; бытовое окружение пестровато и условно.

---

* Собр. соч., т, XXV, 1902—1903, с. 142.

** См.: «Русские общественные заметки». — «Биржевые ведомости», 1869, № 319; «Страна изгнания». — «Русский мир», 1872, № 119; «Досуги Марса». — «Русская мысль», 1888, № 2.

С какой стороны ни поверни, все какое-то не такое, каким могло бы, да и должно бы быть у писателя огромного таланта, имеющего уже широкую известность, ряд крупных произведений, публиковавшихся и в журналах, и отдельными изданиями, стоящего на рубеже второго десятка лет упорного, отмеченного недюжинным дарованием труда.

Усердие пекшихся о том, чтобы утопить, начинало сказываться год от году ощутительнее.

ГЛАВА 5
КОЛЫВАНЬ

Лесков верил и исповедовал, что впечатления, воспринимаемые мозгом настоящего писателя, болезненно остры, что эхо у него сильнее первоначальною сотрясения, сильнее исходного звука. В этом и сила и несчастье даровитого писателя, никогда к тому же не забывающего, что «музы ревнивы» и служить им надо всеми силами и кровью сердца своего. В итоге, искренний и темпераментный писатель — мученик.

Лесков им и был.

За долгие рабочие месяцы ранней осени, зимы и поздней петербургской весны он, со своими «обнаженными» или «ободранными» нервами, совершенно и физически и духовно изматывался, жаждал летнего роздыха, близости к природе.

Астматический и тучный, он с четвертого десятка лет стал плохо переносить жару и не тяготел больше к югу. Напротив, его манила и пленяла, влекла к себе прохлада, свежесть влажных северных широт. Отсюда шла любовь к лесистым побережьям Балтики, к «Озилии», к Ревелю, Риге, Аренсбургу на Эзеле, а в совсем поздние, сильно недужные годы к более близким к Петербургу усть-наровским дачным побережным поселкам.

Но и в этих, казалось бы таких тихих и благопристойных, старательно к тому времени онемеченных, уголках не всегда и не все протекало идиллически тихо и уютно, или, как он, прибегая в одном из своих рассказов («Антук*а*») к немецкой терминологии, писал «gemütlich».

В 1870 году, после долгих обсуждений, расспросов и колебаний, для летних морских купаний был избран хваленый ревельский «штранд» [25].

Следовать туда решили морем. Это обещало столько новых ощущений! Кроме того, это было удобнее, просторнее и дешевле железной дороги. А ехали-то ведь всем домом — с Машей и Пашей, сам-девят или десят! Вещей и клади, само собой разумеется, не перечесть!

Незадолго до поездки зашел как-то к нам на двор матерой матрос с искусно выполненною моделью боевого корабля на плече. Тогда по весне такие матросы с кораблями попадались на улицах довольно часто. Это было в обычаях и даже традициях города и желавших немножко подработать своим рукодельем моряков.

Красивый и внушительный, с поднимающимися и опускающимися парусами, деревянными, под медь забронзированными пушечками по бортам и белым, с синим косым крестом, андреевским флагом, корабль вызвал восторг узревших его из окна гимназистов и был куплен Лесковым в дар старшему из них — Николаю. В «Тавриду» с ним сторожа и стоявшие при входе жандармы, благочиния ради, не пускали мальчиков. В канаве с колючками он, по водоизмещению и великолепию своему, не вмещался. Пришлось, скрепя сердце, примириться на том, что сейчас, мол, подождем, но уж зато в Ревеле он совершит не одну славную кампанию! Лишь бы довезти его туда во всей неприкосновенности, не повредив чего-либо, храни бог, в дороге в парусах, в руле и т. д.

Настал день отъезда. Билеты, конечно, были взяты заранее, но все же хлопот и волнений было вволю.

У пристани на Николаевской набережной * Васильевского острова пыхтел и посапывал грузный колесный пароход.

Началась выгрузка из огромной четырехместной кареты и с ломового извозчика бесконечного числа вещей и сложная разборка и разноска их по каютам. Часть шла в трюм, часть — в носовые каюты второго класса к слугам, часть — в кормовые первого класса, к нам. Наконец кое-как разобрались, пароход трижды прогудел и зашлепал красными лопастями колес, спускаясь к устью Невы.

Все поуспокоилось. Пассажиры повысыпали на ют с биноклями, собираясь любоваться окрестностями столицы.

Однако Лесков, с традиционной дорожной кожаной сумочкой через плечо, продолжал озабоченно перебегать от кормовых кают к носовым и обратно, отдавая

---

* Ныне набережная лейтенанта Шмидта.

прислуге какие-то, может быть и не слишком необходимые, распоряжения.

Двенадцатилетний Николай Бубнов, подавленный новизной картин и положений, растерянно стоял со своим красавцем-кораблем на руках на самой «трассе» нервных маршей Лескова, уже не раз бросившего на него на ходу нетерпеливый взгляд.

«Николай Семенович, — в недобрую минуту спросил он главу семьи, — а это куда?» — «Это?.. Куда?.. Давай!» И блеснувший на солнце своим черным лаком корабль, со всеми пушками и андреевским флагом, взмахнув белоснежными парусами, описал через борт большую дугу и погрузился в шедшие от пароходных колес волны. Мальчик остолбенел. Только минуты две спустя из глаз его стали падать крупные слезы. Ближние мужчины взглянули на горячего пассажира холодно, дамы негодующе. Так, много лет спустя, рассказала мне об этом происшествии моя мать, умевшая уже многое вспоминать с примиренной улыбкой.

В древней русской Колывани, в немецком парке Екатеринталь, была нанята прекрасная дача, и «святое семейство» зажило со всеми удобствами.

Сначала в области отношений с местным оседлым населением все шло удоботерпимо: бароны и бюргеры, живо заинтересованные в выгодной сдаче своих вилл и домов наезжим москвичам и питерщикам, держались с русскими хотя и подчеркнуто сухо, но подчеркнуто же вежливо.

Так прошла половина лета. Но вот, 2(14) июля разражается франко-прусская война. Картина резко меняется. Шовинизм русско-немецких «двуподданных» растет, обгоняя ошеломившие весь мир успехи немецкого оружия. Бароны и бюргеры всех возрастов и мастей пьянеют и распоясываются, разрешая себе день ото дня все более наглые выходки по отношению к людям, осмеливающимся говорить на улицах русского города по-русски. Воздух накалялся. «Меченосцы» теряют всякое самообладание.

Как-то вечерком Лесков заходит в курортный «Салон» пробежать последние газеты. Признав в нем русского, трое хорошо подогретых пивом барончиков и бюргерят с места начинают травить неугодного им посетителя, заключая свои выклики «тотальными» выводами, что вся Россия скоро разлетится, как дым, «wie Rauch». На просьбу прекратить провокацию забияки, учтя превосход-

ство сил, предпринимают обеспеченное в успехе наступление. Писатель был горяч во всем и, упредив «агрессоров», впечатляюще остужает их пыл тяжелым курзальным стулом.

Утром к нам жалуют два почтенных барона в наглухо застегнутых сюртуках, цилиндрах и корпоративных ленточках. Лескова не было дома: он отправился к ревельскому губернатору М. Н. Галкину-Врасскому, с которым был лично знаком, рассказать об отражении им произведенного на него нападения и дальнейшем развитии события.

Парламентеры, крайне неохотно, почти брезгливо, перейдя с нашей Пашей на русский язык, долго и вразумительно изъясняли ей, что им крайне необходимо говорить, «zu sprechen с господин Лескофф, mit Herrn Leskoff, по ошень важний дель...»

Вернувшийся домой Лесков расхохотался: «Дуэль? Подумаешь! Какой вздор! Хватит с них и нескольких добрых ударов стулом!»

Дуэли не вышло, но вместо нее оскорбленное в собственной Остзее ревельское баронство вчинило в эстляндском рыцарском средневековом суде «уголовное дело». Это судилище угрожало потом в своих вызовах причинить русскому обвиняемому многовидные «законные вреды».

Шаг за шагом докатилось это «дело» до самого Правительствующего сената. Слушание его там было назначено на 1 декабря 1872 года. В самый канун, 30 ноября, Лесков опубликовал в одной из столичных газет специальную статью с колким заглавием — «Законные вреды» (термин остзейского судебного наречия) *. Ею русская общественность широко оповещалась о всех кознях остляндского суда до отношению к русскому писателю, подвергшемуся наглым действиям со стороны остзейских «двуподданных».

Это был хорошо рассчитанный шахматный ход — он связывал правительственный орган, ставя его перед лицом всей русской общественности.

Как на заказ, и в сенатском ареопаге председательствовал, точнее «первоприсутствовал», сенатор А. Х. Капгер, заседали — И. И. Розинг, П. Н. Клушин и Н. П. Семенов, при обер-прокуроре бароне Ф. Н. Корфе. Из пяти

* «Русский мир», 1872, № 313 и 323, 30 ноября и 11 декабря.

участников трое оказывались балтийцами. И тут было полное немецкое засилье.

На третьем году своей давности дело закончилось какими-то пустяками, вроде небольшого штрафа, но свою долю нервной трепки стоило.

Эпопея эта, несомненно, должна была найти себе отзвук в чем-нибудь написанном Лесковым. И действительно, в предпоследней главе сатирического очерка его «Смех и горе» стоят строки, совершенно непонятные читателю, не посвященному в ревельское происшествие: «Я утешаюсь хоть тем, что умираю... между тем как тебя соотечественники еще только предали на суд... за недостаток почтения к... немецкому студенту, предсказывавшему, что наша Россия должна разлететься, «wie Rauch» *.

Это метило не только по заносчивым немцам, но и по русскому по крови эстляндскому губернатору Галкину-Врасскому, не сумевшему или не пожелавшему повлиять на ход дела в самом его начале, пока оно не приобрело слишком большой резонанс в среде эстляндских меченосцев, имевших большие связи и положения в самом Петербурге.

Рассказывала мне моя мать о другом, несколько родственном случае, разыгравшемся в те же годы в Петербурге. Собралось несколько знакомых провести вечерок в популярном тогда увеселительном саду Излера. Приехали. Народу масса. С трудом разыскали кое-как столик, но всего один стул. Мужчины бросились на поиски, а дамы остались стоять около столика и единственного пока стула. Первым вернулся, неся еще один стул, мой отец. В самый момент его подхода какой-то развязный господин задумал было захватить у дам их стул. Последовал краткий диалог, подкрепленный со стороны Лескова per argumentum bacilinum: ** стул, принесенный им, опять выполнил ту же службу, как и в ревельском «Салоне». Но в развитии дела сказалась огромная разница: на столично-отечественной почве никто не предъявил никаких претензий, и все обошлось без разбора дела хотя бы у «мирошки», как в просторечии называли тогда мировых судей. На этот раз все прошло действительно «gemütlich».

---

* «Современная летопись», 1871, № 16.

** Палочным способом убеждения (*лат.*).

Ревельское дело раскрыло Лескову многое, нашедшее потом нескудное отражение в его работах.

Шесть лет спустя он дает веселую, но и весьма назидательную повесть о немце, когда-то служившем с ним у «дяди Шкотта» и ехавшем в Россию, чтобы «стать господином для других», «уже заранее изловчавшемся произвести в России большие захваты», а в конце концов погибшем мучеником своей нелепо проявлявшейся им к месту и не к месту «железной воли» *.

Еще через десять лет появляется статья, построенная на документальных данных, о вопиющих наглостях русских немцев, оказанных русскому воинскому знамени и церковному служению. Статье этой автор пригонял несколько не нравившихся редактору журнала любопытных и выразительных заглавий: «Политический гросфатер в Вейсенштейне», «Площадной скандал», «Всенародный гросфатер», «Дурной пример». Скандал действительно был и площадной, и всенародный, и политический и являл собою весьма дурной пример для других русских немцев.

Суть его такова. В какой-то высокоторжественный день на площади маленького остзейского городка Вейсенштейн был выстроен батальон одного пехотного полка, поставлен аналой, вынесено к нему знамя, и началось служение молебна. Успевшие уже неплохо позавтракать немцы русского подданства высыпали из домов, окаймлявших площадь, и не без любопытства созерцали происходившее. Вскоре это им стало прискучать и потянуло на шутовство. И вот один из достопочтенных местных бюргеров, выйдя на крыльцо своего дома, высоко поднял встречь солнцу огромную кружку и, как бы определяя на глаз, сколько в ней пива, в полное подражание церковному многолетию, громко затянул: «Многго ли... мно-огго ли этто?» Аппетит, как известно, разыгрывается за едой. Лавры первого шута окрыляют второго: не слишком твердою походкой направляется он через весь плац к стоящему перед аналоем паникадилу, закуривает от его свечей свою гамбургскую сигару и победно отмаршировывает к дико вопящим от восторга своим компатриотам.

В начатом в эстляндском суде деле об оскорблении русского воинского знамени и религиозного чувства производится планомерный *подмен виновных,* которыми

* «Железная воля». — «Кругозор», 1876, № 38—44.

выставляются уже не учинившие бесчинство немцы, а все сваливается на командира батальона, которому уже начинают угрожать многоразличные «законные вреды» *.

Все это могло происходить в шестидесятых годах в древнерусском городе, именовавшемся когда-то не Вейсенштейном, а Пайдой.

Приходится отметить, что до более пристального ознакомления с положением дел в Остзее Лесков однажды несколько иначе отнесся к этому происшествию, в корне переоценив его характер и значение только в более поздние годы **.

В свой срок старый чех веще заговорит в лесковском рассказе с подзаголовком «Натуральный факт в мистическом освещении» о злобных планах немцев в отношении чехов и о неколебимой стойкости последних ***.

А попозже, уже на фоне самого Ревеля и даже именно 1870 года, выводится многодумный предостерегающий рассказ «Колыванский муж» ****[26], полный недоверия к мудрости славянофилов и горького признания успешности германизаторских приемов и навыков немцев. Подзаголовком стояло: «Из остзейских наблюдений» [27]. Чего яснее! Автор не скрывал, что это была «ирония» *****, и в первую голову на И. С. Аксакова.

Какова же канва этой «иронии»?

Простодушный, незлобливый, «насквозь русский», морской офицер Иван Никитич Сипачев, получив назначение в Ревель, женится там на одной из многочисленных местных неимущих баронесс. Каждый раз, как жене его предстоят роды, он непременно оказывается куда-нибудь командированным, а вернувшись, узнает, что рок дал ему сына, который каждый же раз уже и окрещен, но не в православие, как надлежало по закону о «смешанных браках», а в «лютарскую ересь» и наречен не Никиткою, как требуют калужские родители моряка, а то Готфридом, то Освальдом, то Гунтером... Каждый

---

* «Подмен виновных. Случай из остзейской юрисдикции». — «Исторический вестник», 1885, № 2.

** «Русские общественные заметки». — «Биржевые ведомости», 1869, № 222, 17 августа.

*** «Александрит» (имевший предварительно заглавия — «Подземный вещун» и «Огненный гранат»). — «Новь», 1885, № 6.

**** «Книжки «Недели», 1888, № 12.

***** Письмо Лескова к В. Г. Черткову от 17 января 1889 г. — ЦГЛА.

раз отец негодует, бунтует, грозит привлечением к ответу, судом и... понемногу «отходит», смиряется, уповая следующий раз отстоять свое право на русского «Никитку». Но каждый раз с неколебимой методичностью выполняется тот же маневр с теми же последствиями.

В таком, по началу кажущемся комическим, ходе событий обозначается неотвратимая угроза: холодный немецкий расчет и система превозмогают эпизодические взрывы кипучей натуры простосердечного русского человека, с одной стороны всегда готового на легендарный подвиг, с другой — чисто по-русски — мягкого и отходчиво-уступчивого.

Ехавший в древнюю русскую Колывань с крепким аксаковским наказом: «Шествуйте и утверждайтесь твердою пятой», обруситель и «стоялец» исподволь обрастает сплошь немецким родством, начиная с собственных детей, а по выходе в отставку перевозится этою роднею в Дрезден, где, в свой час, находит себе и последнее пристанище на лютеранском кладбище, приумножив всем своим калужским потомством число верных слуг фатерлянда.

Германо-юнкерская угроза была более чем ясна Лескову. Однажды, уже близко к закату дней своих, он горячо отговаривает Толстого от публикации в Германии неудобной к печати в России статьи его, рисуя «яснополянскому мудрецу»: «Но писать прямо одним немцам — это будет в глаза бить всякому *простому* человеку, который одно держит во лбу и в сердце, что ведь как бы там ни было, а это они все первые похваляются на всех с силою» *.

Но это все вопросы уже поздних времен и слишком общего порядка, а как же шли наши частные дела на Колывани?

12 июля 1870 года мать моя, по непредвиденным имущественным осложнениям, спешно уезжает в Киев.

23 августа мы возвращаемся в Петербург. Впервые отец почувствовал, в какой мере труднее все это выполняется без руки хозяйки. В сущности особенно больших затруднений не могло создаваться: слуги были старые, надежные, условия прежние, привычные. Однако многое досаждало и раздражало. 25-го отец уже теряет терпение

---

* Письмо от 25 октября 1893 г. — «Письма Толстого и к Толстому». М.—Л., 1928, с. 153.

и посылает матери торопящую ее с возвращением депешу. На другой же день он шлет ей, против обычая, сравнительно краткое, но многоговорящее одной своей формой, письмо. Привожу выдержки из него:

«26 августа, среда, утром.
СПб. Фурштатская, 62.

...Вчерашний день не принес ничего нового для решения участи Бориса. Бегал я много, но не успел узнать ничего: у Смирнова умирает ребенок, и потому он на даче и не от кого было узнать, может ли Борис быть допущен к экзамену 28-го. Сегодня табель и большое торжество, и нечего и думать искать кого-нибудь, а Смирнов <инспектор Третьей гимназии, в которую Борис Бубнов должен был поступить в первый класс. — *А. Л.*> в Парголове у умирающего сына. Во всяком случае не упускается ничего, и ничто не упустится, если мальчик выдержит экзамен и если своевременно получится распоряжение зачислить его полупансионером. В недостатке этого разрешения я встречаю большие затруднения и очень буду рад, когда они разрешатся... А впрочем, я сделал все, что мог, и если дети 30 числа подвергнутся исключению и останутся еще год болтаться, — я уже в этом не виноват...»

Исполняясь далее все большею раздраженностью, письмо замыкалось инициалами «Н. Л.» с «нетерпячим» росчерком *.

В каждом слове нервическая напряженность. Мать должна выехать из Киева 30-го. Письмо могло прийти в Киев не раньше 29-го, а дойти до квартиры и на сутки позже. Какая могла видеться в нем нужда?

2 сентября старого же стиля мать возвращается. С нею приезжает служившая у ее киевских родственников добрейшая, милая француженка Мари Дюран, прожившая потом у нас три года, вышедшая замуж за нашего доброго знакомого М. А. Матавкина и сохранившая пожизненно добрые отношения со всеми нами.

Для встречи, как всегда, нанимается четырехместная карета. На вокзал едет поголовно вся семья. Произносятся обычные приветствия, выражается взаимная радость, удовольствие. В доме все оживает, расцветает, исполняется благополучием.

---

* Архив А. Н. Лескова.

Тут же выясняется, что ни один из недавно возвещавшихся страхов ни в чем не оправдался: из гимназии ни один из двух старших мальчиков не исключен, а третий по возрасту, Борис, беспрепятственно в нее определяется.

Под рукою опытной хозяйки бытовые шероховатости быстро сглаживаются. Устанавливается четкий ритм жизни.

В пределах достижимого успокаивается и отец, целиком отдающийся писанию очередных «кусков» романа, которому предстоит идти у Каткова.

Жизнь течет, пусть и не во всем «gemütlich», но все же еще терпимо.

И встает — в любимом лесковском речении — вопрос! «Чего ради бысть миру трата сия?»

ГЛАВА 6
КИЕВСКИЙ ГОСТЬ

Среди новостей, привезенных моею матерью, была одна очень неприятная: брат моего отца, Василий Семенович, неожиданно потерял хорошо начатую службу, едва избежал худшего и томится без дела в Киеве, на хлебах у братьев.

Безрадостна повесть кратких дней этого самого младшего из братьев Лесковых.

Началась его так много сулившая жизнь в родном Панине 1 августа 1844 года и нелепо рано оборвалась в июле 1872 года, по-тогдашнему — на краю света, в далеком Ташкенте.

Ласковый, добросердечный, одаренный ребенок завоевал сердце матери, полюбившей его едва ли не сильнее всех остальных ее детей и уж никак не меньше самой младшей ее дочери, рано умершей Маши. Отсюда пошло разновидное баловство, печально сказавшееся впоследствии.

В Киеве, в гимназии, живя у дяди С. П. Алферьева, Василий Семенович учится посредственно. Братьям в летние каникулы приходится брать с него своеобразную подписку, начертанную рукою «старшего в роде», Николая Семеновича:

«1860 года, мая 29 дня. Я, неключимый [28] Искандерка, Василий Лесков, даю сию подписку братьям моим

Николаю, Алексею и Михаилу, купно с матерью, в том, что, находясь на Панинской почве, я каждый день обязан посвящать, *три часа* в сутки учебным занятиям с 7 часов утра до 10 час. — За несоблюдение сего условия я всякий раз подвергаю себя наказанию от 25 до 50 ударов по мягким частям». Ниже стоит подпись: «Василий Лесков» *.

По окончании юридического факультета Киевского университета он, на 23-м году, служит по крестьянскому управлению в Козине, Корсуни, Богуславе, Умани и других пунктах Киевской губернии. Бытовые условия не легки: хлопотно, бесприютно, вечные перекладные... Но, уверенный в себе, он бодро пишет матери: «Живу я недурно, занимаюсь своим делом, и дело идет хорошо, ожидаю в июле ревизии и перемены своего положения» **.

Ничто не пугает. Крестьянские вопросы и нужды хорошо с детства знакомы, правовая сторона усвоена в университете, способности и силы есть, впереди надежда перебраться из захолустья куда-нибудь поближе, а там, смотришь, пожалуй, добраться и до самого Киева. Так рисовалось не одному ему, а и всем близким. Но...

Он был красив, умен, образован, мягок и уветлив в обхождении, обладал прекрасным слухом и таким же голосом, баритоном. Кажется, все для успехов в жизни! На горе ему, в злую додачу ко всем этим данным шло... вино.

Наталия Петровна Константинова, искренно любившая своего многообещавшего племянника, сурово обвиняла сестру Марью Петровну в том, что, не обегая лично, во вдовстве, в глухом Панине чарочки наливки, а то и горькой, она неосторожно рано стала баловать ими и излюбленного сына-подростка, привив ему пагубную слабость.

Как-то летом 1870 года в каком-то большом селе, в престольный праздник, после обедни, перед всею «громадою» Василий Семенович, случившийся не в порядке, влез на дерево и с высоты своей импровизированной трибуны произнес такую речь, что «злякавшийся солтыс» поскакал к исправнику, тот настрочил «донесение», и подлинно — пошла писать губерния. Потребовалось заступничество ряда благожелателей и поручительство ма-

---

* Архив А. Н. Лескова.

** Письмо из Корсуни от 24 мая 1867 г. — Там же.

ститого и всеми чтимого дядюшки Алферьева, чтобы кое-как приглушить «дело». Служба была сорвана, положение скомпрометировано. Пришла безработица. Молодой, полный сил и энергии человек изнывал. В Киеве становилось невыносимо от покровительственных соболезнований, колких шуточек, улыбок. Не в добрый час поделился он своими невзгодами со старшим петербургским братом. С обычной «спешливостью» развернул последний перед ним заманчивые, но едва ли хорошо проверенные возможности в столице. Обескураженный провинциал доверчиво схватился за них с безысходностью утопающего.

«Любезный Николай!

Приношу тебе глубокую благодарность за то, что ты успел уже для меня сделать в короткое время, — а главное — думал ободрить меня, унывающего. Не останавливайся, друг мой, перед теми препятствиями и неудобствами жизненными, которые могут представиться при начале моей будущей карьеры: она мне как нельзя больше по душе, и я займусь делом с полным усердием. Заметь, что мне тут плохо донельзя, следовательно, все, что ни будет, будет лучше того, что есть. Об одном прошу тебя — не медли.

Василий.

P. S. Вместе с этим я пишу Николаю Марковичу Фумели» *,

Твердая вера и решимость младшего брата, по-видимому, заставила строже оценить и взвесить надежность средств к обеспечению ему, может быть при посредстве одного только Фумели, «карьеры». Последовало осмотрительное снижение категоричности первоначальных обещаний на «устройство» его в Петербурге» **. Увы, слишком обнадеженный спервоначала, Василий Семенович уже целиком отдался радостным надеждам и безоглядно жег корабли:

---

* Письмо от 25 октября 1870 г. — Архив А. Н. Лескова. Н. М. Фумели — в прошлом орловец, петербургский адвокат, являвшийся поверенным Лескова в его тяжбе из-за «Божедомов» с В. В. Кашпиревым.

** Письма Николая Семеновича к Василию Семеновичу не сохранились.

«Любезный брат Николай!

Сообразивши все писанное тобою по вопросу об устройстве меня в Петербурге и находя, что все-таки шансов за больше, чем против, я не нахожу нужным далее раздумывать и откладывать своего выезда... Еще раз благодарю тебя за хлопоты обо мне и прошу тебя не смущаться: во всяком случае упреков от меня ты не услышишь» *.

Совершается оказавшаяся роковой смена Киева на Петербург.

Сомнения в правильности шага, тягостные предчувствия овладевают Василием Семеновичем уже в пути. Он пишет неосторожно покинутым им киевским своим родным:

«Ночью лил дождь, в вагоне стало душно от печки и табаку, разговор у всех едущих все как-то не клеился, — мне же лично стало грустно так, что я и сказать вам не умею, уж и сам не знаю почему, — рой самых безотрадных дум настолько меня преследовал, что не дал мне заснуть ни на минуту» **.

В Петербурге его все ждали нетерпеливо, а мать моя — с исключительным сочувствием к постигшей его беде и искренним радушием.

Вообще она никогда не отзывалась о нем иначе, как о человеке прекрасной души и редкого сердца. Отец мой, случалось, вносил тут какие-то непонятные нам условности и недомолвки. Нас это не смущало: мы знали строгость и взыскательность его суда. И братья мои, гимназисты, и совсем еще юная сестра Вера, и хорошо знавшая Василия Семеновича по Киеву кроткая мадемуазель Мари — все радовались предстоящему появлению на нашем часто не безоблачном горизонте нового члена семьи, такого, по словам нашей матери, молодого, доброго, веселого, красивого.

Обо мне уж и говорить было нечего: я знал, чутьем и сердцем брал, что «*мой* дядя Вася» будет мне в помогу и радость, и буквально горел желанием скорее увидеть первого из всех живущих где-то, в каком-то Киеве, моих дядей.

---

* Письмо от 2 ноября 1870 г. — Архив А. Н. Лескова.
** Письмо из Петербурга от 13 ноября 1870 г. — Там же.

Лихорадка «ажидации», впрочем, постепенно охватила вообще весь дом.

Наконец 12 ноября Василий Семенович приезжает.

Пришелся он по сердцу всем. А дальше — совсем завоевал всеобщую любовь и расположение редкостной милотой души и нрава.

Первый день проводит у нас, а на другой нанимает две комнатки напротив.

Идут медовые дни свидания братьев: осмотр города, показ провинциалу достопримечательностей столицы, галерей, музеев, Эрмитажа.

13-го утром «ездили в омнибусе по Невскому, заезжали к Фумели, ходили по Пассажу», — пишет он в Киев. Старший брат, не без оттенка снисходительного покровительства, руководит младшим в постижении всех превосходств столичной жизни. Но почему-то тому слишком как-то рано начинает казаться, что «status» его «до сей минуты — некрасив он и незавиден донельзя, а все-таки я в восторге уже от одного того, что я не в Киеве, где мне все надоели и я всем надоел! Чем порадует меня дальше судьба, буду писать. Тебе еще раз спасибо, Алексей, за твое братское добро; шлю тебе глубокий мой привет из моего *«прекрасного далека».* Не забывайте меня — пишите» *.

Через десяток дней мать, должно быть не без смущения, читает в письме его к ней: «У Фумели учиться, как я вижу, нечему, разве только любезности говорить, но зубы у меня и свои есть». Выдвигается новая комбинация с присяжным поверенным Г. Добролюбовым, защищавшим Каракозова, но и она оказывается сначала малоосязательной, а потом и вовсе призрачной **.

Прямого делового устройства нет как нет! Деньжонки на последнем исходе. Заработка нет. Мать посылает к рождеству вторую полусотню. Сын горячо благодарит и пишет ей: «Дела мои идут туго донельзя: до сих пор живу еще лишь одними обещаниями и советами... Буду о вас думать; о себе уже надоело до боли» ***.

Сдвига никакого. Время идет, а с ним растет и нужда. Бесплодно проходит четверть года!

---

* Письмо из Петербурга от 13 ноября 1870 г. — Архив А. Н. Лескова.

** Письмо от 23 ноября 1870 г. — Там же.

*** Письмо от 9 января 1871 г. — Там же.

15 февраля Василий Семенович заводит бесхитростный дневничок *. Записи его тягостны. Идут упреки себе в «гнусной и угнетающей дух и тело слабости», отмечается «глубокое уныние», говорится, что «решительно никогда самолюбие так не страдало (брат Николай)».

Мечты об адвокатуре развеяны как дым! Что же делать? Чем жить?

И вот впервые произносится — Ташкент! Единственная панацея ото всех бед и зол — сделаться пресловутым «ташкентцем»! 18 февраля заносится в дневничок: «Николай говорит, что поездку эту легко устроить через Философова, от которого можно добыть письмо к Кауфману; дай бог, чтоб это устроилось! Я буду очень рад». Ставится крест на ни в чем и ни в ком не оправдавший себя Петербург. Спасаться от нужды и унижений. Бежать — безразлично в какую даль и неизвестность, хоть в преисподнюю.

Николай Семенович хорош с Дягилевыми. Одна из них замужем за генерал-прокурором Военного министерства В. Д. Философовым. Его письмо к туркестанскому генерал-губернатору А. П. Кауфману — верное назначение. Но когда оно напишется, когда дойдет, когда ответит такой важный и занятой человек! А ждать уже нет мочи!

24 февраля Василий Семенович «любезно» принят Философовым, обещавшим «содействовать» назначению «письмом к Кауфману». Дело пошло. Пошли и свидания с менее значительными, но более осведомленными в туркестанских делах крупными чиновниками. «Сведения о о местах... и образе жизни гг. ташкентцев неутешительны, а все лучше того, что я теперь выношу», — заносится в дневничок. Приехавший из Туркестана видный работник предлагает «место участкового судьи, — это что-то вроде европейского мирового судьи; содержания 3200 рублей серебром... Жизнь предстоит ужасная, но все-таки жизнь моя собственная, не прошенная... Весь этот промежуток времени не прожил, а буквально промучился и прострадал... Быть далеко от родных и знакомых, — чего еще желать в моем положении?! Время все лечит, авось вылечит и мои горести и стушует мое прошлое, которым меня чуть не ежедневно упрекают в самых грубых формах. Господи! на Валаам решили отправить для исправления!.. Шевелится чувство скверное, а победить его не

* Архив А. Н. Лескова.

умею теперь», — пишет измучившийся владелец дневничка 28 февраля. Но тут же, казалось, всю эту юдоль пронизал луч света, спасения, возможности вернуться в родной Киев, на привычную работу и к жизни среди во всяком случае более радушных людей, чем оказались в Петербурге Фумели, Добролюбов и другие: «От Михайлы Николай получил письмо, в котором он прислал мне указ Киевской уголовной палаты о зачислении меня кандидатом на должность судебного следователя».

Увы, должно быть из ложного стыда, спасительное предложение отвергается. Мать никогда больше не увидит своего любимца. Свершается вторая, и уже последняя, фатальная ошибка.

Марья Петровна, несомненно, уже многое переоценила в петербургских возможностях и подавлена. 2 марта ее горький сын записывает: «От матери получил грустное письмо; буду ли отвечать — не знаю. Говорил немного по этому поводу с Николаем, — он, кажется, во всем считает себя правым, то есть находит, что он поступил относительно меня так, как бы и следовало. Эта всегдашняя его замашка — быть всегда и во всем правым — меня не удивила, но мне сделалось очень тяжело и противно, и я постарался перервать этот разговор в самом начале и ушел в залу читать газеты».

Разделяют материнские сомнения и братья. Их страшит предложенный Николаем Семеновичем на смену неудавшемуся Петербургу неведомый Ташкент. Три дня спустя в дневничке появляются новые строки: «От Михайлы Николай получил сегодня письмо, в котором он по общему, вероятно, решению просит Николая удержать меня от поездки в Ташкент, потому что там, мол, его погибель». Брат-беллетрист, напротив, всегда считал, что молодому человеку надо больше ездить, видеть, узнавать, набираться в ранние годы избытка впечатлений. Киевляне, не слишком доверявшие вызову Василия в Петербург, теперь еще меньше сочувствовали исходившему опять от старшего брата плану отправления его на дальнюю окраину, зловеще прославленную ее чиновниками-«ташкентцами»! Новая попытка вернуть брата, достаточно уже натерпевшегося в Петербурге, в привычные бытовые условия, в простодушное родственное и знакомственное окружение остается бесплодною. А бесхитростно пополняющийся жуткими записями дневничок день за днем превращается в страшный «человеческий документ»:

«Заложил мою шубу; дали всего 25 р[ублей] сереб-ром] — это горько обидно».

«С ужасом вижу, что единственная моя обувь — старые ботинки — разваливаются... Платьишко тоже плохо, да уж, видно, Ташкент выручит из этой беды, а пока похожу Любимом Торцовым».

«Опять в том же положении; делать нечего, идти, как Мармеладову, некуда, да вдобавок нет даже 3 копеек серебром».

«Антон просит завтра дать ему денег к празднику *, — а где я их достану?»

«Заложил ростовщику кольцо свое *за три рубля серебром,* из них 2 р. отдал Антону как месячное жалованье за услуги, а на остальной рубль остригся и думаю еще вымыться».

«Приходила прачка, принесла белье и просила денег... — 1 р. 75 копеек серебром, но, разумеется, я денег не дал, потому что у меня их нет... получать неоткуда, занять не у кого, продать или заложить тоже нечего; я не могу даже, подобно Хлестакову, спросить себя: «разве из платья, что ли, пустить что-нибудь в оборот?», потому что все, что можно было пустить, — пущено».

Врожденная мягкость и незлобие позволяют шутить над безвыходностью своего положения.

Однако на последней записи, 10 апреля 1871 года, дневничок все же обрывается **. Далее вести свой собственный мартиролог не стало сил.

Невзирая на все муки, любознательность и духовные запросы не угашаются, бьются хорошим пульсом. В дневничке мелькает немало заглавий прочитанных и даже изучаемых книг, как, например: «Организация труда» Луи Блана, «История коммунизма» Альфреда Сюдра, «Средняя Азия» Костенко[29] и т. д. Последняя книга рассматривалась как подготовка к жизни и деятельности в Туркестане.

Хочется привести хотя одну полную дневниковую запись, уже из предпоследних, случайно свободную от заклада шубы, развала ботинок и всех прочих «мерзостей жизни», одолевавших бедного Василия Семеновича в его безысходной петербургской безработности.

---

* Подразумевается Пасха, 28 марта 1871 г.

** Всего в нем 45 мелко исписанных страниц. Записи, характеризующие Николая Семеновича, будут приведены ниже.

«Апр. 8 (четв.). Пробежал случайно попавшуюся под руку книгу Н. Герсеванова *«Гоголь перед судом обличительной литературы».* Прочитал и рот разинул! Книга эта вышла в свет в Одессе и печатана в типографии Францова в 1861 году. Написана она с целью доказать, что *«Гоголь был нищий, лакей, ненавистник русской женщины, клеветник ее, клеветник России».* Такова формула г. Герсеванова[30]. Исполнение не уступает ни в чем задаче: нет гадкого порока и страсти, в которой бы не обвинялся покойник через 8 лет после своей смерти; даже как писателю ему отказывается в даровании, и он низводится до простого, заурядного писаки. В заключение автор смеется над Москвой, давшей место на своем погосте Юлии Пастране и Гоголю, — по его мнению, двум одинаковым уродам!

Книга Герсеванова замечательна по своим качествам: бездарности, бесстыдству полнейшему, какой-то непонятной, сумасшедшей злобе и ухарству... — Сегодня же я пустился в литературу: составил для «Биржевых ведомостей» небольшую корреспонденцию об Остзейском крае[31], впрочем, мне т[ак] заколодило, что я и такого рода работу отчаиваюсь получить. Третьего дня Николай вдруг объявил мне, что он уж устроил меня до самого моего отъезда у Трубникова, где я буду получать по 60 рублей серебром в месяц, — разумеется, этого было бы весьма для меня достаточно, так как я живу теперь как птица небесная, не получая ровно ни от кого и ничего, но, видимо, от слова до дела у Николая далеко; вот третий день уже как он отмалчивается на мои вопросы по предложению, им же первым мне сделанному; впрочем, дивиться нечему: Николай всегда был таков. — Дай господи мне хорошенько помнить теперешнее мое положение и не забывать его, как горький, но полезный урок, данный мне судьбою для руководства на всю жизнь. — Собственно говоря, я не разочаровался в Николае, п[отому] ч[то] ни на что и не рассчитывал, зная, что он за человек и как ведет себя с теми, кто ему в данную минуту не нужен, но тем не менее порою мне очень тяжело бывает, и я с азартом принимаюсь считать дни приближения отъезда в Ташкент. — Да; не следует утешать себя, а нужно прямо согласиться с Прудоном, что в противоположность квиетизму, жизнь есть постоянная борьба; борьба с нуждой, борьба с природой, борьба с своими ближними, следовательно, борьба с самим собою. Дай боже мне сил и терпения; хотя это, го-

ворят, и ослиная добродетель, но в настоящее время я всего более в ней нуждаюсь. — Я не поступил бы с последним негодяем и не держал бы его в таком черном теле, как меня держат, хотя хорошо знают, что у меня такое положение переходное. — Пора кончить эту иеремиаду, — это слишком мелко и недостойно; да кроме того, по-своему всякий прав».

На спасение или на пагубу, в октябре приходит, наконец, давно обетованный и долгожданный Ташкент! После года нужды и унижений было от чего воспрянуть духом! Участковый судья по военно-народному управлению. 3200 рублей годовой оклад. Подъемные, прогоны, поток денег после тягучего обнищеванства. Своя — «не прошенная» жизнь!

Можно одеться, не ужасаться развалу башмаков, со всею широтой натуры отблагодарить терпеливого Антона, прачку, рассчитаться по мелким займам.

Одновременно более чем заметно изменяется многое и в характере личных отношений. Лесков покупает покидающему его брату старинный шейный крест; по просьбе отъезжающего у фотографа К. Андерсона заказываются «кабинетные» портреты моей матери и «Дронушки», то есть мой, и «визитного» формата самого Василия Семеновича *. Терзаемый мыслью о предстоящей разлуке с горячо любимым мною «дядей Васей», я нервничаю, плачу. Чтобы развлечь меня, сам он бежит из фотографии на Невский и приносит воздушный шар, с которым я и запечатлеваюсь на карточке. Капризность моя выражена на ней беспорядком моего костюма в области чулок и подвязки. На моей фотографии Николай Семенович делает надпись: «Отцу 3 дек. 71» **. Мать моя благословляет отправляющегося в сорокадневный путь образом, присланным из Киева матерью, и крестом, даримым старшим из братьев.

Все это, несомненно, очень хорошо и умиротворяюще, даже ободряюще, а все-таки... Ташкент!? И тянет холодком по сердцу. Теперь он уже не отдаленная предположительность, а бесповоротная правда, «ея же не прейдешь». Что она даст? Не благоразумнее ли было в феврале — марте вернуться в родной Киев, как предлагали братья?

---

* Архив А. Н. Лескова.
** Там же.

Канцелярские и финансовые оформления, пошивка почти военного обмундирования — поглощают весь ноябрь. Но всему бывает свой срок. Утром 3 декабря Николай Семенович везет Василия Семеновича к «Спасителю», в «домик Петра Великого» за Невой, у Петропавловской крепости, где, по стародавнему петербургскому обычаю, служатся молебны во всех серьезных случаях жизни[32]. Затем грустный завтрак, а там пора и на вокзал.

Проводив уезжающего, мать моя взволнованно пишет Марии Петровне:

«Сегодня в три часа мы его проводили на Николаевскую железную дорогу. Отъезжая, он очень был расстроен и от слез не мог даже говорить. Последние дни перед отъездом он был очень грустен и расстроен душевно так, что не спал несколько ночей, а последнюю ночь, которую он провел у нас, вовсе не ложился и все ходил по комнате. Он был очень тронут и со слезами благодарил меня за участие, которое я принимала в нем. Не умею вам выразить, как мне бесконечно его жаль, что он едет в такой дальний путь, в далекую и чужую страну. Мы все так привыкли к нему, сжились с ним, что, возвращаясь домой, проводивши его, как-то пусто стало в нашей семье. В продолжение года он всегда оказывал мне глубокое уважение, и я, со своей стороны, его любила и жалела как родного брата. Посылаю вам его карточки, он просил также вас одну и них отдать Степановне. Последний вечер много со мной говорил обо всех вас, говорил, как сильно он любит Алексея Семеновича и как много ему благодарен за все, с самым теплым чувством вспоминал вас, Михаила Семеновича и Ольгу Семеновну. Пока ждал определения, то все говорил, что с удовольствием едет, а как получил определение, так как будто на него напал страх, и последние две недели очень тосковал. Но бог милостив, ему там будет хорошо, и через год Николай Семенович через Ермакова выхлопочет ему откомандировку в Петербург на казенный счет, и тогда вы его увидите. А теперь надо молиться за него» *.

Провожали Василия Семеновича все, кто мог. Оплакивали тоже дружно. Он влек к себе сердца людей.

---

* Письмо от 3 декабря 1871 г. — Архив А. Н. Лескова.

Без него дом наш «опять повился скукою», как писал когда-то о доме своей матери Алексею Семеновичу его старший брат.

Поскорбели в меру того, кто и что терял в уехавшем.

Как водится, пообещали, для нравственной поддержки изгнанника, частые послания и, как водится же, немногие нашли на то досуг и волю.

Новый, 1872-й, последний год своей жизни, Василий Семенович встречает в дороге. С места он посылает уже четыре письма в Петербург. Первые три не сберeглись. Последнее цело.

«Ташкент, апреля 13-го.

Любезный брат Николай!

Вот уже четвертое письмо я пишу тебе после выезда из Петербурга; первые три были настолько незадачливы, что не вызвали ответа; может быть, и это постигнет та же участь. Я писал по твоему желанию и не думал, что беспокою или досаждаю тебе. На этот раз я не могу обойтись без твоего посредства и прошу не взыскать мою докучливость: *тридцать рублей,* которые ты получишь при этом письме, я посылаю в уплату долга моего В. В. Комарову; при выезде моем ты был так обязателен, что изъявил готовность сам порешить мой счет с ним, а потому я прошу тебя или передать эти деньги ему, если ты еще не поквитался с ним, или взять их себе, если счеты уже кончены. Прими мое искреннее желание тебе всего хорошего.

Василий.

P. S. Недавно я получил от матери письмо, в котором она говорит, что сестра Наталья до сих пор не получила 50 рублей, оставленных мной у тебя для пересылки ей, — не знаю, как объяснить это?! Комарову я пишу вместе с этим письмом».

На трех пятых складного листика почтовой бумаги писать уже не захотелось. Они остались чистыми *. Других следов переписки не знаю.

Недели две спустя он получает от сестры Ольги письмо и, отвечая ей, дает любопытные картинки собственного быта:

«Ты прекрасно сделала, что, не стесняясь, сообщила мне все новости: нужно тебе сказать, что, при скуке

* Архив А. Н. Лескова.

и однообразии жизни, все мы, «господа ташкентцы», так и глядим, как бы кто-нибудь сообщил нам какую-либо новость, и всегда благодарны за нее... Я живу так себе — не хорошо и не плохо, скучно только очень. Общества местного я бегаю сколько могу, хотя и прослыл за это гордецом... дамы здесь «неописуемые», — так что всяк человек вполне застрахован от опасности влюбиться. Из общественных удовольствий были здесь и спектакли любителей и концерты, но что за спектакли, что за концерты, — и не берусь описывать! Достаточно сказать, что из г.. артистов ни одна каналья читать толком, а не то что играть, не умеет. Я завел себе развлечение иного рода — лошадь. Лошади здесь так хороши и дешевы, что решительно нет возможности устоять против соблазна купить хоть одну. Я заплатил за настоящего степного аргамака 80 рублей серебром, но в Петербурге или даже в Киеве за такую лошадь нужно дать никак не меньше 300 или даже больше рублей. Алексей наш тут разорился бы на лошадей... Бесцеремонность и простота местных нравов удивительная — купаются чуть не на улицах. Я по утрам пью молоко, раза три в день купаюсь, не злюсь и не хандрю, а потому и потолстел очень, так что китель, шитый в Петербурге, уже не сходится на мне; гремлю шпорами и шашкой, словно царь Ахилл на сцене. Так что если бы теперь Степановна назвала меня воином галицким, то было бы очень кстати. Очень рад, что дом Алексея так удался, а уж в какой мурье я живу, так и сказать трудно: окошки мои такой величины, как были в Панине в Дмитриевой избе; за стеной помещается моя лошадь, рядом с кроватью моей, так что я, лежа у себя в постели, слышу, как она фыркает, топает ногой и отгоняет хвостом мух. На святой неделе здесь было великое множество скандалов всевозможных, всего больше содержания романического и мордобойного. Третьего дня Кауфман назначил меня произвести следствие о незаконных действиях жены здешнего казначея — бабы колоссальных размеров, два раза изгонявшей от себя полицию и избившей собственноручно двух полицейских унтер-офицеров. Вот тебе образчик мужества наших среднеазиатских барынь» *.

На этот раз бумага исписана вся, на всех четырех ее страницах, охотно, благодарно, тепло и даже шутливо.

* Письмо от 27 апреля 1872 г. — Архив А. Н. Лескова.

Лето мы почему-то оставались в городе. В «Русском вестнике» и «Современной летописи» Каткова идут: роман «На ножах» и сатирическая повесть «Смех и горе». Было не до переездов на дачу, а отчасти, может быть, и не до родственной переписки. Автор живет «в трех волнениях» и неустанном горении.

Еще около Пасхи, раннею весной, к великой радости моей, получается от ко всем заботливого «дяди Васи» посылка, в которой среди нескольких малоинтересных мне предметов оказываются, по сей день мило памятные мне, тонкой юфти малиновые с зелеными разводами, тюбетейка, куртка и штанишки, а также и нарядные малиновые же чувяки. Я и восхищался и... плакал. Он никого не забыл. Все были растроганы.

К концу лета внезапно приходит смертная весть.

Следом кем-то посылается дневничок покойного и кое-какие реликвии. Было и чье-то письмо, извещавшее, что Василий Семенович, перенеся в своей «мурье» тяжелый тиф, уже поправлялся, но был еще очень слаб. Темный денщик его, из казаков, принес ему ковш местного вина и убедил выпить для подкрепления сил. Томимый жаждой, он выпил его не отрываясь. Подорванное долгой борьбой с высокой температурой сердце остановилось.

Отслужили заупокойную обедню, панихиды. Переслали матери реликвии и дневничок усопшего. Жизнь потекла дальше. Но дневничок исполнил гневом старшего брата. В Киев полетели письма, полные ожесточения. Убитая горем мать просит смирить гнев *. Желчь не утишается. При одной из новых, несколько лет спустя разыгравшихся вспышек, вылившейся, должно быть, в особо беспощадных отзывах о покойном, мать не выдерживает.

Вчера, — пишет она в Петербург гневливому сыну, — получила я, конечно от тебя, книжку *(Аз есмь, не бойтеся)*. Большое спасибо тебе за внимание. Говоря тебе откровенно, что все эти назидательные книги приносят мне много отрады. Имела от тебя я два письма. Сознаю все невежество долгого ответа, но как сыну, которого очень люблю, болею за него, молюсь о облегчении его нужды, скажу: тяжел, очень тяжел мне ответ на них сказать. По-

* Письмо М. П. Лесковой к Н. С. Лескову от 31 января 1873 г. — Архив А. Н. Лескова.

прошу, как милости, не тронь прах, мне так дорогой, больной, милый. Я все знаю хорошо: отъезд, жизнь в Петербурге, отправку в Ташкент. Знаю по слуху, соображению собственному и по его же дневнику. Упокой его господь, не щадил себя, за то много и претерпел. Всего досталось: унижения, пренебрежения, нужды, тоски, одиночества. Молюсь, да облегчит господь его страдания. Он был вреден собственно себе. Мать любил. И, кроме своей слабости, которая была не в его власти, ничем не оскорбил. К родным всегда добр, услужлив, внимателен. Пусть почиет прах его покойно. Не говори мне об нем. Не растравляй ран едва-едва затягивающихся, что каждое противное средство возобновляет боль и надолго. Прости за откровенность и исполни мою просьбу» *.

Старуха, наконец, освобождается от осудительных упоминаний об ее любимце. Но — только она одна. Это найдет себе подтверждение в дальнейшем развертывании семейной хроники.

Итак, младшего по возрасту, но не по одаренности Лескова не стало.

Трагизм этой неудавшейся жизни родит горькие мысли. Думается, что в семье с менее трудными характерами некоторых ее членов этот наделенный блестящими способностями, прекрасно школьно подготовленный, добронастроенный к людям, почти юный еще человек, мог быть сбережен для служения обществу и родине. Верится, что немножко большая мягкость и меньшее «злопомнение» могли помочь ему ободриться, окрепнуть, стать ценным работником на радость себе, на пользу людям, на благо своей страны.

ГЛАВА 7

ДРОН

> На старости я сызнова живу,
> Минувшее проходит предо мною.
>
> *Пушкин* [33]

Мне нет пяти лет.

Позднее утро. Беспечно сижу в материнском «будуаре» у залитого солнцем окна на Фурштатскую. Целиком поглощен расстановкой на подоконнике оловянных солда-

---

* Письмо М. П. Лесковой к Н. С. Лескову от 24 мая 1877 г. — Архив А. Н. Лескова.

тиков. Колеблюсь — произвести ли им великолепный парад или ввергнуть их в кровопролитное сражение?

Слышу, как мать отпускает с последними указаниями искусную повариху нашу, польку Машу, и переходит к обсуждению с домашнею швеею, Анастасией Михайловной Борисовой, ряда сложных вопросов в ее области. Изредка легко пробегает, всегда чем-то озабоченная, славная горничная наша Паша.

Отец где-то, в далеком кабинете, «пишет». Это призывает весь дом к строгой осмотрительности. Я не смею шуметь и возиться в близкой к кабинету просторной зале. Я и не ропщу: солдатики так увлекательны! Мать разговаривает с портнихой вполголоса. Братья в гимназии, сестра Вера занимается с француженкой в детской.

Празден пока один только я — «куцый», самый и много младший всех остальных в семье.

Царит почти благоговейная тишина.

На душе тепло и радостно: сейчас поиграю, через часполтора завтрак, за ним прогулка с сестрой Верой и мадемуазель Мари, такой доброй, знающей столько интересных и веселых рассказов, шуток. На улицах или в «Тавриде» так хорошо! Потом все соберутся к обеду с какимнибудь лакомым последним блюдом! Благополучию не видать конца...

И вдруг из отцовского кабинета доносится растяжной оклик: «Дро-он!» Все рушится! Предчувствуя недоброе, застываю... «Дро-он!» — громче и уже нетерпеливо повторяется требовательный зов. Цепенея, обращаю полный мольбы взор к матери. Ее нет в комнате. Слышны тяжелые, на высокий каблук, шаги отца. Он останавливается в зале против раскрытых настежь дверей.

— Не слышишь, что отец зовет? — бросается мне с обжигающим душу взглядом. — Довольно болтаться! Иди читать!

Так я и знал! Горестно покидаю окно и, заплетаясь ногами, медленно трогаюсь.

— Иди как следует! Что это еще за походка?

Неохотно прибавляя шаг, оробело переступаю порог уже давно покинутого солнцем, выходящего на восток, на Таврический сад, сумрачного сейчас кабинета.

— Садись... — указывает отец на стул сбоку его письменного стола. Передо мною... синодального издания Библия [34].

— Читай!

Со страхом божиим, но без всякой веры в успех, как удается, начинаю по складам одолевать тяжеловесные строки. Сбиваюсь. Со второй ошибки быстро впадающий в раздражение отец лишается самообладания, а я — последней сообразительности. Ошибки растут вровень росту «нетерпячества» учителя. Вслед за ущемлением уха следуют более впечатляющие меры воздействия на повышение моего, вконец подавленного, усердия. Через несколько минут реву навзрыд.

Появляется мать, молча изымающая меня из кабинета и водворяющая в детскую.

Преподавательский экзерсис исчерпан.

Мягкосердечная француженка трогательно успокаивает. Скромная Настасья Михайловна соболезнует осмотрительно, без слов, полным участливости взглядом. То же читаю и в глазах старой Маши, и совсем еще молодой Паши. Кругом всеобщее сочувствие. Ободряюсь и даже исполняюсь некоторым горделивством, чувствуя себя чем-то вроде героя дня.

Подошедший вскоре завтрак проходит в молчании. Попытки отца нарушить его не удаются, предлагаемые им разговорные темы остаются без поддержки. Все хмуро расходятся по своим углам. Отец внезапно вспоминает о каком-то деле и уезжает «в город».

Вера и я идем гулять. На воздухе, в беседе с мадемуазель Мари, почти совсем выправляюсь.

За обедом, по счастью, гости. Это создает беседность, рассеивает тягость утренних настроений.

Должно быть, не без самоочистительного маневра отец заводит разговор о воспитании, а с тем и о наказаниях провинившихся детей. Он смело отстаивает физическую чувствительность наказаний. Мать и гости твердо возражают. Разгорается спор, в который я, надув губы и почти с наслаждением сохраняя оскорбленность, жадно вслушиваюсь.

— Величайший педагог Песталоцци учит, — выдвигает тяжелую артиллерию отец, — что младенцу, укусившему грудь матери, надо сейчас же дать хороший шлепок, дабы его, пусть и бессознательный, поступок навсегда сочетался в его памяти с последовавшим за ним болевым ощущением.

Сыплются протесты, в которых я ничего не понимаю, думая лишь: но ведь я-то сегодня никого не кусал!

Кто-то, не зная о происшедшем у нас утром, строго осуждает необузданную вспыльчивость самого знаменитого швейцарца, щедрого на полновесные плюхи своим воспитанникам. Это сильно снижает непогрешимость выдвинутого отцом авторитета.

Торжествую. Мать, предотвращая дальнейшее развитие прений по достаточно прискучившей с утра теме, отводит разговор в менее извилистое русло. Обед кончается. Все переходят в гостиную.

Победно ликующий, удираю в детскую, благодарно поцеловав руку матери и, как бы в рассеянности, позабыв выполнить это строго неотступное правило в отношении отца.

Кто думает, что дети легко забывают обиды, — тот их не знает.

Скептик по натуре, я плохо верю бесспорности большинства полумладенческих личных «первых воспоминаний». Больше верю в склонность отдельных лиц щегольнуть или даже поразить ими. Читая их, я «в удивленье онемелом» не один раз смущался смелостью рассказчика и — «не смею следовать за ним» *[35].

Сохраняю убежденность, что их подчас трудно допустимая четкость объясняется необычайною же одаренностью рапсода, сумевшего все сохранить в памяти или же многое — вполне искренно — воссоздать в своем всепостигающем представлении. Удел не взысканных ею — держаться неопровержимого, твердо запечатлевшегося, не стыдясь его незатейливости, обыденности.

Сомнительны и многие так называемые «последние слова» умирающих.

«Надежда — последняя покидает человека». А окружающим не открыто — после какого именно слова наступит смерть. Как тут установишь потом, чт*о* именно сказано позже всего. Случается, что кто-нибудь и запишет эти «последние слова». И все-таки в большинстве случаев они потом оказываются, хотя бы и непредумышленно, усугубленными в торжественности и глубине.

А за воспоминания слишком раннего детства очень часто сходят рассказы матерей, бабок, нянек, свыкаясь с которыми ребенок постепенно приучается принимать их за нечто свое собственное. Не исключается и иное, но

---

* Строки некогда очень известного и очень нравившегося Лескову стихотворения К. Фофанова, посвященного Л. Толстому.

для этого нужны уж действительно выходящие из ряду вон события и происшествия.

У меня таких не было. Завидую тем, у кого они были — яркие, нарядные или в самом деле потрясающие.

Не насилуя и не изощряя память, дал то, что было и как было, во всей его будничной подлинности, со всею искренностью до сегодня живого *ощущения* рассказанного. Я не преувеличиваю: *ощущение* никогда не притуплялось и в свое время остерегло.

Был у меня сын. Он погиб в поре возмужалости. Единственное, что сколько-нибудь помогало мне перенести утрату, было сознание, что он не знал ветхозаветно-злосчастного детства, не боялся меня, видел во мне всегда доступного ему друга. Как это сложилось? *Я боялся дать ему мое начало жизни.*

Воспитательные приемы Лескова были пестры и сбивчивы.

В годы моего детства он, по обыкновению многих русских людей тех времен, не без «аффектации» принимал догмы Песталоцци, едва ли проникаясь ими в душе и отнюдь не принося им в жертву родные предания и навыки. Учение ивердорфского апостола о благотворности любви и нравственного воздействия невозбранно уживались у некоторых российских его учеников с древлеотечественными заветами.

Да и что и с чем в «доброе старое время» у нас не уживалось! Руссо и Дидро — с плетями, клеймением и крепостничеством, французское с нижегородским... А. П. Ермолову приписывается памфлет на М. С. Воронцова, начинавшийся строками:

Версаль смешавши с Тегераном,
Ликует новый падишах.

Все и со всем умели мешать: шампанское с квасом. Песталоцци с Домостроем или попозже хотя бы и с несколько усмиренными уже наставительствами.

Мудрено ли, что и Лесков дома забывал, как за десять лет до собственных педагогических опытов в отношении сына, осуждая принудительные мероприятия по обучению детей крестьян и вообще малоимущих родителей, он убежденно завершал свою горячую статью:

«Ему прилично было бы припомнить себе, что человек, выученный чему бы то ни было подневольно, непременно и сам делается в свою очередь приневоливателем

других и таким образом упрочивает длинную фалангу принудителей, из которых создаются поколения, неспособные к усвоению себе многих гражданских добродетелей, необходимых для благополучия человеческого общества. Как бы ни мягка была вынудительная мера, она все-таки есть *мера,* неблагоприятная народному счастию, которое никакой комитет не вправе топтать или приносить его в жертву даже такой благородной цели, каково распространение грамотности. Никакая благородная цель не оправдывает мер, противных принципам человеческого счастья, а законная свобода действий всегда и везде почиталась залогом счастья, и ни один народ никогда не благословлял принудителей; а в то же время и все прививаемое насильственно принималось медленно, не прочно и давало плоды нездоровые» *. Концовкой служила собственная переделка последнего куплета стихотворения Д. Д. Минаева «Это ты, весна»: ** «Все мерещились мне последние стишки обличительного поэта (к весне), и сдавалось, что они не полны, что к их последнему куплету еще следовало бы приписать:

Подневольное ученье,
«Домострой», лоза,
Это ты, мое мученье!
Это ты, весна!» [36]

Теперь в библиотеке Лескова непраздно стояла прелюбопытная книжечка не ахти какой давности — «Юности честное зерцало, или показание к житейскому обхождению. Собранное от разных авторов в Санктпитербурхе лета господня 1719 г. иулия 5 дня».

В ней было много поучительного:

«Любяй своего сына участит ему раны».

«Студ отцу не наказан сын».

«Кто тебя наказует, тому благодари».

«Когда кто своих домашних в страхе содержит, оному благочинно и услужено бывает» ***.

Само идет в руки и другое, тоже из бывших у него, изданьице — «Дружеские советы родителям о воспитании

* «Как относятся взгляды некоторых просветителей к народному просвещению». — «Русская речь», 1861, № 48, 15 июня.

** «Искра», 1861, № 19, 26 мая.

*** См. статьи Лескова «Домашняя челядь». Исторические справки по современному вопросу». — «Новости и биржевая газета», 1887, № 317 и 319, 18 и 20 ноября; Собр. соч., 1902—1903, т. XXII.

детей», 1872 года, с цензурным благословением архимандрита Геласия.

На обложке с нескладной картинкой как нельзя более уместный эпиграф, и притом из самого, казалось бы, авторитетного источника истины: «Отцы, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте их» и т. д. (Ефес, 6, 4).

В этом на полтора столетия позднейшем наставлении, несравненно более мягком, все же попадаются сильно расходящиеся как будто с евангельским эпиграфом тезисы:

«Чем более щадить детей в малолетстве их, тем хуже становятся они в юности». *Щадить,* видимо, не должно.

Но дальше идут уже и умеряющие наказательный пыл советы:

«Никогда не употребляйте наказании жестоких и наводящих ужас».

«Никогда не наказывайте ребенка в гневе. Когда отец в гневе, то ребенок станет бояться, а не почитать его, и будет повиноваться ему только по наружности, из страха».

По неотступному порядку, все сколько-нибудь заинтересовывавшее Лескова в жизни находило себе непременное отражение в его статьях, заметках, произведениях. Не мог остаться обойденным в них и «пенитенциарный»[37] вопрос, по которому сохранились, как всегда, очень неоднородные высказывания.

В самом начале литераторства у него прошла статья с мрачным заглавием — «Торговая кабала» *. Ей он дал трогательный эпиграф:

Мальчик был он безответный,
Все молчал, молчал;
Все *учил* его хозяин —
Да и доконал.

А. Комаров[38]

В много более позднем «Левше» делается полное обиды за своего, русского, сопоставление наших условий обучения с английскими: «работает не с бойлом, а с обучением, и имеет себе понятия» **.

В совсем поздних «Пустоплясах» горестное подтверждение: «Школы нам, братцы, не было! Бойло было, а школы не было» ***.

---

* «Указатель экономический», 1861, № 221, 12 февраля.
** Собр. соч. т. IV, 1902—1903, с. 135.
*** Там же, т. XXXIII, с. 111.

В статье с выразительным заглавием «Сентиментальное благочестие», разбирая благонастроенный, но совершенно нелепый по незнанию русской жизни великосветски-дамский журнальчик «Русский рабочий»[39], Лесков остается при особом мнении относительно ненаказания детей в гневе и изъясняет его в маленьком трактате:

«Об этом у известных педагогов мнения разнятся, и многие осторожные люди думают, что Песталоцци, не осуждавший иногда наказания дитяти *вгоряче,* под влиянием оскорбленного им чувства — стало быть, именно в «порыве», гораздо правее педагогов-резонеров, которые стоят за холодную легальность в системе наказаний. Приведем всем, вероятно, памятный пример из полемики, возникшей по поводу известных «правил» Н. И. Пирогова[40]. Был предложен вопрос: «Что сердобольнее и полезнее: выдрать ли с негодованием за ухо мальчика, который украл с дерева вишню, или привязать его к дереву, чтобы он пострадал от унижения, как сознательный преступник, наказываемый беспристрастным законом?» Как ни груб в понятии некоторых наш русский мужик, но он, изловив на бахче ворующего мальчишку, не всегда отпустит его без нравоучения, а иногда стрясет ему вихор, но он, этот грубый мужик, ни за что не привяжет ребенка к столбу с надписью «вор», как это делают немцы, и не поведет с ярлыком по улице, как это делают иногда англичане. Грубый мужик наш не осрамит мальчонку и даже не вменит его проступка за воровство, а «поучит» его как шалуна за вихор «рукою властною», «взвошит» и отпустит и простит, сказав: «Это-де дело ребячье». Пусть посудят господа сентиментальные моралисты «Русского рабочего»: что лучше и добрее?» *

Евангельское указание не раздражать детей предвзято принимается тут за что-то сентиментально-великосветское или по крайней мере анонимное по своему источнику. Оставляется нераскрытым, чем именно мог «оскорбить» ребенок чье-то чувство и в каких именно случаях «иногда» может находить себе оправдание «наказание дитяти вгоряче» или в «порыве». Не слишком убедительными остаются и достоинства «взвошивания», да еще «рукою властною», «стрясывания вихра» и всего вообще перечня однородных мероприятий.

---

* «Православное обозрение», 1876, № 3.

Кары за неуспеваемость при неумелом обучении грамоте здесь оставляются вне обсуждения.

По собственным показаниям Лескова, сам он одолел грамоту, не испытав в связи с этим никаких горестей, не зная слез, трепета, почти шутя, без чьего-либо понуждения.

Какой убедительный и какой близкий пример! Почему бы его не помнить?

Стариком он заносит в записную книжку:

Водка — дьявол в жидком виде.
Гнев — глупость в горячем виде *.

Все это, конечно, было известно и раньше. Однако ничего не изменилось даже и после записи.

Решительный протест матери в конце концов положил предел обучению меня моим отцом. Думаю, что ему это и самому начинало прискучать. Дело шло к весне, лета мои были и в самом деле малы, торопиться было, пожалуй, и не к чему, а досаждений много.

Осенью 1872 года меня отдали в школу нашей знакомой, Е. С. Ивановой.

Бабушка моя, оказывавшая мне, своему единственному внуку, исключительное расположение, озабоченно писала своему сыну по атому поводу: «Дронушку жаль мне, что рано посылаешь его в школу, хотя бы лет 7 начать учить сурьезно, что он еще, крошка, милое дитя мое, так, кажется увез [бы] его от вас и лелеял-лелеял его; но бог делает все по-своему, буду ждать, авось увижу» **.

Живя далеко и не зная многого в нашей жизни, хотя уже и не веря в ее радостность, она и представить себе не могла, от каких невзгод избавляла меня эта школа и в каком восторге от нее был я сам.

И в самом деле: опытная, терпеливая и со всеми ровная учительница; вместо мрачной, в кожаном переплете, скучной Библии, чуть что не Часослова пли Полусонника, по которому обучался знаменитый Л е в ш а, — легонький на вес, во всем понятный и интересный Ушинский; вместо уединенного кабинета, глаз на глаз с взыскательным и нервным о т ц о м, — приветливый светлый класс, однолетки мальчики и девочки, все с Фурштатской же улицы,

---

* ЦГЛА.

** Письмо М. П. Лесковой от 31 января 1873 г. — Архив А. Н. Лескова.

наполовину уже знакомые по Таврическому саду. Веселые «перемены», шумное возвращение гурьбой, с горничными или гувернантками, домой. Все на людях, на общих и равных правах... А «Детский мир» и «Родное слово»[41] так занимательны, что вечерком, приготовив нетрудные уроки на завтра, забежишь по этим книжечкам еще и вперед!

Старея, вспоминая свое детство и перелистывая творения моего отца, я не раз задумывался над заповедно-удивительными его строками:

«Живите, государи мои, люди русские, в ладу со своею старою сказкою. Чудная вещь старая сказка! Горе тому, у кого ее не будет под старость!» *

«Но что мне, помимо всех шуток, всего милее — это то, что у нас было д е т с т в о, — была та поэтическая, теплая пора жизни, которой теперь нет у детей, выведенных из волшебного сада фантазии и чуть не с колыбели запертых по отделам «родиноведения» и других мудреных наук» **.

«И теперь это вспоминается мило и живо, как веселая старая сказка, под которую сквозь какую-то теплую дрему свежо и ласково улыбается сердце...» ***

Как глубоко почувствовано, с каким мудростию полным предостережением дано почувствовать всем и каждому... ****

И с болью думалось — как, понимая и чувствуя все это, можно было не щадить «сон разума» ребенка, отнять у него «теплую дрему», оставить его на весь путь жизни без спасительной сказки детства, без воспоминаний, вызывающих «ласковую улыбку сердца»!

А в Горохове и Панине «сна разума» и «веселых старых сказок» было столько, что до конца трудной жизни могло ласково улыбаться им усталое, но все еще неуемное сердце...

---

* «Соборяне», ч. II, гл. 5. — Собр. соч., т. II, 1902—1903, с. 34.

** «Морской капитан с Сухой Н е д н ы». — «Яхта», 1877, № 2 и 3; «Звезда», 1938, № 6.

*** «Печерские антики», гл. 1 6 . — Собр. соч., т. XXXI, 1902—1903, с. 30.

**** Вспоминается еще одна книжечка из библиотеки Лескова и афоризм в ней: «Детство — сон разума, и горе тому, кто лишит ребенка счастливой поэтической и живой поры детства» Г р э х е м Г е н р и Г р е й. Жан-Жак Руссо. Его жизнь, произведения и окружающая среда, М., 1890, с. 168).

ГЛАВА 8

ЕЩЕ У «ТАВРИДЫ»

Полны незадач, выше сил работно, безрадостно чередуются дни, месяцы, годы...

Время, правда, вносит кое-что новое, свое. Но отвечающее ли первенствовавшему десяток лет назад строению духа и мысли Лескова?

Неотвратимо растет вовлечение его в круг «людей московского <читай — катковского. — *А. Л.*> уряда мыслей» *. С ними приходится есть соль, пока от нее не «стошнит»! **[42]

Неизбежно идет умножение новых, якобы одномысленных попутчиков.

К именам В. В. Комарова, Ф. Н. Берга, В. П. Клюшникова, А. П. Милюкова, Б. М. Маркевича и прочих приобщаются имена Я. П. Полонского, А. Н. Майкова, М. Г. Черняева, В. П. Мещерского. Ю. М. Богушевича и т. д.

Наступает катковское «томление духа». Но болезнь не к смерти, а в дни грядущие, к выздоровлению. Не заставляет долго ждать себя острый пересмотр всего, во всем в сущности чуждого, ближайшего окружения своего, создавшегося в годы лютого безвремения. Этому сохраняется подтверждение в письмах и произведениях.

Клюшников именуется «крохотным дрянцом» ***. Берг обвиняется в малодушии и слишком большой осмотрительности. Милюков превращается в «даровитого Милючка», недостойно «блекочущего» что-то о своих чувствах к Данилевскому. Сей последний — уже «Гришка Скоробрешко», «гусь» или «граф Данилевский», назойливо домогающийся указания ему достойного места в литературе. «Вися Комаров», «по рассеянности» женившийся на дочери «Гришки» **** вместо дочери Каткова, издавая газету «Русский мир», просит Лескова дать для его органа роман, но «чтобы был совсем не художественный, а как можно базарнее и с похабщиной» *****. Черняев не без яда возводится в сан древлего

---

* «Шестидесятые годы», с. 315.

** Ф а р е с о в, с. 52.

*** Письмо Лескова к Суворину, без даты, 1871 г. — Пушкинский дом.

**** Свадьба Е. Г. Данилевской и В. В. Комарова была 14 января 1876 г.

***** Письмо Лескова к И. С. Аксакову от 16 декабря 1875 г. — Пушкинский дом.

богатыря «Редеди». Князь Мещерский признается «каким-то литературным Агасфером», и притом «в науках не зашедшимся», «недоумком консерватизма», которому незачем еще больше «скверниться», а лучше «как-нибудь пообчиститься» *.

О «заносчивом хлыще» или о «честном Маркевиче» жестких отзывов Лескова сколько угодно, но есть один и превеселый, жанровый, живописующий не только Болеслава, но слегка и «самого» великомощного покровителя его — Каткова. «К удивлению, в нем <в Каткове. — *А. Л.*> действительно всегда замечалось очень странное и подчас очень смешное стремление к аристократизму. Он любил «высокое положение» в людях, особенно — родовое, и благоволил к тем, кто имел знакомства в том круге. С этого, например, началось и долго *на этом,* главным образом, держалось его благорасположение к Маркевичу, у которого — как это ни смешно — он брал примеры обхождения и старался пришлифовать к себе его, совсем не утонченные, манеры. Это было известно многим, а мне раз довелось видеть пресмешной случай в этом роде. Маркевич... имел удивительно округленные окорока, по которым умел при разговоре громко хлопать себя ладонями. Одни раз, споря с Михаилом Никифоровичем в своей квартире в доме Зейферта на Сергиевской [43], Маркевич в пылу спора все прискакивал и отлично прихлопывал себя по окорокам, что, видимо, нравилось М. Н-чу и Евгению Богдановичу, который тоже хотел так хлопнуть, но у него не вышло. После этого тотчас Маркевич пошел провожать Богдановича, а М. Н. остался один в кабинете, а я в зале, откуда мне было видно в зеркало, что делается в кабинете. И вот я увидал, что М. Н. встал с места, поднял фалду и начал себя хлопать по тем самым местам, из которых Маркевич извлекал у себя громкие и полные звуки... У М. Н-ча ничего подобного не выходило, и он, оглянувшись по сторонам, сделал большие усилия, чтобы хлопнуть себя, как Маркевич; но все это было напрасно: звук выходил какой-то тупой и плюгавый, да и вся фигура его в этом положении не имела той метрдотельской, величавой наглости, какою отличалась массивная фигура Маркевича. Тогда М. Н. вздохнул, опустил фалду и с усталостью и грустью сел писать

* «Об осквернении «Гражданина». — «Петербургская газета», 1882, № 232, 2 октября. Без подписи.

передовую статью, в которой очень громко хлопнул по голове Валуева. Но уверяю вас, что эти пустяки совсем мною *не* выдуманы» *.

Это заимствовано из переписки. Есть нечто, так сказать, и из домашнего обихода.

Самовлюбленный Жаркевич, начав седеть, стал краситься. Однажды мать моя с огорчением обнаружила жирное пятно на высокой спинке кресла, на которой перед тем покоилась гордая голова только что ушедшего вельможного сановника. Пришлось развесить на всей мебели немецки практичные, но немножко жеманные вязаные наколки. Много смеялись у нас по другому случаю. В пылу какого-то горячего спора мать моя, апеллируя к авторитету Маркевича, вместо «Болеслав Михайлович» воскликнула: «Болеслав Маркевич! подтвердите же наконец, что это было именно так, как я говорю!» Напыщенный хлыщ не только не сумел снисходительно улыбнуться сорвавшейся с уст хозяйки дома обмолвке, но даже, совсем не по-великосветски, едва не надулся...

Во второй половине семидесятых годов «пересмотр» своего окружения Лесковым завершен: второстепенные из недавних спутников брошены, с главарями — открытая, неустанно нарастающая борьба до последнего дня своего.

В «фурштатские» же годы сложились добрые отношения с графом А. К. Толстым[44] и А. Ф. Писемским. Первому из них посвящаются «Соборяне». Второму выражается исключительное внимание, признание громадности ума, знания России, сочности таланта.

В общем, к обоим этим именам живет неизменное расположение. Иначе шло дело с одним из наиболее близких ему недавно писателей, с которым он был даже «на ты». Видоизменение этих отношений показательно. Создалась недостоверная, но, как часто бывает, живучая легенда. На этом надо остановиться.

В шестидесятых годах, работая в «Отечественных записках», Лесков сходится с автором печатавшихся тогда в этом журнале «Петербургских трущоб» Крестовским. Вместе с «Всеволодом» и известным ваятелем, по приятельству — «Михайлой» Микешиным, Лесков посеща-

---

* Письмо Лескова к Суворину от 30 сентября 1887 г. — Пушкинский дом.

ет знаменитую «Вяземскую лавру» на Сенной площади. Невдолге пути приятелей начинают расходиться[45]. Однако в годы раннего моего детства отношения были еще достаточно дружественны, «Всеволод» у нас свой человек, частый и всегда желанный гость. Как было не запомнить его и мне!

За обедом упоминалось, что сегодня «милюковский вторник» и что, перед тем как ехать на Офицерскую улицу, условлена деловая встреча со «Всеволодом» у нас на дому. Вся молодежь, вплоть до «куцого», то есть меня, расцветает! Еще бы! Всеволод Владимирович вносит всегда в наш несколько сумрачный домашний строй столько оживления, шума, впечатлений: невероятной величины и «малинового звона» шпоры, непомерная по росту сабля, которую мой отец, к величайшей нашей обиде, пренебрежительно называет то «валентиновскою», по герою оперетты «Маленький Фауст», то «Дюрандалем» — прославленным мечом легендарного «неистового» Роланда; уланский мундир с этишкетом, а иногда, вместо фуражки, даже шапка с султаном! Дух замирает!.. С наступлением сумерек напряженно ждем. Смелый, так сказать «военный», заливчатый звонок. Конечно, он?! Высматриваем через щелку чуть приоткрытой двери в переднюю. Он! Дружески сбросив радушно приветствующей его нашей милой Паше «николаевскую» шинель с пелериной, он проходит в кабинет. Терпеливо ждем и прислушиваемся. Боже мой, как долго... Наконец, покончив досадные для нас деловые переговоры, он направляется в залу поболтать с хозяйкой дома, пока отец управится с какою-то неотложной работой. Сюда же высыпаем и все мы, сторожа момент, когда мать пойдет одеваться и гость останется полностью в нашем обладании.

Он не строен, скорее приземист. Голова посажена на короткой шее, которую он часто высвобождает из ненужно тесного и ненужно высокого воротника. Это не обличает избытка вкуса. Во всем, начиная с монокля в слегка оплывшей орбите глаза, чувствуется что-то непростое, неспокойное, армейски ухарское... Но нам, ребятам, все рисуется чарующе прекрасным. Сыплются анекдоты, новости, слухи, почти сплетни. Не требуя приглашения, садится за рояль, на котором «жарит» что-то самоучкой, но бойко, и поет. Голоса немного, но экспрессии не занимать стать: «Две гиттары зазвенели, жалоббно-о заныли-и: сердцу паммятны наппевы — тты-ы ли, друг мой,

тты ли?» Припев душераздирающий: «бассан, бассан, бассаннатта — ты другому отдана. Ты друггомму отданна-а-а без возврата, без возвратта-а!» [46]

Малоприклонный к музыке, особенно к «жестоким романсам», отец выходит из кабинета и выразительным взглядом приглашает маму начать собираться, затем притворяет за собой дверь в переднюю и снова уходит в кабинет. Этого только мы и ждали! «Всеволод Владимирович, Всеволод Владимирович! Военное, гусаров!» — кричим мы, обступив певца. «Военное? Гусаров? Идет!»

После ряда перезабытых за долгую жизнь «номеров» шли обычно два, до сих пор живо звучащие в моей памяти.

Под легко-лазоревый, «курц-галопный» аккомпанемент, то в теноральных, то в баритональных тонах, местами не без фальцета, раздавалось:

«Тррруббят голлубые гуссары [47], из города едут долой, прощщай же, моя ты голубка, увижусь ли снова с тобой? »

И после этой грациозной гейневской песенки, уже «под занавес», пройдясь по всей клавиатуре бурным арпеджио и задержавшись в мрачных басовых аккордах, финальный, грозный марш:

«Налливай, разливвай кругговые ччары! Маршш вперед! — *Смеррть и*ддет!— Ччеррны-ые-е гуссары!..».

Напряжение достигает апогея.

«Ну и марш вперед, к Милюковым! Поезжай с Катериной Степановной, а я по пути заеду за Клеопатрой Владимировной», — раздается возвращающий нас к действительности голос стоящего на пороге одетого уже «по-вечернему», но «по-штатскп» скромно, отца.

Дом пустеет. По плитам ступеней парадной лестницы, через двойные двери, с каждым шагом глуше, еще гремит «Дюрандаль», а в наших ребячьих ушах неумолчно звучат лихие аккорды грозного марша «бессмертных гусар».

Мать Крестовского, Марфа Осиповна, весьма свирепого и далеко не барственного вида, любила рассказывать, как «ее Всеволод» обычно так крепко спал, что даже обливание холодной водой не могло заставить его подняться. И вот как-то, когда он был еще «штатским», кто-то из семейных, подбежав к окну в зале, крикнул: «уланы!» Все бросились смотреть на шедший по улице полк и, когда тот уже почти целиком прошел, остолбе-

нели: у одного из свободных окон, завернувшись в одеяло, стоял только что непробудно спавший Всеволод, не сводивший жадных глаз с последних рядов улан. Секрет был найден. С тех пор каждый раз, когда необходимо было разбудить сына, Марфа Осиповна вбегала к нему с криком: «уланы!» Успех был неизменен. В 1868 или 69 году он и сам, писателем с именем, поступил юнкером в 14-й уланский Ямбургский полк.

Постепенно отношения обострились до такой степени, что Лесков нашел себя вправе писать Крестовскому: «А ты в 30 лет, в полном развитии сил, все «трубишь», вместо того чтобы устроить детей и успокоить семью, да ищешь людей, которые еще более утверждали бы тебя в желании «трубить»... Труби, брат, труби; немного осталось, когда про тебя протрубят и будешь ты курам на смех» *.

Проскальзывает кое-что и в произведениях. Так, например, в 1875 году в «Блуждающих огоньках» отец говорит сыну: «Учись, братец, всему полезному, а то, если будешь бесполезен, я тебя в уланы отдам» **. Это было не в бровь, а прямо в глаз, да еще и всенародно.

Не остается в долгу и Крестовский, пустивший в том же году в оборот акафист, далеко не исчерпанный в своей злобности и хлесткости строфою:

Мир ти, чадо!! Проскакав
По Европе много станций,
К нам вернулся цел и здрав
Новый наш Лактанций.

Так постепенно от былой, хотя бы и недолгой, дружбы ничего и не осталось.

Г. П. Данилевский в упоении признательно писал 3 декабря 1869 года М. М. Стасюлевичу: «Вы... отграничили меня от г.г. Крестовского и Стебницкого в вашем журнале» ***. Теперь они отграничивались друг от друга уже сами, и чем дальше — тем глубже.

Однако до последних своих дней Лесков не отнимал у Крестовского прежних его заслуг. В беседах дома он неизменно указывал, что «Петербургские трущобы» в свое время сыграли большую роль как одна из первых

---

* Письмо Лескова к Крестовскому, без даты, декабря 1871 г. По-видимому, не было отправлено. — Архив А. Н. Лескова.

** «Блуждающие огоньки», гл. 2. — «Нива», 1875, январь.

*** «М. М. Стасюлевич и его современники в их переписке», т. V, СПб., 1913, с. 306. (Отсылка неточна. — *А. Г.*)

попыток заинтересовать общество вопросами социального характера, заставить его читать «книгу о сытых и голодных» и задуматься о доле последних[48].

Насколько мы, мелкота, радовались всегда приходу Крестовского, настолько же боялись появлений Писемского. Нам было строго внушено, что он терпеть не может детей. И нас прятали и держали в дальних комнатах. Рассказывали, будто, когда ему однажды объяснили, почему он нас не видит, он рассмеялся: «И совсем это неправедный поклеп на меня, а я детей даже очень люблю, и всего пуще, когда они заплачут». — «Полноте, Алексей Феофилактович, ну что же в том хорошего, что плачут-то?» — возразила моя мать. «А их тогда, глядишь, сейчас же и уберут», — ответил маститый гость. Впрочем, мне почему-то кажется, что такой диалог «имел хождение» применительно не к одному Писемскому.

Собственных чисто «литературных» воспоминаний этой ранней моей поры у меня, естественно, не могло создаваться. Ребячески поражала, всем казавшаяся смешной, напряженная суетливость полненького Данилевского, которого попозже Лесков не раз иносказательно именовал «бойким» пли «юрким литератором». Особенно озадачивала мое детское воображение и любопытство совершенно черная, с горошину, выпяченная бородавка у него на лбу. Запомнился еще высокий, ражий, всегда улыбчивый Берг, стихотворение которого о заиньке, лапочкой о лапочку похлопывающем и трогательно приговаривающем: «экие морозцы, прости господи!» — Лесков охотно наизусть читывал до последних лет своих, поглядывая в ясные дни в окна на обмерзших людей и лошадей. С тех еще времен и пошло за Бергом прозвище «Заинька»[49]. Пожалуй, и все.

С концом 1870 года связано мое первое, счастливо для меня начатое знакомство с моим родством: приехал дядя Вася. Ему отведена глава 6 четвертой части этой книги. Ему я обязан до сих дней согревающими дух и мысль воспоминаниями об обидно краткой, но полной неувядаемой прелести поре моего раннего детства.

И все-таки приходится сознаться, что это такое милое мне тогда имя, в смену лет, постепенно оказалось «забытое давно в волнениях новых и тревожных», переставая служить источником «воспоминаний пылких, нежных». Но внутреннее, хорошо залегшее в душу чувство, хотя бы годами и приглушенное, не омертвевает совершенно,

пока жив человек. В свой срок прошлое воскресает... Многое тут бывает страшно, но многое и умиляет. И сейчас, три четверти века спустя, Василий Семенович мог бы продолжить допущенное здесь пользование прекрасным стихом, сказав: «Есть память обо мне, есть сердце, где живу...» [50] И не ошибся бы: живет!

Не смею утверждать, что я сохранил безупречно четкое, живое, не по фотографиям, представление внешности покойного. Но я полон чувствованием его всегда бледного, задумчивого лица, какой-то, может быть только в условиях петербургских незадач возникшей, робости выражения синих глаз. Хорошо помню высокую гибкую фигуру, легкую поступь, спокойные движения, мягкий жест, приветность речи. Без затруднений представляю, ощущаю зимние вечера, в которые мы сиживали с ним на большом диване в полутемной угловой нашей зале, ведя бесконечные, едва ли многозанимательные для него, но восхитительные для меня, тихие беседы, исподволь прислушиваясь к покашливаниям и нервным передвигам рабочего кресла в кабинете.

Таким рисуют мне Василия Семеновича моя память, чувство... Этого, конечно, мало.

Как уже известно, он оставил дневничок — подлинный «человеческий документ». Он был начат, веден и брошен строго по интимным побуждениям и потребностям. Этим утверждается бесспорность его искренности. Им сбережены простосердечные свидетельства о жизненной и рабочей обстановке Николая Семеновича в те времена. Небольшие извлечения из него, несомненно, кое-что осветят. Итак — к ним, к дневничку, к «человеческому документу»!

«За обедом между Николаем и Катериною Степановною произошла какая-то вспышка, в которой Николай, по моему мнению, не виноват. Смотрю я, смотрю на сию... Катерину Степановну и никак не могу уяснить себе, что «оно» такое? По-своему добрая, довольно последовательная в том, что себе зарубит (упертая), и всячески бестолковая. Это тип малороссийской «жинки», которая не боится своего «чоловіка». Особенно интересна она с своею манерой говорить «высоким слогом» и пускаться в рассуждения... Но тем не менее, в ней есть стороны, которых нельзя не уважать: она прекрасная (по-своему) мать, хорошая и заботливая хозяйка, что тоже не вздор; и потом она очень правдива — пункт, в котором она сильно

расходится с Николаем, который врет много и часто вовсе без нужды и цели. Я ставлю себя в ее положение и нахожу, что действительно ужасно любить человека, жить с ним и не быть уверенным в том, что вот то, что он рассказывает в данную минуту — правда или нет?» (26 февраля 1871 года).

Милый, не искушенный еще жизнью со всеми ее противоречиями, старовер и правдолюбец! После кромских, уманьских и киевских «дам», чуждых многим интересам, женщины столичных литературно-артистических кругов были ему слишком новы, неожиданны, странны и непонятны.

Внешне провинциальные «жинки», может быть, и больше считались со своими «чоловіками». Но являлось ли это истинною панацеей супружеского благоденствия? Не подменялась ли в ней искренность житейскою сноровкой?

Отвергал он и власть соблазна, овладевающего человеком, исполненным речевого мастерства, безотступно подсказывающего всегда новую, блестящую импровизацию вместо безупречно достоверного, но и бесцветного доклада о том или ином событии. Здесь совершенно исключалась какая-нибудь «нужда» или «цель». Здесь не было ничего, кроме неодолимо властного «влеченья духа», неосилимой потребности обогатить фабулу, утончить узор, оживить расцветку.

Беллетрист до мозга костей, неподражаемый рассказчик, Лесков на редкость тепло и любовно говорит о легендарном киевском «антике» Кесаре Берлинском:

«Соображал он быстро и сочинял такие пестрые фабулы, что если бы он захотел заняться сочинительством литературным, то из него, конечно, вышел бы любопытный сочинитель. Вдобавок к этому все, что Кесарь раз о себе сочинил, это становилось для самого его истиною, в которую он глубоко и убежденно верил. Вероятно, оттого анекдотические импровизации «печерского Кесаря» производили на слушателей неотразимо сильное впечатление».

Дальше, передавая рассказ Берлинского о совершенно невероятном способе его делать у людей верхние больные зубы нижними, примененном им якобы к «Бибиковой теще», автор «юношеских воспоминаний» восхищенно свидетельствует:

«Но чуть к нему <упомянутому способу. — *А. Л.*> коснулся гений Берлинского, — произошло чудо, напоминающее вмале источение воды из камня в пустыне. Крылатый Пегас-импровизатор ударил звонким копытом, и из сухой, скучной материи полилась сага — живая, сочная и полная преинтересных положений, над которыми люди в свое время задумывались, улыбались и даже, может быть, плакали» *.

Чувствуется не только полное оправдание, но и признание художественной артистичности и в речи и в смелости создания пленительной «сочной саги».

Вдохновенность ошеломительных импровизаций исполняла восторгом слушавшего их юношу. Берлинский поражал, запечатлялся, жил в памяти, как бы побуждал «дерзать».

С началом «сочинительства», среди многих профессиональных советов, познается и мнение Вольтера, что все виды литературы хороши, кроме скучного. Закон принимается всем сердцем: раз он хорош для calami **, чего ради не следовать ему и в lingua? ***

И Лесков *не мог* два раза рассказать о чем бы то ни было, не привнося каждый раз непроизвольных вариаций, в которые тут же сам начинал «глубоко и убежденно верить». Незыблемая точность тяготила. Даже в цитатах он не был строг, приводя их по памяти и сплошь да рядом — в отвечающей его задачам редакции. Раздражал и педантизм библиографов, которые подчас казались ему даже «противны» ****.

Близких повествовательные вариации главы дома повергали подчас в большое смущение. Наиболее строптивые, хотя бы и неправомочные, решались бросать ему, украдкой от посторонних слушателей, негодующие взгляды. В творческом порыве рассказчик холодно отводил глаза.

Представляло ли, однако, это собою редкое явление?

Кто сейчас не читал, как и сколько корил себя в ранних своих дневниках в кое-чем схожем Л. Н. Толстой?

---

* «Печерские антики». — Собр. соч., т. XXXI, 1902—1903, с. 10.

** Для письма (*лат.*).

*** В языке, в речи (*лат.*).

**** «Исторический вестник», 1901, № 4, с. 192.

Как не вспомнить рядом, с какой всеоправдывающей, если не поощряющей, веселостью писал 7 (19) ноября 1856 года И. С. Тургенев А. Н. Островскому об артистических экспромтных увлечениях в беседах А. А. Фета: «Это человек душа — милейший поэт, врет иногда так мило, что расцеловать его хочется» [51].

Василий Семенович и моя мать не читали ни толстовских дневников, ни тургеневского письма. В простоте своих неискушенных сердец они, несомненно, все равно остались бы в протесте. Это вопрос натуры. Им она не позволяла постигать трудность совмещения в себе то виртуозного сочинителя, то скучного правдослова. И они искренно страдали.

Возвращаюсь к дневничку:

«Николай мечется еще и до сих пор, и когда остановится — бог знает. Какая это богатая и способная натура, а жизнь свою не умел сберечь!» (28 февраля 1871 года):

«Вечер провел в беседе с Дронушкой: говорили о Ташкенте и о войне с киргизами. Это ребенок, зная которого, нельзя не любить его: умен, понятлив и добр, как я мало видывал детей в его возрасте» (5 марта 1871 года).

«После обеда был у меня в гостях Дронушка: много болтал, рисовал и смешил меня. Нужно правду сказать, что, не будь его, мне в Петербурге было бы еще грустнее, а он все-таки наполняет до известной степени пустоту моего существования» (13 марта 1871 года).

«Если бы не Дрон, совсем пустота. Я с большим удовольствием замечаю, что и он меня любит и отчаянно ссорится и заступается за меня, если кто, даже и в шутку, не похвалит меня» (17 марта 1871 года).

«Обедал, по обыкновению, у Николая и вечером ходил к нему, но во все время не перемолвился с ним ни одним словом, потому что он молчит и хмурится, как бирюк: я, мол, сердит сегодня. Ну и бог с ним! Причудливее человека редко можно встретить, тем более что я по крайней мере не умею себе объяснить многих его выходок и капризов, истинно недостойных сорокалетнего умного и развитого человека. Порой он даже просто смешон бывает с своими мгновенно сменяющимися порывами строгости и ласк относительно Дрона, которого, по моему мнению, он только пугает и вместе балует таким способом обращения, но уж никак не «воспитывает», как ему это кажется <...> А Дрон очень нуждается в том, чтобы им занялись как следует, иначе все хорошие задатки, кото-

рые теперь в нем замечаются, могут при мало-мальски неблагоприятных обстоятельствах дать плохие плоды. А жаль, — мальчик очень хороший и разумный!» (20 марта 1871 года.)

«Вечером у Николая собрались знакомые: жена и сестра Турбина, М. П. Лелева с мужем, К. С. Иванова и Н. М. Фумели, было шумно и весело без принуждения, — танцевали и даже пели все, кто что умел: М. П. Лелева спела первую арию «Елены», Marie свою шансонетку, а я, по общему настоянию, последнюю арию Сусанина «Чуют правду», и, сверх всякого моего ожидания, весьма недурно, так что вызвал в слушателях одобрения и шутливые аплодисменты. — За ужином пошла речь о спиритизме[52] (инициатива подобных разговоров вечно принадлежит Николаю) сравнительно, или, лучше сказать, сопоставляя его с христианством; весьма немногие, конечно, могли принять в нем участие, а потому и скучали, слушая, а что всего хуже, так это то, что разговор этот кончился пикировкой между Николаем и Екатериной Степановною» (29 марта 1871 года).

«Вечером у Николая А. П. Милюков читал свою повесть из времен И. В. Грозного «Царская свадьба», — дело идет о третьей женитьбе его на Собакиной. Вещь эта хорошо выработана и полна интереса как по предмету, так и по подробностям; видно, что на нее затрачено много труда и времени. Из литераторов присутствовали Богушевич, Скавронский, С. И. Турбин и Боборыкин; из простых смертных Фумели, актер Федоров и я. Мне особенно не понравился Боборыкин, — кричит громко, много, дерзко и с ужаснейшими жестами и кривляньями, — знай, дескать, наших. Мне невольно вспомнились стихи, сказанные ему С. И. Турбиным:

Посмотреть на вас поближе,
Так, ей-богу, даже жаль, —
Вот что значит жить в Париже
И ходить в Пале-рояль!

И какая разница между тем и другим! В Боборыкине так и видишь хлыща, довольного собой, барчонка, которому хочется и полиберальничать, и не хочется от своих отстать: я-де все-таки un homme de la société! * Он именно «штатский юнкер», по его же выражению» (1 апреля 1871 года).

---

* Человек общества (*фр.*).

«Прочел новое, еще нигде не напечатанное стихотворение графа А. К. Толстого *«Песня о Потоке богатыре»;* рукопись его принес Николай от автора и списал себе; по форме оно напоминает древнерусские былины и представляет аллегорически народ русский; в нем много ума и язвительности, несколько напоминающей его «Целителя Пантелея» (6 апреля 1871 года).

«Сажусь читать *«Организацию труда»* Луи Блана. — Вечером просидел до 10 часов у Николая, видел там жену Вс. Крестовского, — очень показалась антипатична эта барыня — что можно отчасти объяснить и моим предубеждением на ее счет, так как я давно уже знаю кое-что из ее вертепных похождений, тем не менее я не могу скрыть досады, когда ее сожалеют или оправдывают. Кроме ее, был А. П. Милюков и профессор Предтеченский;[53] беседа шла умно и занимательно» (7 апреля 1871 года).

Задумываясь над тревогами дяди Васи за меня, почему-то вспоминаю курьезный и как нельзя более характерный для его старшего брата педагогический эксперимент последнего в отношении чужого ребенка.

Ровно два года спустя мы жили летом в Петергофе, у Ольгиного пруда, на даче Шарбау. Гостит как-то у нас сестра Крестовского, Клеопатра Владимировна Майкова, с сыном Мишей, почти моим сверстником, двоюродным племянником Аполлона Николаевича Майкова. Отправляемся однажды после обеда на Бабьи Гоны. Поднялись на башню красивого павильона. Вид превосходный. Отец мой разворачивает широкие пояснения всех окрестных достопримечательностей. Все поглощены рассказом. Оглянулись — а Миша, лежа на каменном парапете и задрав ноги, свесился над зияющей бездной. Мать его с воплями бросилась стаскивать сына, моля его слезть и больше туда не взбираться. Разбалованный маменькин сыночек радостно визжит и еще пуще брыкается. Заметив, как взглянул на него мой отец, я дружески стал подавать ему предостерегающие знаки, на которые тот отвечал мне полным презрением. И раньше, чем несчастная мать успела еще раз в отчаянии простереть к своему непокорному сыну молящие руки, левая рука Лескова цепко ухватила сорванца за штанишки, крепко придавила его к плоскому парапету, а правая, от души отшлепав его со всем усердием, сорвала с барьера и поставила мальчишку на ноги.

Счастливая поначалу благополучным исходом эквилибристических упражнении сына, мамаша, «отойдя» от только что перенесенных страхов, вдруг оскорбленно позеленела. Моя мать, растерявшись, не знала, как завязать какой-нибудь отвлекающий от только что разыгравшейся сцены общий разговор. Сам пострадавший так опешил, что не сумел даже разреветься и только недоуменно оглядывался.

Домой возвращались в полном расстройстве. В Петергофе неожиданно Клеопатре Владимировне вспомнилось, что ей сегодня же к ночи необходимо быть дома, в Петербурге. Разрыв дипломатических отношений сильно затянулся. Но ничто не вечно под луной. «Как мне благодарить вас, Николай Семенович, — услышал при выпавшей как-то встрече с оскорбившейся когда-то дамой мой отец. — Знаете ли, ведь *с тех пор,* как только Миша раскапризничался, мне довольно пригрозить ему, что я сейчас — уж простите — пошлю за вами, — все как рукой снимает. Такое облегчение, сказать не умею! Большое, большое вам спасибо!»

Смена лет приносит временами кое-что и позначительнее прощения со стороны мамаши Миши Майкова.

В 70 году, например, каким-то образом становится вновь возможным общение со «скандалистом академической газеты», с А. С. Сувориным, круто оборвавшееся десяток лет назад в Москве у «Сальясихи». Сближение с этим быстро выдвинувшимся популярным и опасным публицистом, в тайне помыслов, давно представлялось желательным и... недостижимым. Трудности здесь преодолеваются, вероятно, обращением Лескова к многолетнему врагу за посредничеством в разборе тяжбы с В. В. Кашпиревым из-за «Божедомов», закрепленным эпистолярно *. Такой демарш ломал многолетний лед, неизбежно несколько связывал враждебность «Незнакомца». А ведь в каждом деле всего ценнее первый шаг. Он был сделан. «Лиха беда — начало», — говорит народ.

Год спустя ему посылаются уже главы романа «На ножах» и очерка «Смех и горе» с прямою и полной доверия просьбой: «Прочтите, судите и «ругайте», если добрая совесть ваша укажет вам, за что «ругать» следует» **. Переписка оживляется, становится более при-

---

* Письмо Лескова от 5 и 6 апреля и Суворина от 8 апреля 1870 г. Первые два — в Пушкинском доме и последнее — в ЦГЛА.

** Письмо от 5 марта 1871 г. — Пушкинский дом.

ятельской, обоюдно нимало не убеждая «противумышленников». Не торопясь, с перебоями, дело все же движется.

В 73-м году Суворин признает необходимым, получить от Лескова автобиографические данные, намереваясь включить их в затевавшийся им справочный сборник. Лесков охотно приступает к выполнению заказа[54], привнося в ответное свое письмо уже некую дружескую увещевательность: «Благодарю и за искренное мнение обо мне и моей деятельности. Как быть? Все мы люди, все человеки, — существа плохие и не совершенные перед идеею абсолютного разума и справедливости. Может быть, и я во многом виноват, может, и вы в чем-нибудь не безгрешны... Кто из нас в чем был правее другого, то решать не нам... В заключение скажу вам: вряд ли многие из нас *теперь* в существенных вопросах так противумысленны друг другу, как это кажется. А подумайте, что впереди? Если мы поживем, то не придется ли нам повоевать заодно против такого гадкого врага, который мужает в меркантилизме совести? За что же мы *унижаем* друг друга? И перед кем? — Перед людьми, которые всех нас менее совестливы... Распря наша часто держится характера чисто сектаторского... Это худо; но помочь этому могла бы только одна талантливая критика, а ее нет...

Наши люди как-то более умеют щадить самолюбие и человеческое достоинство своих противников, и, по крайней мере, они едва ли на десять оскорблений отвечают одним, и то всегда гораздо более умеренным. Как хотите, а это несомненный признак порядочности, которой нельзя не уважать в самом противумысленном нам человеке. Вот вам мой болтливый ответ на ваше доброжелательное письмо, за которое еще раз благодарю вас; *вполне* вам верю (как и всегда верил) и желаю вам от души наилучших во всем успехов и наилучшего счастья» *.

А следующее, очередное из сохранившихся письмо заключается совсем приятельской приписочкой: «P. S. Не случится ли быть в Петергофе? Заверните, пожалуйста. У меня такой простор, что запоздавший гость и почует, нимало меня не стесняя, а напротив даже обязывая» **.

---

* Письмо от 7 марта 1873 г. — Пушкинский дом.
** Письмо от 29 июня 1873 г. — Там же.

Чувствуется почти удовлетворенность совершившимся наконец полупримирением. Одним из самых лютых врагов из сверстников, с которыми начата была литературная жизнь, меньше!

Вражда успела хорошо измотать нервы. Чего только не наговорено было на столбцах печати друг на друга! Сдвиг! Довольно «великих браней»! Намечается взаимная благонастроенность признание права на разномыслие.

Большой прочности во всем, конечно, не оказалось. Не такие были темпераменты. «Одержимости разными одержаниями» хватало в каждом. И все-таки что-то заставляло искать друг друга.

А вот что случилось раз на Фурштатской еще в годы моего детства.

Вечер. На дворе жестокий мороз. Все дома. В угловой просторной зале огня нет. Свет идет справа из передней, слева — из комнаты матери. Вооруженный пикой, свернутой из «сахарной» синей бумаги и луком с деревянными стрелами, занимаю выгодную тактическую позицию на полу, под роялем, у педалей. Прекрасная видимость, обстрел и укол всех проходящих по этой бойкой трассе. Терпеливо поджидаю жертву. И вдруг оглушительный, нервный звонок. «Собиравшая» только что в столовой вечерний чай Паша устремляется в прихожую. Выдвигаюсь и взволнованно смотрю. В распахнувшуюся дверь с неотапливающейся парадной лестницы врываются густые клубы пара, из которых в одном хорошо запорошенном снегом сюртуке, без шапки, выдвигается высокая худощавая фигура, молча сворачивающая из передней прямо в отцовский кабинет.

Захлопнув выходные двери, Паша, за которою увязываюсь и я, бежит доложить хозяйке о непостижимом пришельце. Вскоре же быстро входит отец: «Ради бога, как можно скорее горячего, очень горячего чая с ромом и побольше рома. Это Суворин. У него большое горе. Потом расскажу. Он безо всего пришел... обморозился... Главное — сейчас же отогреть. В ужасном, подавленном состоянии. Поскорее, пожалуйста!»

Общий переполох. Час-полтора спустя приводят с ближайшей «биржи» карету. Отец одевает Суворина в свою запасную медвежью шубу, меховую шапку, заставляет одеть большие теплые боты и увозит его. Все взволнованы. Пока ничего толком не известно. Меня посылают спать.

Десятки лет я был убежден, что это явление стояло в прямой связи с трагической смертью первой жены Суворина, убитой в ночь на 20 сентября 1873 года и оставившей мужу пятерых детей, из которых младшему было четыре месяца. Сев за книгу о Лескове, я доискался точной даты убийства А. И. Сувориной и убедился, что оно относится к осени *. Что же привело Суворина к Лескову лютой зимой? Однажды мой отец писал ему:

«Я помню две минуты жизни, когда мы пошли друг к другу... Вероятно, мы тогда не думали, что мы дурные, жестокие люди» **.

Что это были за случаи — кануло в вечность. Дело, однако, не столько в том, что именно случилось с Сувориным, сколько в том — почему в минуту тяжкого нравственного потрясения он пошел к Лескову? К человеку, которого он «беззастенчиво оскорблял» *** и травил десяток лет. Было ли это искренней переоценкой своих поступков, отношений? Судя по многому дальнейшему — едва ли. Скорее — вспомнилось что-то раннее, молодое — и потянуло, а потом и опять отвело.

Так и дальше: сколько-нибудь устойчивых отношений никогда не было. Всегда шла какая-то перемежающаяся лихорадка. Не без двусмысленного, видимо, юмора назвал раз Суворин в каком-то своем письме Лескова «коварным, но милым», а последний, отвечая ему той же формулой, добавил к ней еще «благоприятель». Ни глубже, ни проще ничего не удавалось. Пестроты и взрывов в настроениях и отношениях — обоюдный избыток. Дружества нет.

Не лучше, если не хуже, идет и со многими другими. Одобрения и хвалы «благоприятелей», изрекаемые «по-шептом», — раздражают. Открытого признания нет.

Каковы же общие итоги и уровень личных дел и положения? В литературе — без ободряющего изменения. Дома — «вспышки».

Было над чем задуматься.

---

* См.: «С.-Петербургские ведомости», 1873, № 260 и 261; «Петербургский листок», № 186; «Петербургская газета», № 77; «Голос», № 261.

** Письмо к Суворину от 20 октября 1889 г. — Пушкинский дом.

*** См. ст. Лескова «Дневник Меркула Праотцева». — «Русский мир», 1874, № 63, 7 марта.

ГЛАВА 9
«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ КНИГА»

В произведениях, дышащих «местью и вызывом», как романы «Некуда», «На ножах», частью «Обойденные» и даже «Соборяне», в обильных публицистических статьях — Лесков горит желанием ниспровергнуть все установки «нетерпеливцев», поколебать авторитет их вождей, подорвать доверие к подозреваемым в неискренности их последователям.

Сильно ожегшись, а затем немного и поостыв, он отходит от напряженно полемических романов, от слишком острых счетов с нигилизмом.

Значительно позже сам он скажет: «Я сначала злобился, а потом смирился, но неискусно» *.

В чем же выразилась эта неискусность и в чем видел ее сам Лесков?

Не в маневренной ли сбивчивости и неровности самоусмирения, перемежающегося с внезапными новыми взрывами злобленья?

Каков же в общем путь от «Некуда»?

В следующем за ним году появляется «Леди Макбет нашего уезда» **. В тогдашнем своем тиснении рассказ полностью свободен от каких-либо с кем-нибудь счетов. Чистый, художественно данный быт.

Дальше — «Обойденные», с противопоставлением рабоче-экономического опыта здешних героинь опыту Веры Павловны Лопуховой в романе «Что делать?» Н. Г. Чернышевского, со включением в число действующих лиц двух ведущих тягучие разговоры, аляповатых и мало приглядных нигилистов, награжденных отменно неблагозвучными нарицаниями — Вырвич и Шпандорчук ***.

Затем «Воительница» **** — кроме легких, по лексике Лескова, «намеков на то, чего не ведает никто», почти неполемична, как и следующие за нею «Островитяне» *****.

Обозначаются будущие «Соборяне», пока в их первоначальном плане и с точно выражавшим основную их

* Письмо к И. С. Аксакову от 23 апреля 1875 г. — Пушкинский дом.

** «Эпоха», 1865, январь.

*** «Отечественные записки», 1865, № 18—24.

**** Там же, 1866, № 7.

***** Там же, 1866, № 21—24.

идею заглавием — «Чающие движения воды». Здесь уже не обходится без «рикошетов» по противникам. Задача — показать превосходство перед нетерпеливым зовом «в топоры» мирного чаяния целительного «возмущения воды», которое будет произведено самою благонастроенною властью, изготовляющею уже благие реформы.

Пишется, публикуется и ставится на Александринской сцене пьеса «Расточитель» *. Цель — убедить в ужасе старых бытовых и общественных взаимоотношений, обрекаемых на гибель введением «нового суда», гласного судопроизводства, вынести бесповоротный приговор «ума и совести народной расточителям».

Печатается чисто исторического характера бытовой очерк — «Старые годы в селе Плодомасове» **.

Это все, в той или другой мере, отвечает или не противоречит готовности автора утишить в себе «злобленье». Но рядом с этим им овладевает «влеченье, род недуга» поддать жару, и какого!

Публикуется, по собственному его определению, «вещь пряная и забористая», которая «шуму может возбудить множество» ***. Именуется она — «Загадочный человек», а подзаголовок ей ставится призанятый у Н. Ф. Щербины: «Эпизод из истории комического времени на Руси» ****[55].

Вся «вещь» до отказа насыщена острыми выпадами по адресу некоторых, своими именами названных, деятелей «нетерпеливого лагеря». Это как бы «эпизоды», случайно или по несовпадению во времени с выходом романа не нашедшие себе места в «Некуда».

Исключительная «забористость» нового выпада поднимает новую озлобленность на автора. «Шуму» действительно возбуждается «множество».

С декабря 70-го года начинают выходить главы «сокрушившего» в конце концов самого автора романа «На ножах» *****. Он тянется почти весь следующий год. Новые бури!

---

* «Литературная библиотека», 1867, т. VII, кн. 1 и 2, июль.

** «Сын отечества», 1869, № 6—9.

*** Письмо Лескова к А. П. Милюкову от 4 января 1869 г. — «Шестидесятые годы», с. 294.

**** «Биржевые ведомости», 1870, № 51—78 (с пропусками).

***** Письмо Лескова к П. К. Щебальскому от 14 октября 1871 г. — «Шестидесятые годы», с. 324.

Чуть начинавшие было заживляться раны открываются сызнова.

Так шли и обстояли дела вообще. В частности, «Соборяне» испытывали неисчислимые затруднения.

В шести книжках последнего квартала «Отечественных записок» оповещается о предстоящем печатании в них «романической хроники «Чающие движения воды» господина Стебницкого».

И действительно, со второй половины марта 1867 года это печатание начинается, но на второй апрельской книжке обрывается.

Исчерпывающее объяснение этому дается Лесковым в его обращении за ссудой в Литературный фонд [56].

Это было уже полное прекращение какой-либо связи Лескова с «почтенным редактором», для которого, «вследствие некоторых особенностей нрава и обычаев» его, литературные «скандалы не редкость».

В том же году определенные куски хроники включаются в выпущенную книжку произведений Лескова уже под заглавием «Старогородцы. (Отрывки из неоконченного романа «Чающие движения воды»)» *. В конце этой публикации автор объяснял, что «роман»... «начат был при непростительном забвении всех цензурных «терзаний», испытанных при печатании им своего романа «Некуда», и «при еще более непростительном заблуждении, что все нынешние наши, бесцензурные по имени, издания бесцензурны и на самом деле».

В очередной стадии своих мытарств многострадальное произведение печатается под третьим заглавием — «Божедомы» — с января 1868 года в журнальчике, умирающем на февральской книжке **.

Новое злоключение! Опять надо искать издательского радушия!

8 августа 1868 года «Божедомов» приобретает В. В. Каширев для учреждаемого им журнала «Заря». Гонорар сто рублей лист. Пятьсот рублей задатка.

Как водится, сперва идут взаимные любезности. Издатель успевает выдать автору еще тысячу рублей. Посте-

* «Повести, очерки и рассказы М. Стебницкого», т. I, СПб., 1867, или «Сборник мелких беллетристических произведений Н. С. Лескова-Стебницкого». СПб., 1873. В обоих выпусках с. 246—29.

** «Литературная библиотека», 1868, январь и февраль.

пенно возникают неудовольствия, переходящие в прямую «дрязгу», а там доходящие и до тяжбы.

Кашпирев предъявляет иск в 1800 рублей. Поверенный Лескова, орловский его приятель Н. М. Фумели, подает встречный в 700 рублей.

12 августа 1869 года Петербургский окружной суд, заслушав стороны, отказывает обоим в их исках и возлагает судебные по ведению дела издержки на обоих поровну.

Постановление небывалое! По существу в выигрыше ответчик, а не возбудивший дело истец. Рассчитаться с ним все-таки надо. И хронику опубликовать тоже необходимо. Все это заботит, тяготит, раздражает...

Возвратясь из суда, Лесков пишет в газету «открытое письмо», в котором сочно обрисовывается суть дела с открытым признанием, что в определенный момент он взял у Кашпирева «роман для поправок и объявил, что затем без письменного условия» рукописи не отдаст.

Дальше, в доказательство неосновательности претензий противной стороны, Лесков объяснял, что предлагал последний получить от него «в возврат свой задаток в два срока с обеспечением его моими изданиями, хранящимися у Базунова, или векселями на не платящих мне за старые работы редакторов г.г. Боборыкина и Достоевского. Я не 12 августа заявил это на суде, как сообщает «Судебный вестник», а я с прошлой осени ищу такой развязки и не мог ее найти потому, что г. Кашпирев до сих пор, пока нас с ним рассудил суд, все стремился продать мой письменный стол и табуретку *.

Не удовлетворяясь судебной победой и газетным уязвлением противника, Лесков переходит в наступление, перенося все дело в область чисто литературных счетов. Он признает себя тяжко оклеветанным и оскорбленным Кашпиревым на суде утверждением последнего, что прошедшие за время ссоры в «Русском вестнике» главы о «Плодомасовских карликах» составляют существенную, неотъемлемую часть полностью приобретенного им у автора романа.

---

* «Биржевые ведомости», 1869, № 219, 14 августа. См. еще «Судебный вестник», 1869, № 176, 179, 209, 224, в 1870, № 21, а также «Материалы, собранные особой комиссией, высочайше утвержденной 2 ноября 1869 года, для пересмотра действующих постановлении о цензуре и печати» (ч. III, вып. 2, СПб., 1870, с. 1214—1231).

Поднимается новая «свада», но на этот раз по строго принципиально литературному вопросу, разрешить который в силах только третейский суд профессионалов.

Лесков, не без побочных соображений, вовлекает в дело заведомо враждебного ему А. С. Суворина, несомненно, не расположенного к нему М. М. Стасюлевича. Предположительно называются тут и граф А. К. Толстой, и А. П. Милюков, и А. М. Скабичевский, и Н. Н. Страхов [57].

Задумывается и сооружается нечто выше нужды громоздкое. 8 апреля 1870 года днем он получает испрошенную ему Сувориным аудиенцию у Стасюлевича.

Последний, с профессорской методичностью, выдержкой и авторитетом лет и опыта, видимо, доказывает пылающему не слишком обоснованным негодованием сангвинику призрачность клевет и оскорблений, усматриваемых Лесковым со стороны Кашпирева. Создается положение, при котором можно удовольствоваться оглаской своих попыток и, внемля старейшему, как бы из уважения к его авторитету, утишить гнев свой. Буря стихает *.

«Хроника» по-прежнему не пристроена! Заколдованность ее судьбы удручает. Столько затрачено трудов, столько было ожиданий.

Раздосадованный Лесков пишет в Москву незнакомому еще ему С. А. Юрьеву, собиравшемуся редактировать нарождавшийся журнал «Беседа». Предлагая своих «Божедомов», он говорит, что его герои «несколько необыкновенны, — они церковный причт идеального русского города. Сюжет романа, или, лучше сказать, «истории», есть борьба лучшего из этих героев с вредителями русского развития. Само собой разумеется, что ничего узкого, фанатичного и рутинного здесь нет. Детали романа нравятся всем и, между прочим, Михаилу Никифоровичу Каткову, но в общей идее он для некоторых взглядов требует изменений, которых, по-моему, он вовсе не требует» **.

Завязывается переписка, как будто что-то сулящая.

9 марта 1871 года Лесков везет своих «Божедомов» в Москву в предположении отдать их Юрьеву. Тот, видимо, мнется, тянет, а Катков, обласкав автора, приобре-

---

* См. письма Лескова к А. С. Суворину от 5 апреля 1870 г. и мартовское 1871 г. (Пушкинский дом); письмо Суворина к Лескову от 6 апреля 1870 г. (ЦГЛА).

** Письмо к С. А. Юрьеву от 5 декабря 1870 г. — «Щукинский сборник», вып. V, М., 1900.

тает «старогородскую хронику», которая получит потом свое последнее заглавие — «Соборяне» — и посвящение — «графу Алексею Константиновичу Толстому».

Со слов вернувшегося 19 марта брата, Василий Семенович заносит в свой дневничок: «Сегодня утром приехал из Москвы Николай, где поместил наконец своих «Божедомов» у Каткова в «Русском вестнике»... Я душевно радуюсь тому успеху, которым, по его словам, пользовались в Москве в этот приезд его произведения и он сам. От «Божедомов» я жду много хорошего. Дай бог счастья и доли Николаю, — работает он страшно, подчас даже не по силам своим» *.

С продажей романа не только нравственно, но и материально гора сваливается с плеч. Катков дал не сто, как давал Кашпирев, а полтораста рублей за лист. Это облегчает погасить долг Кашпиреву, возросший с процентами до тысячи девятисот рублей. Одной обузой стало меньше.

В апреле приезжает в Петербург Катков. Лесков делится с П. К. Щебальским сведениями о своих свиданиях с приезжим и об общем положении издательских своих дел: «На сих днях ко мне обратился книгопродавец Ваганов с просьбою продать ему право на «Полное собрание» моих сочинений, — я отказался. По-моему, это еще рано и невыгодно для меня до тех пор, пока будут напечатаны «Божедомы». Здесь я вошел с Михаилом Никифоровичем несколько в иной тон отношений. Не знаю, чему это приписать? Начальное внимание его ко мне, верно, кроется в столь зримой интриге моей в пользу классического образования — интриге непредосудительной и, смею думать, даже честной... Надо же было хоть один орган удержать в пользу этого вопроса, а тут мы, разумеется «поинтриговали». Что делать? Но потом Михаил Никифорович верно, нашел, что меня пустым мешком не били, и обласкал меня, как никогда не ласкивал» **.

Идет благорастворение воздухов... Однако вслед приходят и будни: обычная, мучительнейшая для авторов, редактурная пытка, нравственная дыба, волокита, требо-

---

* Запись 19 марта 1871 г. — Архив А. Н. Лескова.

** Письмо от 8 апреля 1871 г. — «Шестидесятые годы», с. 309. См. статьи Лескова (бесподписные) в «Биржевых ведомостях» (1869, № 153, 282, 298, 312, и 1870, № 15 и 39).

вание ненужных изменений, подправочки, усмирение или усиление тех или других мест и т. д. «до бесконечности». Переварить весь этот, по-нынешнему говоря, «принудительный ассортимент» бывает труднее, чем написать работу.

Усовершателем «великолепного» творения и судьей, утверждающим окончательный его текст, а частью даже форму, становится П. К. Щебальский, человек без сколько-нибудь значительного положения в литературе.

Порядочный, воспитанный и благожелательный, он несопоставляем с автором в мере литературной одаренности. Спасибо, что приятен в обхождении и обычае, что Лесков, чувствующий, что «это, может быть, единственная моя вещь, которая найдет себе место в истории нашей литературы», — жертвенно идет на уступки с трогательной покорностью року и даже с ясно улавливаемой радостью, что ментором ему дан уважаемый им Щебальский, а не иной кто из катковских препараторов.

Он пишет своему редактору: «Я уполномачиваю вас, однако, сделать те сокращения, какие вы признаете полезными, но непременно вашей рукою, осторожною и доброжелательною... Хроника же такая, как «Божедомы», должна быть строго верна правде дня и я возмущаюсь против вас, мой благороднейший руководитель» *.

Но так или иначе, а мало кому ведомый сейчас Щебальский *руководствует* Лескова!

Постепенно автор начинает изнемогать и пишет своему наставнику:

«О себе вам скажу вот что: я некоторое время сам не знаю, что о себе думать: мне как-то все жестоко надоело, то есть так надоело, что я все держусь плана вашего: хочу на год спрятаться в Веве, или еще лучше в Сорренто, и что-нибудь «совершить» (как говорил Гоголь). Мне все кажется, что все, что я пишу, вовсе не то, что я хочу и могу написать, — *могу,* ибо ощущаю, что

Жизнь хороша, *потому что искусство прекрасно.*

Возлюбите, ради любви к искусству и идее любви, моих «Божедомов» и соблюдите их. Я на них возлагаю большие мои надежды, и по их поводу, вероятно, придется договориться до дела: будет или не будет выходить

---

* Письмо к П. К. Щебальскому от 8 июня 1871 г. — «Шестидесятые годы», с. 320.

в 1872 году «Русский вестник»? Если не будет, то, я полагаю, надо будет передать роман в «Беседу» или, может быть, напечатать в «Совр[еменной] летописи» *.

Новая угроза: не придется ли снова переустраивать свое творение к Юрьеву или спускать его в газетку, в которой, по выражению Лескова, раз уже «кокнуло, как яйцо в яишнице», его «Смех и горе». Тревогам и опасениям нет конца, и в них тянется бесконечная мука мученическая!

Где тут было «совершать», когда после трехлетних «терзательств» пришлось самого Савелия отпускать «в горняя» утишенным и примиренным, а не опаленным и негодующим на неоправдание ни одного из «чаяний».

Предлагая роман Юрьеву, Лесков подчеркивал необыкновенность своих героев. Роман был необыкновенен весь, во всем своем строении, этот единственный и первый «роман *без любовной интриги»,* как его характеризовал автор **.

Что же могло внушить мысль дать героями романа людей, которые в этих ролях так «необыкновенны»?

В этой области есть ценное показание писателя.

Рисуя «кромешный ад, который представляла собою орловская монастырская слободка» с благостно резидировавшими в ней «лютыми крокодилами» архиереями и «ужасными», ненасытными их секретарями Бруевичами, с «многострадальными» священно- и церковнослужителями, вызывавшимися туда «под начал» или «ожидавшими резолюции» преосвященных, Лесков, от сердца болезнуя о последних, открывает душу:

«Они располагали меня к себе их жалкою приниженностию и сословной оригинальностью, в которой мне чуялось несравненно более жизни, чем в тех так называемых «хороших манерах», внушением коих томил меня претензионный круг моих орловских родственников. И за эту привязанность к орловским духовенным я был щедро вознагражден: единственно благодаря ей я с детства моего не разделял презрительных взглядов и отношений «культурных» людей моей родины к бедному сельскому духовенству. Благодаря орловской монастырской слободке я знал, что среди страдающего и

* Письмо от 7 октября 1871 г. — «Шестидесятые годы», с. 323.

** Письмо Лескова к Б. М. Бубнову от 14 мая 1891 г. — Там же, с. 361.

приниженного духовенства русской церкви не все одни «грошевики, алтынники и блинохваты», каких выводили многие повествователи, и я дерзнул написать «Соборян» *.

«Дерзал», надеялся, даже, можно сказать, — уповал...

После, по счету Лескова, четырехлетнего «лежания», или «спанья» ** «Соборяне» увидели наконец свет ***. Но пройдя через какие испытания и редакционные застенки!

Успех старогородская хроника имела односторонний. Многие органы остались холодны. Любопытная частность: И. Е. Репин писал В. В. Стасову: «Соборяне» Лескова действительно ретроградных тенденций полно, но очень художественно и верно изображает среду, хотя семинарским слогом. Впрочем, тенденции его чисто московские» ****.

Невелик был и житейный прибыток: из четырех тысяч гонорара за двадцать пять листов две ушли Кашпиреву, а остальное ушло, пока в слишком долгих муках народилось детище.

Однако надо воздать заслуженное издателю. Лесков, уже в годы полного разрыва с ним, вспоминает: «Катков... платил мне по 150 р., когда мог платить, подобно Кашпиреву, по 50, и *мне некуда»* было деться!.. А он еще мне *подарил* издание «Соборян» *****.

Кашпиревская полистная плата здесь вполовину умалена не то по давности событий, не то для усугубления картины «злострадательности» посленекудовского своего положения.

Лескова всегда горячо захватывали разговоры о положении и условиях работы и жизни наших и иноземных литераторов.

---

* «Мелочи архиерейской жизни» (1878 г.). — Собр. соч., т. XXXV, 1902—1903, с. 73—74.

** Письма к А. С. Суворину от 6 мая 1888 г. («Письма русских писателей к А. С. Суворину», с. 78) и к М. М. Стасюлевичу от 8 февраля 1895 г. — Пушкинский дом.

*** «Русский вестник», 1872, апрель — июль.

**** Письмо от 6 декабря 1872 г. — Пушкинский дом.

***** Письмо от 22 апреля 1888 г. — «Письма русских писателей к А. С. Суворину», с. 76. Катков «подарил» Лескову первое отдельное издание — «Н. С. Лесков (Стебницкий). Соборяне». М., 1872 — из оттисков журнала «Русский вестник» за 1872 г., 1200 экземпляров.

«Что тут сколько-нибудь схожего, общего? — восклицал он. — Первая, не совсем бездарная работишка француза привлекает к себе внимание критики и читателя. Вторая — дает постоянного издателя, возможность работать уже не спеша, не ради хлеба на сегодня, не размениваясь на поденщину! А уж мало-мальски интересный или оригинальный роман — приносит все: окрыляющий дух и дарование успех, известность, серьезную оценку критикой, загородную виллу, яхту на Средиземном море, дающие отдых и обновление сил, рвущихся к новым трудам, углубленному творчеству! Как тут не работать, не вырабатываться дальше, не расти, не «совершать»! Что же вместо всего этого видит наш необеспеченный, хотя бы и бесспорно талантливый, литературный труженик? — негодующе развивал он дальше. — Брань и травлю вместо учительной критики, каторжную зависимость от кулаков-издателей, от службы, без которой одним писательством не прокормишься, нужду, мелочную, чуть не построчную, спешную работу ради покрытия кругом обступающих нужд. Вот и твори в такой обстановке и совершенствуйся в своем многотрудном искусстве!»

Не лучше вышло в свое время и с «Соборянами». Далеко оказалось до возможности «спрятаться на год в Веве, или еще лучше в Сорренто», и там что-то «совершить»!

Годами вынашивавшаяся под сердцем работа не разрешила ни одного из вопросов, не оправдала ни одной из надежд.

Положение в литературных кругах не улучшилось. Рамки журнальных возможностей не раздвинулись. Достаток не освободил от поденщины.

А ведь именно про это произведение через полустолетие Горький сказал: «В семидесятых годах, когда Лесков написал великолепную книгу «Соборяне»...» *

Долго довелось ей ждать такого признания.

Что же принесла эта романтическая хроника своему творцу при своем появлении в печати?

По любимому Лесковым мицкевичевскому выражению — горькое *wielkie nic!* **

---

* Горький М. Несобранные литературно-критические статьи, М., 1941, с. 89.

** Большое ничто (*пол.*).

ГЛАВА 10
«В ХОРОШИЙ ЧАС»

Как правило, барометр на Фурштатской, у Таврического сада, стоял на «переменно», с ясно выраженным стремлением в любой момент перейти на «бурю».

Конечно, это не исключало возможности иногда и безоблачных, солнечных дней или хотя часов, и притом восхитительных!

Они приходили с того же неожиданностью, с какою уступали место ненастью.

В такие дни все в доме оживало, расцветало, лица горели радостью, слышался звонкий смех, царило весельем дышащее настроение.

«В добрый стих» предпринимались прелестные прогулки, придумывавшиеся самим Лесковым и выполнявшиеся под непосредственным его руководством. Они были разнообразны.

30 августа, в «Лександров день», то есть в «тезоименитство царя-освободителя» и в день памяти Александра Невского смотрели на Невском проспекте крестный ход с хоругвями и иконами из Исакиевского собора в Александро-Невскую лавру, в котором обязательно шествовал и один из сенаторов в ярко-красном, золотом шитом мундире. Затем шли на Марсово поле, иначе Царицын луг, на устраивавшееся там «народное гулянье».

Чего тут не было! Катались на каруселях; взлетали под небеса в люльках перекидных качелей; смотрели, как бьют «турку», то есть человекообразный чурбан с циферблатом, на котором означалась сила удара; как лазают по высокой мачте, намазанной маслом, к висящему наверху ведерку пива или водки; как бегают на нехитрые призы в мешках, одетых на ноги и завязанных у пояса; как на запряженной лошадью платформе проносятся, под висящим на перекладине большим ведром с водой, удальцы с шестом в руках, которым надо угодить в дыру полукруга, прибитого вполперек ко дну ведра. Лезущие по мачте, обессилев, комично съезжают наземь, бегущие в мешках падают и барахтаются в тщетных попытках встать, ведро почти поголовно всех окачивает с головы до ног. Публика грохочет, мы, молодежь, вместе с нею. Писатель всматривается в «толпучку», прислушивается к ее «словечкам», острым шуткам...

Удовольствие повышается поглощением грубоватых, но казавшихся неизъяснимо вкусными, лакомств, под которыми ломились дощатые ларьки и разносные лотки.

Если не ошибаюсь, в этот же день традиционно публика допускалась до заката солнца на валы Невской и Екатерининской куртин Петропавловской крепости и ближайших к ним бастионов. Здесь стояли старинные чугунные пушки, из которых давался сто один выстрел в высокоторжественные дни, Новый год и пасхальную ночь. Одна из этих пушек стреляла ежедневно в полдень, возвещая населению так называвшийся «адмиральский час», то есть ранний военный обед и водку. Питерщики поверяли по ней свои часы.

На Троицкой площади и у Иоанновских крепостных ворот учреждался бойкий базар со всеми видами невзыскательных яств, питий и сластей.

Кроме этих сухопутных экскурсий бывали и водные, предпринимавшиеся, как и впервые, по возвращении нашем с дачи. Мать моя очень не любила их и никогда не участвовала в них. Это развязывало руки отцу. Она брала всегда с него слово, что в Неву мы выходить не будем.

Наняв четырехвесельную лодку на пристани у Летнего сада, мы тотчас же брали под Цепной пост, поднимались по Фонтанке и под Прачешным мостом выходили на Неву. «Только не проболтаться, смотрите, маме», — говорил конспиративно отец. В этом было заговорщическое озорство, льстившее нашему самолюбию.

Но еще большим отклонением от просьб и даже мольбы мамы являлось дальнейшее поведение отца, а с ним и наше.

Едва выйдя на невские просторы, наш кормчий, впадая опять в конспирацию, испытующе говорил: «А не забыли, чем замечателен дом у пристани, с которой мы взяли лодку?» Шло оскорбленное возражение — конечно, мол, твердо помним. «Ну, *в таком разе* запевай!»

Три гимназиста, гимназистка, я и сам на руле сидевший отец затягивали:

Что это за здание
У Цепного моста?
Выйдет приказание,
Выпорют — и просто.

У царя у нашего
Все так политично:
Вот хоть у Тимашева —
Выпорют отлично![58]

Так был почтен министр внутренних дел А. Е. Тимашев, некогда начальствовавший в известном III отделении. Затем сюжеты уходили в глубь времен. На маршевом темпе шел новый опус:

Царь ваш немец прусский,
Носит мундир узкий,
    Ай да царь, вот так царь,
    Православный государь!
Царствует он где же?
Целый день в манеже.
    Ай да царь...
Прижимает локти,
Забирает в когти.
    Ай да царь...
Росту три аршина,
Сущая скотина!
    Ай да царь... [59]

Пелось еще на заунывный мотив детской французской песенки «Au clair de la lune...» * нечто на смерть Александра I и воцарение Николая I:

Русский император
В вечность отошел.
Ему оператор
Брюхо распорол.
Плачет вся Россия,
Плачет весь народ.
Едет к нам на царство
Константин-урод.
Но творцу вселенной,
Богу вышних сил,
Царь благословенный
Грамотку всучил.
Манифест читая,
Сжалился творец:
Дал нам Николая.
Сукин сын, подлец! [60]

Тексты приведены такими, какими слышаны мною много раз в чтении их Лесковым. Они не во всем совпадают с опубликованными **.

Последняя песенка, написанная В. И. Соколовским, отнесена была у нас к творчеству Рылеева. Концу ее было дано тоже недопустимое по действительному ходу дел толкование, якобы Николай спросил Рылеева: «К кому относятся последние слова вашей гнусной песни?» —

---

* При свете луны (*фр.*).

** Герцен. Былое и думы, т. I, 1937, с. 338, 343, 561.

а тот колко ответил: «К богу, но никак не к вашему императорскому величеству, примите это как смягчающее вину обстоятельство» *.

Мудреного в таких ошибках и смешениях нет. Архивы были недоступны. «Потаенные» издания доходили трудно, а легенды создавались легко, не боясь очевидных нескладиц.

Мне было лет шестнадцать, когда мой отец, не без особой тайности развернув принесенный им сверток, многозначительно сказал мне: «Вот Суворин дал на недельку прелюбопытное лондонское издание. Будет свободное время — просмотри. Положу в спальне у кровати». Это как раз и был том «Русской потаенной литературы XIX столетия» с предисловием Н. Огарева, вышедший в Лондоне в 1861 году. Возможно, что это был первый случай, когда Лесков имел возможность не спеша проштудировать издание вдоль и впоперек. Со временем большинство апокрифов нашло свое место и оценку.

Возвращаюсь к нашим навигационным экскурсам. Для разнообразия иногда мы от той же пристани брали менее опасный курс — по Мойке, по Екатерининскому каналу. С приближением к Невскому отец настораживался и внушительно объяснял нам опасность водного туннеля под невероятно широким Казанским мостом. Особенно опасной представлялась возможность встречи там другой лодки и трудность разминуться с нею. Старшие мальчики не очень верили всем этим затруднениям, а я немножко трусил. Но все шло гладко, и сам Лесков, на самой середине, начинал произносить какие-то звучные слова и фразы, внимательно вслушиваясь в их отражение нависшими над водой каменными сводами.

По строго установленному моим отцом образцу, все прогулки завершались покупкой в попутных лавчонках печеных яиц, особо любимых им кругленьких румяных саек, выпеченных на прилипшей к ним соломе, широченной, крепко прокопченной углицкой колбасы, яблок и тому подобного. Все это поедалось на неторопливом марше к дому и во вновь попадавшемся по дороге ларьке запивалось различными квасами, вплоть до знаменитых в свое время «кислых щей» — три копейки бутылка.

---

* Соколовский отвечал про конец своей песни аудитору следственной комиссии: «Не к государю, и особенно обращаю ваше внимание на эту облегчающую причину».

В таких обычаях ярко сказывалось что-то неистребимо гостомельское, орловское и ни в какой мере не столичное для людей определенного круга и положения.

В весенние или осенние приезды кого-нибудь из киевлян Лесков ревниво брал на себя роль столичного чичероне и исполнял ее рьяно.

Он любил «Петра творенье», гордился им, видел в нем самый умный и нервный город в стране». В одном из своих фельетонов первого десятилетия он восклицал: «Один наш едкий и остроумный писатель сказал: «...в Москве — сердце России, а в Петербурге ее шляпа» *.

В исключительных красотах Петербурга не допускалось ни малейшего сомнения.

В 1875 году, при посещении с эмигрантом князем И. С. Гагариным парижских иезуитских школ, Лесков с глубоким удовлетворением прочел во французском букваре: «Les environs de Saint-Pétersbourg sont admirables!» **

Он твердо запомнил это заслуженное признание и не упускал вспомнить его в беседах со скептиками, находившими, что смешно искать что-либо доброе на ингерманландском болоте!

В невской дельте «бегали» синенькие катерки «Финляндского легкого пароходства». Совсем маленькие перевозили за две копейки через Неву, на которой было маловато мостов, а несколько покрупнее совершали рейсы от Летнего сада до Крестовского острова, проходя всю Большую Невку.

Последний маршрут входил в непременную программу ознакомления провинциалов с красотами ближних петербургских окрестностей. Когда с пароходика открывался Каменный остров, Лесков маестозно [61] простирал руку и чеканно декламировал стихи К. П. Масальского:

Возможет ли поэзии резец
Изобразить Елагинский дворец,
Когда он, месяца лучами освещенный,
В кристалл Невы глядяся голубой,
Любуется собой? [62]

---

* «Русские общественные заметки». — «Биржевые ведомости», 1869, № 270, 5 октября. Без подписи.

** Окрестности С.-Петербурга очаровательны! (*фр.*).

В зимней обстановке хорошее настроение выливалось, конечно, в иных формах. Здесь первенствовало посещение театров, а на масленой даже и балаганов, строившихся довольно долго на Адмиралтейской площади, а потом переведенных на Марсово поле. Превыше всего уделялось внимание литературе.

Здесь в разнообразных жанрах выступал и сам мастеровитый чтец, Лесков.

Придав своему подвижному лицу умильно-плотоядное выражение, а голосу то грубоватую нетерпеливость, то лукавую смиренность, он со смаком читал притчу П. В. Шумахера:

Монах стучит в ворота рая.
Апостол Петр ему в ответ:
— Куда грядешь, не разбирая!
Здесь вашей братьи духа нет!
Вы все печетесь о житейском.
Вишь! словно боров разжирел.
Должно быть, в чине архирейском
Ты всласть курятники поел?
— Апостоле! не осудиши!
У всякого свои грехи!
Да говори про кур потише,
Чтоб не запели петухи.

И на этот раз Лесков не вполне тожественен опубликованному тексту или автографу, хранящемуся в альбоме М. И. Семевского.

При сборе некоторых знакомых и приятелей устраивались инсценировки. В одной из них длинный режиссер Александринского театра, Ф. А. Федоров-Юрковский, с медною полоскательницей на голове и палкой от половой щетки вместо копья в руке, въезжал из передней в залу верхом на детской палочке с лошадиного головой. Сопровождавший его «маленький художник», Я. Л. Филатов, в какой-то цветной скатерти-епанче, с собственною своею, традиционно художническою, широкополою шляпой на голове, тоненьким фальцетиком возвещал: «Вот наконец достигли мы Мадрида!» Тотчас же появлялся со своим «Дюрандалем» в руке Всеволод Крестовский. Происходил горячий поединок, в котором оба противника проявляли великолепный комизм и смешили своими «антраша» до слез. Дон-Кихот и Санхо-Панча уступали место балету, но «Всеволод» и тут играл чуть ли не самую видную роль дирижера. За рояль садилась моя школьная учительница Е. С. Иванова. Вслед за этим,

для развлечения утомившихся и отдыхающих танцоров, М. П. Лелева вытаскивала меня, ставила на медный лист у большой кафельной печки (иначе я не соглашался выступать) и заставляла петь партию Вани из «Жизни за царя» («Иван Сусанин» Глинки) — «Как мать убили» и «Бедный конь в поле пал...».

Не только балаганы, но даже и последний мелкий, лично мой номер не забыт писателем, и много лет спустя, в «Полунощниках», появилось некоторое, хотя и сильно видоизмененное, его применение — подвыпивший герой женским голосом поет: «Медный конь в поле пал! Я пешком прибежал!» Ничто никогда не оставалось без отзвука, хотя бы и в новой «интерпретации», как научились сейчас говорить по-русски.

Всего живее воспринимались, конечно, сольные «эстрадные» выступления самого Лескова. Темы для них почерпались из разнородных личных его памятей, накопленных за богатую встречами и былями жизнь.

Одно из хорошо запечатлевшихся еще в детстве происшествий разыгралось, по его словам, на родных стогнах, когда ему было всего десять лет.

«Везла меня матушка, — не спеша начинал он повествование, — из Орла домой на первые гимназические мои рождественские каникулы. На какой-то почтовой станции не доступный никаким увещеваниям и просьбам смотритель коротко и бесповоротно отрезал: нет лошадей — и безучастно углубился в лежавшую перед ним, будто бы занимавшую его книгу. Мы были в отчаянии. Это явно доставляло ему особое наслаждение: знай, мол, наших и чувствуй, какая во мне сила! Приходилось смириться, и мы, с сопровождавшими нас слугами, занялись чаем.

Невдолге к станции подкатили большие сани, и в комнату вошел отменно пристойный молодой человек предъявивший подорожную на пять лошадей.

— Нет лошадей, — не взглянув на нее, оторвал смотритель и снова уставился в свою книжку.

Молодой человек молча взял подорожную и вышел. Смотритель окинул всех победным оком. Восхищенно переглянулись и наши слуги: вот как отбрил барина в еноте! Безнадежность нашего положения получала новое подтверждение.

Но тут же неожиданно послышались тяжелые шаги, распахнулась входная дверь, и в комнату ввалилось что-то в огромной медвежьей шубе и, подойдя к столу, рыкнуло:

— Читал, мерзавец, подорожную?

— Неет-с, — потеряв все недавнее величие, отвечал смотритель.

— Не читал? Небось, четырнадцатым классом, каналья, пользуешься?

— Пользуюсь, ваше высокопревосходительство!

— Чин «не бей меня в рыло» имеешь?

— Имею-с.

— Избавлен по закону от телесного наказания?

— Избавлен-с.

— Так не уповай на закон!

И весь разговор пересыпался оглушительными затрещинами, дававшимися шубой смотрителю, то валившемуся с ног, то снова встававшему для получения новой плюхи.

Шуба вышла. Смотритель выбежал распорядиться лошадьми строгому сановнику. Сани ушли. Смотритель вернулся и удрученно сел на свое место. Мы все оставались в оцепенении. Но душевное состояние потерпевшего требовало излитий и сочувствия.

— Вот, изволите видеть, — грустно обратился он к моей матушке, — какие у нас в России бывают по службе неприятности. Это еще хоть большая персона, а то другой раз какой-нибудь прапорщик или корнет к рылу лезет, так это уже совсем противно.

И с этим, отойдя сердцем, приказал подать нам лошадей.

Домой мы добрались без дальнейших приключений, сочельник встретили в кругу родных, очень смеявшихся рассказанному матушкой случаю на станции, а я лично навсегда уразумел силу закона и несравненное превосходство над ним в моем отечестве властей предержащих, поучающих не уповать на закон, а почитать только начальство», — заканчивал Лесков *.

Изображался им, случалось, киевский кривоносый, почти неграмотный пономарь Константин Пизонский (он же Ломоносов) на испытании в чтении духовных книг. Преобразясь в жалкого церковнослужителя, не раз изобразивший его в своих произведениях писатель начинал: «И пливедоша тлех отлоков, отлоков. Имя же пелвому Мисс... Мисс... Миссааах, Миссах! Имя же втолому Сид... Сидд... Сиддлааах, Сидлах! Имя же тлетьему Ав...

* Происшествием этим автор воспользовался в гл. 6 и 7 очерка «Смех и горе» (Собр. соч., т. XV, 1902—1903, с. 18—21).

Авв... Аввденагогого... Тай казав *же*, — що не выговолю!» — с отчаянием бросал книгу и махал руками псевдоиспытуемый под всеобщий хохот *.

«Заглянул будто как-то в начале *лета*, — начинался новый художественный *артикль*, — в свое любимое детище, в Училище правоведения, на Фонтанке, против Летнего сада, Николай Палкин. Время вакационное. Воспитанники за городом, на даче. Идет ремонт помещений. Парты из классов вынесены и навалены где попало. Заставлена ими и парадная лестница от самого входа.

Окинув наводящим ужас свинцовым взглядом беспорядок, царь грозно спрашивает выбежавшего навстречу директора:

— Это что?

— Мело маста, ваше императорское величество!..

— Что-о?! — еще строже переспрашивает гордившийся даром ошеломлять верноподданных Николай.

— Маста мело! — лепечет потерявший голову генерал-лейтенант А. П. Языков.

— Ду-урак! — с всемилостивейшею улыбкой бросает ему величество и, повернув к своей пролетке, мчится дальше. На высочайшем челе проступает удовлетворенность: мимоходом свершен акт государственного управления...»

И принимаемая Лесковым при рассказе осанка, и властно указующий на подразумеваемые парты державный перст, и августейший опаляющий взгляд — все, вплоть до заключительного оклика, потрясает...

Материалом для одной из коротких и превеселых сценок служило воспоминание, сбереженное писателем из его, когда-то такого горестного, бегства из Петербурга за границу в 1862 году.

Слушатели переносились в чешскую Прагу, в дом какого-то особенно расположенного к русским чеха или поляка. Радушный хозяин, стремясь оказать своему русскому гостю особую ласку, в конце хлебосольного завтрака многозначительно возвестил, что сейчас угостит его настоящим московским чаем, и притом так, как это всего приятнее может быть сердцу московита.

— И, представьте себе, — все более оживляясь, раскрывал картину *рассказчик*, — тут же, сразу же, стало

---

* См.: «Котин Доилец». СПб., 4888; «Печорские антики», гл. 35; «Благоразумный *разбойник*». — «Художественный журнал», 1883, № 3.

слышаться в соседней комнате какое-то шарканье многих ног, и вслед за этим дверь туда распахнулась настежь и в ее проеме непостижимо повис в воздухе большой, горящий яро начищенной медью, наш простодушный русский самовар! Не сразу я разглядел и понял, что от его ручек в обе стороны тянулись толстые полотенца, концы которых были крепко ухвачены двумя молодыми служанками, с ужасом на лицах тащивших его на весу, едва переступая и страшась сблизиться с ним. А не в меру распаленный самовар сопел, свистел, клокотал и брызгался, извергая густые клубы пара.

Здесь Лесков вскакивал со стула и, входя в роль пражского славянского компатриота, начинал взволнованно указывать руками дальнейший путь шумливого самовара к столу, непрестанно приговаривая: От, тен котвал московьский! Як тен пуха! Як тен дмуха!.. Для пана бога остружно! Сердцем пр*о*шу остружно! Ну и страшливи котвал!..*

Живость сцены заставляла опасливо ежиться, как бы видя этот зловеще качающийся на полотенцах и злобно фыркающий «котвал».

Жизненность приведенных картинок убеждала, что в молодых сценических опытах Лескова в спектаклях «киевской княгини» Васильчиковой ему нетрудно было щегольнуть даром и перевоплощения, и творческой импровизации.

Случилось как-то, в зиму 1867—1868 годов, нечто никем не чаянное и ничем не предусмотренное.

Поздний фурштатский вечер. Чай давно отпит. День закончен. Старшие «дети» еще с чем-то возятся по своим углам. Столовая и угловой зал уже темны. Мать у себя не то читает, не то что-то мастерит: у хозяйки забот и дела много. В обособленном на краю квартиры кабинете, не счесть уже который раз, «перестругиваются» отдельные «куски» будущих «Соборян».

Один за другим гаснут в комнатах огни. И прекрасно, никто не помешает «совершать»! Хороший творческий пульс, настроенность, подъем. Поработаем!..

Увлеченность трудовой задачей разгорается. Дом исподволь засыпает.

---

* Видимо, рассказчик сбивался при этом с чешской речи на не во всем безупречную киевско-польскую, да и то уже несколько призабытую им.

Но вот невдолге среди мертвой тишины откуда-то доносятся непостижимо громкие протяжные восклики, в которых не сразу, с трудом постигается: «уй-яз-влен, уй-яз-влен, уй-яз-вленн!» — и снова «до бесконечности», как говорила старогородская просвирня Препотенская.

Первой выбегает в зал еще не успевшая лечь моя мать. Затем, накинув на себя что попало, появляются гимназисты.

Не обращая ни на кого внимания, по темному залу ходит взад и вперед творец «Соборян» и неукротимо, сейчас уже для всех явственно, продолжает деланным басом во всю силу возглашать: «и скорьбьми уй-яз-вленн, и скорьбьми уйязвлен!»

Ничего страшного. А сразу, да еще спросонья, не знать что в голову шло! Теперь все стало смешно, хотя по-прежнему непонятно.

— Что? — остановясь наконец спрашивает Лесков. — Похоже? На дьякона Ахиллу похоже? Мог он, увлекшись так, вопить в соборе?

— В соборе, днем, в экстазе, вероятно, и мог, — говорит успокоившаяся уже мать, — но не в спящем доме, не в пустом зале...

— Нет, по совести, не скажут, что авторская выдумка невероятна, искусственна? Для первозданной натуры-то!

— Думаю — не должны сказать, — продолжала мать, — однако очень необычайно, как и разыгранная сейчас импровизация.

— Ну и спасибо, пусть и необычайно, но ведь не невероятно! А разве Киево-Печерской лавры знаменитый дьякон Антоний, «переложив» меру вина накануне какого-то торжественного служения, не грохнул что-то несуразное, вроде «анафемы» вместо «многая лета», да с повторением. Едва убрали с солеи от срама. Я с него и взял для Ахиллы и даже много смягчил случай.

В общем, поверочный опыт удался. Удовлетворенный им автор возвратился к своему алтарю, остальные, позевывая, «восвояси».

О другой, сколько-нибудь схожей с этой, самопроверке не слыхал.

Чрезвычайно нравился нам, пожалуй, самый большой из шутливых рассказов отца, носивший торжественное название: «Три генерала от литературы в интимно-затруднительных положениях» — о Тургеневе, Гончарове и Писемском. Эта трилогия о «литературных генералах» до-

вольно пространно сбережена Дудышкиным, на которого и ссылался всегда, разворачивая ее, Лесков.

Из достаточно обильного материала памятей Лескова об Алексее Феофилактовиче Писемском представляется нигде как будто не повторенным рассказ об одном трагикомическом происшествии, разыгравшемся с ним как раз в Ингермапландии. Повествовал его Лесков, по обыкновению, в лицах, ссылаясь на то, что слышал сию повесть от самого ее героя.

В период участия Писемского в этнографических работах, организованных в 1856 году по инициативе великого князя Константина Николаевича, пришлось писателю отправиться на каком-то военном корабле или яхте не то в Выборг, не то в Ревель.

Приезжает он с необходимыми в пути вещичками, занимает отведенную ему каютку и снова выходит на ют оглядеться. Все ново, необычно, пожалуй, интересно, хотя как-то и неспокойно. Напряженно ждут самое высочество. Наконец прибывает с пышной свитой и оно. Раздаются команды, играют «встречу», все почтительно застывает, взвивается брейд-вымпел «августейшего».

Остановив «слабым манием руки» гром «музыки боевой», генерал-адмирал здоровается с «людьми». Отвечают — «как орех раскусили» — дружным пожеланием здравия. Команда распущена. Становится как-то легче и свободнее.

Отыскав себе где-то местечко, Писемский присаживается, вынимает книжку и принимается читать. Углубляется. Время идет, и яхта, шлепая колесами, уже выходит из Невы в «Маркизову лужу» [63]. Слышатся голоса, шарканье ног по палубе. Поднимает глаза — невдалеке князь в великом искательном окружении. Делать нечего, встает, книжку в карман. Тот, бросив в его сторону быстрый взгляд, говорит накоротке что-то ближним и, отделяясь от них, подходит в одиночку, благосклонно приветствует, задает несколько вопросов, на которые невымуштрованный писатель отвечает на своем «акающем» чухломском наречии, едва ли безупречно соблюдая все требования этикета и титулования.

Князь начинает дергать углом глаза и щекой. Остро следящая за поведением двух неравных собеседников свита неспокойна. Для милостивого завершения начинающего, должно быть, утомлять разговора высочество бросает:

«Я очень люблю этот ваш сочный московский говор. Вы ведь москвич?» Это произносится тоном отпускного комплимента, требующего признательного согласия, облегчающего счастливое, обоюдно приятное, окончание аудиенции.

Но в тот момент, когда августейший адмирал готов «лечь на обратный курс», неуемный писатель, в нарушение всякого благоприличия, твердо акает: «Никак нет, ваше высочество, я кастрамич!» Это долетает до свиты, подающей недогадливому литератору «штормовые» сигналы. «Да? А я почему-то считал, что вы москвич!» — рассеянно повторяет, несколько сильнее уже дернув глазом и щекой, высочество. «Не могу знать, почему это вам так казалось, а только я кастрамич», — продолжает Писемский. «Ах, так?» — «Точно так — кастрамич», — не унимается Феофилактович. Утомленный необычными поправками, генерал-адмирал с полупоклоном оставляет ненаходчивого собеседника и, встреченный застоявшейся в ожидании свитой, направляется куда-то в другую часть судна.

Едва группа эта достаточно отдалилась, как на Писемского вихрем налетает какой-то свитский и засыпает его горячими упреками за неловкость возражений высочайшему собеседнику. Встречный протест выводит блюстителя этикета из пределов сдержанности. «И не все ли вам, наконец, равно — москвич вы или костромич! Его высочество, в своем лестном к вам внимании, изволил сказать «москвич». — «Так точно, ваше высочество, москвич». И делу конец. И коротко, и почтительно, и всем приятно! А вы заладили: кастрамич, кастрамич! Да и что в том за заслуга, что вы костромич? Одна для всех неприятность и, если хотите, даже неуважительность...»

Но тут возмутился духом уже сам писатель: «Ну уж коли так, так желаю вам всем счастливого плавания, а я с утра себя не в порядке чувствую, и мне на берег надобно. Всепокорнейше прошу, где можно будет, спустить меня, потому что я человек этим вашим обстоятельствам непригодный».

Перестаравшийся свитский струхнул и забил отбой. Но не тут-то было: Писемский уперся, и не сдвинуть. Налетевший на него угодник побежал за командиром яхты. Стали уговаривать вдвоем. Не берет! «А как же мы его высочеству-то доложим, что вас нет?» — «Скажите — животом захворал».

На счастье, в Петергофе еще какое-то олимпийство на борт брать предстояло. Писемский сошел, и больше в Балтике о нем слышно не было.

Сколько в этом рассказе Писемского и сколько Лескова, сопоставлять возможности нет.

Конечно, в репертуаре Лескова не мог отсутствовать Толстой. И при этом — самый апокрифичный, но увлекательно изъяснявшийся и чрезвычайно нравившийся в лесковском оформлении.

Артиллерийская бригада, в которой служил Лев Николаевич, возвращается из-под Севастополя. Люди оборваны, лошади плохи, упряжь и седельный убор изношены. На пути получается извещение, что великий князь Михаил Павлович будет «смотреть» бригаду под Курском, куда он сам прибудет тогда-то. Времени мало, получить что-либо из интендантства невозможно. А предстать перед грозные очи прославленного своею грубостью и отсветным сквернословием высочества — страшно. Командир и офицеры собирают, какие можно, деньги. Нанимаются вольные портные, шорники. Сидят, не разгибаясь, и свои, бригадные. Кое-как удается изготовиться к сроку. Утомленное ездою высочество вылезает из экипажа, садится на лошадь и едет вдоль фронта в грозном чине. Все трепещет. — Писатель придает своему достаточно всем известному взгляду такое выражение, что слушателей дерет мороз по коже. Зная ход событий, я проворно бегу в прихожую и молча сбоку подаю отцу его трость. — Все трепещет, — повторяет рассказчик... — Впившись глазами в одного фейерверкера, князь останавливается и резко бросает: «Пуговица!!» Общее смятение. «Болтается пуговица», — кричит еще громче фельдцейхмейстер и, протянув руку, дергает фейерверкерский погон. — Лесков делает великолепный рывок в воздухе. — Пуговица летит. Князь дергает несчастного за борт мундира. Все восемь на живую нитку прихваченных пуговиц летят. Высочество рвет мундиры еще двух-трех фейерверкеров налетая дальше на Толстого. «А у тебя так же?» — спрашивает оно, простирая руку. Тут Лесков, как бы сидя на лошади, сгибает колени, искренно бледнеет и, набирая левой рукой поводья, чтобы вздыбить подразумеваемого коня, гневно смотрит в лицо воображаемому военачальнику и, опуская поданную мною, заменяющую саблю трость, жестко чеканит: «Ваше высочество, я ще-кот-лив!» Взбешенный князь скачет дальше, сыпя: «Сапожники,

скверно, мерзко», — и уносится вовсе с поля. Вернувшись со смотра, Толстой, ни минуты не медля, подает прошение об увольнении его в отставку и вручает его, по команде, своему батарейному командиру. Через час к командиру бригады приезжает адъютант августейшего ругателя с приказанием Толстому уйти в отставку. Бригадный показывает ему толстовское прошение.

Утомленный рассказчик умолкает. Все зачарованы. Все слышанное так образно, интересно, жизненно убедительно, что в голову не приходит усомниться в его исторической достоверности. Да и кто помнит, что Михаил Павлович умер за шесть лет до Севастополя, а Лев Толстой, в офицерском образе, пожинал плоды своих первых литературных успехов в Петербурге, посланный туда курьером.

Значительно удивительнее, что И. А. Шляпкин в своей непостижимо краткой и не слишком точной поминке Лескова привел без всякой оговорки свою гимназическую дневниковую запись о таком именно рассказе покойного и ему лично *.

Сам Лесков иносказательно не раз пользуется этою темой **, как и выражениями о щекотливости и дерганье пуговиц ***. Где и когда все это применено с бóльшим правом на бесспорность — секрет автора.

Сейчас, может быть, всего ценнее, как горячо и мастеровито подавалась любая «лыгенда».

«Тьмы низких истин нам дороже...» [64]

А нам, мирно подраставшим у Таврического сада, самым дорогим был — тоже почти легендарный для нас — *хороший час*!

ГЛАВА 11

ВНИМАНИЕ «СФЕР» И ВЕЛИКОСВЕТСКИЕ ПОЧИТАТЕЛИ

«Леса рушатся, спадают, и из-за них высится в своем роде чудесное и совершенно своеобразное сооружение, уника в русской литературе до той поры и одинаково

---

* Шляпкин И. К биографии Н. С. Лескова. — «Русская старина», 1895, № 12.

** «Блуждающие огоньки» (они же «Детские годы»), гл. 2 и 3. — Собр. соч., т. XXXII, 1902—1903.

*** «Герои Отечественной войны по графу Л. Н. Толстому». — «Биржевые ведомости», 1869, № 99; «Мелочи архиерейской жизни», гл. 1. — Собр. соч., т. XXXV, 1902—1903; «Бесстыдник». — Там же, т. XVI, с. 168.

с той поры, как бы какой-то Василий Блаженный в письменности, — великолепный «Запечатленный ангел».

Трудно сказать лучше, чем это сказано А. А. Измайловым в его неопубликованной работе о Лескове.

Нельзя не вспомнить рядом, что много раньше писала о «только что скончавшемся» Лескове Л. Я. Гуревич: «Вся его обстановка, его язык, все, что составляло его жизнь, было пестро, фантастично, неожиданно и цельно в самом себе, как единственный в своем роде храм Василия Блаженного» *.

Было ли тут заимствование? Не думаю. Верю, что это было даже не слепое, а закономерно логическое совпадение мысли и представления людей, искренно любивших талант Лескова и вдумчиво всматривавшихся в него.

«Ангел» появился в печати в 1873 году **.

Чем же было навеяно желание развернуть на иконописной канве уникальную повесть, чем было порождено увлечение Лескова изографией, где заложено было основание этому «сооружению», кто являлся, пусть и непроизвольным, пособником и вдохновителем в его создании? На это, в свой час, дал ответ сам автор.

«Когда, в довольно долголетнее отвержение от литературы... меня от скуки и бездействия заняла и даже увлекла церковная история и самая церковность, я, между прочим, предался изучению церковной археологии вообще и особенно иконографии, которая мне нравилась» ***.

К этому есть еще что и добавить.

Жил-был во граде святого Петра «художный муж» Никита Савостьянович Рачейсков, он же Савватиев или Саверьянович Рачейский. Одно из этих отчеств, как и редкое простосердие сего мужа, пришлись впору великому землепроходцу российскому — «очарованному страннику», Ивану Северьяновичу Флягину, он же и Голован.

Откуда повелось знакомство «изографа» с писателем, не умею сказать, но помню его с самых детских лет моих.

Обитал этот служитель хитрого искусства в одной из самых неприглядных в то время улиц столицы с подходившим к ее достоинствам названием — Болотная, ныне

---

* Л. Г. Личные воспоминания о Н. С. Лескове (Из дневника журналиста). — «Северный вестник», 1895, № 4, с. 67.

** «Русский вестник», 1873, № 1.

*** «Благоразумный разбойник (Иконописная фантазия)». — «Художественный журнал», 1883, № 3.

Коломенская. В приземистом двухэтажном каменном доме под номером восемь (как и сейчас), когда-то крашенном охрой, в низку, вровень с тротуаром, находилась незатейливая его мастерская в два окна на улицу. Здесь он и «таланствовал», и почивал, и вообще вел простодушное холостое житие свое. Дом принадлежал староверу Дмитриеву. В нем же помещалась и филипповская раскольничья моленная.

Зимой отец любил прокатиться на санках к Никите и всего чаще прихватывал, для компании, и меня. Мне эти поездки нравились, но иногда они уж очень затягивались в непонятных и неинтересных мне разговорах отца с редкостно благообразным искусником. Помню, что со свежего морозного воздуха дух, стоявший в его горнице, в первую минуту положительно сшибал. Сомневаюсь, чтобы он много уступал «потной спирали», в которой тульские мастера, с знаменитым Левшою во главе, «аглицкую» блоху подковывали.

Сам Никита Савостьянович был стилен с головы до пят. Весь Строганова письма. Высок, фигурой суховат, в черном армячке почти до полу, застегнут под-душу, русские сапоги со скрипом. Картина! За работой в ситцевой рубахе, в серебряных очках, с тоненькою кисточкой в несколько волосков в руке, весь внимание и благоговейная поглощенность в созидании деисусов, спасов, ангелов, «воев небесных» и многоразличных «во имя».

Отец, бывало, как выйдет из саней, прямо к окну — и залюбуется на него через какую-то снизу подвешенную дырявую тряпочку.

Всего лучше была голова: лик постный, тихий, нос прямой и тонкий, темные волосы серебром тронуты и на прямой пробор в обе стороны положены; будто и строг, а взглядом благостен. Речь степенная, негромкая, немногословная, но внятная и в разуме растворенная. Во всем образе — духовен!

Таким вспоминаю его, когда самому мне было уже под двадцать. Приходил неизменно по черному ходу. Без доклада и приглашения в комнату не шел, дожидаясь зова в кухне. В кабинете отцовском держался спокойно, с достоинством, своей огромной дланью жал руку дружески, но мягко.

Многие, начиная с моего отца, дивились — как этакими ручищами иконописную мелкость выписать можно.

А он простодушно отвечал: «Это пустяки! Разве персты мои могут мне на что-нибудь позволять или не позволять? Я им господин, а они мне слуги и повинуются» *.

Когда он умер на побывке у отца в Самарской губернии, Лесков написал как бы некролог под выдержанным заглавием — «О художном муже Никите и о совоспитанных ему» **. Здесь, между прочим, говорилось: «По выходе в свет моего рождественского рассказа «Запечатленный ангел» (который был весь сочинен в жаркой и душной мастерской у Никиты), он имел много заказов «Ангела».

Достаточно серьезную «акцию» выполняет в этом рассказе и списанный во многом с Никиты «изограф Севастьян». Рассказывается в некрологе с большою теплотой о скромной трудовой доблести Никиты, а также и о том, как изредка, разогнув могучую, над деисусом или Илией согбенную спину, он, бывало, «возжелает сделать выход», то есть чисто по-русски на несколько ден «загравировывал».

В покаянные минуты с детской кротостью раскрывался в своих похождениях с каким-то «гравэром» смущенный Никита Лескову. Писатель слушал, утешал и не забывал. А в свое время в «Очарованном страннике» появляются и запойные «выходцы», и «отбытие своего усердия», и «магнетизер», и многое из исповедно рассказанного о себе Никитою ***, но, конечно, творчески щедро приумножено. Поминался художный муж писателем не один раз в статьях с заслуженным признанием и сердечностью. Людей такого рисунка и духа я уже не видывал. Лесков любил говорить:

Что ни птицы — то и песни.
Что ни время — то и птицы.

Думать надо, давно уже и в Палехе, и в Мстерах, и в Холуе, и в Шуе с Кинешмой «род сей изъялся». Всему свое время под солнцем. Но не все достойно забвения. И Никита Рачейсков тем паче.

Кроме живой «натуры», при письме «Ангела» понадобилось исключительное знакомство с русской иконо-

---

* «Запечатленный ангел», — Собр. соч., т. III, 1902—1903, с. 53.

** «Новое время», 1886, № 3889, 25 декабря.

*** Главы 10—12. — Собр. соч., т. V, 1902—1903, с. 70—89.

писью *. В частности, оказал большую услугу и «Иконописаный подлинник» профессора С. К. Зарянко, список которого лежал в письменном столе Лескова ** и о неиздании которого не раз скорбел писатель ***.

Изрядный, по основному образованию, знаток церковности, А. А. Измайлов [65] без колебаний признал в беззавистном и безгневном лесковском праведнике Памве Серафима Саровского [66].

Дальше критик говорит, что Лесков «своим умом и сердцем и уже давно дошел до толстовского решения», что «в облике Зосимы в «Карамазовых» Лесков, если бы был ревнив, мог бы уловить брезжущие тени своего Памвы», что «крест из палочек, лыком связанных», дальше свитки и Библии Сковороды, дальше сумы Каратаева. Тут упор прямо в миросозерцание Франциска из Ассизи».

Но это все позднее. Что же услышал автор вслед за появлением своей «уники» в печати?

Не расположенной к нему критике показалось всего благоразумнее не замечать упрямо высившееся художественное «сооружение», в котором, по словам Измайлова, «письмо беллетриста из распространенного светского журнала ударило в стиль легенды из Пролога И Четьи-Минеи. Литературная живопись перелилась в чистую литературную иконопись!..» ****

Равнодушие критики и предубежденность ее были автору не в диковину. С этим он свыкся, и это уже не трогало.

Но вот совсем с другой стороны, от старшего возрастом и положением писателя, охотно поместившего в своем журнале «Леди Макбет нашего уезда», привелось выслу-

---

* См. статьи Лескова: «Адописные иконы». — «Русский мир», 1873, № 192; редакционная заметка (его же) — там же, № 211; «О русской иконописи» — там же, № 254; «Мелочи архиерейской жизни», гл. 8, изд. 1879 и 1880 гг.; «Благоразумный разбойник», — «Художественный журнал», 1883, № 3; «Христос младенец и благоразумный разбойник». — «Газета А. Гатцука», 1884, № 18, 12 мая; «Расточители русского искусства», — «Новости и биржевая газета», 1884, № 305, 4 ноября; «Дива не будет», — «Петербургская газета», 1884, № 305; «Сошествие во ад», — там же, 1894, № 140; «Добавки праздничных историй» — там же, 1894, № 354, и 1895, № 32.

** <Ныне в ЦГАЛИ>.

*** См., напр.: «Благоразумный разбойник».

**** <Пушкинский дом.>

шать нечто, глубоко оскорбившее и выведшее из всякого равновесия.

Приходится несколько отступить во времени назад.

После напечатания в январской книжке «Эпохи» 1865 года «Леди Макбет» очень нуждавшийся тогда Лесков не раз просит — и непосредственно и через Н. Н. Страхова — выдать ему, до последней крайности необходимый, гонорар. Уплата отлагается, время тянется, нужда растет. Но самого Достоевского не достигнуть. В конце концов вместо необходимых на житье денег выдается вексель на полтораста рублей.

А. А. Краевскому, за несравнимо меньшую неисправность, Лесков менее двух лет назад счел возможным и заслуженным послать жестко-угрожающее письмо. На этот раз он беспредельно терпелив, почти робок... Однако «в печенях», несомненно, «что-нибудь да засело». Уязвляло равнодушие, высокомерие. Было от чего начать и «злобиться». В итоге: рабочая общность отпала, отношения замерли, обиженность мутила. Это обещало недобрые плоды.

Через пять лет в одном из своих фельетонов он уже запальчиво пишет: «Начни глаголить разными языками г. Достоевский после своего *Идиота* или даже г. Писемский после *Людей сороковых годов,* это, конечно, еще можно бы, пожалуй, объяснять тем, что на своем языке им некоторое время конфузно изъясняться; но г. Тургенев никакой капитальной глупости не написал, и ни краснеть, ни гневаться ему нечего» *.

Достоевский, живший в это время за границей, вероятно, этих строк не видал. Через год, оттуда же, он сам пишет А. Н. Майкову: «Читаете ли вы роман Лескова в «Русском вестнике»? <«На ножах». — *А. Л.*> Много вранья, много черт знает чего, точно на луне происходит. Нигилисты искажены до бездельничества, — но зато — отдельные типы! Какова Ванскок! Ничего и никогда у Гоголя не было типичнее и вернее. Ведь я эту Ванскок видел, слышал сам, ведь я точно осязал ее! Удивительнейшее лицо! Если вымрет нигилизм начала шестидесятых годов, — то эта фигура останется на вековечную память. Это гениально! А какой мастер он рисовать наших попиков! Каков *отец Евангел*! Это другого попика я уже

* «Русские общественные заметки». — «Биржевые ведомости», 1869, № 340, 14 декабря. Без подписи.

у него читаю. Удивительная судьба этого Стебницкого в нашей литературе. Ведь такое явление, как Стебницкий, стоило бы разобрать критически, да и посерьезнее» *.

Прочитав эти строки уже только после смерти пожизненного недруга, Лесков писал Щебальскому: «В изданном томе писем Ф. Достоевского он говорит даже о какой-то моей «гениальности» и упоминает о *«странном* моем положении в русской литературе», а печатно и он лукавил и старался затенять меня» **.

Какой же суд себе нашел любовно вычеканенный Лесковым «Ангел» в сердце собиравшегося «посерьезнее» заняться Стебницким Достоевского?

Уничижительная снисходительность, сухое наставительство, даже прямое обвинение в «неловкостях», к которым, мол «г. Лесков способен». Двусмысленно взято в заглавие критической статьи лесковское же выражение из рецензируемого рассказа — *«Смятенный вид»* ***[67].

Ужаленный в самую глубь авторского самолюбия, Лесков торопится расквитаться с обидчиком не очень серьезными, но достаточно досадительными указаниями на мелкие ошибки последнего. Названия выпадам придумываются колкие: «О певческой ливрее» и «Холостые понятия о женатом монахе». Злосчастно к заметкам, обличающим церковное невежество врага, ставятся не свои подписи, а прикровенно-анонимные — «Псаломщик», «Свящ. П. Касторский» ****.

Взбешенный Достоевский разражается жестокою отповедью, беспощадно выявляя «ряженого» автора обоих выступлений *****[68].

Казалось, разочлись на весь век.

Но... не истек и год, как Лескова «подмывает» уже на новую «загвоздочку»: «Достоевский обидел их <«редстокистов», великосветских последователей апостола модного «нововерия» лорда Редстока. — *А. Л.*> в «Гражданине» и назвал «светскою беспоповщиною». Что делать? Прости-

---

* Письмо от 18/30 января 1871 г. — Достоевский Ф. М. Письма, т. II, 1930, с. 320—321.

** Письмо от 16 октября 1884 г. — «Шестидесятые годы», с. 343—344.

*** «Дневник писателя». — «Гражданин», 1873, № 8, 19 февраля.

**** «Русский мир», 1873, № 87 и 103 от 4 и 23 апреля.

***** «Дневник писателя. Ряженый». — «Гражданин», 1873, № 18, 30 апреля.

те. Он не сообразил, что людей, крещенных в церкви и исполняющих ее таинства и обряды, нельзя назвать *беспоповщиной.* Это с ним хроническое: всякий раз, когда он заговорит о чем-нибудь касающемся религии, он непременно всегда выскажется так, что за него только остается молиться: «Отче, отпусти ему!» *

Спасибо, на этот раз «отпустил» и сам оплошавший.

В полной взаимной отчужденности протекают три года, почти раззнакомились.

И вдруг, прочитав в «Дневнике писателя» статью Достоевского о романе Л. Толстого «Анна Каренина», Лесков, отметая все личное, восхищенно пишет ее автору: «Сказанное по поводу «Негодяя Стивы» и «чистого сердца Левина» так хорошо — чисто, благородно, умно и прозорливо, что я не могу удержаться от потребности сказать вам горячее спасибо и дружеский привет. Дух ваш п р е к р а с е н, — иначе он не разобрал бы этого так. Это анализ умной души, а не головы. Всегда вас почитающий Н. Лесков. Ночь на 7 марта 1877 г. СПб **.

Горячее движение, видимо, осталось без отклика. Может быть, даже было встречено не без пренебрежительного недоумения. Невольно встает в памяти, как три года назад на полях рукописи «Подростка» творец этого романа, вспомянув Лескова, почувствовал потребность написать:

Описывать все сплошь одних попов,
По-моему, и скучно и не в моде;
Теперь ты пишешь в захудалом роде;
Но провались, Л—в ***.

С 1877 года выдерживается последняя, обоюдно-спасительная пауза.

Достоевский умирает. 31 января 1881 года совершаются его похороны, не знавшие себе равных со времен некрасовских.

В канун их появляется крайне неловкая и злонастроенная по отношению к покойному бесподписная статья — «Ф. М. Достоевский» ****.

---

* Дневник Меркула П р а о т ц е в а». — «Русский мир», 1874, № 70, 14 марта. Без подписи.

** Д о с т о е в с к и й Ф. М. Письма, т. II, 1930, с. 466.

*** «Шестидесятые годы», с. 354. Роман Лескова «Захудалый род» шел в «Русском вестнике» (1874, № 7, 8, 10).

**** «Петербургская газета», 1881, № 25, 30 января. Лесков говорил, что Лейкин называл ему действительного автора статьи.

Не разобравшись в явно нелесковском ее строении и языке, в нововременской редакции «шмели загудели» — это Лесков! [69]

Возмущенный быстро долетевшей до него вестью, он гневно пишет Суворину: «Значит, вы считали возможным, что я написал статью против покойного, потом пришел к нему в дом и шел за его гробом... Это ужасно! Зачем вы сочли меня способным на этакую низость?.. О Достоевском я имею свои понятия, может быть, не совсем согласные с вашими (то есть *не во всем*), но я его уважал и имею тому доказательства. Я бывал в критических обстоятельствах (о которых и вы частию знаете), но у меня никогда не хватило бы духу напомнить ему о некотором долге, для меня не совсем пустом (весь гонорар за «Леди Макбет»). Вексель этот так и завалялся. Я знал, что требование денег его огорчит и встревожит, и не требовал. И вот, едва он умирает, как мне приписывают статью против него» *.

Широкая известность вражды двух «жестоких талантов» благоприятствовала смелым домыслам.

Достоевского схоронили. Неприязненность в живом не умирала.

В беседах, письмах, статьях и заметках Лескова о Достоевском, под тем или другим впечатлением или настроением, говорится то с признанием, почитанием, даже заступничеством ** как о прозорливом, полнодумном и любимом писателе [70], о его многострастном пере, то — правду говоря, чаще — едко *** [71].

Собеседнику или читателю неизбежно врезываются в память выражения: «вещал», «великие учителя», перед которыми «кадили» и «приседали», а теперь «втихомолку смеются над юродствами, до которых ими были доведены люди действительно даровитые, но исковеркавшиеся в «экстазах» **** [72].

Незадолго до собственной смерти, тяжело больной, он дает убежденное заключение о вредности и опасности по-

---

* Письмо «в ночь на 3 февраля 1881 г.». — Пушкинский дом.

** «Граф Л. Н. Толстой и Ф. М. Достоевский как ересиархи». — «Новости и биржевая газета», 1883, № 1, 1 апреля, изд. 1-е.

*** «О куфельном мужике и о прочем». — Там же, 18815, № 151, 4 июня, изд. 1-е.

**** «Литературное бешенство». — «Исторический вестник», 1883, апрель.

литической настроенности Достоевского. Вспомнив, как «часто путались, а иные и совсем запутались (напр. Писемский, Достоевский, Всев. Крестовский и еще кое-кто)», Лесков завершает мысль: «Но если бы Ф. М. Достоевский пережил событие, случившееся вскоре после его смерти <1 марта 1881 года, смерть Александра II — *А. Л.*>, то этот, в своем попятном движении, был бы злее и наделал бы огромный вред по своему значению на умы [73], покорные авторитету и несостоятельные в понимании «веяний» *.

Так судил Лесков на ущербе лет, не слишком примиренным, но все же временем охлажденным.

Возвращаюсь к «Ангелу». В 1872 году он, как в свое время и «Божедомы», первому предлагался С. А. Юрьеву, и снова, не без опасностей для идеологической независимости, попадает в «Русский вестник». Уступки становятся неизбежными.

Должно быть, в 1884 году, в беседе с издательницею журнала «Собрание иностранных романов», Е. Н. Ахматовой, Лесков сказал, что иначе кончил бы теперь рассказ **.

И. А. Шляпкин, посетив Лескова 19 марта 1892 года, записал за ним: «Долго-де я был под влиянием Каткова: в окончании «Запечатленного ангела» и в «Расточителе». Много-де глупостей написал... «На краю света» мне и теперь нравится, только бы причину поездки выставил бы я не ту. «Соборян» бы не написал» ***. По совести — скуповато и не язычно записано.

Может быть, по не остывавшей никогда досаде на делавшиеся когда-то уступки, достаточно неожиданно приметывается к «Печерский антикам» не очень требовавшееся «последнее сказание». Начинается оно с нарочитого упоминания, что «Запечатленный ангел» был напечатан в *«Русском вестнике»* М. Н. Каткова». Далее утверждается, что «такого происшествия, какое передано в рассказе, в Киеве никогда не происходило, то есть никакой иконы старовер не крал и по цепям через Днепр не переносил». Было, мол, лишь то, что «один калужский

---

* Письмо к М. О. Меньшикову от 27 мая 1893 г. — Пушкинский дом.

** Неизданная статья Ахматовой «Мое знакомство с Н. С. Лесковым». — Пушкинский дом.

*** «К биографии Н. С. Лескова». — «Русская старина», 1895, декабрь, с. 214—215.

каменщик сходил во время пасхальной заутрени с киевского берега на черниговский *по цепям,* но не за иконою, а *за водкою,* которая на той стороне Днепра продавалась тогда много дешевле» *.

Созданная писателем англичанка не посягнула запечатлеть сургучом ангельский лик Севастьянова письма.

«Последнее сказание» к «Печерским антикам» бестрепетно упраздняло самого ангела. Бесшабашная и беспредельная удаль подтверждалась со всею бесспорностью. Духовный подвиг смывался с литературной иконописи... водкой.

Лесков восьмидесятых годов был уже неукротимым «ересиархом».

Когда возник вопрос о переиздании рассказа в «Дешевой библиотеке» Суворина, автор писал заведовавшему этой издательской серией: «По моему мнению, «Запечатленный ангел» есть такой рассказ, в котором не должно быть никаких исключений. <...> Сделанные вымарки глупы, беспричинны и портят рассказ» **[74].

Простосердечные читатели всегда восхищались рассказом. Более искушенные и требовательные частию умилялись, частию оставались холодные, но всех без изъятия поражало писательское мастерство.

Не остался равнодушным и сам Зимний дворец. Внимание голштинского русского царя и его гессенской супруги выразилось в приезде к Лескову генерал-адъютанта С. Е. Кушелева с выражением удовольствия, вынесенного от прослушания рассказа в умелом чтении Б. М. Маркевича.

Искательному по натуре человеку это открывало величайшие возможности. Намекалось на благорасположение императрицы Марии Александровны прослушать «Ангела» в чтении самого автора. Последний сумел во всем этом ничем не воспользоваться, может быть даже не без некоторой неловкости в области этикета. Великолепный Болеслав Маркевич находил это непростительною беззаботностью к известного рода карьере.

Непосредственно с благовестником Кушелевым и его семьей создаются сразу же самые дружеские отношения. Сергей Егорович был прекрасный миниатюрист и чело-

---

* Собр. соч., т. XXXI, 1902—1903, с. 88.

** Письмо к С. Н. Шубинскому от 3 октября 1887 г. — Гос. Публичная б-ка им. Салтыкова-Щедрина.

век с настоящею художественного жилкою, чарующе мягкий и сердечный.

В тысяча восемьсот восьмидесятых годах Лесков писал Шубинскому: «Мои «Соборяне» переведены <на немецкий язык. — *А. Л.*> и вышли в «Универсальной библиотеке». Это был мне совершенный сюрприз... Ахилла открывает мне двери в европейскую литературу» *.

В 1873 году «Ангел» настежь открывал ему двери самых головокружительных аристократических гостиных. Им заинтересовывается не совсем отвыкшая читать по-русски часть петербургского beau monde'a ** <...>.

Приглашения на обеды, вечерние собрания, чтения, рауты и прочее сыплются без конца. Писатель превращается в светского человека. Все это делают «Ангел» и его верный чтитель Сергей Кушелев.

Такое обновление знакомств щедро обогащает наблюдения, впечатления, палитру писателя, дает осведомленность, приходящую с недоступных для простых смертных вершин.

Очень вскоре Кушелев возвращает Лескову какие-то «листы» последнего, «которые залетали так высоко» ***, а в конце года пишет ему с неослабным горением: «Начал день с вами, и как хорошо начал, и кончил день е вами же, и тоже хорошо. — Сейчас уехали от нас Степановы, которым я читал вашего «Ангела». Вот третий раз мне приходится читать... его не только с большим удовольствием, но, могу сказать, все с большим наслаждением. В особенности сцены англичан и Памвы производят на слушателей самое отрадное действие — и мне приятно становится за автора, который может в наш век возбуждать самые лучшие движения души в людях... Скажу вам откровенно, вы напишете еще много хороших книг, — но вряд ли что-нибудь лучше «Ангела» и дневника Протопопа, это две жемчужины ваши... Это потому мастерские вещи, что чем более в них всматриваешься (как в картине мастеров), тем более наслаждаешься ими... Пишу вам сегодня же, чтобы всецело принадлежал вам один из лучших дней моей тревожной жизни» ****.

---

* Письма от 14 и 17 июня 1886 г. — *Фаресов,* с. 179, 180.
** Высшего света (*фр.*).
*** Письмо Кушелева к Лескову от 20 февраля 1873 г. — ЦГЛА.
**** Письмо от 21 ноября 1873 г. — ЦГЛА.

Не оставался в долгу и Лесков. Прошлым еще летом он совершил небольшую прогулку по Ладожскому озеру, посетив Карелу, Коневец и Валаам. Результатом поездки явились очень нелюбимый им потом очерк «Монашеские острова на Ладожском озере» и до последних лет ценившийся им, широко эпопейный рассказ «Черноземный Телемак». Тот и другой были посланы в Москву. С «Островами» дело затянулось, отлагаясь на несколько месяцев печатанием, а о рассказе «правая рука Каткова» Н. А. Любимов писал автору:

«Многоуважаемый Николай Семенович, Михаил Никифорович прочел «Черноземного Телемака» и после колебаний пришел к заключению, что печатать эту вещь будет неудобно. Не говоря о некоторых эпизодах, как, например, о Филарете и св. Сергии, вся вещь кажется ему скорее сырым материалом для выделки фигур, теперь весьма туманных, чем выделанным описанием чего-либо в действительности возможного и происходящего. Передаю вам, конечно, не в полной точности, что говорил Михаил Никифорович, а в самых общих выражениях. Он советует вам подождать печатать эту вещь, самый мотив которой может, по его мнению, выделаться во что-либо хорошее» *.

Задетый таким отзывом, Лесков делает на этом письме сопоставительную мету: *«Получено 10 мая 873 г. СПб.* Отзыв о *Телемаке,* сделанный редакциею «Русского вестника» через месяц после напечатания там *Ваала*».

Хозяина журнала коробило раскрытие в самом начале произведения черствости и жесткосердия прославленного ритора и иерарха, митрополита московского Филарета Дроздова, как бы призывавшего к милосердию преподобным Сергием, а также и невыгодное освещение дворянских фигур по сравнению с нравственным обликом крепостного землепроходца Ивана Флягина, он же Голован. Деть повесть было некуда. Пришлось пустить в газету «Русский мир», где она и прошла с 15 октября по 23 ноября с посвящением ее С. Е. Кушелеву [75].

«Острова» проходят еще раньше в той же газете, с 8 августа по 19 сентября того же года.

* Письмо от 8 мая 1873 г. — ЦГЛА.

Великосветские восторги немножко льстят сердцу, ласкают самолюбие, согревают, но и очень отрывают от работы, от «вытачивания ангелов», которые «достаются кровью и нервами, а оплачиваются, как мочала» *.

А писать по-базарному не позволяет искренность «служения литературе», искренность, с которою в России, даже и при несомненном таланте, будешь жить впроголодь. Базарных же предложений, сулящих полную сытость, сколько угодно.

Нет! Уж лучше запрячь себя в служебный хомут и, при сносном окладе, несколько спокойнее отдаваться литературному труду. Но как и где найти эту хотя бы отчасти обеспечивающую службу?

Доброжелательный Кушелев быстро постигает бытовые затруднения творца «Соборян» и «Ангела». Ободряя почитаемого литературного «изографа», он пишет ему на первых же порах: «деньги будут», будет служба, и принимается за хлопоты.

Мобилизуются все средства, связи и возможности. Положение близкого царю генерал-адьютанта, только что выполнившего исключительное поручение царицы в отношении писателя, позволяет играть на этом. Широкий резонанс события облегчает маневрирование. Лишается возможности остаться безучастным к просьбам властный министр народного просвещения граф Д. А. Толстой, которого просит о том же даже Катков! Энергично вовлекается в кампанию только назначенный товарищ министра этого же министерства князь А. П. Ширинский-Шихматов. Приобщаются к ней поэт А. К. Толстой, которому были посвящены «Соборяне», и все могущие быть полезными.

Сергей Егорович — хотя и простой души человек, но и хорошо вышколенный смолоду царедворец. Он знает ходы и нити, к кому, с чем и как подойти. Устраивается вечерний прием Шихматовым Лескова на дому сановника. Упоминается уже и председатель Ученого комитета министерства А. И. Георгиевский. Несомненно, плохую услугу оказывают здесь недочеты в вопросе об «учености» кандидата в члены «ученого» подразделения просветительного министерства.

---

* Письмо Лескова к С. Н. Шубинскому от 7 октября 1887 г. — Пушкинский дом.

Высокодипломированные сановники морщатся... Но как-никак приходится считаться с литературным именем и, всего больше, с «всемилостивейшим» вниманием, оказанным свыше.

В результате — 1 января 1874 года отдается приказ министра за № 1 о причислении Лескова к министерству — «с назначением членом Особого отдела Ученого комитета сего Министерства но рассмотрению книг, издаваемых для народного чтения». Оклад убогий — тысяча рублей в год. Будущего — никакого. Не повышается заметно даже прожиточный бюджет. В общем, опять почти что — nic!

— Ну-с, Николай Семенович, — руководительно говорит превосходительный Маркевич, когда дело близится к своему концу, — поезжайте на Васильевский остров к Досу и заказывайте вицмундир. Он в этом великий художник. Сами себя не узнаете, какой он даст вам вид!

— И не подумаю, — озадачивает ответом своенравный писатель, — я не в департаментские чиновники иду, а в члены Ученого комитета.

— Знаю, знаю, но представиться-то министру придется?

— Ну и представлюсь, по вольности писательской, в том, что дома есть: в обыкновенном фраке.

— Воля ваша, — несколько обиженно отвечает камергер, — но мой совет — сделайте, как учу.

— Спасибо, но только я уж отвык от ливреи и снова рядиться в нее не собираюсь. Обойдемся авось и без нее!

Маркевича покоробило.

— Как знаете... Только я предупреждаю вас не зря — это вам может дорого обойтись: граф Дмитрий Андреевич приметлив и памятлив...

Совет обсуждался со многими, и почти все, начиная с Данилевского до наших милых друзей Матавкиных, соглашались со всеми указаниями Маркевича. Переубеждать Лескова была задача тяжелая, вернее безнадежная. Он не послушался. Друзья огорченно пожимали плечами.

В своевременно указанный день Лесков вошел в своем черном фраке в кишевшую уже вицмундирами приемную министра.

Дежурный чиновник, услыхав фамилию, искоса взглянул на новичка и холодно спросил:

— По случаю причисления к министерству?

— Да.

— И назначения на должность?

— В Ученый комитет! Все?

— Не совсем. Ваш чин?

— Губернский секретарь, — не без нотки раздражения отвечал Лесков.

Чиновник подтянул губы, занес все, что следовало, в подаваемую министру памятную записку и определил мелкочиновному литератору и человеку не молодых уже лет очередь почти в самом хвосте представлявшихся.

Внутренно надменнейший и черствейший сердцем, но утонченно светский Толстой, как говорится, глазом не повел... Он уделил своеобычному новому своему подчиненному довольно времени для приветливой беседы и отпустил его с безупречно любезными пожеланиями.

Дежурный чиновник, который, вероятно, успел что-то уловить в замкнутом лице министра, простился с новым своим сослуживцем по министерству с ни в чем не смягченною сухостью. Несомненно, он постигал расположение или предубежденность своего шефа вернее Лескова, которому казалось, что прием был почти тепел, как бы благожелателен и что, во всяком случае, все протекало благополучно и беспоследственно.

Время дало возможность не раз усомниться потом в безошибочности такого предположения.

Два зимних «сезона» проходят в изучении столичного «большого света». Меняется состав знакомых и посетителей. Скромная по натуре мать моя невольно становится хозяйкой «салона», в который приходят и из которого исходят животрепещущие новости, сведения о политическом, внешнем и внутреннем, курсе правительства, слухи, анекдоты...

Все это доставляется приезжающими иногда прямо с «высочайших выходов» или «приемов» и «эрмитажных» балов «метрдотельски наглым» Маркевичем, тихим Корфом, уютным Кушелевым.

Не обходится дело и без собственных анекдотов, и однажды даже довольно скверного. В разгар вечера и оживленной беседы довольно большого общества входит, во всем камергерском великолепии, «с ключом» и в белого сукна брюках, Болеслав Маркевич. Целует руки дамам, благосклонно приветствует мужчин и, как бы случайно, не здоровается с стоявшим несколько в стороне в скромном сюртуке генерального штаба генерал-майором А. П. Щер-

батовым. «А вы разве но знакомы? — Александар Петрович Щербатов — Болеслав Михайлович Маркович!» — произносит моя мать общеустановленную для таких случаев формулу.

«Ах, князь, простите, я вас было не заметил», — рассеянно бросил упоенный своей блистательностью царедворец и, полуоборотясь, милостиво протянул Щербатову два пальца.

Заведомо бывший у царя Александра II в большой опало, материально захудалый «рюрикович» побледнел. Почтительно склонясь и приняв двумя же пальцами у самого ногтя только один палец Маркевича, он приподнял всю его пухлую руку и, слегка покачивая ее в воздухе, самоунижительно произнес: «О, вы слишком щедры! Такому маленькому человеку, как я, и одного вашего пальца слишком достаточно!» С этим он полубрезгливо отстранился, оставив опешившего «шамбеляна» [76] с все еще висевшей в воздухе пустой рукою.

Через два десятка лет писатель, никогда не забывавший этот «пассаж» у Таврического сада, вложил в уста дошлого петербургского иерея твердое научение, даваемое им его собеседнику:

«Есть чем стесняться? Суньте два пальца вместо руки, — вот и сановник. Неужели у вас на это образования недостанет?..» *

Чтобы кончить с Марковичем, приходится немножко забежать вперед.

В начале 1875 года над ним стряслась беда: он был уличен во взятке, или, как острили некоторые, «в братке», с арендатора «С.-Петербургских ведомостей» Ф. П. Баймакова, молниеносно лишен придворного звания и вынужден подать в отставку как член Совета министра народного просвещения **. Все рухнуло сразу, погиб камергерский «ключ», белые брюки, шляпа с плюмажем... Отказался принимать его, пока он не «обчистится», и Катков. Величие с заносчивого хлыща сошло. Опешив, он в первые дни трескуче разыгравшегося скандала бегал к нам и вел взволнованные самооправдательные беседы с моим отцом, запираясь в его кабинете.

---

* «Мелочи архиерейской жизни». — Собр. соч., т. XXXVI, 1902—1903, с. 34. В иерее подразумевается настоятель храма Спаса на Сенной, священник Иоанн Образцов.

** Об увольнении «по прошению» объявлено в «Правительственном вестнике» № 40 от 18 февраля 1875 г.

Полгода спустя, в статьях до поводу кончины поэта А. К. Толстого, он скорбно и горько корит жестокого издателя «Русского вестника», хотя и не называя его по имени, но прозрачно, в непостоянстве в дружбе, в которой стоек был покойный граф *.

Но «печали вечной в мире нет и нет тоски неизлечимой»: погоревав и осмирнев, он, по выражению Лескова, «поправился и духом и брюхом» **.

Оставляя его всячески «поправляться» и дальше, возвращаемся назад.

Истекал 1874 год. По стародавним преданиям и обычаям, каждый Новый год встречался дома, в семье, с близкими. К этому все и располагалось, шло.

Тридцатого декабря Юлия Денисовна Засецкая просит Николая Семеновича перенести какое-то его чтение у нее со вторника, приходящегося, как оказалось, на 31 декабря, на четверг, 2 января, так как графиня Сумарокова не может присутствовать на этом чтении раньше.

«Ваше чтение и письмо к вам И. С. Аксакова мне снилось всю ночь, — пишет Лескову его великосветская почитательница. — Мне почему-то кажется, что Россия — именно церковь Пергамская. Душевно поздравляю вас с Новым годом. Вам желаю, главное, здоровья, а нам, толпе, восхищаться новыми плодами вашего творческого ума», — заканчивала свое письмо Засецкая ***.

Выходит, что Новый год Лесков встретит все-таки дома. Но вот заутро новая дамская записка:

«Не смотря, что чтение, с вашего согласия, отложено на четверг, приезжайте к нам на чашку чая и встретимте Новый год. Сестра Висконти на другой день нового года уезжает и особенно желает с вами еще провести вечер. Итак, до свидания ****.

На другой день Лесков шлет в Москву И. С. Аксакову полный тепла привет и обстоятельный доклад:

---

* «С.-Петербургские ведомости», 1875, 3 и 5 октября, № 264, без подписи, и № 266, за подписью «Б».

** См. письма Лескова к П. К. Щебальскому от середины февраля, 23 февраля и 16 октября 1875 г. — «Шестидесятые годы», с. 328, 329, 333. Вскользь этот случай затронут Лесковым в статье «О литературных контрактах». — «Новости и биржевая газета», 1888, № 156, 7 июня, изд. 1-е [77].

*** Письмо от 30 декабря 1874 г. — ЦГЛА.

**** Письмо от 31 декабря 1874 г. — Там же.

«Прежде всего поздравляю вас с новым 1875 годом: желаю вас видеть здоровым, долгоденствующим и благополучным во всех делах и начинаниях. Старый год канул в вечность, а сей новый всеми встречен как-то сумрачно, и так сказать, безуповательно: выдуманная на Страстном бульваре * фраза о «пожертвованном поколении» облекается в плоть и гнетет и душит. Жить одним сознанием, что гимназисты учатся лучше, чем учились пять лет тому назад, — просто томление духа, и ничего себе так пламенно не желаешь, как того, чтобы не иметь никаких желаний. С такими мыслями встретили мы вчера в полночь в кружке добрых людей (у Засецкой), где вспомнили вас добром и пожелали, чтобы разомкнулись давно умолкшие уста ваши, и тут же почувствовали, что на все это нет никаких надежд, — что мы «пожертвованное поколение...» **.

Итак, 1875 год, против строгого старого обычая, встречался главою семьи не дома. Он встречался Лесковым в просторных покоях Засецкой, в доме ее на шумной perspective Nevsky, 88, appartement 101 ***, как означалось на ее письмах. Встречался, пусть и безуповательно, но оживленно и уютно, в беседе с единомышленниками, за радушною хлеб-солью восхищенных «творчеством ума» писателя аристократических его поклонниц...

Жили ли еще какие-нибудь упования в семье, встречавшей в те же часы десятый год своей давности на отдаленной Фурштатской, у дремавшего в глубоких сугробах темного Таврического сада?

Личные перспективы Лескова — и по службе, и в литературе, и в области чувства — становились все безотраднее. Всего болезненнее переносилось все-таки тяготевшее над ним «отвержение от литературы», вне которой для него не было жизни.

Наступал пятнадцатый год многострастного служения ей. Шел пятый десяток от роду. Лучшая часть лет была уже позади, а жизнь до сих пор ни в чем не устроена! Родные говорят, что он все еще «мечется». Ни одна из ставившихся целей не достигнута. Бесконечная цепь неудач...

---

* Катковская штаб-квартира в Москве.

** Письмо от 1 января 1875 г. — Пушкинский дом.

*** Невская перспектива (Невский проспект), апартаменты (квартира) (*фр.*).

Не сделали весны многоработные «Соборяне». Со всеми его «изяществами», ничего не принес и полгода вытачивавшийся, якобы «скоропомощный», «Ангел»!

Писательский горизонт неуклонно мрачнеет. Кольцо литературных «терзательств» суживается, грозя окончательно замкнуться. Создается представление полной безнадежности...

Какое требовалось мужество для перенесения такого положения долгие годы! Какие силы, воля и вера в свой талант нужны были, чтобы все это превозмочь!

КОММЕНТАРИИ

Книга Андрея Лескова выходила дважды. Первое издание — Андрей Лесков. Жизнь Николая Лескова по его личным, семейным и несемейным записям и памятям. М., Гослитиздат, 1954. Второе издание, повторяющее текст первой публикации, выпущено Приокским книжным издательством (Тула) в 1981 году.

Настоящее издание печатается по тексту 1954 года с проверкой и исправлениями по имеющимся рукописным материалам и корректурам, которые хранятся в Институте русской литературы. Это прежде всего:

1. Правленная А. Н. Лесковым верстка книги. 2. Авторские машинописные вставки в корректуру. 3. Машинопись с правкой Лескова 5—8 частей книги. 4. «Авторские заметы» А. Н. Лескова от 10 февраля 1954 года, представляющие 156 ответов на редакторские замечания, в подавляющем большинстве случаев выражающие его несогласие с предложенной правкой. Сохранились письма А. Н. Лескова в Гослитиздат (например, от 7 апр. 1953 г.), в которых он просит защитить в книге «самобытное и говорящее» от «обезличения». В последнем издании восстанавливается принципиальная смысловая правка А. Н. Лескова, не учтенная в издании 1954 года.

Книга А. Лескова выпускается в двух томах, как первоначально задумал ее сам автор, и впервые комментируется.

Первая редакция книги А. Н. Лескова была в основном завершена еще при жизни А. М. Горького, в 1935 году. Дальнейшие хлопоты по ее изданию, кроме автора, нес В. А. Десницкий, в труде которого А. Н. Лесков видел как бы доброхотное исполнение «завещания Горького» (письмо А. Н. Лескова Б. М. Другову от 10 июня 1941 г. — *ОГМТ, № 8251*). Самая первая редакция имела «около 42 л. «Дней и трудов», л. 3 комментария, л. 2 хронологически построенной библиографии с 1860—1937 гг. Листа 1—1/2 документальных приложений», что составляло «72 главы и 6 частей» (письмо тому же адресату от 6 июля 1937 г. —

там же). Последним словам автора полностью соответствует изложение содержания труда «Николай Лесков. Биографическое исследование», раскрытое в нижеследующем приложении к одному из писем А. Н. Лескова В. Д. Бонч-Бруевичу:

«Вступление. *Ч. 1. Родство.* Гл. I (далее слово «глава» в перечне опускается н а м и . — *А. Г.*). Автобиографическая заметка. 2. Отец. 3. Мать. 4. Дед Петр Алферьев. 5. Бабка Акилина Алферьева. 6. Тетка и «дядя» Константинов. 7. Дядя Сергей Алферьев. 8. «Дядя» Шкотт. 9. Сестра Наталья. 10. Брат Алексей. 11. Брат Михайла. 12. Брат Василий. 13. Сестра Ольга и зять Крохин. 14. Сестра Маша. 15. Нянька Степановна (т а к . — *А. Г.*). — *Ч. 2. От колыбели до писательства* (*1831—1860*). 1. Рождение и детство. 2. Гимназия. 3. Предел учености. 4. Орловская уголовная палата. 5. Киев. 6. Первая семья. 7. Служебные успехи. 8. Частная служба. 9. Краткий рецидив государственной службы. 10. Первая проба пера. *Ч. 3. Первое десятилетие писательства* (*1860—1870*). 1. Работа у Евгении Тур. 2. Петербургский публицист. 3. Немножко о личном характере. 4. По Литве и Волыни. 5. За рубежом. 6. Снова на родине. 7. «Некуда». 8. Херем. 9. Вторая семья. 10. Колыванский случай. 11. «Человеческий документ». *Ч. 4. В тени и небрежении.* 1. Начало личных моих воспоминаний. 2. О фурштатских друзьях и о прочем. 3. Великолепная книга. 4. Внимание сфер и великосветские почитатели. 5. Вторая заграница и начало религиозных сомнений. 6. На новых местах. 7. Второе и последнее одиночество. 8. На пути к лучшему. 9. Дочь и матримониальный дебют «Крутильды». 10. Перелом. *Ч. 5. Маститость и еретичество.* 1. Болезнь и тяга к Таврическому саду. 2. Среди родных. 3. Покой при «женственном равновесии». 4. Киевский квит. 5. Художественная проповедь. 6. Служебный круг. 7. Свои субботники и «Пушкинский кружок». 8. О сиротке, о детях и о многом другом. 9. Последняя заграница. 10. Pro domo. 11. Названая дочка и новоявленный зять. 12. Взыскующие из отрицавшихся. *Ч. 6. В зените чтимости и на закате дней.* 1. Собрание сочинений. 2. Angina pectoris. 3. Аккорд с Толстым. 4. Поход на дьяволов. 5. Деизм. 6. Без убоины. 7. Тернистый путь. 8. Царство мысли. 9. Стойкость нрава. 10. Распряжка. 11. После смерти. 12. Пауза». Предполагались приложения трех видов: «Хронологический перечень напечатанных произведений (Н. С. Лескова). Примечания. Указатель имен» (*ГБЛ,* ф. 369, К. 295, ед. хр. 17, л. 4 4 . — Курсив наш. — *А. Г.*).

Из этого документа явствует, что в завершенной после Великой Отечественной войны второй редакции книги (65 глав и 7 частой) автор сохранил значительную часть глав (трудно сказать, насколько менялся их текст) и разделов первой редакции,

но существенно перекомпоновал спасенные части и главы, углубил и обострил написанное прежде, о чем говорит хотя бы появление глаз «Катастрофа», «Преломи и даждь». Налицо более четкая сюжетно-композиционная группировка глав вокруг литературно-творческого стержня (перенос главы «Первая проба пера» в часть «Писательство» и главы «Колывань» в следующую часть), сужение темы религиозных исканий писателя.

Сохранилось также 12 глав «повести-исследования» «Жизнь Николая Лескова по его личным, семейным и несемейным записям и памятям» (*ЦГАЛИ,* ф. 275, оп. 4, № 67), датированные июлем 1937 г.: «Рождение и детство. Гимназия. Предел учености. Орловская уголовная палата. Киев. Коммерческая служба. Первая проба пера. «Великолепная книга». Перелом. Стойкость нрава. Распряжка. Послесловие». Возможно, это «спрессованные» варианты соответствующих глав первой редакции книги, предназначавшиеся для продолжения публикаций из «Жизни Николая Лескова», начатых печатанием следующих фрагментов: «Несколько слов о личном характере. Литературные субботники и пушкинский кружок. О литературном и художественном союзе (лишь это название отсутствует в реестре глав первой редакции книги. — *А. Г.*). Собрание сочинений. Angina pectoris». Открываются 12 глав предисловием автора с пометой: «Сентябрь 1932 г. Ленинград».

Когда составился вышеприведенный полный перечень глав первой редакции книги, названия разделов еще подыскивались, варьировались. «Пленительный и неистощимый» (*ОГМТ,* ф. 8251) собеседник и яркий корреспондент А. Н. Лескова, Б. В. Варнеке, предлагал ему в письме от 1—3 января 1938 г. заменить заголовки «Лотовы жены» и «Целибат», ибо новый читатель, «не уча Ветхого Завета, не знает Лота» и не «знает про целибат (обет безбрачия. — *А. Г.*) католических патеров» (*ОГМТ,* 6503 оф.). Действительно, в позднейших рукописях эти названия не фигурируют.

После трагической гибели двух экземпляров готовой к изданию книги в 1941 и 1942 гг. и по эвакуации в Подмосковье (Кратово) в августе 1942 г., но до переезда в Москву (сент. 1943 г.) А. Н. Лесков — передал спасенные материалы первой редакции книги, имевшие название «Дни и труды Н. С. Ле<скова>» (это зарегистрировано на обрывке счета А. И. Лескова Гослитмузею от 25 декабря 1942 г. — *ИРЛИ,* ф. 612), Гослитмузею, где они и находились скорее всего до возвращения автора труда в Ленинград летом 1946 г. Читанное в мае 1946 г. С. Н. Дурылиным «сочинение А. Н. Лескова» имело каноническое с конца 1930-х годов название «Жизнь Николая Лескова по его личным, семейным и несемейным записям и памятям» (*ОГМТ*).

В настоящем издании сохранены подстрочные сноски-примечания Л. Н. Лескова как факт истории книги, а поэтому оставлены без изменений прежние наименования архивов, отсылки к вышедшим до 1954 года изданиям сочинений Н. С. Лескова и других лиц.

СПИСОК УСЛОВНЫХ СОКРАЩЕНИЙ

БВ — газета «Биржевые ведомости».

БдЧ — журнал «Библиотека для чтения».

ВЕ — журнал «Вестник Европы».

ВЛ — журнал «Вестник литературы».

Владимирский-Буданов — Владимирский-Буданов М. Ф. История имп. университета св. Владимира. Т. I. Университет св. Владимира в царствование императора Николая Павловича. Киев, 1884.

Герцен — Герцен А. И. Собр. соч. в 30-ти томах. М., 1954—1965.

Горький — Горький М. Собр. соч. в 30-ти томах. М., 1949—1956.

Гроссман — Гроссман Леонид. Н. С. Лесков. Жизнь — творчество — поэтика. М., 1945.

Достоевский — Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч. в 30-ти томах. Л., 1972—1983 (изд. продолжается).

Ежегодник 1971 — Ежегодник Рукописного отдела Пушкинского дома на 1971 год. Л., 1973.

Ежегодник 1979 — Ежегодник Рукописного отдела Пушкинского дома на 1979 год. Л., 1981.

ИВ — журнал «Исторический вестник».

Иконников — Биографический словарь профессоров и преподавателей имп. университета св. Владимира (1834—1884). Сост. и издан под ред. В. С. Иконникова. Киев, 1884.

КС — журнал «Киевская старина».

ЛБ — журнал «Литературная библиотека».

Лесков — Лесков Н. С. Собр. соч. в 11-ти томах. М., 1956—1958.

Лесков, ПСС — Лесков Н. С. Полн. собр. соч., 2-е изд. СПб., 1897.

ЛН — «Литературное наследство».

Микулич — Микулич В. (Веселитская). Встречи с писателями. Л., 1929.

МВ — газета «Московские ведомости».

Н — газета «Неделя».

НБГ — газета «Новости и биржевая газета».

НВ — газета «Новое время».

Никитенко — Никитенко А. В. Дневник в 3-х томах. М., 1955—1956.

ОГВ — газета «Орловские губернские ведомости».

ОЗ — журнал «Отечественные записки».

ОП — газета «Орловская правда».

ПГ — «Петербургская газета».

Писарев — Писарев Д. И. Соч. в 4-х томах. М., 1955—1956.

ПЛ — газета «Петербургский листок».

РБ — журнал «Русская беседа».

РВ — журнал «Русский вестник».

РГО — русское географическое общество.

РИ — журнал «Русский инвалид».

РЛ — журнал «Русская литература».

РМ — журнал «Русская мысль».

РР — журнал «Русская речь».

РС — журнал «Русская старина».

С — журнал «Современник».

Салтыков-Щедрин М. Е. — Салтыков-Щедрин М. Е. Собр. соч. в 20-ти томах. М., 1965—1977.

Сб. 1873 г. — Сб. мелких беллетристических произведений П. С. Лескова-Стебницкого. СПб., 1873.

СВ — журнал «Северный вестник».

СМ — еженедельник «Современная медицина».

СПч — газета «Северная пчела».

СПбВ — газета «Санкт-Петербургские ведомости».

Толстой — Толстой Л. Н. Полн. собр. соч. в 90-та томах. М.—Л., 1928—1958.

Тургенев, Письма — Тургенев И. С. Полн. сбор. соч. и писем в 28-ми томах. М.—Л., 1960—1968.

Тургенев, ПСС — Тургенев И. С. Полн. собр. соч. в 30-ти томах. Соч. в 12-ти томах. Изд. 2-е, испр. и доп. М., 1978—1983 (изд. продолжается).

УЭ — журнал «Указатель экономический политический и промышленный журнал».

Фаресов — Фаресов А. И. Против течений. Н. С. Лесков. Его жизнь, сочинения, полемика и воспоминания о нем. СПб., 1904.

ХЖ — «Художественный журнал».

ЦОВ — еженедельник «Церковно-общественный вестник».

Чернышевский — Чернышевский Н. Г. Полн. собр. соч. в 16-ти томах. М., 1939—1953.

Чехов. Письма — Чехов А. П. Полн. собр. соч. и писем в 30-ти томах. М., 1974—1983.

ЧОИДР — «Чтение в Обществе истории и древностей Российских при Московском университете».

ШГ — Сб. «Шестидесятые годы». М.—Л., 1940.

В комментарии публикаторов книги использованы следующие условные обозначения архивохранилищ:

БАН — библиотека Академии Наук СССР. Ленинград.

ГАОО — Государственный архив Орловской области.

ГБЛ — Государственная библиотека СССР им. В. И. Ленина. *Рукописный отдел.*

ГПБ — Государственная Публичная библиотека им. М. Е. Салтыкова-Щедрина. Ленинград.

ИРЛИ — Институт русской литературы (Пушкинский дом) АН СССР, Ленинград.

ОГМТ — Орловский государственный музой им. И. С. Тургенева.

ЦГАЛИ — Центральный государственный архив литературы а искусства.

ЦГИАЛ — Центральный государственный исторический архив. Ленинград.

ВСТУПЛЕНИЕ

(Стр. 32—36)

[1] Это выражение многократно встречается в письмах и сочинениях Вольтера.

[2] Далее следовало: «...и вы это прекрасно умеете делать» (Толстой Л. Н. Переписка с русскими писателями. Сост., подг. текста, вступ. статья и примеч. С. Розановой. М., «Художественная литература», 1978, с. 251). Слова были произнесены в связи с прочтением в «Книжках недели» (1893, № 11) лесковского рассказа «Загон», где особенно силен социально-политический критицизм автора.

[3] Пункт 4-й завещания Лескова (см. далее ч. VII, гл. 8).

[4] Подразумевается правка писем Н. С. Лескова в книгах и статьях: Фаресов А. И. Против течений, Н. С. Лесков. Его жизнь, сочинения, полемика и воспоминания о нем. СПб., 1904; Фаресов А. И. Умственные переломы в деятельности Н. С. Лескова. — *ИВ,* 1916, № 3, с. 786—819; Микулич В. Встречи с писателями. Лев Толстой. Достоевский. Н. Лесков. Всеволод Гаршин. Л., 1929. А. Н. Лесков писал о «преступном» печатании эпистолярных материалов Н. С. Лескова «всмятку» В. Д. Бонч-Бруевичу в 1932—1934 гг. (*РО ГБЛ,* ф. 369, к. 295, ед. хр. 17).

[5] Остроты французского памфлетиста XVIII в. А. Ривароля широко публиковались в русской печати XIX века. См., например, сохранившийся в библиотеке Н. С. Лескова сб.: Энциклопедия ума, или Словарь избранных мыслей авторов всех народов и всех веков. Составил по французским источникам и перевел Н. Макаров. СПб., 1879.

[6] Имеется в виду статья М. Горького «Н. С. Лесков» в издании Лесков Н. С. Избр. соч. в 3-х томах. Редакция текста и

примечания Александра Амфитеатрова. I, изд-во З. И. Гржебина. Пб.-М.-Берлин, 1923, с. 5—13 (*Горький,* т. 24, с. 228—237).

[7] Оценка мемуаров слишком категорична. Мемуары Н. Н. Кузьмина «Н. С. Лесков в Киеве» вполне достоверны. (*НВ,* 1915, № 13991, 22 февраля). Более основательны претензии к В. Русакову (С. Ф. Либровичу), опубликовавшему при жизни писателя поверхностный репортаж «У автора «Соборян» (Новь, 1892, № 3), а позднее литературные воспоминания о Лескове (см. о них ниже в примеч. к ч. VI). Репортерской развязностью была отмечена его статья «Случайные встречи с И. А. Гончаровым» (Новь, 1888, № 7), возмутившая Гончарова и Лескова, что отражено в их переписке (см.: *Лесков,* т. XI, с. 364—365, 367—368). Заведомый «примысел» находил А. Н. Лесков в записках Е. И. Борхсениус «Мои воспоминания о Николае Семеновиче Лескове» (опубликованы в сб. «В мире Лескова». — М., 1983), — см. о них далее — ч. VII, гл. 1, 8.

[8] *Горький,* т. 24, с. 235.

9 Фаресов А. Воспоминания об А. Н. Энгельгардте. (*ВЕ,* 1893, № 7, с. 59—99 и № 8, с. 552—601). Лесков также писал: «...Вы как будто неловко отсортовали материал <...>. *У* Вас события <..> катаются и перекатываются из одного угла в другой, сбивают хронологию, и в конце концов читатель получает анекдоты, а не нравописательный очерк, что читателю нужно. Не выходит портрета, нет «характера лица и времени» (*Лесков,* т. XI, с. 549).

[10] См. полный текст письма: *Лесков,* т. XI, с. 550—551.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
ИЗ СЕМЕЙНОЙ СТАРИНЫ
(Стр. 37—96)

[1] Из стихотворения А. Н. Апухтина «Будущему читателю. В альбом О. А. К—ой, с заменой в последней строке («минувших дней таится»).

[2] *Горький,* т. 15, с. 330.

[3] Передача в петербургское издательство А. Ф. Маркса ряда рукописей писателя была связана вначале с выпуском в свет второго дополнительного издания его сочинений, названного «Полным собранием сочинений Н. С. Лескова» в 12 томах (1897 г.). Практически же оно явилось переизданием первого «собрания», подготовленного автором и выпущенного А. С. Сувориным в 1889—1896 гг.

[4] *«Лесков и его время»* — рукопись книги А. А. Измайлова, хранящейся в *ИРЛИ* (ф. 115, он. I, ед. хр. 5; 531 с.).

[5] Относя себя к числу «не приготовленных» к литературе людей, Лесков стушевывает роль Орла (страсть к чтению, кружок А. В. Марковича) и Киева (среда университетской интеллигенции, знакомство с Д. П. Журавским, участие в религиозно-философском кружке). См. ниже примеч. к ч. II.

[6] Село Лески, видимо, было не столь бедно, о чем свидетельствует наличие в нем каменной двухэтажной церкви в честь Казанской божьей матери. Описанием 1860-х гг. зарегистрировано: с. Лески (Казанское), что в 40 верстах от Карачева, при речке Калахве, имеет 74 двора, 373 жителя мужского и 400 женского пола. В селе есть ярмарка. (См.: Орловская губерния. Список населенных мест по сведениям 1866 г. СПб., 1871; под № 2092). Ныне относится к Навлинскому району Брянской обл.

[7] *Левиты* — священнослужители низшего духовного сана у древних евреев.

[8] Согласно аттестату С. Д. Лескова, датированному 27 февраля 1839 г. и воспроизводящему формулярный список о службе его за 1838 год, отец писателя поступил дворянским заседателем «по выбору дворянства» в Орловскую палату уголовного суда 15 февраля 1833 г. и «во время последнего служения по назначению начальства произвел несколько следствий», а также «два раза по губернскому правлению исправлял должность советника от двух до четырех месяцев» (*Я. Г.* Материалы для биографии Н. С. Лескова. — *ОГВ.* Часть неофициальная. Ежедневное издание. 1900, № 95, 15 марта. *Я Г.* — Я. И. Горожанский).

[9] Имя губернатора названо писателем неверно: А. В. Кочубей был орловским губернатором в 1830—1837 гг., в 1837 г. его сменил И. И. Васильчиков, а с 1841 по 1849 г. губернией управлял П. И. Трубецкой.

[10] Ныне — Октябрьская ул., 9 (Дом-музей Н. С. Лескова).

[11] В момент выхода в отставку С. Д. Лесков был обладателем следующей собственности: «Имение за ним значится по городу Орлу — благоприобретенный дом с местом и при нем дворовых людей мужска пола три и женска одна душа, и за женою его дворовых людей женска пола две души...» (*Я. Г.* Материалы для биографии Н. С. Лескова. *ОГВ,* 1900, № 95, 15 марта). Продажа городского дома, вероятно, первоначально не планировалась. Лишь в части официальной *ОГВ* за 1841 г. (№ 38 и 39 от 19 и 26 док., о. 657 и 685) появилось сообщение о предстоящей продаже «деревянного дома надворного советника Семена *Лескова...»* (*ГАОО,* ф. 4, № 601, лл. 920—922).

[12] Несмотря на продажу большей части купленного на Средней Гостомке (Гостомли) имения (сведения об этом публикуются Р. М. Алексиной в лесковском томе *ЛН*), семья Лесковых остава-

лась в долгу у генерал-лейтенанта Александра Кривцова. Спустя два года заимодавец стал требовать через губернское правление уплаты оставшейся за должниками суммы — 1285 р. 71 3/4 коп. серебром (*ГАОО,* ф. 4, № 601, л. 620). Дядя Лескова, гусарский ротмистр Луциан (Лукиллиан) Константинов, конкурируя на торгах, поднял первоначальную цену дома (1125 р.) до суммы 1300 р., достаточной для ликвидации долга. Он явно выручал Лесковых: через неделю Константинов перепродал дом за потраченную им сумму поручику Василию Мацневу (*ГАОО,* ф. 6, он. 1, ед. хр. 3130, л. 34—34 об.; фамилия последнего уточнена Р. М. Алексиной).

[13] В библиотеке Лескова (*ОГМТ,* № 223) имеется книга «Богослужебные каноны на славянском и русском языках, изданные профессором С.-Петербургской духовной академии Евграфом Ловягиным» (СПб., 1861) с пометами писателя против 15 произведений, в том числе вышеупомянутых.

[14] Митрополитом Филаретом (В. М. Дроздовым) был составлен «Христианский катехизис православной католической восточной грекороссийской церкви» (СПб., 1823) в вопросах и ответах. Св. Синод одобрил его как пособие для преподавания в училищах.

[15] Первое отдельное издание «Записок охотника» вышло в 1852 г., когда Лесков находился в Киеве. Возможно, что с рассказами сборника Лесков знакомился еще в Орле, по мере их публикаций в *С* (1847—1851 гг.). Книга Тургенева стала для Лескова надолго эталоном изображения народной жизни. А. Н. Лесков свидетельствовал: «Первая книга, после Библии, которую дал мне отец читать, была «Записки охотника». Мне было тогда 7 лет. Он заставлял меня читать ему вслух тургеневские рассказы — и я дрожал от страха, как бы не сделать ошибки». И еще: «Тургенева отец считал выше Гончарова как поэта. Каждое новое произведение Ивана Сергеевича было событием в жизни нашего дома» (*ВЛ,* 1920, № 7(19), с. 6). В высказываниях Лескова о Тургеневе в середине 80-х гг. появляется существенный корректив: с его точки зрения, Тургенев менее Толстого не просто по «величине» дарования (ср.: *Лесков,* т. 10, с. 90. — «Русские общественные заметки», 1869 г.), — нет, Тургенев и Писемский «уступали» Льву Толстому в изображении религиозно-философского мира простолюдина, а это и есть, по убеждению Лескова, «глубь души простого русского человека», ибо здесь «всего понятнее выражается весь дух русского народа» (см. неопубликованную лесковскую статью от марта 1886 г. «Ошибки и погрешности в суждениях о гр. Л. Толстом. (Несколько простых замечаний против двух философов)» (*ЦГАЛИ,* ф. 275, он. 1, ед. хр., 70). Это разъясняет смысл поздних лесковских сопоставлений

Тургенева с крупнейшими его современниками: «Достоевский был православист, Тургенев — гуманист, Л. Толстой — моралист и христианин-*практик*» (*Лесков,* т. XI, с. 156); «Отчего не провести сравнение между огромными силами Л. Толстого и «благоустроенным» умом и талантом Тургенева?» (*Лесков,* т: XI, с. 557).

[16] Отношение Лескова к Островскому не было однозначным. «Его род пьес, в которых он всего сильнее, есть бытовая драма и комедия...» — писал Лесков в 1867 г., выражая мысль, что драматургу «не даются исторические русские хроники» (*Лесков,* т. X, с. 27). В письме А. С. Суворину от 18 марта 1888 г., говоря о важности воссоздать в произведениях искусства дух изображаемого времени, Лесков утверждал, что «типический взгляд Кабанихи (Островского)» на семейный этикет, — взгляд, «схваченный гениально» (*Лесков,* т. XI, с. 370). В статье «Наша провинциальная жизнь» Лесков отмечал, что типичное русское состояние души выражает «известная Катерина в «Грозе» Островского» (*БВ,* 1869, № 238, 3 сент.). «Гроза» была для писателя символом русской драмы (см. наст. изд. ч. II, гл. 4).

Между писателями в 1875 г. была короткая переписка (Островский А. Н. Полн. собр. соч., т. 11. М., 1979, с. 487—488; *Лесков,* т. 10, с. 378—379).

[17] Впоследствии отношение к личности и творчеству Писемского изменилось. Мысль об авторитетности искусства Писемского звучит у Лескова как раз прежде всего там, где речь идет об изображении народа (см. «Некуда». — ч. I, гл. 26). В письмах начала 1870-х годов Лесков горячо обращается к Писемскому: «Учителю благий», «Я всегда чтил Ваш большой ум и талант, многому у Вас учился и стою к Вам в искренних ученических отношениях того сорта, каковы были, например, отношения художников в те времена, когда они учились не в непроизводительных академиях, а в скромных студиях» (*Лесков,* т. X, с. 346, 341). За этим признанием — длительные дружественные литературные встречи с Писемским, переписка (известны 6 писем Лескова и 9 писем Писемского (*Лесков,* т. X; Писемский А. Ф. Письма. М., 1936); Лесков восхищался «резким, но метким в своих определениях» Писемским-острословом (там же, т. XI, с. 83), Писемским — непревзойденным чтецом своих произведений, на которые собирался литературный Петербург. Говоря в 1879 г. о создании цикла, посвященного «трем праведным», коим и стоит «целая земля», Лесков намекал, что он вступил в полемику именно с Писемским. В письме С. Ф. Либровичу от 11 января 1883 г. Лесков заметил, что Писемский «ни при жизни, ни после смерти еще не оценен, хотя бы вровень с Гаршиным и Успенским» (*ИРЛИ,* ф. 612, № 167; копия).

[18] «Анекдот» имеет вполне фольклорную природу. Сомневаясь в действительности происшествия, писатель указал, что «подвиг» приписывается «довольно многим (и между прочим А. П. Ермолову)» (Лесков Н. С. Картины прошлого. Брачные истории тридцатых годов. По запискам синодального секретаря. Пчелка. — *ИРЛИ,* ф. 612, № 44, л. 8. Машинописная копия). В аналогичном рассказе бабушки Лескова о 1812 г. подвиг совершается безымянным лицом.

[19] Видимо, в разные гимназические годы Лесков жил на разных квартирах. См. далее (ч. II, гл. 2) набросок «Как я учился праздновать». Учеником 3 класса Лесков квартировал вместе с будущим известным математиком К. Д. Краевичем «в доме Лосевых» (*Лесков,* т. VI, с. 374).

[20] Василий Александрович Функендорф, коллежский асессор, младший учитель французского, а затем немецкого языка в Орловской гимназии в 1843 г., 55-ти лет, вышел в отставку (его формулярный список обнаружен Р. М. Алексиной. — *ГАОО,* ф. 78, ед. хр. 738).

[21] Эпизод с Малхом, рабом одного из иудейских первосвященников, пришедших схватить Христа.

[22] Гибель имущества Лесковых от пожаров ничем не подтверждается.

[23] По данному тексту не вполне ясно, имел ли в виду Лесков автора «Провинциальных воспоминаний» (1857—1861 гг.), писателя И. В. Селиванова, или упоминаемого ниже (ч. II, гл. 8) Ф. И. Селиванова, пензенского соседа А. Я. Шкотта, которого счел А. Н. Лесков «рецензентом» писем отца. Решительно в пользу первого свидетельствовал сам писатель, сказав в автобиографическом примечании к главам «Захудалого рода»: «В наклонности <...> к литературным опытам оказал большое влияние талантливый писатель Селиванов» («Игрушечка», 1883, № 9, с. 279). Упоминания И. В. Селиванова (наряду с Гоголем, Грибоедовым, Щедриным, Сухово-Кобылиным) встречаются в ранней публицистике Лескова, мотивы селивановских произведений присутствуют в «Леди Макбет Мценского уезда», «Очарованном страннике», «Несмертельном Головане».

[24] *Вальтер А. П.* — ординарный профессор физиологической анатомии и микрографии, последователь общественных, педагогических и медицинских взглядов Н. И. Пирогова. О Вальтере как пропагандисте научных знаний Лесков корреспондировал в *УЭ* в 1860 г. (см. № 194, от 17(29) сент. и № 199 от 22 окт./3 ноября сообщения о бесплатном приватном курсе физиологии). Вальтер издавал прогрессивный еженедельник *СМ* с 1860 по 1874 г. в Киеве. 28 июня 1860 г. в № 29 *СМ* (раздел «Фельетон», с. 513—

523) была опубликована первая значительная статья Николая Лескова «Заметка о зданиях».

[25] Сближение с С. С. Громекой произошло в Киеве (см. далее ч. II, гл. 6) между августом 1852 и маем 1857 г. Однако последовательность событий, связанных с первой отставкой Лескова, писателем нарушена. Взяв отпуск 1 мая 1857 г., Лесков уволился в сентябре того же года. С. С. Громека 2 декабря 1858 г., через полтора года после увольнения Лескова, еще только готовился оставить свою должность и приискивал «частные занятия» (*ГВЛ,* ф. 120, кн. 21, с. 128). Публицистическая деятельность С. С. Громеки могла побуждать Лескова к занятиям журналистикой, недаром Лесков вспоминал в 1882 г. Громеку, «блеснувшего с первого шага статьею «Полиция вне полиции». Но, по-видимому, публицист оказал Лескову прямую помощь в устройстве его ранних работ в большую столичную печать. Громека редактирует в 1860 г. (по № 49 от 26 июня) одесский «Листок русского общества пароходства и торговли», затем в Петербурге сотрудничает в *ОЗ* и *СПбВ.* На оттиске опубликованной в *ОЗ* (1861, № 4) статьи «Очерки винокуренной промышленности», которую Лесков именовал «первой пробой пера», писатель пометил: «г. Одесса. 28 апреля 1860 г.», датировав рукопись временем, когда Громека еще вел одесский «Листок». Возможно, именно с этой статьей связаны слова Лескова, что он «увлечен в литературу Громекою в 1860 году» (*Лесков,* т. XI, с. 459). Вскоре последовало лесковское сотрудничество в *ОЗ* Краевского и Дудышкина, где работал Громека. Однако нет никаких оснований считать Громеку «литературным наставником» Лескова в идейном отношении. Уже в одной из передовиц *СПч* 1862 г. (№ 60, 3 марта) Лесков иронично пишет об «ошибках и заблуждениях, свойственных <...> бурно-пламенному г. Громеке». В начале 1868 г. Лесков обращался к Громеке с просьбой помочь устроиться на государственную службу, позволившую бы заниматься литературным трудом (см. ответ С. Громеки Лескову от 19 марта 1868 г. — *ЦГАЛИ,* ф. 275, он. 4, ед. хр. 29).

[26] Эпизодические встречи Лескова с Ап. Григорьевым относятся к 1861—64 гг. Поэт-критик был в этот период виднейшим сотрудником журналов «Время» и «Эпоха», редактором журнала «Якорь», в которых сотрудничает Лесков. Чертами беллетристического дарования отмечена статья Лескова «О русском расселении и о политико-экономическом комитете» («Время», 1861, № 12; ср.: *Лесков,* т. XI, о. 804), которую не мог не заметить Григорьев, даже находясь с июня 1861 г. по май 1862 г. в Оренбурге. В 1862 г. Лесков публикует (до возвращения Григорьева из Приуралья) в журнале «Век» рассказ «Погасшее дело», в *СПч* — очерки

«Страстная суббота в тюрьме», «За воротами тюрьмы», рассказы «Разбойник», «В тарантасе». С декабря 1862 г. *СПч* печатает его путевую хронику «Из одного дорожного дневника». Из Европы Лесков привозит переводы чешской беллетристики и рассказ «Овцебык». Поскольку в общественных взглядах Лескова и Григорьева было немало общего, создаются предпосылки для приглашения Лескова Григорьевым в новый журнал «Якорь» (выходил с марта 1863 г.): в мае—июне 1863 г. там публикуется рассказ Лескова «Язвительный» (№ 12—14). С апреля 1863 по декабрь 1864 г. писался, а с № 1 за 1864 г. в *БдЧ* печатался роман «Некуда», лишь частично увидевший свет при жизни Григорьева (поэт умер 25 сент. 1864 г., а завершение публикации состоялось в № 12 журнала, вышедшем в середине янв. 1865 г.). Видимо, поэту стали известны 1-я и 2-я книги романа, в которых он высоко оценил искусство создания характеров (см. ниже ч. III, гл. 7).

[27] Н. Лесков официально оставил гимназию в августе 1846 г. Отец его, С. Д. Лесков, скончался в июле 1848 г. — почти через два года после поступления сына в Орловскую палату уголовного суда. В приводимой А. Лесковым заметке, подаренной П. В. Быкову, писатель выпрямляет и «округляет» свою биографию, не касаясь причин преждевременного выхода из гимназии, не говоря о службе в уголовном суде, и приступает к рассказу о киевской университетской профессуре и о продолжении образования под ее руководством. Это один из примеров правки Лесковым своих «исповедных» жизнеописаний.

[28] В бесподписном некрологе С. П. Алферьева Лесков писал, что среди врачей он славился как диагност, а по характеру был человеком «прямым и совершенно чуждым того интриганства и деловитого пронырства, которые стали сообщать особенную окраску иным лицам позднейшей университетской корпорации» (*НБГ,* 1884, № 99, 11 апр.). См. также ниже ч. I, гл. 4.

[29] *Якубовский И. Ф.* (1820—1851) — магистр по кафедре сельского хозяйства и лесоводства Киевского университета, принадлежал к числу стипендиатов для приготовления к профессорскому званию (см.: Академические списки имп. университета св. Владимира (1834—1884). Киев, 1884). По отзывам современников, «его изящная и талантливая натура сообщила неожиданную жизнь такому предмету, который с основания университета... всегда был посмешищем для студентов» (*Владимирский-Буданов,* с. 565—566; см. также с. 443).

[30] *Богородский С. О.* (1804—1857) заведовал с 1839-го по 1854 г. и с мая по ноябрь 1857 г. кафедрой законов уголовных и благочиния; автор посмертно изданного труда «Очерк истории уголовного законодательства в Европе с начала XVIII века» (т. I—II,

Киев, 1862), характеризующегося гуманными, народолюбивыми идеями. Влияние взглядов С. О. Богородского ощутимо в правовых мотивах публицистики Лескова.

[31] *Аболиционист* (от лат. abolitio — отмена) в русском речевом обиходе XIX в. — сторонник уничтожения крепостного права, рабовладения.

[32] Демократические, антикрепостнические взгляды крупнейшего политэконома, основоположника русской статистики Д. П. Журавского (1810—1856) повлияли на формирование убеждений будущего писателя, на интерес молодого Лескова-журналиста к вопросам политической и конкретной экономии, предопределили характер его участия в дискуссиях Российского географического общества и последующую суровую критику столичных либеральных научно-общественных комитетов. В неопубликованном очерке «Из «глухой поры». Переписка Дмитрия Петровича Журавского и два письма Льва Александровича Нарышкина. (1843—1847)» (*ЦГАЛИ,* ф. 275, он. 1, ед. хр. 111) писатель изложил биографию ученого. В частности, он рассказал, что Журавский, управляя имениями Л. А. Нарышкина, в Саратовской губ., пытался осуществить планы к переводу «простых людей <...> из крепостной зависимости на волю». В 1840-х годах Журавский написал «Исследование о нынешнем состоянии и о средствах улучшения быта крепостных крестьян», где предложил проект «выпуска крестьян на волю». Лесков был знаком с текстом этого впоследствии утраченного сочинения ученого. В предисловии к публикации писем Журавского Лесков высоко оценивал *общественно-политическое* значение трудов статистика. По поводу классической книги «Об источниках и употреблении статистических сведений» он писал: «Литература русская в свое время выразила довольно обстоятельные суждения об этом труде, но <...> не открыла его настоящего характера, — не открыла *духа.* Говоря это, мы опираемся на свидетельство самого покойного Журавского, который в одном из <...> писем сетует, что журналисты смотрят на его сочинение как на произведение *научное,* тогда как самое главное в нем есть его *политическое* содержание...» (там же, л. 2). Лесков подчеркивал социально-нравственное подвижничество Журавского: он был «едва ли не первое живое лицо, которое во дни юности моей в Киеве заставлял меня понимать, что добродетель существует не в одних отвлечениях» (*Лесков,* т. X, с. 371). В другом случае Лесков пояснял: Журавский и жена его «жили без скаредства, но соблюдая каждый грош, который можно было соблюсти», ради выкупа крепостных. После смерти Журавский «оставил капитал, завещанный им на выкуп двадцати человек наиболее несчастных и наиболее до-

стойных крепостных людей <...>, но других подражателей деятельности Журавского не откликнулось...» (Русские общественные заметки. — *БВ,* 1869, № 250, 21 сентября). Образ Журавского возник на страницах хроники Лескова «Захудалый род» (1874).

[33] Роль Н. И. Козлова, профессора кафедры анатомии Киевского университета (1841—1853) в судьбе Лескова-литератора не ясна. В Петербурге с 1853 г. он стал вице-директором медицинского департамента Министерства внутренних дел, затем (1858—1862) занимал тот же пост в военном министерстве. Наиболее вероятна его помощь Лескову в петербургский период.

[34] Дата переселения Лескова в Петербург — конец января 1861 г. см.: *Лесков,* т. X, с. 8; Левандовський Л. І. Н. С. Лескові українська література. Київ, 1980, с. 32).

[35] См. «Детство» М. Горького, гл. XII.

[36] *Магазейны* (магазины) — склады. С. Д. Лесков находился в указанной должности «по распоряжению начальства» с 13 декабря 1822 г. 31 декабря 1824 г. он «произведен титулярным советником» (*Я. Г.* Материалы для биографии Н. С. Лескова. — *ОГВ.* Часть неофициальная. Ежедневное изд. 1900, № 95, 15 марта).

[37] Согласно «аттестата» С. Д. Лескова, из штата Казенной палаты («от короны») он «уволнен» 17 июня, а «определен в Кавказскую область» 13 июля 1825 года (там же).

[38] В уголовную палату С. Д. Лесков переходит 15 февраля 1833 г. (там же).

[39] О времени переезда в Панино Лесков в рассказе «Пугало» писал по-иному: «Тем же *летом* (курсив мой. — *А. Г.*) мы переехали <...> в очень уютный, по маленький деревенский дом» (*Лесков,* т. VIII, с. 6).

[40] С консервативным историком и публицистом П. К. Щебальским Лесков, по-видимому, был знаком еще с 1861 г., когда они печатались в *РР.* Наиболее теплые отношения писателя к Щебальскому падают на конец 60-х — начало 70-х годов, хотя и тогда Лесков резко сталкивался с публицистом во взглядах, что отразилось в письме Лескова от 4 января 1874 г. с возражением по поводу оценки Щебальским «Очарованного странника» (*Лесков,* т. X, с. 360). В двусторонней переписке постоянен диссонанс Лескова с катковскнм лагерем. По мере отхода от *РВ* Лесков все более охладевает к Щебальскому. 24 марта 1884 г. последний констатировал: «Соединявшие нас некогда связи как-то ослабели» (*ШГ,* с. 346).

[41] Вопрос о контактах С. Д. Лескова с литературно-общественными деятелями 20-х гг. XIX в. нуждается в доисследовании: подчас интерес Н. С. Лескова к тем или иным выдающимся

личностям из мира литературы и общественного движения имел истоком устные семейные предания. Но, судя по всему, в семье Лесковых проявлялся большой интерес к личностям Рылеева и Бестужева. Об этом свидетельствует серьезная осведомленность писателя о произведениях декабристской литературы, что нашло отклик в его творчестве: см., например, эпизод с провокацией полиции, подбрасывающей запретные «Думы» Рылеева в «Смехе и горе» (1871), или цитирование поэмы «Кулакиада» Рылеева в «Прибавлении к рассказу о кадетском монастыре» (1885). В библиотеке писателя имелась тщательно штудировавшаяся им книга «Сочинения и переписка К. Ф. Рылеева» (изд. 2-е, его дочери, под ред. П. А. Ефремова. СПб., 1874) (*ЛН,* т. 87, с. 138—140). Имена Рылеева и Бестужева, связываемые Лесковым в письме к Щебальскому (1871) с памятью об отце, фигурируют в «Кадетском монастыре» (1880). А. Лесков писал: «Каждый год 13 декабря вечером отец говорил мне: «Ложась спать, крестись сегодня о погибших 14 декабря». Имена Пестеля, Рылеева, Муравьева-Апостола я слышал в доме с детства. Я с ними сросся, как сросся со священным уважением к казненным борцам за свободу. Когда мне исполнилось 14 лет, отец дал мне прочесть записки декабриста Розена, а некоторые отдельные места сам читал мне» (*ВЛ,* 1920, № 4-5 (16—17), с. 11).

[42] *Никодим* (ум. в 1839) — глава Орловской епархии в 1828—1839 гг.

[43] Критикуя церковников. Лесков подчеркивал, что отторгшиеся в 70-е гг. XIX в. от официальной церкви мужики *«вовсе никогда к ней не принадлежали,* а только были к ной приписаны и были в оную загоняемы по радению помещика». В подтверждение писатель приводил свои воспоминания: «Я сам, будучи ребенком, не раз тайком бегивал на маслобойню нашего старосты Дементия смотреть, как там какой-то заезжий поп, раскинув свою «шатровую церковь», служил в ней обедню. К этому служению народ <...> собирался из всех окрестных деревушек и уже, конечно, без всякого зова или наряда, <...> а Дементий, который сам же *гонял* народ в церковь, сам и прятал у себя заезжего секретного попа, а в его отсутствие сам «попил» часы и заутреню» («Гражданин», 1875, № 3, 19 янв., с. 71, 72).

[44] Н. Г. Ададуров назван писателем в том же очерке «Дворянский бунт в Добрынском приходе» «знатоком народности» и «живым мастаком по этой части», рассказы которого «в деревенской скуке заменяли воскресные фельетоны» (*ИВ,* 1881, № 2, с. 366).

[45] В письме С. Д. Лескова говорится лишь о сыновьях. Всего же детей в семье было семеро. Следом за первенцем, Николаем,

шли: Наталья (7.VI.1836—28.III.1920), Алексей (9.VI.1837—8.XII.1909), Михаил (1.XI.1841—16.VIII.1889), Василий (1.VIII.1847—IX.1872), Ольга (14.VII.1846—13.XI.1893), Мария (1847 или 1848—1859 или 1861) (*ИРЛИ,* ф. 612, № 383, л. 2145).

[46] Центральный эпизод рассказа «Пигмей» — помощь, оказанная французу полицейским, распоряжавшимся исполнением публичных телесных наказаний, — по-видимому, не случайно отнесен к 1853 г. и изложен от лица состарившегося героя, мелкопоместного дворянина С***, доживающего век «в своем маленьком хуторочке в К. уезде» (*Лесков. ПСС,* т. II, с. 44).

[47] Написанная в хроникально-автобиографической манере, первая часть романа «Незаметный след» посвящена одному из незаметных праведников дворянского сословия, который в эпоху крепостничества, в «глухую пору» царствования Николая I, «стал на сторону угнетенных и бесправных крестьян» и испытал преследование от людей своей среды («Новь», 1884, № 2, с. 228). Справедливо мнение К. П. Богаевской, что «Незаметный след» должен был стать романом общественным» (*ЛН,* т. 87, с. 46).

[48] Слова бабушки рассказчика Петра Федоровича Лучинова о временах, исключавших даже дворянам брак вне воли родителей и опекунов (см.: *Тургенев,* т. 4, с. 92).

[49] Большой городской дом Страховых «У Плаутина колодца» в 112 квартале (под № 2) в 1850 г. значится как «место», т. е., возможно, сгорел в пожары 1842, 1843 или 1848 гг. (сообщено Р. М. Алексиной).

[50] В суждении Горького использованы мотивы более ранних статей о Лескове. Например, Р. Сементковский писал: «...Соединились четыре сословия, чтобы дать нам Лескова. Вместе с тем он с раннего детства находился под влиянием всех этих четырех сословий, а в лице дворовых людей и нянек еще под сильным влиянием пятого, крестьянского сословия: его няня была московская солдатка, нянькою его брата, рассказами которой он заслушивался, — крепостная» (Сементковский Р. Николай Семенович Лесков. Полн., собр. соч., 2-е изд., 1897, т. I, с. IX—X).

[51] Лесков имел в виду издание: Горе от ума. Комедия в четырех действиях в стихах А. С. Грибоедова. Редакция полного текста, примечания и объяснения составлены И. Д. Гарусовым. СПб., 1875. Гарусов квалифицировал свой труд как «первое полное издание». Н. К. Пиксановым установлено, что текст в этом издании откровенно «компилятивен», «подвергся тройной фальсификации» (см.: Грибоедов А. С. Полн. собр. соч., т. II, изд. разряда изящн. словестности имп. АН. СПб., 1913, с. 254, 256).

[52] Свою бабку Лесков называет «Акулиной» в записках «Из одного дорожного дневника» (*СПч.,* 1862, № 351, 29 дек.).

[53] В последнем случае имеется в виду ирония над «итальянским происхождением» московских дедов Лескова — Петра Сергеевича, Ивана Сергеевича и «ученого Василья Сергеевича», о которых «иногородние Алферьевы и слыхом не слыхали...» (*ИВ,* 1886, № 6, с. 602).

[54] Луциана Константинова (см. примеч. 12) Лесков подробно характеризует в рассказе «Несмертельный Голован»: «в Орле <...> служил совестным судьею мой дядя, который оставил по себе память честного человека. Он имел много прекрасных сторон, внушавших к нему почтение даже в тех людях, которые не разделяли его взглядов и симпатий <...> Дядя любил меня и знал, что я его люблю и уважаю, но во мнениях об эмансипации и других тогдашних вопросах мы с ним не сходились» (*Лесков,* т. VI, с. 389—390; см. также с. 391—392, 404).

[55] Пребывание С. П. Алферьева за границей относится к 1843—1845 гг. (здесь и далее основные данные к его биографии извлечены из кн.: *Иконников,* с. 17—19).

[56] С. П. Алферьев начал службу в Киевском университете ординарным профессором кафедры частной терапии (утвержден в должности в 1847 г.).

[57] Подразумевается фраза Хлестовой из «Горя от ума» (1824) А. С. Грибоедова: «Молчалин, вон чуланчик твой...» (дейст. IV явл. 8).

[58] В 1856 г. С. П. Алферьев находился в Южной армии, где помогал тифознобольным. Позднее он добился высочайшего разрешения выехать в Константинополь для исследования тифозной горячки. За участие в войне был награжден памятной светло-бронзовой медалью.

[59] С 1857-го по 1864 г. С. П. Алферьев был ординарным профессором по кафедре терапевтической клиники с семиотикой.

[60] В 1864 г. Алферьев был уволен от службы с пенсионом 1200 р. в год.

[61] Василий Логгинович Иванов скончался 4 января 1900 г.

[62] Цитируется «История об отцах и страдальцах соловецких», написанная в первой половине XVIII в. настоятелем Выговской старообрядческой пустыни Семеном Денисовым.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО ПИСАТЕЛЬСТВА

1831—1860

(Стр. 97—184)

[1] Из стихотворения Д. В. Веневитинова «Поэт и друг» (1827).

[2] Имеется также копия свидетельства о рождении в делах Орловской гимназии (*ГАОО,* ф. 64. он. 1, ед. хр. 1700, № 8371).

[3] В 1861 г. Лесков опубликовал под псевдонимом «В. Пересветов» статью «О замечательном, но неблаготворном направлении некоторых современных писателей» (*РР,* № 60, 27 июля).

[4] «Прочитал теперь Гелленбаха, который мне попался под руку перед выездом из Петербурга. <...> Пять лет тому назад он мне ничего не открывал, а теперь я извлек из него много отрады и утешения», — писал Лесков Л. Толстому 20 июня 1891 г. из Усть-Нарвы (*Лесков,* т. XI, с. 493). Книга Людвига фон Гелленбаха сохранилась в библиотеке писателя (см.: Афонин Л. Н. Книги из библиотеки Лескова в Государственном музее И. С. Тургенева. — *ЛН*, т. 87, с. 150—151).

[5] Из «Песни духов над водами» (1779) И.-В. Гете.

[6] Из ч. I «Фауста» (1808) И.-В. Гете (сцена «У ворот», пер. Н. А. Холодковского).

[7] Почти то же наблюдал в Воронеже николаевской поры ровесник Лескова, Н. Н. Ге: «...сижу с няней у окна, против дома площадь, на ней учат солдат. Солдаты в своих необычных платьях ходят не так, как все, ходят правильными квадратами, линиями, и вот вдруг выносят одного. Что с ним? Его страшно били и потом вынесли замертво» (Николай Николаевич Ге. Его жизнь, произведения и переписка. Сост. В. В. Стасов. М., 1904, с. 17).

[8] См. рассказ «Пугало» (*Лесков,* т. VIII, с. 6).

[9] С. П. Шестериковым набросок отнесен предположительно к 1884 г. (*ЛН,* т. 87, с. 61).

[10] Панинский родник находится в двух километрах от с. Гостомль Орловской обл.

[11] Писатель возражал против формулировавшегося И. С. Аксаковым на страницах газеты «День» ограничения «административных и законодательных прав» в христианской стране для иноверцев, «отрицающих христианское учение, христианский идеал и кодекс нравственности» (Аксаков И. С. Соч., т. III. М., 1886, с. 693, 690). Лесков, в отличие от Аксакова, стоял на позициях веротерпимости. Об этом свидетельствует рассказ «На краю света» (1875), где язычник-зырянин оказывается человеком, стихийно владеющим высшей нравственностью, которой не подозревает в нем церковник-миссионер. Дальнейшее воплощение эта тема получает в рассказах о «праведниках», в легендах Лескова 1880-х гг., где она органически сливается с мыслью об интуитивном братстве людей земли, искусственно отдаляемых друг от друга блюстителями чистоты религиозных вероучений, подобными сектанту-«младопитателю» из лесковского «Сказания о Федоре Христианине и о друге его Абраме жидовине» (1886). То же относится и к толкованию писателем национального вопроса в собственном смысле. Лесков выступает против шовинизма, каков бы

ни был его источник, решительно осуждая национальную буржуазию, насаждающую мораль «систематического противодействия идеям общего человеколюбия» («Книга кагала». — *НВ,* 1882, № 2186, 1(13) апр.). Пафос Лескова-интернационалиста и реализм его взгляда на живые проявления национальной психологии давали писателю внутреннюю свободу при освещении светлых и теневых сторон жизни больших и малых наций.

[12] Лесков впервые выступил с защитой равноправия наций в передовице *СПч* за 1862 г. (13 марта, № 70).

[13] *«Интролигатор»*— переплетчик (пол.). Лесков в Киеве овладел польским языком, полонизмы нередки в его сочинениях, письмах, устных рассказах.

[14] См. фельетон «Несколько слов о врачах рекрутских присутствий» (*СМ,* 1860, № 36, 15 сент.).

[15] Положительный герой рассказа — учитель, который «давал всем правильное наставление к жизни» (Лесков. Полн. собр. соч., т. XXX, с. 91), прямо воплощает мысль Лескова о вздорности религиозной и национальной вражды и оттого назван «Панфил» — «всеми любимый, всем милый» (Петровский Н. А. Словарь русских личных имен. М., 1966, с. 173).

[16] Лесков пишет в рассказе «Несмертельный Голован»: герой «так хорошо умел рассказывать сто четыре священные истории, что я их знал от него, никогда не уча их по книге» (*Лесков,* т. VI, с. 358). Из мемуаров А. М. Достоевского известно, что это была любимая книга детских лет и Ф. М. Достоевского (Ф. М. Достоевский в воспоминаниях современников, т. I. М., 1964, с. 74). Точное название книги приведено ниже на с. 110.

[17] *Андросов* упомянут в рассказах «Ум свое, а черт свое (Из гостомельских воспоминаний)» (*СПч.,* 1863, № 17, 18 янв.), «Несмертельный Голован», «Павлин».

[18] Автор книги — А. Некрасов (см.: Геннади Гр. Справочный словарь о русских писателях и ученых, умерших в XVIII и XIX столетиях, т. III (Н—Р). М., 1908, с. 25).

[19] Книги находятся ныне в Доме-музее Н. С. Лескова в Орле.

[20] В рецензии Лесков выдвигал перед составителями краеведческих очерков гражданские задачи: «...для характеристики способностей направления уроженцев какой бы то ни было <...> местности интересно и полезно указывать не одних тех, кто прославился до большой известности в литературе, на кафедре, на сцене или на боевом поле. Интересны <..> вообще выдающиеся умы и сильные, оригинальные характеры, — чего должно быть весьма урожайно в урожайной Орловской губернии».

[21] *Болотов А. Т.* «протежировал С. Д. Лескову» (*ИРЛИ,* ф. 612, № 383, л. 421).

[22] Будущий московский профессор А. И. Бабухин (род. в 1827) был соучеником Лескова, в частности, в 1843/44 учебном году (*ГАОО,* ф. 64, он. 2, арх. № 15 — д; № 3 0 . — А л е к с и н а Р. М. К биографии Лескова периода 1841—49 гг. Рукопись.)

[23] *«Строгановское» время* — 1835—1847 гг., когда попечителем Московского учебного округа был С. Г. Строганов.

[24] *Бернатович В. В.* преподавал математику в старших классах (Прибавление к *ОГВ,* 1844, № 36, 9 сент.).

[25] Под этой фамилией известен директор училищ Харьковского учебного округа, в подчинении которого находился в 1845—1850 гг. преподаватель Обоянского уездного училища П. И. Якушкин (установлено О. В. Анкудиновой).

[26] Сумму 600 р. уплачивали только за гимназистов-воспитанников благородного пансиона Орловской гимназии (*ОГВ,* 1840, 28 июня, № 26, с. 465). В 1839/40 учебном году, за два года до поступления Лескова в гимназию, их было 38 человек при 179 вольноприходящих (Прибавление к *ОГВ,* 1840, № 52, с. 523). Лесков принадлежал к последним. В рассказе «Пугало» мальчика, наделенного автобиографическими чертами Лескова, родители везут «в пансион» (*Лесков,* т. VIII, с. 51).

[27] Технический пропуск части текста в издании «Жизни Николая Лескова» 1954 г. и авторской рукописи устранен здесь по черновой копии свидетельства (*ГАОО,* ф. 64, он. 1, ед. хр. 1702, № 8371).

[28] С. Д. Лесков обратился в дирекцию гимназии с прошением об «увольнении» сына и о выдаче ему «свидетельства о его происхождении и аттестата о его успехах в науках по последнему экзамену» 20 мая 1846 г. (*ГАОО,* ф. 64, оп. 1, ед. хр. 1702, № 1286). Реальное «увольнение» состоялось лишь 20 августа, а 31 августа Н. С. Лесков поставил свою подпись, являющуюся первым из сохранившихся его автографов: «Подлинное свидетельство получил ученик Лесков» (т а м ж е, № 8371; см. также ед. хр. 32).

[29] А. Н. Зиновьева — племянница Масальского. А. С. Иванова — внучка. Анастасия Сергеевна Иванова, владевшая имением Масальского «по доверенности», жила вблизи Панина, в с. Зиновьеве (*ГАОО,* ф. 374, он. 3, ед. хр. 103; установлено Р. М. Алексиной).

[30] Из «Фауста» (ч. I, сц. IV) И.-В. Гете в переводе Н. А. Холодковского.

[31] Сведения о 22 душах крепостных при жизни С. Д. Лескова не подтверждаются формулярным списком Н. С. Лескова.

[32] Подробнее о гимназической учебе будущего писателя см. в статье: Горелов Ал. Из дописательской биографии Н. С. Лескова. — «Прометей», т. 13. М., 1983.

[33] О службе Лескова в Особом отделе Ученого комитета Министерства народного просвещения по рассмотрению книг, издаваемых для народного чтения, см. лесковское «Письмо в редакцию» (*Лесков,* т. X, с. 221, а также далее ч. IV, гл. 11; ч. V, гл. 1; ч. VI, гл. 2).

[34] *Н. И. Пилянкевич* (1810—1856) был европейски образованным адъюнкт-профессором кафедры энциклопедии законоведения Киевского университета в 1846—56 гг. Окончив университет в 1838 г., он удостоился золотой медали за сочинение «Об основаниях, приводимых в защиту и опровержение смертной казни». С 1843 г. для подготовки к профессуре по предмету юридической энциклопедии учился в Германии, Франции, Англии. Париж 1846 г. киевлянин воспринял как «всемирный центр, где слышнее всего пульс жизни человечества». По натуре это был человек независимого характера, «чуждого искательств и стеснительной уклончивости», обладавший исключительной добротой (*Иконников,* с. 551). В связи с гонением на философию в последнее десятилетие царствования Николая I Пилянкевич был лишен возможности напечатать свою диссертацию «История философии права» (опубликована посмертно в т. I «Киевских университетских известий» за 1870 г.).

[35] *И. М. Вигура* — адъюнкт по кафедре русских государственных законов Киевского университета 1850-х гг.

[36] Имени И. М. Сребницкого нет в списках учителей Орловской гимназии. Выпускник философского класса Орловской духовной семинарии, Сребницкий с 1835 г. служил в Орловской палате уголовного суда. В его послужном списке преподавание в гимназии не значится (указано Р. М. Алексиной). Однако дарственная надпись на фотографии Н. С. Лескова гласит: «Учителю моему Иллариону Матвеевичу Сребницкому. 12 авг. 66 г. СПб.» (*ИРЛИ*). Видимо, Сребницкому принадлежала незаурядная роль в духовном воздействии на молодых орловских чиновников конца 1840-х гг.

[37] Высказывание Лескова о влиянии на него Марковича относится к 1883 г., когда писатель порвал с церковной ортодоксией и жаждал нравственного обновления России в согласии с христианским вероучением в его демократических, простонародных толкованиях. Речь, видимо, шла не только о собственно-литературном, по и о более широком мировоззренческом влиянии. Встреча с Марковичем (он служил в Орле коллежским секретарем с 13 июня 1847-го по 26 июня 1851 г.) могла стимулировать ра-

боту мысли будущего писателя. После разгрома Кирилло-Мефодиевского общества Маркович не отрекся внутренне от убеждений, отраженных некогда программой организации: в позднейших его «Воспоминаниях о Петре Васильевиче Киреевском» выражена мысль о лучшем общественном устройстве славян по сравнению с Западом, а народная поэзия расценена как хранительница «религиозных преданий», которые, наряду с «общенародным ходом жизни», участвуют в строительстве всего, что «представляет утешительного» «гражданская жизнь Европы» (*РБ,* 1857, кн. VI, раздел «Биография», с. 17—23, 22). Эти взгляды Маркович высказывал, вспоминая об орловских встречах с Киреевским именно в 1847—1851 гг. Не оттого ли, что при доверительных беседах Марковича с молодым Лесковым шла речь и об общественных вопросах, писатель заявлял, что в Орле «очень хорошо» узнал и полюбил своего старшего друга, который привлекал сердца чутких к добру людей»?.. (см. далее ч. II, гл. 4). Нащупывая источники антицерковной религиозно-философской ориентации и социального просветительства Лескова уже с 1860-х годов, нельзя игнорировать роль А. В. Марковича, несмотря на бедность прямых данных. Последующие встречи Лескова с А. В. Марковичем, по-видимому, относятся ко времени, когда этнограф вернулся в Киев (с 29 марта 1853 г. он служил чиновником Киевской палаты государственных имуществ, с 30 сент. 1853 г. — стряпчим, а 19 авг. 1854 г. вышел в отставку). Он жил на Куреневке, где Лесков бывал у Журавского.

[38] Не приемля лесковскую художественную манеру, сложившуюся после «Соборян», В. Г. Авсеенко заявлял, что Лесков старался «смотреть на все в природе и жизни с точки зрения «Запечатленного ангела». Эту приверженность писателя Авсеенко связывал с обделенностью Лескова «школой», которую, де, не могло компенсировать знание старинной книжности «преимущественно церковного содержания». Вопреки очевидности он утверждал, будто бы Лесков «ничем и не интересовался ни в политике, ни в литературе» (*А. О.* Талант и образованность. — *НВ,* 1900, № 8701, 19 мая (1 июня).

[39] Автор статьи «Ибис» (В. В. Розанов), писал также, что Лескова «читал всегда с таким ощущением образовательной удовлетворенности, сытости — как бы автор этих повестей и рассказов именно прошел университет, даже определенный его факультет — филологический. Его очень легко можно было представить себе учеником, даже любимым учеником, Тихонравова, Буслаева, Ключевского, И. А. Попова. Он говорил о том, о чем мы, бывало, в аудиториях и на вечеринках говорили; говорил умнее нас, проникновеннее, дальше видя. <...> Лесков был огромный, ярко

типичный русский ум; в нем «тип», «русская натура» до того высоко поднялись, что очень и очень могли залить университетское образование, в том смысле, что этому последнему не было места, не было, так сказать, промежутков в природном таланте человека, через которые оно могло бы просунуться и заявить: «вот это из Моммзена», «это — оттого, что он изучал социологию» <...>. Лесков очевидно представляет случай, исключение, особенный пример. Он очень важен; он должен войти в изучение <...>».

[40] Орловские предания о Кудеяре записывал, в частности, П. И. Якушкин («Москвитянин», 1844, № 12; «Смесь», с. 25—41; Якушкин П. И. Соч. СПб., 1884, с. 291).

[41] Правителем канцелярии Орловского губернатора был Порохонцев (см. <Лесков Н. С.> А. В. Маркович. — *НБГ,* 1883, № 104, 16 авг.).

[42] «Дальше» имело силу до 1878 г.: Лесков (Стебницкий) Н. С. Железная воля. — «Кругозор» (1876, № 38—44 от 18—30 окт.); Лесков-Стебницкий Н. Явление духа. — «Кругозор», 1878, № 1 от 3 янв. (*ИРЛИ,* ф. 612, № 383, л. 3562). К числу псевдонимов Лескова следует отнести также «Н—в» (Рейфман П. С. Забытая статья о Т. Г. Шевченко. Труды по русской и славянской филологии. VI. Тарту, 1963, с. 351—366).

[43] Лесков откликнулся на следующий фрагмент публикации: Петров Н. Очерк из украинской литературы. V. Новейшая украинская литература. I. Марко-Вовчок (*ИВ,* 1883, № 7, с.74—90).

[44] Горе постигло А. В. Марковича в семейной жизни. М. А. Маркович с сыном покинула его. Студент Александр Вадимович Пассек в 1859 г. последовал с писательницей за границу. Карл Бенни в бытность его студентом Парижского университета увлекся Маркович и в 1862 г. вместе с ней приехал в Россию (*Лесков,* т. XI, с. 684). Предполагается, что Лесков тоже испытал увлечение М. А. Маркович (*Лесков,* т. X, с. 268—270 и с. 532).

[45] Анализ «психии» побуждал Лескова видеть даже в убийцах «людей, не умевших управлять своими страстями, — людей, сбитых с прямого пути и дошедших до нравственного бессилия». Поскольку для писателя заключенный — «человек, еще не потерявший способность любить, жалеть о прошедшем и желать вести иную жизнь в будущем», то наказание в его глазах — акт морального очищения. Он сожалеет, что в тюрьме «книг Нового Завета далеко меньше, чем молитвенников, а книг повествовательных» Лесков «совсем не видел». Писатель замечает: «...народ особенно охотно читает повести, рассказы, жития святых и даже биографию, вроде биографии Ломоносова, выдержки из летописей Новгорода и т. п.» и предлагает для нормального воздействия на

лиц, совершавших преступления, давать им «те книги, которые нравятся и из которых народ вычитывает примеры нравственной жизни <...> нужно стараться доставлять книги, способные очищать и умиротворять встревоженный дух <...>» («Страстная суббота в тюрьме». — *СПч,* 1862, № 101 и 104, 16 и 19 апр.).

[46] В этом споре слышится явный отголосок полемики вокруг «Грозы», в которой Н. Ф. Павлов с апломбом «болярина» (*Герцен,* т. XVI, с. 35) утверждал, что русское простонародье не дает почвы для высокой драмы: «Тут царство безразличия, физической боли, материальных побуждений и ничего более»; в отличие от Запада, здесь наблюдается то же, что «у турок, у арабов, в Китае, во всем Востоке» («Наше время», 1860, № 1, 17 января).

[47] В названной книге А. Д. Любавского «Русские уголовные процессы» (т. I—IV. СПб., 1866—1868), Лесков, в частности, находил то, что составляло «у нас свою национальную болезненную черту» («Наша провинциальная жизнь»). Однако писатель склонен был считать, что сборники Любавского имеют преимущественно коммерческое задание и составлены «без всяких задних мыслей», «по одному казуистическому интересу дел». Эти сборники Лесков в период своей острой «антинигилистической» полемики, противопоставлял изданию «Иллюстрированной библиотеки знаменитых процессов всех стран» (вып. I, СПб., 1868) — изданию, которое содержало «нигилистические намеки» и старалось «марать эту же свою кормилицу Россию в угоду каким-нибудь мальчишкам» (см.: *ЛБ,* 1868, № 2. Библиография, С. 20, 22).

[48] В данном случае Лесков выступал как знаток народного быта и эксперт-искусствовед. Он писал, что образок указывает имя «отца» или «воспреемника» погубленного ребенка: «Зная народные обычаи, всего легче предположить, что святой, изображенный на образке, тезоименит кому-нибудь из близких лиц ребенка» (Лесков Н. Об образке загубленного ребенка. — *ПГ,* 1885, № 57, 28 февр.). Преступница была найдена по иным приметам, но указания писателя были признаны «весьма полезными».

[49] С этого момента отчество Лескова пишется с сословным суффиксом «вич» (не «Семенов», но «Семенович»), жалованье ему удваивается: не 36, но 72 р. серебром (*ГАОО,* ф. 4, ед. хр. 2782, л. 46 об. — 47).

[50] Имеются в виду предания о чудаке и самодуре, князе Карле Станиславе Радзивилле (1734—1790), любившем обращение «пане Коханку».

[51] Д. Г. Бибиков до призвания его Николаем I на пост министра внутренних дел расценивал студенческие кутежи как средство отвлечения молодежи от серьезных умственных, в пер-

вую очередь — политических, интересов. «Кому, например, из студентов одного из наших южных университетов, — писал Лесков, — не известно, что главный начальник этого университета (лет 20 назад) любил повторять подчиненным ему юношам такую речь: «Кутите, развратничайте как хотите, и я все это вам прощаю; но историческою критикою у меня не сметь заниматься» (Вавилонская дочь, — *РМ,* 1872, № 24, 26 янв.). И в следующей статье: «В печати небезызвестна одна его речь, в которой он в качестве попечителя учебного округа сказал студентам приблизительно следующее: «Пейте, гуляйте и проч. — это все простительно; но политикой не смейте заниматься <...>» («Маленькие шалости крупного человека» (Два анекдота о Дмитрии Гавриловиче Бибикове). — *РМ,* 1877, № 4, 5(17) янв.). Герцен, воспроизводя ту же речь, добавил, что на это Николай I заметил: «Совершенно согласен» (*Герцен,* т. IV, с. 81, 480).

[52] *Липки* — улица, населенная титулованной и коммерческой знатью.

[53] Из письма Анны Васильевны Гоголь Г. П. Данилевскому известно, что Черныши были помещиками-соседями Гоголей-Яновских, жившими в 6 верстах от Яновщины в дер. Толстое Полтавской губ. (Гоголь в воспоминаниях современников. М., 1952, с. 462). Кого именно из Чернышей знал Н. С. Лесков, неизвестно: так, в рассказе «Путимец» (*Лесков,* т. XI) писатель передает анекдотическую «быль», слышанную от «малороссийского патриота» Черныша другом Лескова, художником И. В. Гудовским.

[54] О Касселе Лесков писал и в очерке «Маленькие шалости крупного человека» (*РМ,* 1877, № 4, 5(17) янв.).

[55] У художника И. В. Гудовского Шевченко останавливался во время своего приезда на Украину в 1859 г., о чем Лесков упоминает в статье «Нечто вроде комментарий к сказаниям г. Асконченского о Т. Г. Шевченке» (*РИ,* 1861, № 268, 2 дек.).

[56] Приобщение к живописи в одном из крупнейших художественных центров формировало эстетические вкусы Лескова как будущего художника национальной темы. О встречах времени его юности с киевскими «богомазами» см. в повести «Детские годы» (1875), в «Мелочах архиерейской жизни» (1878), где упомянуты наставники лаврской иконописной школы: иеромонах Иринарх, реставратор Пешехонов и руководитель работ по восстановлению древней стенописи Софийского собора академик Ф. Г. Солнцев. Труды последнего по запечатлению памятников русской старины «имели такое же громадное значение», каким было для исторической науки значение «Истории Государства Российского» Карамзина (Стасов В. Памяти Федора Григорь-

евича Солнцева (Речь, произнесенная в собрании Археологического института 12 марта 1892 г.). СПб., 1893, с. 9—10). Результатом общения Лескова со средой петербургских академических художников, его знакомства с эрмитажным собранием мирового искусства и столичными частными коллекциями явилось органическое включение темы искусства в прозу писателя (начало положили «Обойденные» (1865) и «Островитяне» (1866). Особенно дорожил Лесков самобытным русским искусством иконописи, что с наибольшей силой выразилось в «Запечатленном ангеле» (1873), но проходит через всю биографию писателя. Трактат-наставление к иконному писанию «Строгоновский подлинник» определенно влияет на лесковские сочинения 1870—1890 гг. Статья Лескова находится в общем ряду с посвященными народности русской школы выступлениями писателей и историков: П. И. Мельникова-Печерского, Г. Филимонова, С. В. Максимова, Н. Я. Аристова, И. Е. Забелина и других видных деятелей культуры. Полтора десятилетия Лесков общался со старообрядческим миниатюристом-иконописцем Н. Рачейсковым («О художном муже Никите и совоспитанных ему». —*НВ,* 1886, № 3889, 25 дек.), выполнявшим живописные заказы писателя (см. об этом далее — ч. IV, гл. XI; ч. VI, гл. III и примеч. к ней). Любовь к живописи и другим искусствам исподволь создает определенный ассоциативный фон лесковских произведений. В позднейшие годы Лесков особо ценил В. В. Верещагина, общался с Перовым, Репиным, Серовым, Шишкиным, Дубовским, Матэ, Е. Е. Волковым, Е. Бем. Теплота отношений писателя к Н. Н. Ге во многом объяснялась взаимной близостью их этико-философских исканий.

[57] Не прикрепляя хронологически киевские встречи молодых лет к каким-либо датам, Лесков вспоминал в «Печерских антиках» «студентов-медиков пятого курса, которым надо было ходить в клиники военного госпиталя» (они жили «за Печерским базаром» на Большой и Малой Шияновской улицах) (*Лесков,* т. VII, с. 160, 137). Там же упоминались цитированные А. Н. Лесковым (см. ч. II, гл. V) слова о «лицее» в «тихих куртинах верхнего сада», где шли беседы о Канте и Гегеле; а в рассказе «Овцебык» мелькает прозрачно названный «университетский город» (Киев), где герой узнал имена философа-богослова Штрауса, автора «Сущности христианства» Фейербаха, вульгарного материалиста Бюхнера и коммуниста-утописта Бабефа (см. выше ч. I, гл. III). Со студентами-медиками будущий писатель общался в Киеве особенно часто. Кроме того, в начале 50-х гг. Лесков входил в киевский религиозно-философский кружок молодежи. Члены кружка, а вместе с ними и Лесков, увлекались изданной в 1852 г. в Париже книгой Э. Ренана о средневековой арабской философии «Аверроэс

и аверроизм». Религиозно-нравственные искания, эклектичные философские штудии изначально «программировали» прихотливо-сложную эволюцию Лескова. Киевский «новозаветный» кружок, по-видимому, в 1853 г. завершил свое существование (Горелов А. А. Из дописательской биографии Н. С. Лескова. — «Прометей», т. 13. М., 1983, с. 156, 167).

[58] Основное содержание «Бибиковских каламбуров» (*ИРЛИ,* ф. 612, № 42; копия) вошло в «Печерские антики».

[59] Бракосочетание произошло 6 апреля 1853 г. (*Лесков,* т. XI, с. 801).

[60] *Скиавоне* — Андреа Мельдолла (Медулич), художник венецианской школы XVI и., далматинец по происхождению, прозванный «Скьявоне» («Славянин»). Лесков мог быть знаком по собранию Эрмитажа с его картиной «Юпитер и Ио» (см. далее ч. VI, гл. III).

[61] *Дормез* — спальная карета.

[62] См. ч. I, гл. 3 романа «Обойденные».

[63] Момент перемены отношения редакции «Русской речи» к Лескову отражен в письмах 1861 г. А. С. Суворина к М. Ф. Де-Пуле (*Ежегодник 1079,* ср. с. 128—134, 138 и 149, 160, 163, 181). Предположение, будто бы здесь сыграло роль исключительно «поправение» Лескова и, в частности, критика им направления «Современника», не убеждает: сотрудники «Русской речи» и в их числе Суворин, оказались втянуты в семейный лесковский конфликт; сыграла роль и финансовая задолженность Лескова московскому книготорговцу Глазунову в связи с неаккуратностью московской конторы *СПч* (см. письмо Лескова к С. В. Новосильцевой от 22 февр. 1864 г. — Гослитмузей, Н-в, 1028). Притом, сам же Суворин, как автор статьи «Нечто о лавочках журнала «Современник», отвергал «смехотворное направление» органа революционной демократии, и в первую очередь направленность «Полемических красот» Чернышевского (они появились в июньской книге журнала), не менее определенно (*РР,* 1861, № 54, 6 июля). Это согласовывалось с общей тенденцией «Русской речи».

[64] Статьи начальника кафедры военной статистики Академии Генерального штаба профессора Н. Н. Обручева «Изнанка Крымской войны» («Военный сборник», 1858, № 1, 2, 4) разоблачали неурядицы периода Крымской кампании в госпиталях и снабжении русской армии.

[65] Имеются в виду статьи «Параллели» агронома, писателя по вопросам сельского хозяйства И. У. Палимпсестова, проводившего аналогии между развитием быта и экономики в России и других странах. — «Русское слово», 1860, № 7, 8.

[66] Вспоминая впоследствии Восточную войну, Лесков как бы комментировал рассказ «Бесстыдник» (1877), поясняя, что критике его подвергаются не лица, но социальный механизм, превращающий человека в «крымского вора»: «Общественный быт в его отношениях к событиям «крымского погрома», по словам писателя, «до сих пор еще <...> наизнанку не вывернут. Оттого, вероятно, и держится <...> неосновательное мнение, что виною наших крымских несчастий были будто одни «крымские воры», а все общество, и особенно «благороднейшая его часть — дворянское сословие, обнаруживали высокий подъем духа, доходивший до самоотвержения. На самом деле <...> и «благородное дворянство» того времени не все проявляло тогда «высокий подъем патриотического духа», а, напротив, многие его представители совершали тогда очень злые деяния, кощунственно прикрываясь «подъемом духа». Эти деяния, нимало не уступающие самым дрянным делам заштемпелеванных «крымских воров», показывают непосредственную связь «воров» с тою общественною средою, <...> с которою они состояли в живом, кровном и духовном сродстве» (Лесков Н. <Рецензия>. Потревоженные тени С. Терпигорева (Атава), т. II. СПб., 1890. — *ИВ,* 1890, № 12, с. 818).

[67] В учебниках географии 1830—1850 гг. приведенная формула отсутствует. Возможно, что она идет из устных рассказов о «глухой поре».

[68] Из стихотворения в прозе И. С. Тургенева «Мы еще повоюем» (1882).

[69] *Федосеевцы* (федосиевцы) — течение в беспоповщинском расколе, основанное дьяконом Феодосием Васильевым (1661—1711). Социально оппозиционные черты секты — ненависть к крепостному праву, отказ от молитвы за царя, отвержение брака — в XIX в. постепенно сходили на нет.

[70] Цитата из рассказа «Железная воля» (1876) (*Лесков,* т. VI, с. 8).

[71] А. Я. Шкотт положительно оценивается в письмах и произведениях писателя. А. Н. Лесков предполагал, что в облике Стюарта Дена из рассказа «Язвительный» отразились черты А. Я. Шкотта. Умер А. Я. Шкотт в 1860-м или начале 1861 г. 60-ти — 62-лет (*ИРЛИ,* ф. 642, № 383, л. 4873, об.).

[72] «Второй сын» А. Я. Шкотта — Петр Александрович, «старший» — Яков Александрович.

[73] Литейный мост в Петербурге строился в 1874—1879 гг.

[74] В *ГПВ, БАН,* библиотеке *ИРЛИ* комплекты газет и журналов с публикациями текстов Н. С. Лескова, многие его книги и сочинения его современников имеют пометы-разъяснения и расшифровки А. Н. Лескова.

[75] «Высочайшим указом» от 13 марта 1861 г. Н. И. Пирогов был отрешен, «по расстроенному здоровью», от должности попечителя Киевского учебного округа. Как писал Герцен, «отставка Н. И. Пирогова — одно из мерзейших дел России дураков против Руси развивающейся» (*Герцен,* т. XV, с. 103). Проводы Пирогова в начале апреля 1861 г. сопровождались его чествованием. В *РР* (1861, № 32—33, 21 апр.) появились в связи с этим сразу два письма братьев Лесковых, журналиста и врача. Первое — из Петербурга, где представлял журнал Н. С. Лесков — без подписи, со ссылкой на авторство «нашего петербургского корреспондента» (с. 512); второе — из Киева, подписанное: «Алексей Лесков» (с. 513). Будущий писатель отмечал, что Пирогов «лечил не одни телесные раны людей; он врачевал и нравственные язвы общества; он неуклонно стремился воспитать в молодом поколении, вверенном его попечению, те человеческие стороны, которые составляют *гражданскую доблесть* по понятиям просвещенных людей XIX века. <...> Пирогов хотел создать из воспитанников людей». Пиетет в отношении к Пирогову проходит через всю. литературную деятельность П. Лескова.

[76] Будучи приглашен А. П. Вальтером в *СМ,* Лесков публикует 28 июля 1860 г. в № 29 «Заметку о зданиях», где, выходя за рамки медицинской трактовки вопросов (комментарий редакции отмечает «политико-экономическую точку зрения автора»), с болью гражданина пишет об архитектуре «городов нашего царства». В «Заметке» ощущается влияние изданного в Лондоне Герценом (1858) «Путешествия из Петербурга в Москву» А. Н. Радищева. В № 32 от 18 августа Лесков статьей «О рабочем классе» (она имеет тот же эпиграф из «Тилемахиады», что «Путешествие») говорит о незнании медиками «гигиенических» (на деле — социально-гигиенических) условий жизни городских рабочих и требует от врачей преодолеть «литературную бездеятельность <...> в деле разоблачения общественных язв». (На статью «Заметка о зданиях» был помещен отклик «Кое-что о тюрьмах» (см., 1860, № 40 и 41 от 15 и 20 окт.) А. С. Лескова, рисовавший ужас тюремного быта, перед которым были бессильны филантропические комитеты. Николай Лесков явно выражал взгляды прогрессивного университетского кружка. Фельетон-статья «Несколько слов о врачах рекрутских присутствий» (*СМ,* 1860, № 36, 15 сент.), подписанный лесковским псевдонимом «Фрейшиц» (вольный стрелок), обличал «самую черную, самую грязную и постыдную, вопиющую» мзду — взятку врачей рекрутских присутствий. Эту тему продолжила статья Лескова «Несколько слов о полицейских врачах в России» (*СМ,* 1860, № 39, 6 окт.), где делался вывод: «...ме-

дицинское управление наше настоятельно требует реформы» (см. ниже коммент. к ч. III, гл. 1, с. 446, сноска 3).

[77] Причины увольнения Лескова раскрыты А. И. Левандовским («Н. С. Лесков в Киеве. (Новые материалы)». — *РЛ*, 1963, № 3). Статья «Несколько слов о полицейских врачах в России» вызвала гнев в столице, откуда последовало пришедшее в Киев 1 ноября 1860 г. приказание Министерства внутренних дел губернскому начальству добиться от Лескова и Вальтера, дабы они назвали взяточников поименно либо признались в клевете. Объяснительной запиской автор статьи отклонял это требование: «Общество еще до меня клеймило их (взяточников. — *А. Г.*) в литературных трудах Гоголя, Селиванова (теперешнего председателя уголовной палаты), Щедрина (г. Салтыкова, теперешнего губернатора)...» Одновременно Лесков, только что ставший судебным следователем по криминальным делам, расследовал дело о ночном грабеже, учиненном полицией. Попытка властей замять разбирательство постыдного преступления встречает отпор Лескова. Тогда Лескова с помощью лжесвидетеля пытаются «уличить» в попытке вымогательства взятки от подследственного и 2 ноября отстраняют от ведения следствия. Лесков в очередной записке генерал-губернатору пишет 18 ноября 1860 г., что «разоблаченная» им «корпорация полицейских чиновников» пытается «деморализовать человека, дерзавшего приподнять грязное покрывало неблаговидных <...> начал». 29 ноября генерал-губернатор Васильчиков, убедившийся в невозможности наказать Лескова за очевидным отсутствием улик, удовлетворяет просьбу Лескова об увольнении его от службы. А. Н. Лесков не знал этих фактов.

[78] Лесков вновь пытается устроиться на частную службу: он зачислен в декабре 1860 г. в фирму Биккенса, занимавшуюся удобрением земель на Украине, и значится ее представителем в Киевской, Волынской и Подольской губерниях. Служба была оставлена в двадцатых числах января 1861 г. (Левандовський А. I. Н. С. Лескові українська література. КиЇв, 1980, с. 31—32).

[79] А. Н. Лесков пользуется выражением отца из письма к А. С Суворину (*Лесков,* т. XI, с. 388).

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

ПИСАТЕЛЬСТВО

1860—1864

(Стр. 185—274)

[1] Первый эпиграф — из очерка М. Е. Салтыкова-Щедрина «Скрежет зубовный» (*С,* 1860, № 1). Второй — из сочинения Л. В. Тенгоборского «О производительных силах России»

(т. I—III, М.—СПб., 1854—1858). В «Корреспонденции» — первой заметке, подписанной именем «Николай Лесков» (*СПбВ,* 1860, № 135, 21 июня), автор писал, что купил эту книгу у «одного достойного всякого уважения, воронежского книгопродавца, Ивана Савича Никитина». Последним сообщением устанавливается факт прямого знакомства Лескова и Никитина.

[2] Статья была перепечатана в журнале «Книжный вестник» (1860, № 11—12, с. 105—107) с комментарием редакции под заглавием «Нечто о продаже Евангелия, киевском книгопродавце Литове и других». В 1863 г. С. И. Литов был уже и издателем, и имел магазин в Петербурге «на углу Невского и Малой Садовой». О других спекуляциях Литова («Кобзарем» Шевченко) писала впоследствии «Искра» (1867, № 47, 10 дек., с. 583—584).

[3] Об остроте первых лесковских статей свидетельствует не только «глас» Министерства внутренних дел, но и дискуссия на страницах *СМ.* В № 46 и 47 от 24 ноября и 1 декабря 1860 г. появилась полемическая заметка Ф. Б. «Несколько мыслей против «нескольких слов» г. Фрейшица «О полицейских врачах в России» с попыткой защитить честь мундира. На это последовал ответ «Полицейские врачи в России (статья Н. Лескова по поводу статьи Ф. Б.)» в № 48 от 8 декабря, где автор писал: «...всякое дальнейшее словопрение с г. Ф. Б. становится несносным и бесплодным гортанобесием»; «систематические взятки, вошедшие в обычай и тщательно скрываемые от власти, не доказываются и не опровергаются юридически, они доказываются общественным мнением и разумным вникновением в дело; иначе вся обличительная литература обратилась бы в прокурорское бюро ассизного суда»; «...г. Ф. Б., не считайте нас совсем профанами, и мы <...>, говоря словами Гоголя, знаем, «как что делается в благоустроенных государствах» (Смотри комедию «Ревизор», Сквозник-Дмухановский)». Лесков парировал один из упреков ему в подражании «Искре» словами: ««Искра» мы, так и «Искра», — лишь бы не «Домашняя беседа» <...> сей орган замогильной гласности, изгари и прочих чудес мракобесия» («Последнее слово г. д-ру Аскоченскому». — *РО ГБЛ,* ф. 218, к. 72., ед. хр. 16).

[4] Абонемент открылся в магазине купца В. Г. Барщевского (*УЭ,* № 193. Указатель политико-экономический, 1860, вып. 37, 10/22 сент.).

[5] Желая «всякого успеха благому делу профессора Вальтера», Лесков писал: «Имя его не забудут люди, которым он поможет сбросить с себя тяжкие путы предрассудков» (*УЭ,* № 194. Указатель политико-экономический, 1860, вып. 38, 17/29 сент.).

[6] Статья, в которой прозвучал один из драматичных, очень личных мотивов ранней публицистики Лескова, характеризующий

его состояние после краха фирмы Шкотта, — безуспешное «искание мест» людьми «страдальческой корпорации» — образованным, но бедным дворянством: уволенными чиновниками, безместными кандидатами университетов, идущими в грузчики. Наибольшей болью прорвался голос писателя в объявлении, опубликованном в ноябре 1860 г. среди журнальных «Извещений»: «Русский человек, не лишенный некоторого образования научного и практически приспособленный к торговому делу, знающий близко жизнь и потребности разных мест России от Саратова до Житомира и от С.-Петербурга до Одессы <...> предлагает кому угодно из торговых обществ или частных лиц избавить его от голодной смерти, купив его труд за такое вознаграждение, какого он окажется достойным...» (*УЭ,* № 203. Указатель политико-экономический, 1860, вып. 47, 19 ноября/1 дек.). (Об авторстве Н. С. Лескова см.: Громов В. Глубинные связи. — *ОП,* 1980, № 229, 4 окт.).

[7] *Нотович* Осип Константинович — редактор газеты «Новости», журналист и драматург. *Худеков* Сергей Николаевич — редактор-издатель *ПГ.* Лесков активно сотрудничал в названных органах печати с конца 1870-х гг.

[8] См.: *Толстой,* т. 60, с. 170.

[9] И. В. Вернадский преподавал на кафедре политической экономии Киевского университета в 1846—1849 гг. В 1857—1861 гг. издавал *УЭ,* руководил политико-экономическим комитетом Географического общества. Лесков упоминает Вернадского как знакомое по Киеву лицо еще 10 декабря 1859 г. (*Лесков,* т. X, с. 249).

[10] О контактах между И. В. Вернадским и Евгенией Тур свидетельствует анонс об издании новой газеты «Русская речь» («Обозрение литературы, истории, искусства и общественной жизни на Западе и в России»), опубликованный за подписью ее редактора — Е. Тур в *УЭ,* № 204. Указатель политико-экономический, 1860, вып. 48 от 26 ноября/8 док.).

[11] А. Н. Лесков ошибся: жена И. В. Вернадского, первая и единственная в то время русская писательница по вопросам политической экономии, Марья Николаевна Вернадская, скончалась 28-ми лет в Гейдельберге 12 октября 1860 г. (см. некролог ее в *УЭ,* № 200. Указатель политико-экономический, 1860, № 44, 29 окт./10 ноября).

[12] А. И. Ничипоренко — чиновник, журналист, был репетитором сына И. В. Вернадского. Весной 1861 г. состоял в переписке с Герценом, а в 1862 г. ездил к нему в Лондон. Входил в общество «Земля и Воля» (с конца 1861 г.). Во время общего квартирования с Ничипоренко у Вернадского Лесков и издатель *УЭ* «иногда позволяли себе слегка воздерживать» репетитора «от увлече-

ний революциею да *предсказывали* ему его печальную судьбу» (*Лесков,* т. III, с. 343). Слухи об откровенных следственных показаниях Ничипоренко, в которых Лесков упоминался как лицо, имевшее «вредное влияние на <...> понятия» Ничипоренко (там же), стали причиной памфлетно-неприязненного, часто карикатурного изображения Лесковым Ничипоренко в повести «Загадочный человек» (1870). Ничипоренко же явился прототипом Пархоменко из романа «Некуда» (1864).

[13] *Усов* П. С. — в 1860—1865 гг. редактор *СПч,* систематически выступавшей против революционной линии в общественном движении. Распоряжением министра народного просвещения 13 августа 1862 г. редакторам наиболее верных правительству органов печати, и в том числе П. С. Усову, было дозволено получать иностранную и издающуюся за границей русскую печать без цензуры, дабы «опровергать те учения, которые они признают ложными, и которые, проникая тайными путями в Россию и оставаясь без возражений, имеют влияние на людей молодых и недоучившихся» (Герасимова Ю. И. Из истории русской печати в период революционной ситуации конца 1850-х — начала 1860-х гг. М., 1974, с. 168, 170). Лесков начал сотрудничество в газете Усова 9 июня 1861 г. (в № 128) «Письмо в редакцию *СПч»,* а в 1862 г. вел передовой отдел (до отъезда к матери 7 июня), затем выступления его в газете становятся эпизодическими и прекращаются в июле 1863 г.

[14] *Дудышкин* С. С. — в 1860—1866 гг. был одним из редакторов-издателей *ОЗ,* где заведовал критическим отделом. Журнал в тот период выступал за реформистский прогресс. Лесков печатался в *ОЗ* в 1861—1867 *гг.,* до перехода журнала в руки Н. А. Некрасова.

[15] О *«беспардонных приговорах»* Н. С. Лескова «Современник» писал в апреле 1862 г., имея в виду выступления именно в *СПч.* Ссылка А. Лескова на статью «О замечательном, но неблаготворном направлении некоторых современных писателей» возвращает к истории лесковской полемики с революционными журналами, вполне развернувшейся лишь в 1862 г. В *РР* Лесков, подогреваемый редакцией (А. Суворин писал М. Де-Пуле об этой статье 6 июля 1861 г. как о выступлении, которое «дельнее и лучше» его собственной критики. — «Нечто о лавочках журнала «Современник». *Ежегодник 1979,* с. 128—129), втягивается в затяжной спор о путях социального развития России. Лесков считает бесперспективной революцию, ссылается на исторические аналогии: «Мы твердо верим, что недалеко то благословенное время, когда читающая Русь <...> выучит историю других народов». Он находит, что у них «известные *формы гражданской жизни* (курсив мой. —

А. Г.) выработаны сознательнее, чем у нас — славян». Ища образцы «служить <...> нуждам и страданиям» народа, Лесков уравнивает великосветскую филантропию и практику социалистов-утопистов. По существу же он ратовал лишь за «профилактические» меры. Остро сатирически откликнулся на статью «О замечательном, но не благотворном направлении...» Дм. Минаев («Дневник темного человека». — *РС,* 1861, № 8).

[16] Лесков в начале 1860-х гг. резко отзывается об издателе обскурантской «Домашней беседы» В. И. Аскоченском. Блестящий памфлет молодого публициста «Нечто вроде комментарий к сказаниям г. Аскоченского о Т. Г. Шевченко» (*РИ,* 1861, № 268, 2 дек.) решительно отводит «претензии людей того закала, к которому принадлежит г. Аскоченский», на «интимную замашку» в рассказе о поэте и тем более на симпатии самого Шевченко к мемуаристу. Лесков обнажает доносительски-полицейский интерес Аскоченского к поэту в Киеве 1840-х гг. (*Лесков,* т. VII, с. 177, 217—219).

[17] «Невинные концерты на довольно плохом красноречии» — формула, возникшая применительно к деятельности политико-экономического комитета, сопровождает у Лескова упоминания имени И. В. Вернадского вплоть до конца 60-х гг. (Столярова И. В. Н. С. Лесков в «Биржевых ведомостях» и «Вечерней газете» (1869—1871 гг.) — Ученые записки ЛГУ. Л., 1960, № 295, с. 99).

[18] Лесков не знал, что противники обновления России, в том числе кандидат на пост министра внутренних дел (а затем полномочный министр), расценили как «симптом <...> дезорганизации» политической системы именно проблески демократизма в деятельности пореформенных общественных институтов. Поэтому, с одной стороны, о прениях в комитете распространялось мнение как о суемудрии «самого жалкого свойства», а с другой стороны, с тревогой констатировалось, что «лица, имеющие официальное значение», в комитете «играют <...> роль, вовсе не соответствующую этому значению». «Сферы» принимали меры к прямой компрометации практических усилий комитета, вплоть до его закрытия (Дневник П. А. Валуева, министра внутренних дел, т. 1, 1861—1864 гг. М., 1961, с. 70, 71, 82, 96, 368).

[19] *«Пятиалтынным Третьим»* Салтыков называл Суворина в письме к нему от 18 марта 1876 г. («Пятиалтынный первый» — А. А. Краевский, «второй» — М. М. Стасюлевич). — *Салтыков-Щедрин,* т. 18, кн. II, с. 271, 275).

[20] Во «Времени» бр. Достоевских Лесковым были опубликованы 2 статьи: «О русском расселении и о политико-экономическом комитете» (1861, № 12, с. 72—86) и «Вопрос о народном здоровье и интересы врачебного сословия в России» (1862, № 2, с. 94—107).

Поборник «всякого свободного проявления народного желания», Лесков ратовал за свободу переселения масс, за развитие института народных ходоков, за материальную помощь переселенцам со стороны правительства, за право переселения не только для крестьян, но и разночинцев, лиц, подвергнутых судебному преследованию, безработных городских пролетариев. Не без горечи социального романтика Лесков пишет о не состоявшейся по отсутствию средств попытке создать в имении Пирогова «новый Ленарк», где бы люди могли, «убрав мешок кукуруз», сесть за чтение Милля и Тьера и Роберта Оуэна. В статье «Вопрос о народном здоровье» Лесков предлагал избрание врачей городскими и сельскими общинами, то есть «народом, с понятиями которого <...> сроднился аграрный коммунизм». Пафос выступления «доктора Лескова» был поддержан в откликах врачей (*РО ГБЛ,* Дост. I, он. 3, ед. хр. 22).

[21] Перепечатка корреспонденций о спекуляции Евангелием (1860 г.) и рецензия «О привилегиях» (1861, № 22, 1 дек.) исчерпали сотрудничество Лескова в «Книжном вестнике».

[22] В «Веке» Лесков выступал с рассказом «Погасшее дело» (1862, № 12, 25 марта) и статьей «О переселенных крестьянах» (1862, № 13—14, 1 апреля). Журнал, рекламированный «Современником» (1862, № 2, отдел «Современное обозрение», с. 314) как предполагаемое «полезнейшее из <...> дешевых изданий» адресовался массовой, народной аудитории. Артель-ассоциация, издававшая журнал, состояла преимущественно из деятелей левого крыла литературного движения. Позднее некоторых из них (Елисеева, Шелгунова) писатель отнесет к числу людей «лучших умов и понятий» (*Лесков,* т. XI, с. 477). Выясняя в статье «О переселенных крестьянах», в частности, противоречия «Положения» 19 февраля 1861 г., Лесков ставил во главу угла «права и нужды» крестьян.

[23] Журнал «Экономист», систематически печатавший протоколы собраний РГО, фиксирует, что 18 февраля, 11 и 22 марта, 1 и 8 апреля 1861 г. Лесков присутствовал в обществе в качестве гостя. 22 февраля 1862 г. он уже — член общества.

[24] В. П. Безобразов в 1862 году был секретарем РГО. Как видно из приводимой далее ссылки на «Дело...», разрешение участвовать в экспедиции получил один В. П. Безобразов. Вскоре Лесков с иронией писал об этом: «Общество, пользующееся талантливыми трудами даровитых рассказчиков, глубоко зачерпывающих народную жизнь и осмысленно ставящих народные нужды, средства и стремления, вряд ли будет читать г. Безобразова» (Ученые общества. — *БДЧ,* 1863, № 5, раздел «Хроника России», с. 75—78).

[25] Автор цитируемой далее статьи — Г. З. Елисеев.

[26] «Письма о расколе» П. И. Мельникова-Печорского печатались в № 5, 7, 9, 10, 14, 15 *СПч* за 1862 г. Когда «Современник» утверждал, что от Мельникова после статей о расколе «ждать нечего», под этим подразумевалось обсуждение вопроса о раскольниках, как возможных союзниках революционеров-демократов в освободительном движении начала 60-х гг. Мельников (а вслед за ним и Лесков) отрицал возможность использования раскола в борьбе за социальное обновление России.

[27] Передовицы Лескова в *СПч* 1862 года глубоко противоречивы. Они погружали читателя в социальные конфликты повседневности, были проникнуты сочувствием положению народа. Но по мере того, как в борьбе идей революционная демократия одерживала победы, Лесков все активнее атакует «один *веселый* русский журнал» <«Современник»>. Он оспаривает мнение Антоновича о возможности революции, доказывая неспособность почвы к «питанию иноземного растения», надеется, что «народ год от года будет счастливее» (№ 60, 3 марта). Отвергая доводы Писарева («Схоластика XIX века») «о бесполезности некоторых наук», Лесков скорбит «о недостатке в нашем обществе знакомства с историею человечества» (в частности, истории Франции), которая объясняет, «на каком свертке коня лишишься и на каком сам пропадешь». Напротив, при рассмотрении событий греческой революции делается заключение: «...революция, вытекающая не из честолюбия <...> претендентов престола <...>, заслуживает серьезного внимания и изучения» (№ 60, 3 марта). Относя к «партии «Современника» «все недоученное и самонадеянное» в русском обществе, Лесков предлагает «поискать возможности видеть больше гармонию в существующем порядке вещей» (№ 76, 19 марта). Возражая Герцену, назвавшему *СПч* «официозной пчелой», Лесков формулирует свой лозунг: «des reformes toujoures, des utopies jamais» (за реформы — всегда, за утопии — никогда) (№ 80, 23 марта). Полемизируя с «великанами микроскопического мирка», Лесков относил Антоновича и Писарева к несамостоятельным последователям Чернышевского, аттестуя их с вопиющей грубостью. Передовица в № 84 (от 28 марта) почти целиком посвящена Чернышевскому. Лесков говорит о нем как о «человеке с дарованиями, утрата которых была бы очень осязательна для русской журналистики». Пусть он «во многом ошибается, но <...> и много знает и еще больше может знать, желает знать и будет знать». Лесков приветствует появление рецензии Чернышевского на роспись государственных расходов и доходов России: «Мы ничего не можем прибавить к сказанному г. Чернышевским и совершенно во всем разделяем его мнение». В за-

ключение «в интересах русского общества, которое должно же быть близко» «Современнику», Лесков желает «талантливой редакции», дабы она «взглянула в русскую жизнь и позаботилась внести в нее то, в чем эта жизнь *сегодня* нуждается и что она *сегодня* способна принять и вырастить». После этой статьи появилась апрельская книжка «Современника» с известным призывом к Лескову пересмотреть свои позиции.

[28] «Перевернуть коренные убеждения» Лескова действительно было уже невозможно. В очерках «Русское общество в Париже» Лесков назовет Герцена «рабом своих величайших заблуждений», отдавая должное его «недюжинному уму», «замечательному остроумию», «начитанности» и ревниво отмечая в нем «даже некоторое философское образование». Одновременно он оценит его «великодушие» и талант писателя. Лесков напишет в очерках о своем намерении посетить Герцена во время поездки в Европу в 1862—1863 годах, дабы разъяснить лондонскому публицисту «настоящее состояние солидных умов в России и взгляды общества на ничтожных людей, которые <...> втерлись в его доверие». Однако впоследствии его охладили рассказы о Герцене лиц из окружения Каткова, к которым в то время Лесков питал доверие (см. далее ч. III, гл. VI, а также *Сб. 1873,* с. 449—452, 483—485, 509—521).

[29] Этот иронический оттенок показателен. Сам Лесков не отождествлял мнений «кружков», в которые входил, с мнениями собственными.

[30] При оценке ответа Лескова «Современнику» и последовавшей затем передовицы о петербургских пожарах, не учитывается передовая статья *СПч* (1862, № 134, 20 мая) — развернутое и весьма противоречивое политическое выступление Лескова против революционной демократии в самый острый период разногласий. Публицист дает свое субъективное определение «истинного либерала» как человека, не являющегося «врагом существующего порядка», стоящего «за законную независимость каждого гражданина и за свободу каждого действия, не нарушающего блага и спокойствия общественного», выступающего против «подчинения свободы личной деспотизму утопической теории». Обращает на себя внимание «обмолвка» Лескова: «Обстоятельства позволяют говорить нам откровенно». По-видимому, этими «обстоятельствами» была ситуация, связанная с появлением воззвания «Молодая Россия». Лесков прямо обращается к волнующейся молодежи с надеждой «образумить» ее: «Но что пользы <...> во многих *опасных* занятиях? Что от них выигрывает или может выиграть общество? <...> Мы знаем, что дело, безопасное сегодня, может завтра быть очень опасным <...>. Но при каких бы обстоятель-

ствах ни пришлось нам делать свое дело, мы будем делать его в *духе своих убеждений...»* Лесков обращается и к своим литературным соперникам, бесспорно, овладевшим общественным мнением, — и в этой заключительной части статьи он явно противоречит тому, что утверждал в начале: «Нам довелось слышать несколько замечаний, что мы нападаем на один журнал в то время, когда ему и без того не здоровится <...>. У нас есть один журнал, с стремлениями которого мы положительно несогласны <...> «Современник». Мы уважаем талантливых сотрудников этого издания, но не разделяем их убеждений. <...> Ведь «Современник» и *вся большая половина литературы, которая идет под его знаменем* (курсив мой. — *А. Г.*), не согласны же с нашими убеждениями <...>». Лесков с явной симпатией и неподдельной тревогой продолжает: «Мы чтим в коноводах наших литературных противников их искренность <...>. Мы готовы верить, что во главе несогласного с нами литературного кружка стоят люди, убежденные в правоте своего учения <...>». Лесков-практик, не верящий в поддержку революционного порыва молодежи народом, убежден, что «энтузиасты» идут с завязанными глазами к пропасти, не замечая, что «они *одни* идут к ней, а ближние и искренние стоят одалече <...>». Обращаясь к подразумеваемым Герцену и Чернышевскому с «мольбой» о «спасении <...> энтузиастов», Лесков вместе с тем воссылает в высокие сферы призыв воздержаться от суровых мер в отношении «журналистов»: «Мы <...> просим наше правительство: человеколюбиво взглянуть на порывы, увлечения энтузиастов и не надевать на шалунов венца мученического, способствующего новым увлечениям <...>». Лесков выражал надежды на то, что люди разных партий, направлений получат возможность «выговориться». Заключалась статья призывом *«спорить о том, что не бесспорно»,* жертвуя личным самолюбием во имя «польз русского общества», ибо (цитировалось выражение «Современника». — *А. Г.*) «у нас в литературе все хотят счастья русскому народу».

[31] По преданию, иудей Савл, жестоко, преследовавший первых христиан после гласа-откровения Иисуса, принял имя Павла и стал ревностным проповедником христианства. Употребляя этот образ, А. Лесков неточен: «трудный рост» Н. С. Лескова не означал перехода на абсолютно новые позиции.

[32] Говоря о Якушкине, Лесков отметит у него «порывы смелого и самоотверженного великодушия» и в качестве примера вспомнит молву о том, как писатель-фольклорист якобы «спас девушку, бросившую <...> букет» «к позорному столбу Н. Г. Чернышевского» (*Лесков,* т. XI, с. 83). В неопубликованной заметке «Философическое сценарио по роману «Что делать?» (1928 г.)

А. Н. Лесков замечал о позднейшем отношении писателя к Александру II, свидетелем которого он был: «Лично на моей памяти» отец «всегда относился к Чернышевскому доброжелательно <...>, с полным признанием огромности его ума, дарования, значения. <...> Он с содроганием говорил о чудовищной мстительности и жестокости к Чернышевскому Александра II, этого <...> бешеного барана с бессмысленными, оловянными на выкате глазами, гневно обрывавшего всех, пытавшихся склонить его сколько-нибудь, смягчить участь замученного писателя. Не удалось этого ни товарищу детских игр царя — поэту графу Алексею Константиновичу Толстому, ни в годы «диктатуры сердца» самому всесильному графу Лорис-Меликову» (*ОГМТ,* кн. 9808, рук. IX, 6345).

[33] Г. З. Елисеев, обращавшийся к Лескову со страниц «Современника», не вполне представлял себе общественные взгляды молодого литератора. Желание Лескова все узнать самому заставляло его появляться в Шахматном клубе, где сходились литераторы для обсуждения текущих русских проблем и где особенно сильна была прогрессивная фракция; участвовать в еженедельнике «Век», перешедшем в руки артели демократических писателей, сблизиться с прибывшим от Герцена журналистом Артуром Бенни, мечтавшим принять участие в российской революции, посещать организованную тем же Бенни в доме Н. И. Греча молодежную «коммуну». Лесков воистину желал прогресса, но отнюдь не революционного, который был дорог «Современнику».

[34] *Прокламации* — имеется в виду воззвание, выпущенное организацией «Молодая Россия», которым провозглашалось: «Скоро, скоро наступит день, когда мы распустим великое знамя будущего, знамя красное и с громким криком: да здравствует социальная и демократическая республика Русская, — двинемся на Зимний дворец истребить живущих там». (Политические процессы 60-х гг. (ч. I. Под ред. Б. П. Козьмина. М.—П., 1923, с. 269.) Очень важна для «хронометрирования» настроений Лескова эта дата — 13 мая, через неделю после которой появилась передовая в *СПч* от 20 мая (см. коммент. 30).

[35] Опираясь на свидетельства современников, В. И. Ленин писал: «<...> есть очень веское основание думать, что *слухи о студентах-поджигателях распускала полиция.* Гнуснейшее эксплуатирование народной темноты для клеветы на революционеров и протестантов было <...> в ходу и в самый разгар «эпохи великих реформ» (Ленин В. И. Полное собрание сочинений, т. 5, с. 29).

[36] *СПч* уже в № 138 от 24 мая 1862 г. перепечатала из *РИ* две заметки о петербургских пожарах: «Пожар на Охте», «Пожар в Ямской», затем — еще одну в № 140 от 26 мая «Пожары 25-го

мая в С.-Петербурге». 25 мая в № 139 письмом Н. Серно-Соловьевича «По поводу пожара» издателю «Северной пчелы» сообщалось, что «страшные пожары 21-го, 22-го и 23-го мая опустошили части города, населенные по преимуществу рабочими и людьми недостаточными, и лишили сотни семей достояния и крова». Завершалось письмо призывом к «городскому начальству» поспешить «на помощь пострадавшим»; в нем выдвигалось требование, «чтобы полиция приняла энергичные меры против поджогов». Таким образом «пожарная статья» Лескова и содержащаяся в ней критика инертности полиции явились продолжением предшествующих выступлений газеты. Помещенная в том же номере газеты непосредственно вслед за «пожарной» статьей полемическая реплика Лескова против статьи Чернышевского «Научились ли?» (*С,* 1862, № 4) не только осудительно, но и увещевательно говорила о «молодых людях»: «...нам жаль этих молодых энтузиастов, мы не хотим видеть их *бесполезными* жертвами своих увлечений <...>. Поэтому мы советуем *учиться*». С общим предостерегающим тоном согласовалось и обращение к Чернышевскому: «...пусть никто не думает, что мы против *студентов* (курсив мой. — *А. Г.*), как это старался истолковать г. Чернышевский. Мы <...>, кажется, доказали, что на это дело смотрим точно так же, как смотрит г. Чернышевский и все благомыслящее русское общество...» Лесков вновь заявлял о неприязни к ретроградам и об опасении за «молодых людей». По-видимому, чтение двух статей подряд и создало у многих читателей представление, что о «студентах» впрямую идет речь в в «пожарном» тексте, а не только в упоминаемой далее А. Н. Лесковым передовице от 7 июня (см. отрывок из высказывания М. Горького на с. 416).

[37] Существует спорное мнение современника о причинах «пожарной» лесковской драмы. Б. В. Варнеке писал А. Н. Лескову 3 июня 1939 г., что В. П. Буренин считал Н. С. Лескова в «пожарной истории» жертвой III Отделения. Прочитав в монографии А. Л. Волынского «Н. С. Лесков» (СПб, 1898) этюд о «пожарной статье», Буренин говорил Варнеке: «Как нелепо и фальшиво осветил Флексер (Волынский. — *А. Г.*) всю историю с пресловутым письмом о пожарах. Автор «Русских критиков» должен был знать, что за люди были те, кто заживо распял Лескова. В первую голову агитаторы... И их хором очень ловко дирижировало III Отделение, как Лесков показал это очень тонко на сыне просвирни в «Соборянах», на нелепом брате героини «На ножах» <...>. Какой-нибудь голубой чин нашел дуру марки Ванскок, которой внушить можно все, что угодно, лишь бы пахло радикальным. «Письмо-донос». И пошла писать губерния <...>. Третье отделение, как всегда, одним ударом убило 2 козыря: поселило раздор в

семье писателей и отвело вину от виноватых. Я очень хорошо знаю эти круги, и это как раз жандармская хватка, искалечившая жизнь Лескова» (*ОГМТ,* оф. 6516; указано Р. М. Алексиной; см. сб.: «В мире Лескова». М., 1983, с. 354).

[38] См.: Л. Н. *Толстой,* «Война и мир», т. III, ч. III, гл. XXVI.

[39] *Горький,* т. 24, с. 229.

[40] Статья Лескова — очередное изложение политического кредо постепеновца-просветителя, уповающего на новые реформы Александра II. «История, повторяясь, <...> учит людей, чего должно избегать и к чему с т р е м и т ь с я», — вновь повторяет он, имея в виду уроки Великой Французской революции. Лесков убежден: ни «политическая теория» Марата, ни «социальное учение» Прудона «не свойственны русскому народу», и призывает «людей, увлеченных разгаром модного стремления к опасным занятиям», дать «окрепнуть мышцам народа, затекшим в долголетней крепостной зависимости; и он, встав на ноги, сам (то есть без поводырей-«нетерпеливцев». — *А. Г.*) пойдет туда, куда его поведет мирской толк, а до тех пор будьте сами нравственным примером для народа и заботьтесь о его развитии!» (*СПЧ,* № 168, 24 июня).

[41] Потребность «другой», более терпимой «системы действий в отношении к расколу», однако, сознавалась в 1861 г. даже в правительственных верхах (Дневник П. А. Валуева, т. I, с. 102—103).

[42] Участник студенческих волнений 1861 г., И. И. Кельсиев, был в 1862 г. арестован и находился в Петропавловской крепости. Лесков в «Загадочном человеке» называет его «необыкновенно добрым и чистым сердцем юношей», которого в московских кружках именовали *«добрым Ваней»* (*Лесков,* т. III, с. 334). Из ссылки Кельсиев бежал за границу, поселился в Тульче с братом Василием, умер от тифа.

[43] Для названия главы А. Н. Лесков воспользовался «подсказкой» самого Лескова, писавшего 23 апреля 1875 г. И. С. Аксакову: «...я был тогда очень молод и по впечатлительности своей пришел в состояние крайней нервной раздражительности и *бежал* из России. Прага и Париж помогли мне забыть домашние невзгоды» (*Лесков,* т. X. с. 397). Впрочем, в письме Лесков ошибочно связывает свой отъезд за рубеж с моментом печатной критики «Некуда».

[44] В польском оригинале цитируется отрывок из гл. III поэмы Людвика Кондратовича (псевдоним: «Владислав Сырокомля») «О пане Заблоцком и мыдле» (1852).

[45] А. Н. Лесков не отметил, что далее, напротив, писатель продолжает полемику с «Современником» и прибегает к памфле-

ту: любителем журнала, переписывающим его от руки, оказывается помещик-крепостник (*СПч,* 1862, № 335, 11 дек.).

[46] Выражение М. Е. Салтыкова-Щедрина из его хроники «Наша общественная жизнь» (январь — февраль 1863) (*Салтыков-Щедрин,* т. 6, с. 17—19).

[47] Лесков, говоря о царской охоте 1860 г., в память которой был поставлен чугунный пьедестал с золотыми буквами, упоминает, что «...зубров убито 32, из них 28 самим государем». Писатель замечает, что убить из ружья «зубра, смирно стоящего под прицелом, дело едва ли не самое легкое» (*СПч,* 1862, № 339, 15 дек.). Впечатления от посещения Беловежской пущи отразились в романе «Некуда» (кн. III, гл. XIX—XX).

[48] *Коротыньский* Винцент — публицист, писатель и издатель, в 1851—1856 гг. — секретарь Сырокомли, сотрудничал в «Виленском курьере» (1855—1865 гг.), а позже в «Газете Варшавской» (с 1866 г.); участвовал в редактировании «Словаря польского языка» М. Оргельбранда, издал в 10-ти томах произведения Сырокомли.

[49] «Gazeta Narodowa Lwowska» издавалась с 1842-го по 1915 г, (до 1835 г. — под редакцией Яна Добржанского).

[50] *«Русское казино»* — клуб «Русская беседа» в помещении Народного дома.

[51] Знакомство в 1861 г. с произведениями Шевченко в условиях национального неполноправия вызвало у галицийских русинов подъем национального чувства. Лесков отмечал, что молодежь ставила Шевченко «выше всех поэтов».

[52] *Толеранция* — терпимость.

[53] *Rząd Narodowy* — верховный исполнительный орган в польских восстаниях 1830—1831-ом, 1846 и 1863—1864 гг. При последнем был провозглашен (22 янв. 1863 г.) как временный орган, а затем — с 10 мая того же года — как орган постоянный. Упоминание «жонда» могло возникнуть у Лескова при подготовке записок к печати, когда «жонд» действительно стал реальностью (публикация датирована 25 апр. 1862 г.). Однократный же сбор в Кракове был установлен галицийской «Радой Народовой» лишь 17 ноября 1862 г. Из этого следует, что Лесков должен был бы находиться в Кракове около месяца. Последнее представляется маловероятным: на исходе декабря писатель уже прибыл в Париж, основательно погостив в Праге. По-видимому, врученная Лескову квитанция не имела отношения ни к «жонду», ни к «Раде Народной» (В. Якубовский. Примечание в кн.: Leskow M. Utwory wybrane. Wroclaw, W-wa, Kraków, 1970, с. XXII).

[54] *Sprawa polska* — польское дело (пол.).

[55] Лесков ошибался: в Кракове народ танцевал краковяк, а не мазурку. Ошибка объясняется популярностью мазурки в России.

[56] *Атта Троль* — дрессированный медведь, персонаж одноименной поэмы (1846) Генриха Гейне, стихотворения и публицистику которого Лесков высоко ценил. Томик Гейне Лесков даже захватывает с собой в Европу при первом заграничном путешествии (Из одного дорожного дневника. — *СПч,* 1862, № 351, 29 дек.).

[57] Имеется в виду Грегр Юлий — чешский публицист, издатель, основатель газеты «Národni Listy», первой самостоятельной политической газеты на чешском языке, которая «поистине с героизмом» отражала «все наезды на чешскую народность» (Ровинский П. Из Праги. Современная летопись, 1861, № 12, март, с. 3).

[58] Редактором ультра-католической газеты «Pozor» был вышеградский каноник Шульц.

[59] Лесков часто вспоминал и перефразировал слова Гейне из его статьи «Признания»: «Бедный народ не прекрасен; наоборот, он очень безобразен. Но безобразие это возникло от грязи и исчезнет вместе с нею, когда мы построим общественные бани, где его величество народ будет иметь возможность мыться бесплатно» (1854) (Гейне Г., Собр. соч. в 10-ти т., М., ГИХЛ, 1959, т. 9, с. 110).

[60] *Ходзько Леонард* — польский эмигрант, профессор истории.

[61] Йозеф Фрич — поэт-романтик, участник баррикадных боев 1848 г., был политическим эмигрантом Австрийской империи, посещал в Лондоне Герцена. Лесков опубликовал в 1863 г. (*СПч,* № 95, 12 апр.) свой вольный перевод «арабески» Мартина Бродского (псевдоним Фрича) «От тебя не больно». В 1869 г. Лесков писал, что Фрич «в последние годы нажил себе своим русофобством очень много врагов между чехами» (*Лесков,* т. X, с. 78).

[62] Тексты святочной подблюдной песни, которую Лесков пел в Париже, говорят о встрече девицы с кузнецом и о ее просьбе сковать для нее золотой перстень, булавку, венец, что предрекает гадающим девушкам замужество (см.: Песни, собранные П. В. Киреевским. Новая серия. Вып. I. М., 1911, № 1058). Песня «Кузнец» упоминается и в хронологически близком «Житии одной бабы» (1863). Однако, судя по тому, что в «славе» «чехи услыхали русский отклик» на их призыв к славянскому единению и что «Кузнец» получил «вдруг в этот вечер некоторое международное значение», позволит высказать также иное предположение. Не лишено вероятности, что в кругу политических эмигрантов, боровшихся за свободу от австрийской монархии, когда пелись «песни патриотические, застольные и сатирические» (*Сб*

1873, с. 469), Лесков исполнил «Кузнеца» другого — песню «Уж как шел кузнец» К. Ф. Рылеева и А. А. Бестужева (она цитируется в VI главе ч. II «Соборян»), использовавших форму народной святочной песни (здесь кузнец несет «три ножа» — на бояр, святош и царя). Н. Лесков знал и любил запрещенные политические песни, равно как знал и ценил потаенную литературу (ср. далее ч. IV, гл. 10).

[63] *Увриер* (фр. ouvrier) — рабочий;

[64] *Кадавр* (фр. cadavre) — труп.

[65] Вторая редакция очерков «Русское общество в Париже» была остро оценена М. Е. Салтыковым-Щедриным в рецензии «Повести, очерки и рассказы М. Стебницкого» (*ОЗ,* 1869, кн. 7). Определяя пафос общественного поведения Лескова, сотрудничавшего с Катковым, Щедрин отказывался рассматривать лесковскую прозу под литературно-критическим углом зрения. Он писал о Лескове как об идейном противнике: «Ни один из его героев — ни одна Платонида, ни один «Овцебык» не существуют в его глазах сами для себя, все это призраки, которые дают только повод вызвать другой, ненавистный, по вечно милый призрак: призрак нигилизма» (*Салтыков-Щедрин,* т. 9, с. 335—343).

[66] *Гаевский В. П.* — чиновник Министерства народного просвещения, обвиненный в 1862 г. в «сношениях с лондонскими пропагандистами» Герценом и Огаревым, был в декабре 1864 г. освобожден Сенатом от суда за отсутствием улик.

[67] Временный попутчик революционного движения, В. И. Кельсиев жил в 1859—1867 гг. в эмиграции, издал с помощью Герцена «Сб. правительственных сведений о раскольниках» (1—4 вып., Лондон, 1860—1862). Весной 1862 г. нелегально посетил Россию для привлечения раскольников к революционной деятельности. При расследовании «дела 32-х» в декабре 1862 г. правительство вызвало Кельсиева в Россию, но он не подчинился и был приговорен к изгнанию. Неустойчивый в революционных убеждениях, Кельсиев сдался русским пограничным властям, вернулся на родину, написал покаянную автобиографическую «Исповедь» (*ЛН,* т. 41—42, с. 253—470), после чего был прощен.

[68] Кроме упомянутого рассказа И. Фрича (см. коммент. 61) Лесков также перевел: «О двенадцати месяцах. Славянское предание из окрестностей тренчинских Вожены Немцовой» и «Kochanko moja! Na co nam rozmova?» (*СПч,* 1863, № 91 и 180, 8 апр. и 8 июля), написал статью «Божена Немцова. Чешская народная писательница (Библиографический очерк)» (там же, № 171, 28 июня) (см.: Карская Т. С. Лесков — автор очерка о Божене Немцовой. — *РЛ,* 1969, № 2).

[69] Извинительное письмо Лескова Краевскому датировано 23 мая 1863 г. (*ШГ,* с. 292). Окончательный разрыв писателя с редактором *ОЗ* происходит из-за «келейного» цензурования в журнале романа Лескова «Чающие движения воды» (1867) (*ИРЛИ,* ф. 612, № 383, л. 1894 об. См. также выше, с. 266—267).

[70] Е. М. Феоктистов выпустил у либерального петербургского книгоиздателя Д. Е. Кожанчикова книгу «Борьба Греции за независимость. Эпизод из истории первой половины XIX века» (СПб., 1863).

[71] Имелась в виду заметка Д. Дарского «Редкости «Лесковианы» (Книжные новости, 1937, № 18, с. 63).

[72] См. *ЛН,* т. 87, с. 134.

[73] *Горький,* т. 24, с. 233.

[74] А. Суворин, подписавшийся как «Знакомый г. Стебницкого», видимо, исчерпал весь запас сведений и сплетен о личности и биографии Лескова, которые он памфлетно преподносил в отклике на «Некуда». В статье, о которой идет речь, намеки (порой доносительского свойства) на неблаговидность, с точки зрения Суворина, поступков Лескова переплетались с критикой романа «Некуда» как «сухого, полицейского-следственного протокола». Завершал Суворин свой монолог обещанием «В последующих главах, которые будут появляться параллельно с появлением в «Библиотеке для чтения» глав романа «Некуда», <...> восстановить события, частью уже рассказанные г. Стебницким, частью им предположенные, в их настоящем свете». Едва ли это обещание Суворина могло «цепенить душу» писателя, как предполагал А. Н. Лесков. В 1865 г. Суворин начал печатать в *СПбВ* главы повести «Всякие», где, по его словам, «задался мыслью снять несколько те черные краски, которые положены на так называемых нигилистов такими мерзавцами, как Лесков (Стебницкий) <...> Повести другого значения я не придаю <...> «Всяких» я стал писать по настоящей просьбе *приятелей...»* (*Ежегодник 1979,* с. 181). «Всякие» и были обещанной Сувориным «убийственной» параллелью к «Некуда» (см.: Пульхритудова Е. Творчество Н. С. Лескова и русская массовая беллетристика. — В кн.: В мире Лескова. М., 1983, с. 158—163). Между тем в 1879, 1887, 1889 гг. роман «Некуда» переиздавался в издательстве Суворина.

[75] Лесков первым бросил перчатку Писареву в марте 1862 г. Статья Писарева была направлена против «консерваторов в мире идей», против «Некуда» как одного из «истребительных» романов. Мнение критика основывалось на близости «некудовских» героев к их живым прототипам из мира революционной молодежи (*Писарев,* т. 3, с. 259—263). Писарев увидел в романе только.

выступление против движения за создание коммун, воспринимавшихся в 1860-е годы как реализация мечты о «широком социалистическом строе», о создании его «в близком будущем сотнями и тысячами подобных коммун» (Чуковский К. Люди и книги. М., 1958, с. 277). Но Писарев не увидел другого: неприятие «безнародного», как считал Лесков, движения сочеталось с личным сочувствием писателя благороднейшим из персонажей — революционерам (Райнер, Лиза Бахарева) и общим позитивным отношением к социалистическому общественному идеалу. В статье «Наши усыпители» (1864—1867) Писарев нашел, однако, что «образы и характеры» нигилистов «сказали <...> противное тому», что имели в виду авторы антинигилистических романов (*Писарев,* т. 4, с. 255). Через полгода после публикации «Прогулки по садам российской словесности», где Писарев резко осудил и Писемского, автора «Взбаламученного моря», критик предложил дифференцированно оценивать вклад писателей в литературу: «...гнусность «Взбаламученного моря» нисколько не уничтожает собою достоинств «Тюфяка», «Богатого жениха», «Боярщины», «Тысячи душ», «Брака по страсти», «Комика» и «Горькой судьбины» (*Писарев,* т. 3, с. 446). На Лескова, однако, эта «амнистия» не простиралась. «Имя Писарева <...> в нашем доме никогда не произносилось...» — вспоминал Лесков-сын (*ВЛ,* 1920, № 4—5 (16—17), с. 11).

[76] Тем не менее и эта оценка отличалась полемической односторонностью (*Салтыков-Щедрин,* т. 9, с. 335—343).

[77] Участница Знаменской коммуны писала: «...все действующие лица романа Стебницкого «Некуда» были целиком сфотографированы с лиц, посещавших нашу коммуну, кроме только волка, которого герой романа держал у себя в подвале» (Козлинина Е. И. За полвека. 1862—1912. М., 1913, с. 40). М. Цебрикова отнесла Лескова к числу «беллетристов-фотографов» (*ОЗ,* 1873, № 11. Раздел «Современное обозрение», с. 1—34). Брат Лескова Алексей укорял писателя за то, что он «списывает все своих же родных и знакомых со всей, так сказать, подноготной» (Михневич Вл. На очереди. Писательская судьба. По поводу смерти Н. С. Лескова. — «Новости», 1895, № 56, 26 февр.).

[78] Позднее о предвосхищении взглядов Бисмарка на социалистическое движение русскими консерваторами Лесков писал в «коварной» статье «Увеселения и польза от социалистов. (Предварения мысли кн. Бисмарка)». — НБГ, 1884, № 326, 25 ноября (7 дек.).

[79] Лесков, имея в виду и себя, но не называя себя, писал в статье «Большие брани» (1869): *«Донос* <...> Мы давно

слышим в литературе это нелитературное слово...» В доносчики «у нас, между прочим зауряд попали все более известные современные романисты, начиная гг. Тургеневым и Гончаровым...» (*Лесков,* т. X, с. 66).

[80] Чехов не писал именно о «Некуда», но рядом с оценкой произведений Лескова едва ли случайно возникает имя Писарева, однобокость критических воззрений которого Чехов решительно осуждает: «Прочел «Легендарные характеры» Лескова <...>. Божественно и пикантно. Соединение добродетели, благочестия и блуда. Но очень интересно. Прочтите, если не читали. Прочел опять критику Писарева на Пушкина. Ужасно наивно...» (*Чехов, Письма,* т. 5, с. 22).

[81] В «Некуда» есть разные «исполнившиеся пророчества». Первое из них — нежизнеспособность коммун типа Слепцовской, куда, как говорил Лесков, «вместо чистых начал демократизма» проникал «самый чопорный аристократизм». Попытка создать сожительства «бурых» и «салонных» нигилистов оказалась «воистину делом безумным» (Чуковский К. Люди и книги. М., 1958, с. 291, 285). Впрочем, это предсказал еще Добролюбов в статье «Роберт Оуэн и его попытки общественных реформ» (1859). Были «прорицания» героических и трагических человеческих судеб (Райнера, Лизы Бахаревой), которые исполнялись почти буквально (гибель Артура Бенни). Пророчеством более широкого свойства, которое исполнилось, Лесков считал безуспешность попытки революционных демократов поднять Россию на всеобщее восстание против царизма в начале 1860-х гг. Еще одно свершившееся пророчество — предвидение ренегатства экс-нигилистов, переметнувшихся в «Московские ведомости» (Письма Лескова В. Г. Черткову от 18 янв. и 1 марта 1892 г. — ЦГАЛИ, ф. 275, оп. 3, ед. хр. 21).

[82] К моменту настоящей записи была известна статья Шелгунова «Люди сороковых и шестидесятых годов» («Дело», 1869, № 9—12), где дана высокая оценка Лизы Бахаревой, как типического характера своей эпохи. «Лиза, по своей силе <...> много выше Елены (Стаховой из «Накануне». — *А. Г.*), до которой г. Тургенев довел идеальный тип женщины своего периода. <...> Лиза и Базаров изображают собою порыв последовательного мышления к тому, что еще невозможно в осуществлении для большинства. Они в зародыше люди будущего <...> Лиза <...> истинный тип: современной, живой девушки» (Шелгунов Н. В. Литературная критика. Л., 1974, с. 201, 202). Слова М. К. Цебриковой о героине «Некуда» дошли лишь в передаче Лескова (Одно из писем Цебриковой к Лескову о «Что делать?» имеется в *ЦГАЛИ,* ф. 275, он. 1, ед. хр. 316).

[83] К автокомментарию Лескова близко высказывание о писателе Льва Толстого (1898). Отправляясь именно от прочитанного в марте 1890 г. «Некуда», Толстой предлагает свою общую оценку творчества Лескова: «Николай Семенович раньше меня начал ту работу, которой я заинтересовался позднее. Он еще в «Некуда» доказал, что без христианского духа немыслимо братское общежитие людей и его «Знаменская коммуна» распалась именно по этой причине. Лесков первый осветил эту истину из нигилистической жизни в нашей литературе. Наши критики не умели оценить в нем этот труд. Лесков — писатель будущего, и его жизнь в литературе глубоко поучительна» (Фаресов А. Умственные переломы в деятельности Н. С. Лескова. — *ИВ,* 1916, № 3, с. 786). Ср. ниже ч. VII, гл. 3.

[84] Лесков осознал вред антинигилистической тенденциозности «Некуда» в письме И. С. Аксакову от 23 марта 1875 г., где, сравнивая «Анну Каренину» со своей прозой, говорил о романе Л. Н. Толстого как о «картине, исполненной невыразимой прелести изображения жизни современной, но не тенденциозной (что так испортило мою руку)» (*Лесков,* т. X, с. 389).

[85] Ныне находится в *ОГМТ* (*ЛН,* т. 87, с. 135).

[86] Для заглавия взяты слова Лескова из статьи «Благоразумный разбойник» о довольно долгом его «отвержении от литературы за непокорность партийным приказам» (*ХЖ,* 1883, № 3, с. 194).

[87] Речь идет о серии «контрреформ» во внутренней политике правительства Александра III, имевших целью укрепление самодержавия. После манифеста 29 апреля 1881 г. были введены «временные правила» о печати, установившие так называемую «карательную цензуру» (27 августа 1882 г.), а это прежде всего ударило по литературе. *МВ* Каткова настойчиво внедряли принцип: «У русских подданных есть обязанности, это выше прав» (Твардовская В. А. Идеология пореформенного самодержавия (М. Н. Катков и его издания). М., 1978, с. 218). Лесков осторожно критиковал Д. Толстого еще в бытность того обер-прокурором св. Синода (*Лесков,* т. VI, с. 483, 486).

[88] Это были бесподписные — по-видимому, написанные самим П. К. Щебальским — статьи «Заметки о русской литературе. Сочинения Н. С. Лескова».

[89] *О «соллогубовском сосьете»* (фр.: société; букв.: обществе, кружке) — см. ниже ч. VI, гл. 11.

[90] Принадлежность перу Лескова каких-либо статей из «Экономиста» не установлена, хотя журнал, печатая протоколы

заседаний Русского географического общества, неоднократно и подробно характеризовал выступления писателя.

[91] «Всемирный труд» — близкий к реакционным кругам ежемесячник, выходил под редакцией коммерсанта, издателя и переводчика Э. А. Хана с 1867-го по 1872 г. (сохранилось его письмо Лескову от 17 мая 1867 г. — *ИРЛИ,* ф. 220, № 119).

[92] Речь шла о статьях Ю—ова (А. В. Жаклар) «Экономический и нравственный быт балтийских крестьян» (*ОЗ,* 1867, № 3—7).

[93] *Форвальтер* (нем. Verwalter) — управляющий.

[94] В киевском пансионе Криницкой училась Вера Николаевна Лескова.

[95] Критика «Расточителя» определялась «антинигилистической» репутацией автора, чем и объясняется преимущественно памфлетный ее характер (см., напр., «Расточитель», драма г. Стебницкого. — *ПЛ*, 1867, № 164, 4 ноября). Известен, кроме анонимного авторского (Русский драматический театр. *ЛБ,* 1867, XI, кн. 2-3, с. 248—266), лишь один положительный отклик, едва ли дошедший до Лескова. Чешский журналист, писатель и переводчик Эмануэл Вавра писал об авторе «Расточителя» как об одном из «талантливейших русских писателей», драма которого «возвышается над другими произведениями последнего времени» и, помимо других своих достоинств, отличается «необычайными сценическими эффектами» (Kvêty, 1867, II pol., č. II, str. 95. — Цит. по кн.: Ровда К. И. Чехи и русские в их литературных взаимосвязях (50—60-е годы XIX века). Л., 1968, с. 99).

[96] Ф. А. Бурдин 19 апреля 1868 г. писал А. Островскому: «Вообрази, что претендентом на режиссерство является Стебницкий, это уже верх всякой мерзости, и — по слухам — имеет много шансов». Далее автор выражал надежду, что свидание Островского с директором Александринки поможет «разбить» затею (Островский и Бурдин Ф. А. Неизданные письма из собраний Гос. Театрального музея им. А. А. Бахрушина. М.—Пг., 1923, с. 74).

[97] *БВ* извещали, что «комедия» «Голь, Шмоль и компания — банкирский дом на временном доверии» представит «современную, почти безумную погоню за быстрым обогащением», выведены будут «спекулянты-проходимцы», написанные автором, «применяясь к типам, созданным в биржевом мире в последнее азартное время» (№ 234, 29 августа). Фамилии героев пьесы мелькают в статьях Лескова 1869—1879 гг., в письмах (*Лесков,* т. X, с. 331 и др.).

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ
В ТЕНИ И НЕБРЕЖЕНИИ
(1865—1874)

(Стр. 275—415)

[1] Из стихотворения Е. А. Баратынского «Признание» (1824).

[2] Эти приписывавшиеся Лермонтову слова поставлены эпиграфом к «Архиерейским объездам», встречаются в очерках «Монашеские острова на Ладожском озере», «Семинарские манеры».

[3] Из письма А. С. Пушкина Л. С. Пушкину в ноябре 1824 г.: «Не забудь *Фон-Визина* писать *Фонвизин.* Что он за нехрист? он русской, из перерусских русской».

[4] Это прозвище Г. П. Данилевского закрепила сатирическая журналистика. См., например, текст на карикатурах М. М. Знаменского «Провинциальные очерки». — «Искра», 1867, № 42, с. 511.

[5] В Величко Лескова раздражала идейная всеядность: «Я не понимаю <...>, как может В. Л. Величко одновременно писать прекрасные стихи и мне и кронштадскому священнику (о. Иоанну Кронштадтскому. — *А. Г.*), увлекаясь исключительно лирикой и слогом стиха...» (*ИВ,* 1916, № 3, с. 791).

[6] Из поэмы Т. Г. Шевченко «Кавказ» (1845). Эти слова Лесков цитировал и в «Русских общественных заметках» (1869).

[7] Из Г. Гейне. — Идеи. Книга. Legrand, гл. XX.

[8] До сих пор текст Л. Я. Гуревич А. Н. Лесковым пересказывался. Далее идет точная цитата из ее статьи «Из дневника журналиста. (Франция. Тюрби)». — *СВ,* 1895, № 4, отд. II, с. 67. На экземпляре журнала из библиотеки *ИРЛИ* (644, инв. № II—12921) сохранились пометы и одна фактическая поправка А. Н. Лескова.

[9] Перефразировка строк стихотворения А. С. Пушкина «Я памятник себе воздвиг нерукотворный» (1836).

[10] Благодаря обращениям в печати Лескову удалось через контору газеты «Новое время» собрать старому и больному В. П. Бурнашеву 400 р. денег и поместить его в платное отделение Мариинской больницы. Публичными хлопотами писатель хотел «заставить призадуматься кружковщину, держащую в своих дремотных руках кормило русского литературного фонда» (О литераторских калеках и сиротах. — *ПГ,* 1887, № 326, 27 ноября).

[11] *Мормоны* — религиозная секта в США, буквально толковавшая текст Библии и пытавшаяся воплотить в жизнь теокра-

тический идеал библейских пророков. В повести-памфлете «Загадочный человек» Лесков рассказывает, как Бенни с его помощью «привел свою небольшую компиляцию о мормонах в такое состояние, что она могла быть напечатана в «Русской речи» (*Лесков,* т. III, с. 335). Это была статья «Несколько слов о мормонах». — *РР,* 1861, № 61, 31 июля.

[12] Практически Лесков был соавтором предисловий к книгам М. И. Пыляева (*Ежегодник 1971,* с. 12).

[13] Лесков любил подчас к слову вспоминать французского политического деятеля Гамбетту, которого он слышал в Париже в 1875 г. и который по внешности был «схож» с писателем (*Лесков,* т. X, с. 405, 415 и др.).

[14] Цитата из «Евгения Онегина» А. С. Пушкина (гл. XVIII, строфа XVI).

[15] Тогда же в Киеве писался и рассказ «Леди Макбет Мценского уезда».

[16] См. выше с. 149.

[17] «Одиссея» цитируется в переводе В. А. Жуковского.

[18] *Гойцевать* — скакать без дела (диалектн.)

[19] В лирическом наброске, написанном Н. В. Гоголем накануне 1834 года и получившем заглавие — «1834», писатель восклицал: «Я совершу... Я совершу! Жизнь кипит во мне. Труды мои будут вдохновенны. Над ними будет веять недоступное земле божество! Я совершу...»

[20] В статье «Большие брани» нет явного «склонения» автора к школьному «классицизму» (ср.: *Лесков,* т. X, с. 62—71).

[21] А. Н. Лесков заметил: «...в сущности Антон Елдаков, по деревенской номинации» (*ИРЛИ,* ф. 612, № 383, л. 2061).

[22] Крамского раздражали невежество и легкомысленная самонадеянность А. З. Ледакова — художественного критика. В письме к П. М. Третьякову от 6 апреля 1879 г. Крамской не без иронии упоминает отрицательное высказывание Ледакова о картине Репина «Царевна Софья», в особенности же резко отзывается о Ледакове в статье «Русские художественные критики» (1882 г.): «...г. худ. А. Лед. ...полагает себя тем смелее, что его до сих пор не поймал еще никто за шиворот и не выбросил из литературы» (Иван Николаевич Крамской. Его жизнь, переписка и художественно-критические статьи. 1837—1887. Издал А. Суворин. СПб.. 1886, с. 412, 681). Лесков также иронизировал над художественными оценками Ледакова уже в 1875 г. (*Лесков,* т. X, с. 410). В газетном комментарии к сборнику писем и статей Крамского 1888 г. писатель воспроизвел страницы критической карьеры Ледакова, «которого где-то откопал мастер редактировать газеты Вис. Вис. Комаров», и отметил, что в «Комарёвы дни» в

«Петербургских ведомостях» подпись Ледакова «Худ. А. Лед.» «была чем-то вроде смехотворного значка, над которым любой охотник посмеяться всегда находил «бравое невежество», и «непременно в обширной мере». Цитациями из Крамского Лесков показал, «что думал об этом «бравом невеже» <...> человек, которого признавали и называли «самым умным современным художником» (Загробные комплименты. — *ПГ,* 1888, № 85, 27 марта). См. также письмо Лескова А. С. Суворину от 25 марта 1888 г. (*Лесков,* т. XI, с. 372).

[23] «Ромового» тембра — пропитой голос.

[24] В 1872 г. Лесков не только тепло отозвался о книге земляка-орловца, полковника Генерального штаба, статистика С. И. Турбина «Страна изгнания и исчезнувшие люди. Сибирские очерки» (Пб., 1872) (*Лесков,* т. X, с. 170—178), — но и готов был писать с Турбиным повесть из народного быта (там же, с. 343—345). Писатель ценил у Турбина произведения об «армейских нравах» (Без подписи. Рецензия: Досуги Марса. СПб., 1887 г. — *РМ,* 1888, № 2. Библиографический отдел, с. 59—64).

[25] *«Штранд»* — (нем.: Strand) — морской берег, пляж.

[26] Лесков писал В. Г. Черткову: «Более всего Лев Николаевич хвалит «Колыванский муж»... «Колыванский муж» — ирония — она очень нравится всем» (*ЦГАЛИ,* ф. 275, он. 3, ед. хр. 16, № 10).

[27] *«Колыванский муж»* Лескова близок по мысли известной писателю статье А. Майкова «Всеславянство» («Беседа», 1871, № 3, с. 219—261), где, в частности, писалось о процессе онемечивания населения славянских земель путем обращения немцами аборигенов «в пригодное для себя вещество, которое через два поколения становится отъявленною немецкою породою» (там же, с. 256) и т. д. Экспансионистские националистические тенденции немцев отмечал в Прибалтике (Остзейских губерниях) Ю. Самарин (Окраины России. Русское балтийское Поморье, вып. I—III, Прага, Berlin, 1868—1871), а вместе с ним и «русская либерально-консервативная пресса» 60—70-х гг., когда писался рассказ Лескова «Железная воля» (С. Г. Исаков. Остзейский вопрос в русской печати 1860-х годов. — Уч. зап. Тартуского ун-та, вып. 107. Тарту, 1961, с. 20, 30 и др.).

[28] *Неключимый* — негодный (древнерус).

[29] В. С. Лесков знакомился с известными в кругах интеллигенции сочинениями французской социалистической литературы: Lois Blanc. De L'organisation du travail (Paris, 1839); Alfred Sudre. Historie du communisme (Paris, 1856). В русском переводе: «История коммунизма. Соч. Альфреда Сюдра, увенчанное Мон-

тионовской премией». СПб., 1870; и историко-статистическнм очер¬ком: Л. Костенко. Средняя Азия и водворение в ней русской гражданственности (СПб., 1871).

[30] Генерал-майор Н. В. *Герсеванов* — реакционный публицист. Помимо клеветнической книги о Гоголе известно и другое его выступление против Салтыкова-Щедрина (Н. Яковлев. Жандармы о «Губернских очерках». — «Известия», 1939, № 107, 9 мая).

[31] Вполне возможно, что В. С. Лескову принадлежит небольшая статья, вскоре опубликованная в разделе «Дневник» *БВ* (1871, № 104, 18 апр.) и имеющая в оглавлении название: «Тревога по вопросам малорелигиозным, но в сущности скрывающим немецко-фатерляндские притязания».

[32] Левая от входа комната в домике Петра I была превращена при Николае I в часовню. Там находилась главная православная святыня Петербурга — образ «Нерукотворный Спас», с которым Петр I отправлялся в походы.

[33] Из драмы А. С. Пушкина «Борис Годунов» (1825): сцена — «Ночь. Келья в Чудовом монастыре».

[34] Речь идет, по-видимому, о Библии на церковно-славянском языке, так как первое синодальное издание Библии на современном русском языке относится к 1876 г.

[35] Цитируется последняя строка из стихотворения Фофанова «Л. Н. Толстому (Я знаю мир души твоей...)», которое Лесков привел в письме И. Е. Репину от 22 января 1889 г. (*Лесков,* т. XI, с. 413).

[36] «Обличительный поэт» (Д. Д. Минаев) завершил свое стихотворение «Это ты, весна! (Мелодия)» («Искра», 1861, № 19, 26 мая, с. 283—284) куплетом:

В «Библиотеке для чтенья» —
Стансы Зарина...
Это ты, мое мученье,
Это ты, весна!

(См. глухое упоминание о «Стансах» Зарина. — *Лесков,* т. VIII, с. 458—459). Вариант рефрена и размер стихотворению Минаева подсказала пародия Пр. Знаменского (В. С. Курочкина) «Холод, вьюга, пар дыханья...» на стихи Фета («Шепот, робкое дыханье...») с концовкой:

Бюрократы-либералы,
Публицисты сна,
Флюсы, насморки, скандалы
И весна, весна!

(«Искра», 1860, № 16, 29 апр., с. 171—172).

[37] *Пенитенциарный* — связанный с жестокими формами уголовного наказания (от фр.: pénitentiare — исправительный, тюремный).

[38] Эпиграфом стала вторая строфа стихотворения «Выученик» поэта и переводчика Андрея Михайловича Комарова, сотрудничавшего в «Искре» (1859—1866). В стихотворении говорилось о гибели мальчика, отданного в ученье к портному, от побоев.

[39] Статья Лескова имела название: «Сентиментальное благочестие. Великосветский опыт простонародного журнала. (Критический этюд.) Разбор ежемесячного религиозно-нравственного издания «Русский рабочий» (см. ниже ч. V, гл. 4, а также коммент. к ч. V).

[40] Лесков имел в виду полемику по поводу опубликованных в июле 1859 г. «правил о проступках и наказаниях учеников гимназий Киевского учебного округа». Составленные при участии Н. И. Пирогова «правила» допускали применение телесных наказаний. С критикой «правил» выступил Н. А. Добролюбов — см. «Всероссийские иллюзии, разрушаемые розгами» (С, 1860, № 1).

[41] *«Детский мир»* (1-е изд. — СПб., 1861) и *«Родное слово»* (1-е изд. — СПб., 1864) — книги для чтения в начальных классах русских школ, составленные К. Д. Ушинским.

[42] Полемика с революционно-демократическими кругами в «Некуда» и последующая критика, которой передовая печать подвергла Лескова, привели его к сближению с ортодоксально-консервативным лагерем, возглавлявшимся редактором *РВ* М. Н. Катковым. В письме П. К. Щебальскому от 22 апреля 1871 г. Лесков сам относит себя к «горсти <...> литераторов московского уряда мыслей» (*Лесков,* т. X, с. 316). Последнее действительно выразилось в публицистических выступлениях писателя, его памфлетной прозе («Загадочный человек», «На ножах»), отражено в письмах Лескова 1866—1875 гг. В оценке действительности, однако, Лесков не ограничился критикой «крайней» революционной партии: почти параллельно роману «На ножах» печатается повесть «Смех и горе» — сатира (Катков, обманувшись, назвал ее «доброй») на политический режим, оставшийся незыблемым в основах и после «великой реформы». Утрата надежд на разумный «прогресс в рамках законности», разочарование в консервативной партии вызывают новый духовный кризис Лескова, а затем трудное высвобождение писателя из орбиты «москофилов». Появление «Очарованного странника», «Захудалого рода», «На краю света» в 1873—1875 гг. означает необратимость этого движения.

[43] Дом Зейферта находился по адресу: Сергиевская, 36.

[44] А. К. Толстой принадлежал к числу любимых поэтов Лескова (см. ч. V, гл. 7), что подтверждается цитатами из его стихов в сочинениях и письмах писателя, обильными пометами на книге «Стихотворения графа А. К. Толстого» (СПб., 1867), хранимой ныне в *ОГМТ* (Библиотека Н. С. Лескова, № 182), выписками из его стихотворений, воспоминаниями современников. 19 декабря 1871 г. Лесков слушал в гостях новую балладу А. К. Толстого «Эдвард». Читавший поэму Б. Маркевич рассказывал поэту: «Лесков-Стебницкий <...> слушал меня с таким видом, как будто баба рушится ему на голову (снаряд для бойки свай) <...> Прослушав вольный перевод из Шиллера, Лесков воскликнул: «Боже мой! Как он растет и свежеет», — после чего выпросил у Маркевича стихи, чтобы переписать их» (Письма Б. М. Маркевича к графу А. К. Толстому, П. К. Щебальскому и др. СПб.. 1888. с. 123, 125—126). В письме к В. Г. Черткову от 15 августа 1889 г. Лесков цитирует строки поэмы «Поток-богатырь» (см. ниже, ч. IV, гл. 8), совпадавшей с его собственным взглядом на народ и на взаимоотношения литературы с народом: «Я тоже «народ» в смысле его составной части, а Петр-царь уж и куда больше «народ», ибо извел «народ» из тьмы самообольщения, самомнения и косности. И Гоголь, и Иннокентий, и Сенека, и Сократ <...>, а распутный мужик <...> мне нимало не мил и не почтенен. Я держусь Алексея Толстого:

Есть мужик и мужик.
Если он не пропьет урожаю,
Я того мужика уважаю...

И все тут. А что «он меня кормит», так и я его кормлю, в своем роде. <...> «В большом хозяйстве разная скотинка нужна» (*ЦГАЛИ,* ф. 275, он. 3, ед. хр. 16, № 16). В 1879 г. Лесков, помогавший изданию «Русского рабочего», включает любимую им поэму А. К. Толстого «Иоанн Дамаскин» в состав 6-го номера журнала (*Лесков,* т. X, с. 459). Из более ранних воспоминаний А. И. Лескова об отце известно, что писатель «не одобрял» в Толстом «лишь <...> посвящения тома своих сочинений императрице Марии Александровне» (*ВЛ,* 1920, № 7(19), с. 7).

[45] О затухании былого расположения свидетельствует письмо Крестовского к Лескову от 14 декабря 1871 г., где среди упреков фигурирует и такой: Крестовский припоминает Лескову «собственное <...> признание» автора романа «На ножах», что «весьма некрасивый герой Висленев писан якобы с меня» (*ЦГАЛИ,* ф. 275, он. 3, ед. хр. 246, л. 1 об.). Между тем еще за полгода до этого письма Лесков горячо выступал с защитой авторского

права Крестовского от самочинности заграничных издателей (Предостережение книгопродавцам. — *БВ,* № 125, 9 мая). В ответном письме Крестовскому Лесков отводил обвинения, говоря, что он любит прямоту, а не «заугольную критику» (*ИРЛИ,* ф. 612, № 160). Дочь Крестовского, либеральная романистка М. В. Крестовская, по отзыву Лескова, «жизнью и деятельностью <...> искупила грехи своего отца» (Быков П. В. Силуэты далекого прошлого. М.—Л., ЗиФ, 1930, с. 159).

[46] «Цыганская венгерка» (1857) А. А. Григорьева.

[47] Стихотворение Г. Гейне «Трубят голубые гусары» (цикл «Песни»), переведенное на русский язык М. Л. Михайловым и положенное на музыку Ц. А. Кюи (1858).

[48] Лескову как свидетелю работы Вс. Крестовского над «Петербургскими трущобами» пришлось защищать автора от клеветы в плагиате, приписывавшей создание романа покойному Н. Г. Помяловскому (*ИВ,* 1900, № 3, с. 979). Защитниками выступили также М. Шевляков и Ф. Берг (*СВ,* 1895, № 3, отд. II, с. 104—105). В 1877 г. писатель противопоставлял «Петербургские трущобы» — «книгу о сытых и голодных» вульгарно-«простонародным» произведениям А. Ф. Погосского (*Лесков,* т. X, с. 241), а в письме к М. О. Меньшикову из Мереккюля 27 мая 1893 г. характеризовал «Петербургские трущобы» как «самый социалистический роман на русском языке», создатель которого, однако, «обиделся, не устоял и запел: «Трубят голубые гусары», то есть «пропал для всего доброго» (*ИРЛИ,* ф. 22574, CLVIII, б. 61, л. I. об.).

[49] Идиллическое изображение пореформенной жизни присуще стихотворению Ф. Н. Берга «Зайка» («Время», 1862, № 12, с. 376—377), которое в сокращении вошло в хрестоматию К. Д. Ушинского.

[50] Вольная цитация последней полустрофы стихотворения А. С. Пушкина «Что в имени тебе моем?» (1830).

[51] *Тургенев.* Письма, т. 3, с. 40.

[52] Распространение спиритизма Н. С. Лесков считал явлением сугубо отрицательным. Начало его выступления положили статьи в *БВ* 1869 г., полемика продолжалась в художественной прозе («На краю света» — 1875 г.; «Дух госпожи Жанлис» — 1881 г.). Лесков называл спиритизм продуктом «большой и очень сильной скуки» высшего общества, иронизировал над «подстольными стряпчими спиритизма», делая, однако, идеалистическое допущение, что не вся «суть вопроса о причине вещей находится в заведовании партизанов «силы и материи» (*ИВ,* 1882, № 1, с. 232—233).

[53] Визиты видных представителей духовной печати, профессоров Петербургской духовной академии, обычны в доме Лескова

в начале 1870-х гг. Профессор А. И. Предтеченский сотрудничал в *БВ* (по церковным вопросам) одновременно с Лесковым, но оставил газету в начале 1871 г. (*Лесков,* т. X, с. 291). К этому моменту относится упоминаемая им встреча. В 1874—1881 гг. Предтеченский редактирует «Христианское чтение», а с 1875 г. и «Церковный вестник», который резко выступает в 1879 г. против лесковских «Мелочей архиерейской жизни» (см. протест писателя. — *Лесков,* т. X, с. 521).

[54] См.: *Лесков,* т. X, с. 355—357. «Заказ», однако, был выполнен лишь в августе следующего, 1874 года (там же, с. 361).

[55] Подзаголовок определил идейное и художественное задание повести. Интересен в этой связи отклик раскаявшегося В. И. Кельсиева именно на подзаголовок и заданную им тональность произведения: «То было время, к которому я сам принадлежал в качестве деятеля, и подать голос за старых товарищей, одна половина которых находится уже на том свете, а другая в ссылке и в каторге, я считаю своим священным долгом. Мы ошибались, мы думали сотворить в России революцию <...> Мы шли с верою, мы делали ошибки, но шутами гороховыми, какими нас старается представить г. Стебницкий, мы не были». О братьях Серно-Соловьевичах и Ничипоренко (который особенно неприглядем в изображении Лескова) Кельсиев писал: «...если по груди их проехала тяжелая телега истории, то я все же не вижу, <...> за что бросать грязью в их память» («Заря», 1871, № 6, отд. II, с. 1, 11).

[56] См. ч. III, гл. 8.

[57] Об отношении Н. Н. Страхова к Лескову свидетельствует письмо критика в марте 1868 г. к Ф. М. Достоевскому, где он, перебирая «наличные силы» того «литературного кружка», который связан с «Эпохой», упоминает «истинно даровитого Стебницкого»: «Часто в эти два года мне приходилось с радостью замечать: все наши! все наши на первом плане!» (*ШГ,* с. 259).

[58] Устный вариант песни на слова стихотворного «Послания» («Из Петербурга в Москву»), опубликованного в «Полярной звезде» на 1861 г. (кн. 6, с. 214) и — в иной редакции — в «Колоколе» (1866, № 221, 1 июня, с. 1812).

[59] Из агитационных песен, написанных К. Ф. Рылеевым совместно с А. А. Бестужевым (1823).

[60] Стихотворение, написанное декабристом Владимиром Соколовским (1826) или — предположительно — А. И. Полежаевым.

[61] *Маестозно* — русифицированная форма от итальянского maestoso — торжественно, величественно.

[62] Цитата из повести в стихах К. П. Масальского «Модест Правдин, или Терпи, казак, — атаманом будешь» (1829).

[63] *Маркизова лужа* — Финский залив.

[64] Неточная цитата из стихотворения А. С. Пушкина «Герой» (1830).

[65] *Измайлов* А. А. окончил в 1897 г. Петербургскую духовную академию.

[66] *Серафим Саровский* (1760—1833) — иеромонах-затворник Саровской пустыни Тамбовской губ., канонизированный в начале XX в. как святой.

[67] Заглавие действительно имело двусмысленный характер, так как получало значение оценки произведения Лескова. «Смятенный вид! Как ужасно его изнеявствили!» — говорит об испорченном лике ангела архиерей в повести «Запечатленный ангел» (*Лесков,* т. IV, с. 344). Достоевский называл рассказ «прекрасным», но считал неправдоподобным показ бессилия архиерея перед лицом самоуправных светских властей (*Достоевский,* Л., 1980, т. 21, с. 54—58).

[68] В критическом фельетоне «Ряженый» Достоевский, прибегнув к анализу слога Лескова, опроверг своего оппонента, поддавшегося искушению уязвить писателя незнанием церковного быта (там же, с. 77—91). Достоевским был раскритикован отвергаемый им эстетический кодекс художников-«типистов», «специалистов», к которым он относил Лескова, и утверждалось преимущество художника-поэта, которого влекут «общие, вечные и, кажется, вовеки неисследимые глубины духа и характера человеческого». Хотя «типизм» был не менее свойственен и Достоевскому, его формула своеобразия типов писателей и меткое заглавие глубоко запали в сознание Лескова: термин «ряженый» входит в лесковские критические статьи.

[69] Достоевский низводился анонимом с пьедестала «пророка, призванного сказать новое слово». Ему отказывалось в праве и возможности играть «роль общественного руководителя». И если подобные мысли не были вполне чужды Лескову, то выбор момента для критики и ее грубость, отрицательное отношение к речи Достоевского о Пушкине, вульгарное противопоставление раннего и позднего творчества Достоевского, выпады против Гоголя — исключают и тень предположения о лесковском авторстве.

[70] Статья Лескова «Граф Л. Н. Толстой и Ф. М. Достоевский как ересиархи (Религия страха и религия любви)», направленная против книги К. Н. Леонтьева «Наши новые христиане» (М., 1882), пронизана патетикой защиты высоких гуманных идей Достоевского. Лесков заявляет свое согласие с Достоевским в главном: «Чувство общечеловеческой любви, внушаемой речью

Достоевского (о Пушкине. — *А. Г.*), есть чувство хорошее, которое, так или иначе, стремилось увеличить сумму добра в общем обороте человеческих отношений» (НБГ, 1883, № 1, 1(13) апр.). Лескова и Достоевского сближало также отношение к народу, их своеобразный христианский демократизм. В 1876 году Лесков писал о существовавшем с его точки зрения в обществе настроении, суть которого сводилась к «унижению народного смысла». Это тревожное явление получило, по словам Лескова, «достойную оценку в апрельском *Дневнике писателя* Ф. М. Достоевского» (*ПО,* 1876, № 5, с. 140). Значит, было бы ошибкой толковать односторонне слова А. Н. Лескова об отрицательном отношении отца к «Дневнику писателя» (*ВЛ,* 1920, № 7(19), с. 6). О тождестве народной христианской идеи с ее трактовкой у Достоевского и у Лескова говорили первые строки очерка «Обнищеванцы» (1881), где варьировалась тема «Дневника писателя» 1881 года: «Нашему народу можно верить, он стоит того, чтобы ему верили». Родство демократических взглядов Лескова и Достоевского устанавливается в более раннюю пору — при публикации глав «Записок из Мертвого дома» (1862). По словам А. Н. Лескова, это произведение отец его «ставил исключительно высоко». «Когда мне исполнилось 12—13 лет, он принес мне «Записки» и сказал: «Читай внимательно, лучше этой книги редко что доведется тебе читать» (*ВЛ,* 1920, № 7 (19), с. 6). И тем не менее, по словам мемуариста, А. Н. Лесков испытывал неприязнь к «крупнейшим вещам Достоевского», которые писатель «считал <...> как и всю творческую психику Федора Михайловича, изломанными, искусственными, вымученными» (там же). А. Лесков сообщал Б. В. Варнеке 24 декабря 1937 г. о библиотеке Н. С. Лескова: «У отца сочинений Достоевского не было. Были «Записки из Мертвого дома», «Скверный анекдот», может быть, еще что-нибудь. «Подростка» не было» (*ОГМТ,* ф. № 6501).

[71] Это и пересказ строк рассказа Лескова «Счастье в двух этажах. (Киевский вариант живых людей к «бумажным» людям Невы)» (*ЛН,* т. 87, с. 97).

[72] Раздражаясь непоследовательностью того общества, «которое так недавно упивалось всякою мыслью Достоевского и называло его своим «великим учителем», но не усвоило заветы писателя о необходимости искоренять дурное в человеке «мерами воспитания», неотвратимостью наказания, — Лесков иронизирует над высоким эпитетом, и все же апеллирует к неоспоримому авторитету создателя «Дневника писателя». (Еще о процессе — *ПГ,* 1885, № 275, 8 окт.). Это показательный пример противоречивости чувств, владеющих Лесковым, когда он говорит (не может не говорить!) о Достоевском.

[73] Часто наблюдалась полярность общественных идей, которые отстаивали на определенных этапах своей судьбы Лесков и Достоевский. Так, например, в «Русских общественных заметках» (*БВ,* 1870, № 39, 25 янв.) Лесков указывал на беспочвенность нечаевщины, утверждая, что Россия «пока, слава богу, очень здорова». Достоевский, напротив, считал в это время, что Россия чревата социализмом (*Достоевский,* т. 12, с. 270—271). Через 10 лет Лесков писал: «Общество всего более нуждается в оздоровлении его духа, и это зависит менее от власти, чем от нас самих» («О трусости». — *НВ,* 1880, № 1426, 16(28) февр.).

[74] Лескову удалось отстоять неприкосновенность текста.

[75] Посвящение «Очарованного странника» имело свое объяснение: «Дебют» повести Лескова в свете состоялся именно в кушелевском доме. Из писем В. Маркевича М. Н. Каткову выясняется, как дорожило Лесковым катковское окружение в начале 1873 г. и как попыталось оно «сохранить» писателя для себя в момент выявившегося идейного расхождения сторон, за которым хорошо знавший Каткова Маркович увидел симптом грядущего разрыва *РВ* с писателем. 25 марта, когда в редакции, журнала находились «Черноземный Телемак» и «Монашеские острова на Ладожском озере» Лескова, Маркевич, пытаясь предотвратить разрыв, писал Каткову о тяжелом семейном положении писателя: «Позвольте <...> просить Вас помочь бедному Лескову; у него чуть не умер мальчик (то есть Андрей Лесков. — *А. Г.*), которого он страстно любит, и хотя теперь опасность прошла, но ребенок требует серьезного лечения. А в доме теперь *ни гроша».* Письмо Маркевича Каткову от 15 мая 1873 г. почти все посвящено «Очарованному страннику»: «Мне <...> очень больно было узнать, что Вы признали неудобным напечатать рассказ Лескова, находящийся ныне у Вас. <...> рассказ этот («Русский Телемак») читан был им нынешней зимой у Кушелева, в присутствии многих дам и любителей литературы и произвел на *всех,* в том числе и на меня, самое прекрасное впечатление. <...> интерес его все время поддерживается ровно, и когда рассказ кончается, жаль становится, что он кончился. Мне кажется, лучшей похвалы нет для художественного произведения! <...> Очень досадно то, что Лесков, совершенно смущенный этим отказом Вашим, может отдать эту вещь Суворину для помещения ее в «Вестнике Европы». Так как он живет единственно литературным трудом, мы не будем вправе сетовать на него за это; а раз попадет он туда <...> Вы его совсем лишитесь. А <...> он талант положительный <...> никак не расчет лишаться такого талантливого и ценимого публикою писателя, как Лесков» (*РО ГБЛ,* Кат., и. 8, ед. хр. 3, л. 23, 43—44 об.).

[76] *«Шамбелян»* (фр.: chambellan) — камергер, придворный чин 4 класса (ниже гофмейстера, но выше камер-юнкера).

[77] Статья Лескова «О литературных контрактах. (Письмо в редакцию)» спустя годы вносила определенную поправку в освещение характера сделки между Баймаковым и Маркевичем. Лесков — едва ли убедительно — пытался доказать, что в 1875 г. имело место заключение литературного контракта с предварительной оплатой за год вперед (6000 р.) будущих статей Маркевича. В качестве аналогии назывался также договор Бурнашева с канцелярией петербургского градоначальника генерала Трепова на поставку в течение 7 лет 370 статей «Газете С.-Петербургского градоначальства» (*НБГ,* 1888, № 156, 7(19) июня).

СОДЕРЖАНИЕ

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

В ТЕНИ И НЕБРЕЖЕНИИ
(1865—1874)

Лесков А. Н.

Л50 Жизнь Николая Лескова: По его личным, семейным и несемейным записям и памятям. В 2-х т. Т. 1. Ч. I—IV/Вступ. статья, подгот. текста, коммент. А. Горелова. — М.: Худож. лит., 1984. — 479 с., портр. (Лит. мемуары)

Первый том выдающегося мемуарного произведения Андрея Лескова рассказывает о роде Лесковых, детстве и юности писателя, его трагических заблуждениях 60-х годов, поисках гражданского, нравственного и эстетического идеала.

Л $\frac{4702010100\text{-}334}{028(01)\text{-}84}$ 25-84 **ББК 84Р1 8Р1**

АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ ЛЕСКОВ

ЖИЗНЬ НИКОЛАЯ ЛЕСКОВА
Том первый

Редактор В. Фридлянд
Художественный редактор Г. Масляненко
Технический редактор О. Ярославцева
Корректоры: Т. Филиппова, Л. Овчинникова

ИБ № 2524

Сдано в набор 31.01.84. Подписано к печати А-07446 08.10.84. Формат 84Х108 $^{1}/_{32}$. Бумага типогр. № 1. Гарнитура «Обыкновенная новая». Печать высокая. Усл. печ. л. 25,2+1 вкл.+ +альбом=26,09. Усл. кр.-отт. 26,66. Уч.-изд. л. 27,45+ 1 вкл.+ +альбом=28,16. Тираж 75 000 экз. Изд. № II-446. Заказ 268
Цена 1 р. 90к.

Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Художественная литература»
107882, ГСП, Москва, Б-78. Ново-Басманная, 19.

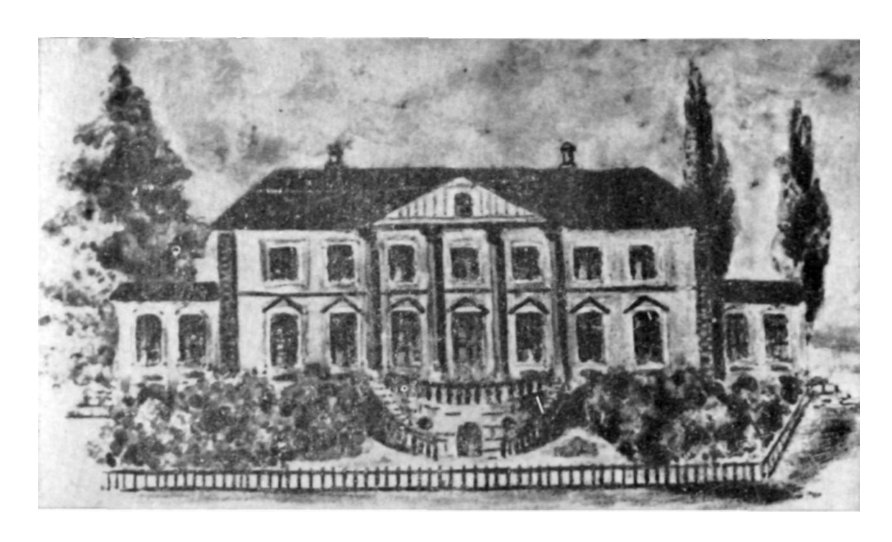
Отпечатано в Ленинградской типографии № 6 ордена Трудового Красного Знамени Ленинградского объединения «Техническая книга» им. Евгении Соколовой Союзполиграфпрома при Государственном комитете СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 193144. Ленинград, ул. Моисеенко, 10, с матриц Ленинградской типографии № 2 головного предприятия ордена Трудового Красного Знамени Ленинградского объединения «Техническая книга» им. Евгении Соколовой Союзполиграфпрома при Государственном комитете СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли.
198052, г. Ленинград, Л-52, Измайловский проспект, 29.



Н. С. Лесков.
Портрет В. Серова.



Акилина Васильевна Алферьева,
бабушка Н. С. Лескова. 1851 г.



Дом, в котором родился Н. С. Лесков (с. Горохово Орловской области).

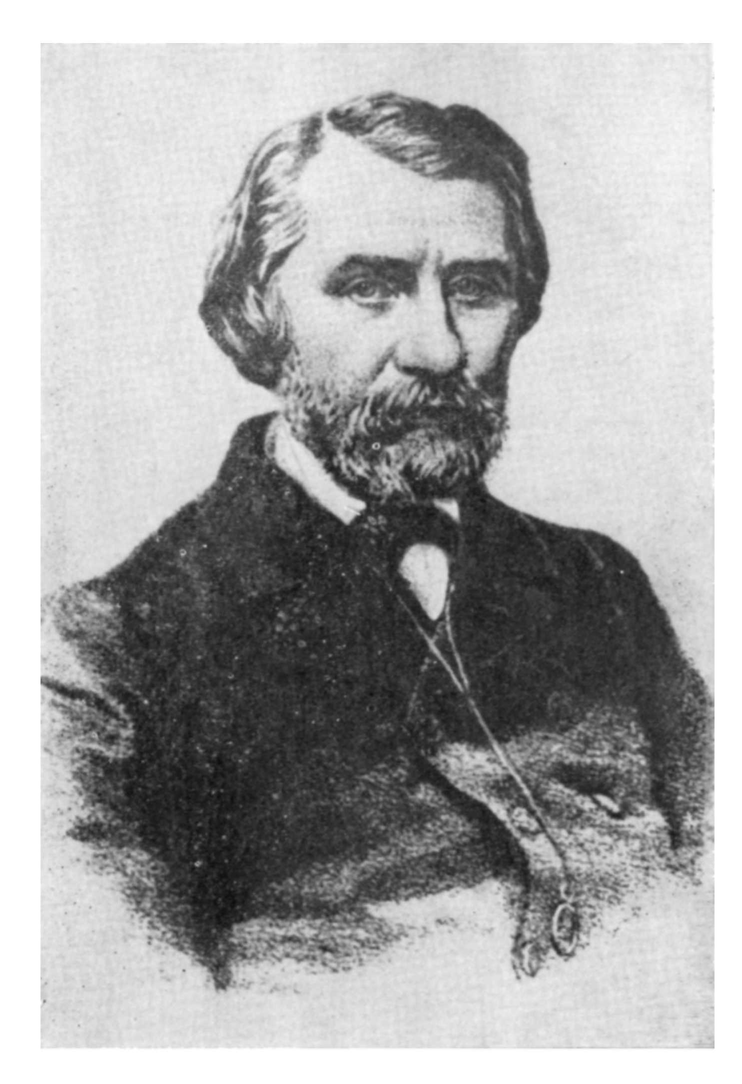


Марья Петровна Лескова,
мать писателя.
Фотография 1873 г., Киев.

Наталья Петровна Константинова, тетка Н. С. Лескова. 1861 г.



А. Н. Лесков. Силуэт, 1873 г.



И. С. Тургенев



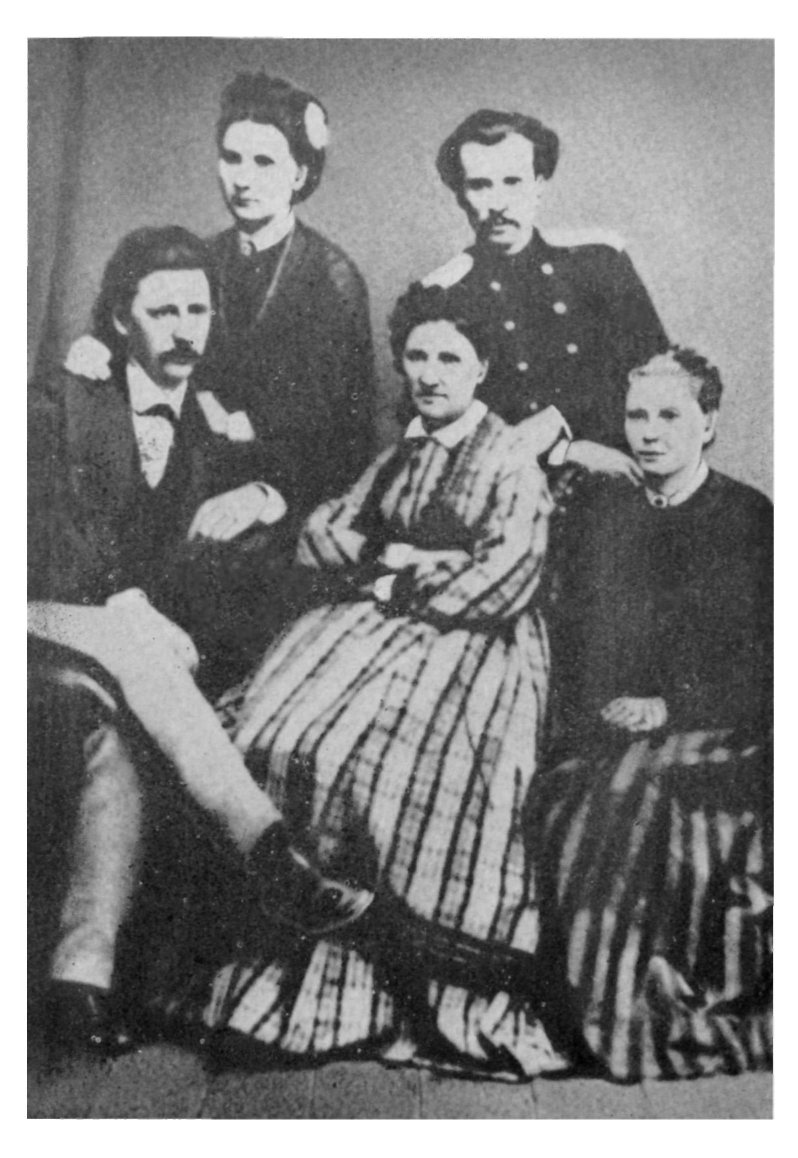
Евгения Тур (графиня Е. В. Салиас).
Фотография 1858 г.



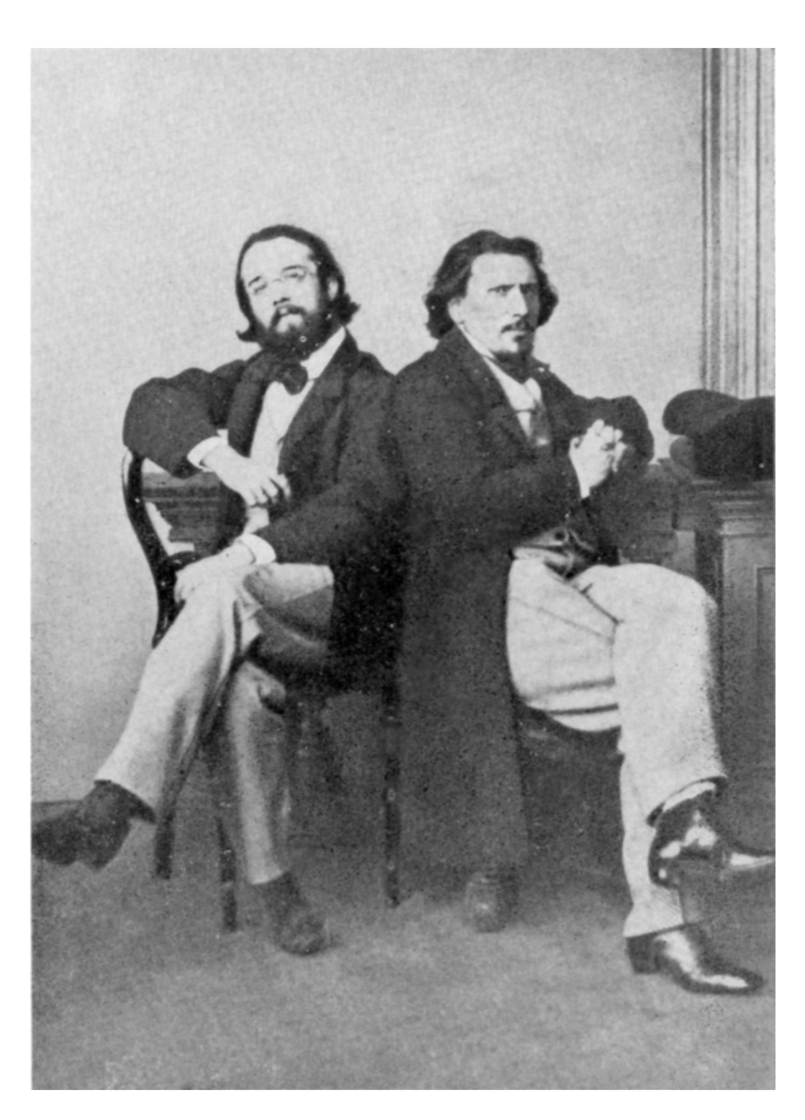
Портрет Н. С. Лескова.
Масло. 1871 г. Художник А. Ледаков.



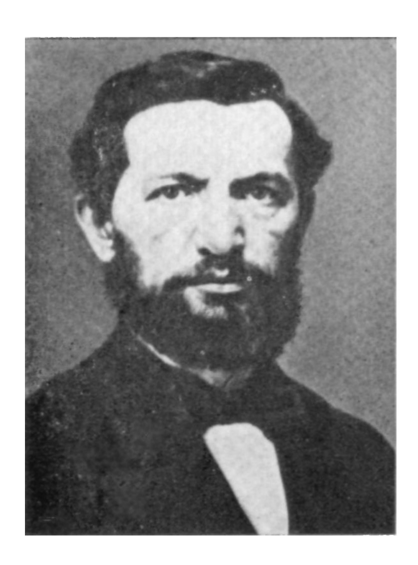
А. Н. Лесков. Осень 1919 г.



Близкие Н. С. Лескова: В. С. Лесков (брат),
О. С. Лескова (сестра), М. С. Лесков (брат), М. П. Лескова (мать),
В. Н. Лескова (дочь писателя).



Д. Д. Минаев и Н. С. Лесков.
Фотография начала 1860-х гг.

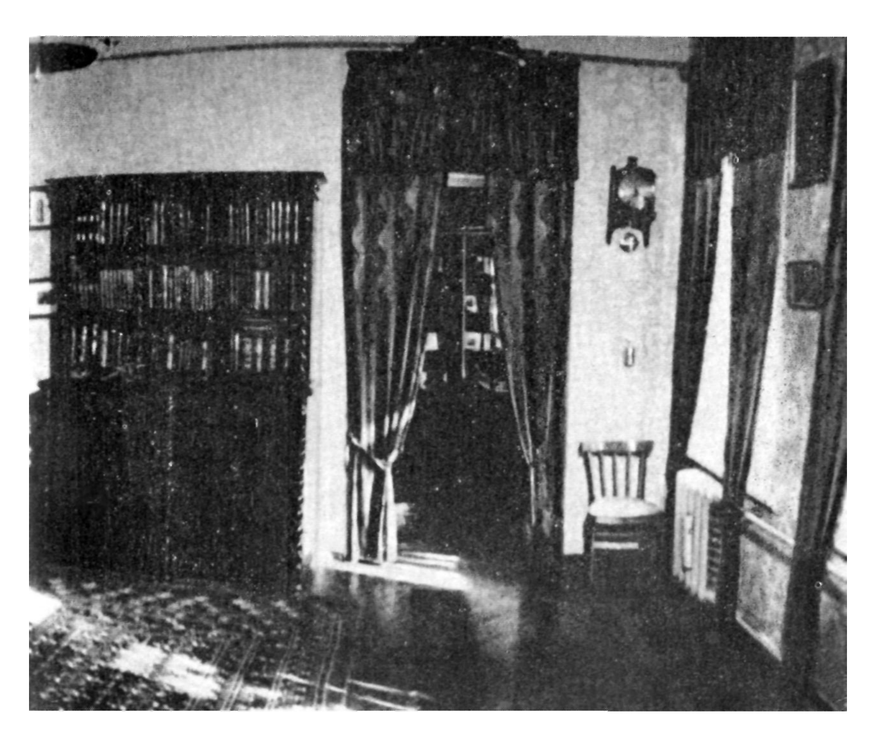


С. С. Громека, 1860-е гг.

Артур Бени и Н. С. Лесков. Фотография 1861—1862 гг.



Петербургский кабинет Н. С. Лескова
(реставрация).



Петербургский кабинет Н. С. Лескова
(реставрация).



Екатерина Степановна Бубнова,
мать А. Н. Лескова.



М. П. Лескова, Н. П. Константинова, С. П. Алферьев,
А. П. Шкотт (мать писателя с сестрами и братом).
Фотография 1870-х гг.



Орел. Присутственные места.